



ЗНАК

елена афанасьева

ЗМЕИ

Если у вас пропали сразу два бывших мужа, а единственная ненавистная свекровь и не думает пропадать; если арест вашего любимого мужчины в московском аэропорту транслируют все телеканалы мира, а ваш собственный арест в королевском номере самого дорогого отеля мира не транслирует никто; если вы не знаете, кровь какого восточного тирана течет в жилах ваших сыновей и почему вызывающая неприязнь попутчица вдруг становится вам дороже родной сестры, то не стоит ли поискать ответы на все вопросы в далеком прошлом? Разматывая клубок сегодняшних тайн, героиня этого романа Лика Ахвелиди и ее случайная знакомая Женя Жукова (уже известная читателю по роману Елены Афанасьевой «Ne-bud-duroi.ru») должны разгадать загадку пяти великих алмазов, которые из века в век оставляли свой след на судьбах персидских шахов, арабских шейхов, британских королей, российских императриц и всех, кому довелось к ним прикоснуться.

Елена АФАНАСЬЕВА
ЗНАК ЗМЕИ

Все совпадения случайны.

СВЕКРОВЬ ВСЕГДА ЗВОНИТ В ПОЛНОЧЬ

(ЛИКА. СЕЙЧАС)

Свекровь позвонила ближе к полуночи.

— Допрыгалась! Украли твоих мужей!

Выработанная много лет назад система блокировки, автоматически вырубавшая мое сознание при звуках свекровина голоса, сработала и на этот раз. Я привычно отключилась и только через какое-то время осознала, что именно она сказала. И не поняла — это мужья так допились-дошутились или свекровь окончательно сбрендила?

Каринэ все говорила и говорила в своем обычном командном тоне. Что Кимки и Тимки уже какой день нигде нет — ни дома (для свекрови понятие «дома» всегда значило только у нее дома), ни в мастерской, где безвылазно жил Кимка, ни «у этих, как их там...» (так она обычно именовала всех жен своих сыновей), ни в эфире. Тимка четвертый день прогуливал свою авторскую программу на местном телеканале, что уже было сигналом серьезного бедствия. Прежде раз или два с большого бодуна забыть про эфир моему второму экс-мужу случалось, но чтобы почти неделю! Из телекомпании бомбили свекровь звонками и грозили Тимку уволить, — мол, чаша терпения переполнилась.

Похоже, и чаша свекровина терпения переполнилась. Но и из этой переполненности она сделала единственно возможный вывод, и ее подсознание вынуло из заглавного Врага Номер Один. А — что бы ни менялось в жизни ее сыновей — Врагом Номер Один для нее всегда оставалась я. Сыновья исчезли — значит, виновата я. И то, что бывшая невестка давным-давно живет от ее деточек за тысячу километров, ровным счетом ничего не значит.

— Тш-ш! Тихо! — рявкнула я, вспомнив, что пятилетку назад дала себе клятвенное слово не бояться свекрови. Странно, бывших мужей я даже мысленно всегда называла «экс-мужьями», а к свекрови определение «бывшая» приклеиваться в моем сознании никак не хотело. — С чего вы решили, что ваши ненаглядные мальчики снова передрались из-за меня?

— А из-за кого ж еще! Вечно они около тебя ошиваются! Все беды от этого! Поубивают когда-нибудь друг друга, и это будет на твоей совести! — в обычном своем тоне вещала свекровь.

— Я не видела их ровно пять лет, — отчеканивая каждое слово, я пыталась сбить свекровин раж. — Обоих. С тех пор, как они в аэропорту мои последние нервы вместо канатов на свой боксерский ринг натягивали. И видеть их не-хо-чу!

— Так не у тебя... — протянула свекровь неожиданно обмякшим голосом.словно весь лекторский запал из нее вышел, а нового ничего не вошло. — А я надеялась... Думала, они, как водится, из-за твоей юбки передерутся и вернуться...

— Мне только ваших мальчиков доставало! Со своими бы разобраться. — Глянула в створку приоткрытой двери в детскую. Еще не хватало, чтобы мой громкий голос (иначе разговаривать со свекровью никогда не получалось) разбудил еще не крепко уснувших мальчишек.

— А где ж они?.. — На том конце провода образовалась нетипичная для свекрови

тишина, которая, как воронка, стала всасывать мои мысли. Действительно, где же они? Каринэ, которая поняла, что ее ненаглядные сыночки в этот раз не рванули оспаривать первенство в моем сердце, а сгнули неизвестно где, была явно напугана. — Где ж они, Ликочка?

Из детской комнаты босыми ногами зашлепал Пашка.

— Писать хочу!

— Я перезвоню, — только и успела сказать я. И, бросив трубку, подхватила младшего сына на руки, понесла в туалет, чтобы не шастал босиком по холодному полу, на ходу продолжая думать.

Так просто свекровь не позвонит и Ликочкой впервые за всю жизнь не назовет. Что-то случилось. И случилось что-то серьезное.

Отнесла Пашку в детскую, уложила на нижнюю часть двухъярусной кровати, привычно шарахнувшись головой о верхнюю. Дотянулась, укрыла одеялом Сашку, который при любой температуре воздуха умудряется раскрыться в первые двадцать минут сна и далее спать с голым задом — весь в отца, сколько ни укрывай во сне, все без толку. Пашка, тот напротив, с обстоятельностью восьмилетнего мужичка всегда подоткнет края одеяла под себя, не оставив ни малейшей щелочки. Тоже весь в отца.

Эх, братья. Братья по крови. Родные и двоюродные одновременно!

* * *

Вернулась к компьютеру. Но незаконченный план электропроводки и освещения квартиры, ремонтировать которую неделю назад меня отправил Олигарх моей мечты, так и остался висеть на экране монитора без изменений.

Олигарх моей мечты, Олень, Алексей Оленев, глава известной корпорации «АлОл» действительно был олигархом. В его «ближний круг» я случайно попала год назад. Дом на Рублевке, который я оформляла для одного из больших денежных мешков, посетила Оленева жена, третья по счету. И наняла меня оформлять их новую усадьбу.

В олигаршьей усадьбе до меня вдруг дошло, что в четырехэтажных понтовых хоромах, которые заказала мадамка, Оленю душно. И скучно. Случайно в груди перевезенного из старого дома хозяйского барахла мне попались на глаза несколько коробок с юношескими Оленевыми реликвиями. И, перебирая всю эту рухлядь — допотопные магнитофоны, плакаты с канадскими хоккеистами, железяки от разобранного, да так и не собранного мопеда — вдруг увидела за олигаршьей оболочкой мальчишку. Задиристого, неуверенного, становящегося самим собой только в своем маленьком, тщательно оберегаемом от всех мирке. И за два дня переделала построенный в глубине усадьбы гостевой домик под современную стилизацию старого гаража, в котором мог коротать свои лучшие часы тинейджер Леша Оленев.

Оказалось, попала в десятку. Олигарх моей мечты окончательно перебрался жить в свой стилизованный гараж, оставив основное многоэтажное сооружение супруге. А я вошла в «ближний круг». Не настолько ближний, насколько мне бы хотелось, но и такая степень приближенности к одному из самых влиятельных и богатых людей страны давала множество преимуществ, а негласный титул «придворного дизайнера самого Оленева» обеспечил мне вал весьма денежных заказов. Вот только самого Оленя видеть удавалось все реже...

В июне, когда Оленю зачем-то понадобилось срочно переделать квартиру своей одноклассницы и я была вызвана по тревоге, летела на эту тревогу как на праздник.

Оленева одноклассница Женя Жукова, которую все звали сокращенно ЖЖ и только Олень отчего-то величал Савельевой, выглядела — мама не горюй! Зачуханная. С какими-то красными точками на лице — сосуды, что ли, полопались. В странноватом одеянии — помесь больничной пижамы и стильной униформы. Униформа эта некогда, вероятно, была кипенно-белой, но в тот день большого погрома в центре Москвы стала грязно-серой. Оленева правая рука — персональная помощница Агата успела шепнуть мне, что эту самую Женю только утром их служба охраны вытащила из бог весть какого плена. А она, нет бы тихо сидеть, в себя приходит, кинулась искать на погроме какого-то своего японского родственника, так что вид ее и странности в поведении вполне объяснимы [\[1\]](#).

Странности этого безликого, бесполого существа меня, однако, не волновали. Меня волновал Олигарх моей мечты, которому должно было понравиться то, что я делаю по его заказу.

Весьма кстати для ремонта в потолке одной из комнат квартиры этой ЖЖ обнаружилась полуметровая ниша, в которой нашлись старинное кольцо и невероятных размеров черная жемчужина — наследство этой самой ЖЖ. Идиоткам всегда везет! Мне вот в наследство никто ничего не оставлял.

Но работа на людей далеко не бедных успела научить меня не зариться на чужие сокровища, а делать свое дело, иначе на собственные сокровища не заработать. И несколько недель я с увлечением придумывала перепланировку этого запущенного жилища, в котором смешались приметы разных времен — сложившуюся здесь художественную эклектичность никакому дизайнеру не сотворить. Появилась идея объединить превращенным в зимний сад балконом квартиры этой самой Женьки и ее соседки, древней, но величественной старухи с черепаховым гребнем в редких волосах. Соседка Лидия Ивановна оказалась какой-то родственницей Женькиного японского то ли друга, то ли родственника Араты, имя которого в этой неразберихе все путали с именем главной Оленевой помощницы Агаты. Стоило окликнуть кого-то одного, как отзывались оба.

Точнее в родственных связях клиентов разобраться я так и не успела. Поняла только, что клиенты эти чем-то особо дороги моему нынешнему главному работодателю Оленю. А стоило понять это, как идеи по переделке двух квартир пустились в полет на автопилоте, едва успевала ловить и фиксировать. Даже транс, в который впала моя клиентка после свалившегося на нее горя, меня не испугал — транс у Женьки пройдет, а я тем временем квартиру сделаю. Не для клиентки же стараюсь. Олень мое творчество и несмотря на Женькин транс оценить способен.

Оленя я теперь видела чаще, чем прежде. Он заезжал, пытаясь хоть как-то растормошить забившуюся в угол дивана и ни на что не реагирующую Женьку. Тормошение обычно не удавалось. Пожав плечами и чмокнув меня в щеку, Олень уезжал.

Прежде одного такого чмока хватало, чтобы пару недель летать на крыльях. Но теперь, после звонка свекрови, и меня настигло некое подобие транса. Опустение. Автоматически вводила в компьютерный рисунок какие-то детали подсветки балкона, а в голове, как на автоответчике, все прокручивался свекровин голос: «Украли твоих мужей!»

Как это «украли»? Как могут украсть здоровых мужиков, да еще двух сразу?! Были бы бизнесменами, могли бы украсть их ради выкупа. Но у бывших мужей в карманах ветер давно свищет. А если не за деньги — то зачем?

На экране компьютера вместо нормальной проекции освещения крытой галереи, в которую должен превратиться общий балкон двух квартир, выходило полное фуфло. Пришлось себе честно в этом признаться.

Встала из-за стола. Вышла на свой отнюдь не галерейный балкон (вот уж воистину сапожник без сапог!) вдохнуть свежего воздуха. В «ханском» представительстве напротив моего дома светились все окна, даром что третий час ночи — ханство гуляет, парадный сбор! С моего балкона был хорошо виден внутренний дворик этого помпезного особняка. По рассказам соседей, лет восемь назад здесь был стандартный детский садик с набором поломанных беседок и замусоренных песочниц во дворе, теперь превращенный в здание постоянного представительства одной из российских республик. Жизнь за воротами с тех пор потекла отнюдь не детсадовская.

Вот и теперь Хан, многократно замеченный мною в телевизоре президент этой республички, вывалился на парадное крыльцо вслед за каким-то арабом, важным, как шейх Саудовской Аравии или одного из Арабских Эмиратов. Напыщенный Хан, предпочитающий, чтобы все вокруг него стелились и падали ниц, сейчас сам был готов и стелиться и падать, видно, слишком важная арабская птица залетела к нему в гости. Этого же араба я видела несколько дней назад. Еще посмеялась над тем, как эту «птицу» завозили. Нереально длинный и нереально белый лимузин проследовал мимо нашего скромного панельного дома, но в постпредские ворота вписаться не смог. Даже при той ловкости, с которой из дотационного бюджета ханства были отжаты все соки на постройку этой столичной юрты, традиционный круг подъезда к главному крыльцу вышел мелковат — «Мерседесы» проходят, а длинныги «Линкольны» застревают. Вот и Шейху пришлось вылезать из автомобиля у ворот и собственноручно шествовать к входу. В своей длинной хламиде, такого же, как и у автомобиля, нереального белого цвета, оттеняющего каштановость его кожи и жгучую черноту бороды, в темноте московской ночи важный араб чем-то напоминал привидение. Из-за этой несопоставимой с моим грязным балконом арабской хламиды я тогда мысленно и прозвала его Шейхом.

Теперь же мне довелось наблюдать процесс отбытия арабского гостя. Шейх, сопровождаемый семенящим Ханом, снова сам дошел до ворот, и исчез в длинном чреве «Линкольна». А Хан словно разом стал выше ростом — разогнулся из лизоблюдского полупоклона, вернулся на парадное крыльцо, куда вывалились еще двое в зюзю нажавшихся гостей. К полукруглому крыльцу парадного подъезда уже подруливал традиционный шестисотый «Мерс».

— Может, в багажник его?.. Не х... сиденье марать!

Труп, что ли, прячут? С этих станется! Или не сообразят, как нажавшегося в дупелину своего чиновного дружбана до дома транспортировать так, чтобы дорогие сиденья не обгадил. В пьяни они ж одинаковы, будь ты сапожник Арсен, чья будка притулилась рядом с калиткой двора моего детства, или Волчара — министр-капиталист с говорящей фамилией Волков, командированный от своего нефтяного царства в структуры государственной власти. Волчаре этому я кабинет в министерстве оформляла и интерьер загородного дома делала. И поняла, что и выражения лиц, и наколки на руках, и лексический запас у них с Арсеном одинаковые, даром что один тянет самогон, а другой исключительно «Хеннеси ХО». И эти

«Тореадор, смелее в бой!» Мелодия моего мобильного некстати огласила ночной двор. Впопыхах, дабы поскорее прекратить эту громогласность, нажала на все кнопки сразу. Не в масть. Ария оборвалась, но с ней сорвался и звонок. Зато сработала вспышка от встроенного фотоаппарата, запечатлевая картинку с пьяной выставки в постпредском дворике. Не забыть бы стереть, и так этого фотомусора предостаточно, Сашка с Пашкой то и дело норовят поснимать что попало. На прошлой неделе свою черепаху во всех видах снимали.

А! Вот и Волчара мой, легок на помине! Не выходит — вываливается с ханского крыльца во двор, пьян, как и две вывалившиеся раньше «вертикали власти». Это пока я дом другого важного госчиновника оформляла, правительственная женка в бесконечных телефонных разговорах с подругами называла своего благоверного «вертикалью власти», недвусмысленно намекая, что и кое-что прочее у муженька не иначе как вертикально.

Пьяная троица игриво похохатывала, зазывая еще кого-то из недр постпредского замка. Опять проституток привезли. По утрам, таща сыновей в школу, частенько замечала, как отработавшие ночную смену бабочки в своих явно не утренних нарядах цокают из соседских ворот.

Но сейчас игривые голоса за забором были никак не женскими. На мальчиков чиновную элиту, что ли, потянуло? Один из голосов за воротами показался знакомым. Вгляделась в едва различимые силуэты. Данька, паренек из второго подъезда. Соседка рассказывала, что учится парень в десятом классе и живет с парализованной бабкой. «Родители его давно спились и померли, Данечка и учится, и за бабкой ходит — сиделку-то им нанять не на что».

«Вот те и социальное равенство, одним все, а другим, как Данечке... — сетовала выносившая мусор соседка, от которой я не знала, как отвязаться. — Ему девочка из соседнего дома нравилась, но где уж тут ухаживать! Данечкина бабка на заводе работала, однокомнатную за всю жизнь еле-еле выслужила. Дом-то наш заводским был, пока завод лет десять назад не развалился, и квартиры здесь многие обнищавшие люди толстосумам продали».

Судя по взгляду, и меня соседка зачислила в толстосумы. «А другие дома в нашем районе, сама знаешь, нашему не чета. И люди не заводские живут, и деткам по воскресеньям по двести долларов или, как их там, еврей, — переименовала название новой европейской валюты соседка, — дают „на прогул“. А Данечке где взять...»

Оказывается, вот где! Ночная смена почти с доставкой на дом. Нашел, значит, мальчик источник существования. Хотя, может, и показалось мне. Темно уже.

Стала снимать с веревок сушившиеся штаны и рубашки своих гавриков, уже не обращая внимания на то, что ханская обслуга, затолкав на заднее сиденье «Мерса» не стоящее на ногах тело, которое прежде предлагалось сунуть в багажник, теперь пыталась втиснуть на переднее сиденье самого министра-капиталиста. Вернулась к компьютеру, но даже не шевельнула мышкой, чтобы оживить погасший экран монитора. Мысли убежали далеко от постпредского двора с его ханами и шейхами.

Ко всему огромному набору свекровиных недостатков никогда нельзя было приписать истеричность. Эта нахичеванская богиня Гера во всех жизненных перипетиях, подобных

коллизиям ее излюбленной античной драмы, казалась колонной храма Афины Паллады. При всех атаках судьбы колонны не рушились, лишь выщербинки оставались на тысячелетнем мраморе. Если этот мрамор заговорил человеческим голосом, значит, случилось нечто, способное выжать из мрамора слезу. И, похоже, без меня разгрести это «нечто» вокруг бывших мужей некому.

Не выдержала. Сняла трубку, набрала номер совершенной Агаты.

— Передай Оленю, что меня несколько дней не будет. Мне улететь надо. У меня мужей украли!

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ СЫН НАДИР-ШАХА

(ПЕРСИЯ. 1747 ГОД)

Никогда не знал страха Надир-шах.

Сотни раз ходил он в полушаге от смерти. Тысячи раз посылал на эту смерть других.

Никогда не знал страха Надир-шах. Пока не свершилось то, что ему, нищему мальчишке, напороочил странствующий прорицатель. «Будет у тебя все! Будут и горы золота, и невиданная власть. Но в миг, когда ты поймешь, что у тебя есть все, ты почувствуешь любовь. И узнаешь страх. Страх за ближнего. И страх этот станет твоим концом».

Раз и навсегда запретил себе иметь ближних Надир-шах. Огнем ненависти выжигал всякое подобие чувства. Пока красавица наложница Надира, одна из сотен жен и наложниц в его гареме, не принесла ему сына. Восемнадцатого из его сыновей.

И сжалось сердце. И понял Надир-шах, что в его окаменевшую злую душу пробралась любовь. И в эту щель, пробитую ростком любви в камне его души, следом за любовью пробрался страх.

И понял Надир-шах, что стал уязвим. Ибо теперь враги его могли узнать, что дороже всего на свете тому, у кого ничего святого нет...

* * *

Он стал часто просыпаться на этой грани дня и ночи, когда солнце еще не может встать, а тьма уже должна, но еще не хочет уйти. Охрана боится этих предрассветных часов пуще каленого железа.

Глаза закрыты. Ни сон, ни явь. Подняться еще сил нет, заснуть уже нет. Пытка рассветом. И запахом.

Запах овчинных шкур, выделкой которых занимался его бедный отец Имам-кули, стал преследовать его перед рассветом. Несколько постельничих и мишраба, начальника ночной стражи, уже постигла жестокая кара: как могли они внести в шахский дворец шкуры, запаха которых не выносил шах!

Провинившихся казнили, дворец перерыли, шкур не нашли. Хаджибы, ближние слуги, сутками напролет окуривали опочивальню алоэ и имбирем. Но перед рассветом все повторялось вновь. Запах овчины, пытающий при приступах мигрени, мутность подкатывает к горлу и остается там камнем. Ни проглотить, ни продохнуть. Запах как пытка. Запах нищеты и запах свободы.

Мать рассказывала, что в детстве его рвало по несколько раз на день. Жизнь выходила из младенца. Отец уже смирился с тем, что сын его на этом свете не жилец, и намеревался, как подобает, собрать недолго пожившего Надира в иной путь. Но не иначе как сам Аллах, явившийся в их нищий дом в одеждах странствующего мудреца, надоумил отца унести ребенка подальше от места, где тот выделяет шкуры. «Бывает хворь, при которой запах

может стать причиной смерти», — говорил мудрец.

Его чуть не убил запах шкур. А теперь убивает даже память о нем.

* * *

В эти предрассветные часы вслед за мучающим его запахом невыделанных овечьих шкур ему стали являться убитые. Не все убитые им или по его приказу — всех не перечесть, не вместятся ни в сон, ни в явь. Являться к изголовью его ложа стали убитые дети.

...приходил и садился рядом с ложем тот долговязый переросток, которого он, восьмилетний, убил, попав камнем в висок. Маленький Надир увидел, как долговязый вытащил у странствующего рассказчика киссахана кошель с монетами, и не знал, как быть. Киссахан уже растворялся в базарной толпе, а долговязый, заметив, что Надир видел кражу, кинулся вдогонку за убегающим мальчиком. Настиг его за перевернутой арбой и стал душить. И задушил бы, если бы рука Надира, уже дрогнувшая в предсмертной судороге, не нащупала камень. И все его крохотное сознание, вся его будущность сжались воедино, взметнулись и выпились в этот удар, который пришелся душившему его переростку в висок. Разом обмякшее тело долговязого стало неподъемно тяжелым и давило Надира, не давая подняться. Кровь из виска убитого текла по щеке и затекала Надиру в рот. Соленая, теплая. Он пытался отплеиваться, но убитый передавливал горло. Надиру никак не удавалось сбросить с себя тело, и приходилось судорожно глотать эту кровь. Потом, ночью, этой кровью его стошнило прямо на тощий, истершийся ковер, под которым Надир спрятал вытащенный из кармана убитого кошель. Киссахана было уже не догнать, а Надир и не слишком старался сделать это — его мутило, да и оттягивающий карман кошель мешал бежать...

...являлся и Бахмал, мальчишка-ровесник, так навсегда и оставшийся двенадцатилетним. Вместе они бежали из хорезмского рабства, куда Надира с матерью угнали после смерти отца. Хозяйская дочка сжалилась тогда над Надиром, тайком от отца бросила невольнику ключ. И с трудом дождавшись ночи, он сбежал, зная, что оставляет мать на верную гибель. У него одного, молодого, ловкого, со звериным неистовством жаждущего жизни, богатства и славы, был хоть призрачный, но все-таки шанс на побег. Вместе с матерью этот шанс пересыхал, как арык позади их дома в раскаленное лето. Он знал, что должен бежать один, но за ним увязался Бахмал. На след беглецов уже напали люди бая, и преследователям, как загоняющим свою жертву псам, нужно было бросить кость. И Надир бросил. На следующую ночь, когда, потеряв все силы от страха и бега, они с Бахмалом спрятались в старом хлеву и, едва уняв биение детских еще сердец, забылись недетским сном, он приказал себе через час проснуться. И проснулся. И вытащил нож. И воткнул его Бахмалу меж ребер, а следом полоснул под коленями, чтобы недавний сообщник не мог ни бежать, ни идти. А сам пошел. И шел три дня и три ночи. В полуяви-полубреду, то и дело теряя сознание от усталости и жажды, он шел и шел. Пока его не подобрал караван, следовавший домой, в Хорасан...

...приходил к изголовью и безымянный дагестанский мальчик из не покорившегося ему Андалала. По договору о разделе территорий с Россией этот горный край оказался в ведении Персии. Но дагестанцы отказались подчиняться иранскому владычеству, что заставило Надира идти свойском в Дагестан. Семь лет он мечом вел к миру этот народ. Семь лет

Надир пытался сломить отчаянное сопротивление горцев. И мстил за смерть брата Ибрагим-хана, которого он поставил править Кавказом. И уже, казалось, Надир добился своего, вытеснил мятежников в Аварию. Но в Андалальской долине около села Согратль горцы, забыв о своей собственной горской вражде, вдруг сошлись все воедино и восстали против каджаров. И бились со стотысячным Надировым воинством, пока он не понял, что ему надо уходить. С ним бились и седые старцы, и дети, ножки которых едва могли обхватить потные лошадиные бока. Пятилетние мальчики неслись на Надировы полчища, как неумолимые стрелы, выпущенные тугой тетивой расплаты. И детские головы, снесенные саблями Надировых воинов, скакали по земле, как дыни, так и не успевшие dospеть. Теперь в утренних пытках его преследовало видение: летящий на него обезумевший от запаха смерти взмыленный конь, несущий на себе безголовое тело горского мальчишки, намертво, как научили с рождения, вцепившегося ручонками в растрепанную гриву.

...появлялся и собственный сын, четвертый из родившихся у него сыновей, чья мать, третья по счету жена тогда еще не ставшего шахом Надира, была уличена в неверности. Собрав свое воинство в новый поход, в трех фарсангах пути от столицы он вдруг резко развернул коней и приказал гнать назад. И застал неверную в объятиях другого. Белесый чужестранец из западных земель, привозивший европейские диковинки в Персию, явно перестарался в расхваливании собственного товара. Ибрагим, верный воин из отряда Надира, по одному взгляду предводителя понял, как умерить пыл грязного фаранга. Но Надиру пришлось напомнить Ибрагиму, что вслед за фарангом стоит умерить пыл и неверной жены, и рожденного ею выродка, дабы не мучиться мыслью, не слишком ли белы волосенки на головке новорожденного...

...рассаживались у его ложа и едва начавшие ходить сыновья его племянника Али Куди-хана. Посланный усмирять восстание в Систане, он вдруг перешел на сторону мятежников, забыв, что семья его осталась во дворце Надира. Мать и жену Али Куди-хана Надир приказал ослепить, а детей сжечь заживо, отправив пепел отцу. Приказал и забыл, сам не видел того костра. Но сейчас запах горевших детских волос и костей догонял его во сне...

* * *

...и теперь все эти дети, так и не ставшие взрослыми, сходились к его изголовью, чтобы навсегда украсть его главное сокровище — покой. Собравшись на большой курултай, они судили и пытали его не уснувшую душу: «Наш курултай неполон! Есть трон. Трон курултая убиенных детей. Он пуст. Он ждет твоего сына...»

«Любого из семнадцати!» — отвечал он то ли во сне, то ли наяву.

«Врешь! — вершили свой суд палачи его проклятой души. — Не семнадцать их у тебя! Вот уже несколько месяцев как у тебя восемнадцать сыновей. Только последнего, единственно любимого, ты прячешь от мира и от людей. Но не от нас! Мы знаем все! Его, восемнадцатого сына, отдай нам, Надир-шах!

Отдай! Отдай! Отдай!»

Крик, переходящий в клекот ястребов, заживо клюющих тело сына. Он пытается закрыть ребенка собой и чувствует, как ястреб проклевывает его насквозь и снова добирается до детского тельца.

И свет. Слишком яркий для глаза человеческого. Сияние алмазов. Слепящее сияние. Он

на троне. На том Павлиньем троне, что был выдран из индийского дворца Великих Моголов. Алмазы сыплются с небес. Падают долгим-долгим дождем, погребая его под собой. Что есть алмазы? Камни. Погребальные камни его проклятой души. Сверху этого погребального холма горой света падает «Кох-и-нур»...

* * *

Он любил камни. Одиночеству его души нужен был выход. Одиночество тонуло в блеске этих камней — камней вечности. Мысль, эта дерзкая бегунья, стремительно уносилась в даль непознаваемого прошлого.

Его завораживало, до озноба доводило ощущение, что до него камень этот в руках держали те, что мнили себя великими, величайшими. Теперь они тлен, а камни их недавнего или давнего величия валяются у его ног и служат погремушками его сыну.

Владычество рухнуло, алмаз жив. И будет жить. И переживет его...

Камни владеют теми, кто владеет ими.

Прежде, карабкаясь на вершину, пальцами цепляясь за неприступные для нищего мальчишки скалы власти, он думал, что владычество вечно. И только теперь, завоевав полмира и потеряв в этих завоеваниях душу, он начал понимать: все пройдет. Умрут сыновья. Империи рассыплются в прах. А камни останутся, как оставались после всех величайших правителей, которые владели этими камнями до него...

...Мальчишкой открыл он свою единственную жажду — жажду власти. Не горы лепешек, не блюда, полные сочного, покрытого тонкой поджаристой корочкой кебаба, не кувшины с дугом рисовало воображение голодного мальчишки, который так распухал от голода, что только сделанные целителем прижигания, выпускавшие из истощенного тельца скопившихся в нем злых духов, спасали ему жизнь. И не роскошные, устланные дивными коврами-дастарханами покои для сладкого сна виделись тому, для кого и несколько часов отдыха на тощей подстилке казались невиданным блаженством.

Он жаждал власти. Жажда эта, ворвавшись в его сердце еще в детстве, поселилась там навсегда. И стала безраздельной властительницей его помыслов и дел.

Когда во тьме дней, полных голода и овечьего помета, который вынужден был убирать маленький Надир, вдруг наступал праздник, он пробирался в дальний угол базарной площади и замирал в ожидании маарака, дивного зрелища. В этом зрелище царил странствующий киссахан, рассказчик долгих хадисов — преданий. Киссахан устраивался на невысокой суфе, выкладывая рядом на табуреточку — курпачу толстую рукопись в плотном переплете. Не знавший грамоты мальчик вглядывался в неведомое ему сокровище, силясь представить, сколько долгих дней и ночей провел неизвестный катиб, переписчик, чтобы только переписать эту толстую книгу «Тысячи преданий». А сколько дней и ночей, лет и веков ушло на то, чтобы ее сочинить!

Киссахан на мгновение замирал над книгой. Закрыв глаза, он словно настраивал свой невидимый инструмент и тихо, не открывая глаз, начинал: «Некогда в стране Хорасан правил падишах по имени Курданшах. И было у доброго падишаха пять тысяч всадников, пять тысяч пеших воинов и тысяча лучников, неотступно следовавших за своим господином. И отправил Курданшах часть своего великого войска в чужеземные страны, дабы сделать Хорасан самым могущественным государством, а себе стяжать славу всеильного правителя,

не имеющего равных...»

Постепенно открывая глаза, чуть покачиваясь и напряженно вглядываясь в заветную книгу, словно в таинственную даль, киссахан говорил все громче и громче, завораживая все теснее сжимающийся вокруг него бедный люд.

«Кто та любимая, скажи, которую, узрев однажды, мы жаждем встретить, но вовек не утолить нам этой жажды...»

Ритм нарастал, голос рассказчика становился все более громким, капли пота падали со лба, и сам он, казалось, переступал ту грань между вымыслом и явью, что отделяла окружившую его толпу и самого странствующего киссахана от его книги. И маленький Надир не видел уже ни пота, ни рассказчика. Вслед за втягивающим в свой ритм голосом он уносился в далекую страну, творил подвиги вместе с благородным Хатемом и вкушал любовь луноликой дочери правителя сказочной страны.

Но было и еще одно, главное, для чего он спешил убежать по ковру, выстеленному завораживающим голосом старого рассказчика. Надир жаждал хоть на мгновение почувствовать себя тем правителем Хорасана, что посылает своих воинов завоевывать величие и богатства для родной страны и для ее правителя. Иной раз, выпадая из сказки, он видел свои содранные босые ноги и лохмотья домотканой одежды, делающей его более похожим на каландара, странствующего нищего монаха, чем на сына скорняка, и вспоминал, что до шахского престола ему как до Луны. Но завораживающий голос сказочника дарил надежду. «Великий Аллах может в один миг превратить бедного в богатого, безродного в шаха».

И ночью нищий мальчишка в мечтах становился тем шахом, что «правил столь мудро и справедливо, что во времена его владычества не стало гнета на земле, и друг и недруг благословляли его за щедрость и великодушие, и из одного источника утоляли жажду волк и овца, лев и лиса...»

Мечты безродного скорняжьего сына стали явью.

Да только овцы не пьют из одного источника с волками. И шахская власть не даруется в мгновение ока. Путь к ней приходится поливать кровью, из горы трупов складывая лестницу, способную перевести его через стену Искандара — непреодолимый сказочный вал, воздвигнутый тем, кого в сокрытых за солнечным закатом странах звали Александром Македонским, а в персидских преданиях называли Искандаром.

Герой сказки, озвученной голосом старого киссахана, забыл сказать, что вместе с величием, богатством и властью Аллах дарит и муки. Такие пытки, какими теперь были для него, могущественнейшего шаха Персии, эти предрассветные часы.

* * *

Он долго шел к своему могуществу. С тех первых детских мечтаний, в которые он уносился вслед за рассказанными на базарной площади сказками, он знал, что должен дойти до власти. Знал это в отрочестве, бежав из рабства. Знал это в юности, собирая свои первые ополчения, которые побеждали там, где победить было невозможно. Его отряды побеждали, не нападая, — для этого было мало сил, — а обращаясь в зеркало, отражающее посланные врагом удары на него самого. Скалой вращая в землю и возвращая неприятелю его посыл. И бесчисленные противники, неспособные справиться с отражением собственной силы, одни

за другими вливались в день ото дня растущую и крепнущую Надирову армию.

Однажды его жалкие отряды не смогли одолеть воинство Махмуда Систанского, и Надир замер посреди проигранного боя. И понял истину, едва ли не главную в жизни: чтобы победить, надо оказаться на стороне сильного, влиться в силу сильного, чтобы потом использовать эту силу против него самого. Развернув свои отряды, он направился к тогдашнему правителю Персии шаху Тахмаспу II из династии Сефевидов.

Правитель из Тахмаспа был никакой. От могущественной некогда страны ему остались лишь земли близ Каспия, прочее было захвачено афганскими племенами. Но Тахмасп был все-таки шахом. И войдя своей не слишком могущественной воинской силой в его не слишком могущественную силу властную, Надир смог из двух «ничего» сделать «много».

За пять лет Надир сложил мозаику рассыпавшейся было страны. Дальше Тахмасп был ему не нужен. Он собрал курултай эмиров, добился низложения Тахмаспа II и провозглашения шахом его восьмимесячного сына Аббаса III, фактическим правителем при котором стал Надир. Еще через три года военные успехи и слава освободителя Персии затмили сияние формальных правителей Сефевидов, и Надир был провозглашен шахом Персии. Низложенный маленький Аббас был отправлен к ранее сосланному отцу, после чего они оба прожили недолго. Династия Сефевидов пала...

Но величие стоило дорого. Почти пять лет военных кампаний опустошили казну. И тогда Надир понял — пора! Индия, с востока граничащая с разросшейся стараниями Надира Персией, переживала упадок. Но в ее сокровищнице все еще хранились несметные богатства правящей династии Великих Моголов. Пришла пора пополнить в этой сокровищнице свою казну.

Получив на курултае Муганской степи неограниченные полномочия, Надир, казалось, предавался веселью. Но за внешним весельем, как у пантеры, присевшей перед прыжком, крылась подготовка к жестокому походу. Но не сразу Надир пошел в Индию. Прежде он двинул свои войска на афганский Кандагар. После осады город был захвачен и разрушен.

И направил Надир-шах правителю Индии Махамад-шаху из династии Великих Моголов послание с просьбой преградить путь отступавшим афганцам — таким же врагам Индии, как и его врагам — и помочь ему замкнуть кольцо окружения с востока. Великий Могол промолчал. Не дождавшись ответа, Надир сам овладел Кабулом, а потом почти без потерь подошел и к Дели. И даже признал Махамад-шаха единственным правителем Индии. Все может, и кончилось бы миром, если бы Великий Могол не решил обмануть его.

Пока на общем пиру сидели Надир и Махамад, индийское войско поднялось на битву с воинством Надира. Не боем с фанатиками, а резней ответил им Надир. Шесть долгих часов его воины вырезали в городе женщин, стариков и детей. Прежде всего — детей. Всех, кто мог ползать и ходить. По горам трупов и трупиков насчитали потом двадцать тысяч убиенных. А Надировы воины продолжали резать и резать, пока наследник Великих Моголов не приполз к нему, безродному, на коленях. И сам смиренно не сложил к трону, на котором сидел уже Надир-шах, все, чем только была богата древняя империя.

* * *

Раскаленный зной полуденного Дели, чуть смягченный легким ароматом роз бесконечного императорского сада. Жестокая битва за господство над Индией уже

выиграна. Дивный край сказочных богатств у его ног. Отныне ступни Надир-шаха не касаются земли, ибо слуги стелят под них уже не лепестки роз, а слитки золота и серебра.

Бесконечные караваны все идут и идут на запад, увозя в Персию несметные сокровища Индии. На один только Павлиний трон потребовалось восемь верблюдов, меньше не могли его сдвинуть с места. Вряд ли сыщется в мире монарх, не жаждавший воссесть на этот сделанный из чистого золота, инкрустированный бесчисленными алмазами, рубинами, сапфирами и изумрудами трон. Два павлина, усыпанные драгоценностями, венчают спинку трона, а между ними цветет дерево с листьями из рубинов и жемчуга. Верблюды все тянут и тянут сокровища в Мешхед — город, который Надир сделал новой столицей, а сокровища все не кончаются и не кончаются...

В саду дворца Махамад-шаха, некогда всевластного правителя, а ныне всего лишь его наместника на этой земле, у рукотворного хауса, пруда, в тени барбариса он, властелин мира, постигает азы ювелирных тайн.

— По правилу индийских мастеров камень превосходного качества должен иметь вершины, грани, ребра в количестве шесть, восемь и двенадцать. — Суджа, молодой, но самый талантливый из придворных ювелиров Махамад-шаха, проводит для своего нового повелителя первый урок постижения тайн главного камня мира. — Они должны быть острыми, ровными, прямыми. И вместе составлять восьмигранник, октаэдр — хавай алмас.

— Хавай алмас, — почти про себя повторяет Надир-шах. Он подносит к глазам желтоватый удлиненный алмаз, размером с фалангу его большого пальца. Камень кажется тускловатым и невзрачным на фоне общего слепящего великолепия. Только что Суджа объяснял ему, что истинный камень должен быть брахманом — абсолютно бесцветным и прозрачным. А этот тускл и мутен. И бока его испещрены затейливой вязью арабского письма, а Суджа говорил, что алмаз прочнее всего в мире, его не процарапать. Значит, этот удлиненный камень не алмаз, что же он тогда делает в его заветном ларце?

Надир хочет швырнуть увитый надписями камень в сторону, но Суджа, как кошка в полете, кидается к его руке. И, рискуя попасть под острие мечей, которые уже выхватили из ножен ближние охранники Надир-шаха, упав на колени перед правителем, почтительно принимает невзрачный камень из его рук.

— Не судите по первому взгляду, о повелитель! — Все ниже склоняет голову к земле Суджа. — Да, чистота и форма этого желтого алмаза сорта «вайшья» далеки от идеальных. Но в руках владельцев этот желтый перст судьбы становится перстом власти!

— Перст власти, говоришь?

— Судьба этого алмаза полна тайн. Не перечислить всех, кто владел им. Владел им и Бурхан Второй, правитель Ахмаднагара. Он назвал этот камень «перстом Аллаха» и решил что его плоские грани способны стать идеальными скрижалями истории, на которых будет увековечено его имя.

— Ты же говорил, что алмаз незыблем! Как же тогда какой-то гранильщик смог победить силу этого камня?

— Его же силой, о правитель! — Суджа склоняется еще ниже, но и из этого почти распластанного по земле поклона продолжает говорить: — Вы как великий полководец, конечно, знаете главную тайну любого противостояния: если у тебя нет силы, способной одолеть силу врага твоего, то единственный способ победить — это обернуть против врага его же силу!

«А он не так прост, этот ювелир», — думает Надир. В последние годы невиданное

величие ведет его к невиданному одиночеству. Редко кто осмеливается теперь говорить с ним так, как этот юноша. Пусть даже из поклона, но говорить.

— Единственный способ одолеть силу алмаза — применить против него силу другого алмаза, — подытоживает Суджа, чуть разогнувшись.

— Подымись! — приказывает Надир. Кивает слугам, и Суджу усаживают на курпачу подле Надировых ног. Еще кивок, и роскошные дастарханы уже полны самых изысканных яств.

Сам Надир не ест, лишь кладет в рот несколько сладких и терпких зерен граната, равных по своей прозрачности сиянию рубинов. Не ест и Суджа. Надир удивлен — убогий ювелир не может пренебрегать угощением повелителя! Но прежде чем возмутиться, успевает понять причину. Всего несколько дней прошло с тех пор, как он приказал устроить роскошный пир для Махамад-шаха, его родни и окружения. И никто не ушел с того пира живым. Никто, кроме Махамада.

Когда один за другим в жестоких корчах стали валиться на мраморный пол все приближенные Махамада, Надир увидел в его глазах то, что стоило любой победы. Он увидел животный страх. Страх ожидания конца. И понял, что этот страх, превращая недавнего верховного правителя в безвольного раба, будет управлять им до конца его дней. А лучшего наместника, нежели отравленный страхом вчерашний властитель, нельзя и желать.

Суджа теперь боится подобного угощения. И слышится скрипучий, сухой, как сыплющийся песок, смех Надира.

— Можешь есть! Без моего приказанья здесь никого не отравят. Ты видишь того человека? — Надир кивает на почти слившегося со стеной прислужника. — Это Ахмар. Ты видишь змею на его пальце? Это знак всех Ахмаров. Из века в век его род служит шахам, спасая правителей от яда, который может быть подсыпан в их пищу. Ахмар из рода пробовальщиков. Он прежде меня ест с каждого поднесенного мне блюда. Он прежде меня пьет из каждого налитого мне бокала. И как только пробовальщик из рода Ахмаров падает замертво рядом с опробованным блюдом, тем самым спасая жизнь шаха, на пальце его наследников змея делает новый виток.

Надир подает знак, позволяя Ахмару отделиться от стены и приступить к своему делу, и Суджа замечает на правой руке пробовальщика, что вытатуированная змея дважды обвилась вокруг среднего пальца. Но мысли Надира уже вернулись к камню. Он торопит рассказ.

— Этот неведомый гранильщик был великим мудрецом, — продолжает Суджа. — Он первым догадался, что алмаз можно поцарапать только алмазом! На кончик стальной или медной иглы, смоченной маслом, он набирал алмазную пыль и без конца царапал по грани. Много дней, а может быть, и лет. Так появилась первая надпись.

Ювелир подвигается ближе, показывая: «Брхан сани Нзмшах 1000 снт», что значит — «Бурхан Второй Низам-Шах. 1000 год». Суджа хочет пояснить, что мусульмане ведут летоисчисление со дня бегства пророка из Мекки в Медину, но вовремя вспоминает, что его новый, пришедший из Персии правитель должен знать это лучше индуса.

— За девяносто семь лет до моего рождения, — говорит Надир, разглядывая надпись. Традиционно пропущенные в арабском письме гласные. В слове «бурхан» нет буквы «у». В слове «Низам» буквы «и». Слово «санат» и вовсе без гласных. Три точки рядом с единицей, они означают три нуля от тысячи, а вместе с процарапанными дужками образуют слово «санат» — «год».

— Что было дальше? — требует продолжения Надир, и юноша-ювелир указывает на

другую грань камня с иной вязью.

— «Желтый алмаз» недолго украшал сокровищницу Бурхана Второго. Через несколько лет шах Акбар, прямой потомок Тимура из династии Великих Моголов, покорил Ахмаднагар. Так «желтый алмаз» стал династической регалией Великих Моголов. Более сорока лет он пролежал в сокровищнице, пока не попал на глаза внуку Акбара Джихан-шаху, велевшему именовать себя «Повелителем Вселенной». Чтобы стать повелителем, он воевал с отцом и вырезал остальных претендентов на престол. После смерти красавицы жены Мумтаз-Махал Джихан-шах повелел воздвигнуть мавзолей Тадж-Махал. А сам шах сочетал свое царственное величие с профессией мастера-гранильщика. И никто не знает, может быть, именно он отполировал некоторые грани «желтого алмаза», чтобы увеличить прозрачность и увидеть воду камня. Он и повелел вырезать на грани алмаза вторую надпись: «Ибн Джхангир шах Джхан шах 1051» — «Сын Джихангир-шаха Джихан-шах, 1051» Столетие назад.

— За сорок семь лет до меня, — посчитал Надир.

Суджа тем временем продолжил:

— У Джихан-шаха было четыре сына. Каждый из них хотел стать новым «Повелителем Вселенной». Снова началась резня. Победителем оказался сын Аламгир, руки которого обагрились кровью братьев. Самого Джихан-шаха заключили в Агринскую крепость, из окон которой он мог любоваться мавзолеем Тадж-Махал. А Аламгир, который к тому времени принял имя Ауранг-Зеба — «Украшение Трона», хотел любоваться «желтым алмазом», сидя на Павлиньем троне. Он приказал сделать на камне борозду, — Суджа протянул руку и указал на тонкую бороздку, которая опоясывала камень, — чтобы привязать нить. «Желтый алмаз» свисал с балдахина трона прямо к его глазам...

Что было дальше, Надир знает и без него. Он сам оторвал шелковую нить и сам отправил трон в свою столицу. Но задевший его «желтый алмаз» оставил при себе. Как оставил при себе всего пять алмазов. Пять главных алмазов этого мира.

Перебирая их, Надир чувствовал, что в его пальцы вливается дикая сила, невиданное величие и мощь этих камней. Теперь он звал каждый камень по имени. Не по тому имени, что было у каждого из этих исторических алмазов прежде, а по имени новому, им самим данному.

Тот первый, «желтый алмаз» с бороздкой и вязью двух надписей, в честь владык, их создавших, и в свою честь он звал «Шах».

Другой огромный алмаз в форме розы прежде в честь правящей в Индии династии звали «Великим Моголом». Но нет династии, нет и названия. Надир переименовал алмазную розу в «Дери-а-нур» — «Море света».

Третий уникальный камень он назвал «Кох-и-нур». В день, когда Надир впервые увидел этот алмаз, свет, отразившийся в гранях камня, попал ему в глаза. И ослепил.

— Кох-и-нур! Гора света! — только и смог выговорить Надир.

Надир протянул руку к камню. Но Суджа остановил:

— Не троньте его, о повелитель!

Шах вскинул бровь. Кто смеет мешать ему, величайшему из правителей, наслаждаться своей добычей! Юноша-ювелир повторил тихо, но настойчиво:

— Не троньте! Предание гласит, что только Бог или женщина могут безнаказанно касаться его. «Тому, кто владеет этим камнем, будет принадлежать весь мир, но он же и познает все горе мира!»

— Будет принадлежать весь мир... — задумчиво повторил Надир, опустив окончание древнего посула.

Владеть, не трогая?! Изысканная пытка. Или изысканное наслаждение? Владеть, не прикасаясь! Было ли когда-либо такое в его бурной жизни? Надир намеревался ответить самому себе «Нет!», но в памяти всплыло юное личико Зебы, спасшей его хозяйской дочери, за которой сквозь щель старого сарая в хорезмском плену наблюдал мальчишка Надир. Ему было тогда двенадцать. Да и девушке вряд ли больше, иначе красавицу узбечку давно выдали бы замуж, дабы не перезрела.

Недоступная, как... Всемогущий шах, которому ныне было доступно все, не мог придумать, с чем сравнить недоступность хозяйской дочери для мальчишки-раба. Он владел ею, не касаясь. Владел, не владея. В его воспаленном от непосильного труда и раннего созревания воображении не он был рабом ее отца — она становилась его рабыней.

Где сейчас та Зеба? Какой стала? Измученная бесконечными родами старуха. Если ему давно минуло полвека, значит, и запавшая в душу прелестница не моложе. Давно состарилась, окруженная внуками, отошла в мир иной. Или отослана в дальний угол гарема — старая, давно нежеланная жена одного из хорезмских баев.

Получи он тогда Зебу, и что случилось бы нынче? Желание давно исчезло бы, улетучилось. Осталась бы лишь старая оболочка, испортившая ощущение прежнего чувства. А не свершившееся владение, так и не дарованное в миг страстного желания, навсегда осталось в памяти жгучей страстью. Такой страстью может стать и этот обвалившийся на него горой света алмаз «Кох-и-нур». Он будет владеть им, не касаясь! Ибо сказал этот мальчик-ювелир словами старого предания: «Тому, кто владеет этим камнем, будет принадлежать весь мир».

Кроме желтого «Шаха», алмазной розы «Дери-а-нура» и запретной горы света «Кох-и-нура», ему достались еще четвертый и пятый алмазы. Не меньшей величины, но лучшей чистоты, чем «Шах».

Овал четвертого алмаза напомнил Надир-шаху овал лица дочери хорезмского бая. Так четвертый камень стал зваться для него «Зеба». Пятый, самый крупный, почти идеальный восьмигранник, до недавнего времени оставался безымянным. И только вернувшись домой, в Персию, шах назвал пятый алмаз именем любимой — «Надира».

* * *

Любовь...

Все познав на свете, не ведал ее Надир-шах.

«Кто та любимая, скажи, которую, узрев однажды, мы жаждем встретить, но вовек не утолить нам этой жажды...»

Снова и снова повторяя заученную с детства загадку, Надир уже не помнил ответа, найденного героем легенды о семи приключениях Хатема. Власть стала для него той любимой. Власть, не ограниченная ничем, кроме собственной жажды власти.

Что его собственная мужская сила?! Кто знает о ней, кроме жен и наложниц?! Кто восхитится ею, кроме стаи этих глупых куриц, которым всей жизнью велено восхищаться своим повелителем и господином, не рассуждая о его мужской силе. Или бессилии.

Поле битвы возвращало ему любовь истовее самой истовой наложницы. То возбуждение, которое чувствовал он в бою, было несоизмеримо выше любовного

возбуждения. Он не мог, да и не хотел понять: что находят люди в любви?! Что заставляет поэтов веками и тысячелетиями слагать сладостные газели? Во имя чего идут на безумные подвиги и на смерть? Ради нескольких минут нелепых телодвижений и бурного, но мгновенного обвала?

Дожив до своих пятидесяти восьми лет, заточив в своем гареме не одну сотню самых прелестных прелестниц Востока и каждую ночь деля ложе с лучшими из них, он не мог понять, что в этом миге соития есть такого, что заставляет ломать судьбы и крушить миры. Или врут все поэты. Знают, что одурманивают мир, но не могут признаться, что манящая тайна любви есть ложь? Все врут. Напившись обманами прежних обманутых, они ждут обещанного им таинства как главного чуда бытия. А не дождавшись, неистово боятся признаться себе и миру, что все ложь. Трепещут в страхе — вдруг другим доступно великое наслаждение, и только перед ним одним эта новая «стена Искандара».

И врут. И множат полчища обманутых. И страхом своим вводят в искушение других.

Так или почти так считал Надир-шах множество долгих лет. Пока в его гареме, в дальнем углу, закрытом от повелителя красотами иных, более броских «любимых жен», не заметил он этих глаз. Острых, как лук, глубоких как водопад, бесконечных, как вечность. У владелицы этих глаз не было ни красоты избранных им жен, ни изысканности покоренных им принцесс, ни страсти подаренных ему наложниц. Но только эту хрупкую, не выдерживающую никаких сравнений с красавицами из легенд женщину он возжелал страстью иной и иной любовью.

Она стала частью его самого, столь неотъемлемой, как голова или рука. У аварской пленницы, захваченной во время покорения Дагестана, было иное имя, но он стал звать ее Надирой, частью Надира. Его маликой, его принцессой, его тайной. Ибо открыть эту тайну другим, даже самым ближним придворным, значило сделать себя уязвимым.

Он трогал крохотную мягкую ступню Надиры и сходил с ума от чувств, им прежде неизведанных. Ураганы нежности и жалости налетали на его гранитные бастионы. В этой крохотной ступне, прижатой к его загрубевшей щеке, скрестились для него все смыслы бытия.

И — впервые за жизнь — ощутил в себе любовь Надир-шах.

И вспомнил слова из сказки про царя Шахияра: «И была это ночь, которую не считают в числе ночей жизни, и цвет ее был белее лица дня. И наутро царь был радостен и преисполнен добра... И жил он вместе со своими придворными в счастье, радости, и наслаждении, и благоденствии, пока не пришла к ним Разрушительница наслаждений и Разрушительница собраний...»

И вспомнил предсказание прорицателя Надир-шах.

И испугался.

Его убьют. Он точно знает, что его убьют, а все, им созданное, разграбят, втопчут в грязь. И не все ли равно, будет это через сорок лет или завтра? Еще недавно он бы ответил: все равно. Но не теперь...

Не теперь, когда этот желтый алмаз «Шах», привязанный золотой веревкой за бороздку, удачно проделанную в нем по воле Ауранг-Зеба, служит первой игрушкой Надиру Второму, рожденному Надирой, его восемнадцатому сыну. Не теперь, когда он не может уйти, сдаться, сгинуть, не будучи уверен, что Надира и сын будут в безопасности и не будут нуждаться ни в чем. Не для того мечом и кровью, коварством и силой творил он великую империю, чтобы плодами ее не мог жить его сын...

Но его империя не может даровать его сыну жизнь. Его империя может даровать его сыну лишь смерть. И только эти пять волшебных алмазов, каждый из которых стоит империи, чуть поменьше Надир-шаховой, эти пять камней способны спасти жизнь его сына. И сделать эту жизнь счастливой и безбедной.

* * *

...Надир очнулся от дум и с ужасом увидел, что едва научившийся ползать сын уже дополз до шкатулки и тащит в рот заветные камни. Не детское святотатство ужаснуло шаха — для того он и добывал величие собственной власти, отраженное в этих алмазах, чтобы его единственно любимый сын мог играть ими вместо погремушек. Ужаснуло другое. Перебрав четыре камня, мальчик дотянулся и до пятого, лежащего в стороне в отдельном прозрачном футляре, до «Кох-и-нура».

«Только Бог или женщина могут безнаказанно трогать его».

В разморенном от блаженства победы Дели эти слова мальчика-ювелира не тронули его. Тогда его мало что могло тронуть. Его душа была алмазом столь же прочным и столь же защищенным от любого вторжения. И лишь теперь, когда любовь и ласки Надиры и агатовые глаза ползающего у его ног мальчика стали той алмазной пылью, что способна процарапать борозду на самом прочном в мире камне, до него дошел весь ужас древнего пророчества.

«Тому, кто владеет этим камнем, будет принадлежать весь мир, но он же и познает все горе мира!»

Он владеет «Горой света». Он владеет светом и мраком. Он владеет и горем. Горем предчувствия. Или это горе уже безраздельно владеет им.

* * *

— Лазаря позвать!

Лазарь Лазарян был купцом из старинного армянского рода. Лазаряны уже много лет торговали шелком и восточными драгоценностями, отправляя их в Россию, а через эту бескрайнюю дикую страну и далее, в Европу. В долгих беседах, когда Надиру было угодно слушать рассказы своих приближенных, Лазарь сказывал, как полвека назад русский канияз — царь Петр запретил подобную торговлю всем иноземцам, кроме армян. Их роду правитель Руси облегчил пошлину и повелел давать охранный конвой при переезде через Астрахань или через Терек. Тем и даровал редкий шанс на возвышение сразу в нескольких странах.

Лазарянов с той поры знали и на Руси, куда везли они шелка и жемчуга, и в Персии, откуда они все эти безделицы вывозили, чтобы продать на Руси за баснословные деньги, в ответ скупая дома и земли на Московии и в расцветающей новой северной столице, названной именем давно уже умершего Петра.

Лазарь был хитер и бесстрашен, как и все в этом роду. Как и отец его, умерший уже Назар, проложивший этот ограненный драгоценным сиянием шелковый путь ко двору русского канияза. Как и сын его, двенадцатилетний Ованес.

Случайно виденный Надиром мальчишка чем-то напоминал ему его самого, двенадцатилетнего, сумевшего убежать из хорезмского рабства. Он был бос и нищ. И горел

жаждой мести и величия... Подрастающий Ованес ни гол, ни бос не был, но жажда величия в юных глазах горела все тем же Надировым огнем.

— Не отец, так сын исполнит мою волю, — принял решение Надир-шах.

Он раскурил кальян. Запах овчинных шкур отступил, отдав место пряному дыму кальяна. Дотоле окаменевшая в парализующем ожидании казни охрана облегченно вздохнула.

Шах раскурил кальян. Это значило, что повелитель в хорошем настроении. В лучшем из всех возможных настроений. Это значило, что повелитель придумал, нашел, решил.

И разостлали семь вытканых золотом дастарханов. И выставили на каждый по семь золотых чаш, полных сладких вин, и семь серебряных блюд, полных изысканных яств. И слуги внесли золотые кувшины и серебряные чаши для омовения рук. И омыли свои персты Надир-шах и его гость. И возник пробовальщик Ахмар, перед глазами повелителя отведывавший каждое из предложенных шаху блюд, дабы был спокоен правитель, что ни в одно холодное сердце не пробралась черная, словно похищенная дьяволом ночь, жажда отравить его. И отпил по глотку из каждого кувшина, вкусил из каждого блюда верный Ахмар. И каменным изваянием замер он меж колонн, дабы повелитель мог видеть, что прислужник его жив.

И призвал своего гостя к трапезе шах. А насытившись, молвил:

— Меня убьют. Завтра или через много лет дух смерти Азраил заберет мою душу. Узнав об этом, ты кошкой, рысью побереешься в гарем, забереешь, выкрадешь Надиру и сына, увезешь, спрячешь, укроешь. А Надира откроет тебе тайну того, что позволит вам выжить и жить. Тайну пяти алмазов.

(ЛИКА. СЕЙЧАС)

Ах, этот продуваемый всеми ветрами южный город моей юности. Любимый до ненависти, ненавидимый до любви!

Сколько ж я здесь не была. Лет пять, пять с гаком. С тех пор как сбежала от свекрови, от мужей, от страстей.

Я выломилась из этой жизни, забыла ее, затоптала в себе. Я вышла, выбежала из этой двери, старательно захлопнув ее за собой и выбросив ключ в ближайшую канаву. Теперь возвращаться приходилось через форточку...

Форточка, к слову, оказалась узкой. Еле протиснулась.

Утром, пока отправляла мальчишек с няней на дачу, попутно по телефону оставляя кучу поручений ремонтной бригаде, орудовавшей в квартире Оленевой одноклассницы, и уговаривая подчиненных в собственном дизайн-бюро натворить в мое отсутствие как можно меньше непоправимых бед, позвонила секретарша Волчары. Того министра, которым ночью я могла любоваться со своего балкона. Секретарша сообщала, что министр требует экстренных поправок в своем любимом кабинете — прикупил новую пару дуэльных пистолетов, желает срочно в интерьер вписывать. Слов «не могу», «не время», «некогда» секретарша министра-капиталиста не понимала и не желала понимать. Точнее, их не желал понимать ее шеф. Ругаться с денежным заказчиком не хотелось, но и разворачиваться на полпути в аэропорт я не собиралась. Пообещала «вписать», как только вернусь.

В аэропорту к моему билету прицепились, да так, будто покупала я его не в нормальной кассе, а в соседней подворотне. Разглядывали с лупой, цеплялись к каждой запятой... Потом мою тощую сумку шмонали, как мешки с гексогеном. Потом меня саму обыскивали как главную террористку, разве что догола не раздели... Самолет без меня и улетел.

Разозлилась. Пошла, купила билет на следующий рейс. Та же песня — билет, багаж, досмотр... Рамка металлоискателя звенит как заведенная, хоть на мне, кроме льняных штанов и майки, ничего больше нет.

Повернулась идти билет сдавать. Не настолько сильна моя жажда видеть родную свекровь, чтобы бросить заказ самого Оленя, едва не потерять сверхсостоятельного клиента министра-капиталиста, да еще и такое терпеть! Не хочет судьба меня в родные пенаты пускать, и не надо, послушаемся судьбу.

Так и уехала бы, если бы не увидела сквозь стеклянную дверь выражение лица шмонавшего меня охранника — наглая такая морда, довольная. Думает, он меня сломал. Думает, ему все дозволено.

Сломал?! А это ты видел?!

Сквозь ту же стеклянную дверь пальцами показала охраннику знак, который даже он со своими оплывшими мозгами не мог не расшифровать, и набрала номер Агаты. Отлично зная, что своих людей Олень не сдает никогда, кратко описала ситуацию и нарочито покорно

спросила, что мне теперь делать. Через секунду Агата соединила с Оленем.

— Стой где стоишь! И не шевелись! Трогать будут, сразу звони «дизайнерам», они к тебе уже едут.

Оленева служба безопасности, сильно не нравящаяся и его конкурентам, и властителям, проходила в ведомостях по разряду «компьютерный дизайн». Несколько недель назад эти «дизайнеры» настоящую войсковую операцию провернули, достали из заточения в какой-то прибалтийской крепости мою нынешнюю клиентку Женьку. От замка, говорят, камня на камне не осталось, а дамочка жива, не совсем здорова, так это уже другие ее беды, в тот раз «дизайнеры» сработали «на ура».

Сопоставив масштабы штурма крепости и наглой охранной рожи, я несколько растерялась: вдруг мне эта рожа привиделась, а я уже и всю королевскую рать на ноги подняла? Но рожа, разглядывая новый билет в моих руках, продолжала лыбиться в предвкушении моего очередного унижения. Такие местечки и добывают себе единойды в жизни униженные, дабы потом на всех подряд за свою ущербность отыгрываться.

«Дизайнеры» приехали через двадцать четыре минуты. Взяли меня под руки и повели провожать. Через VIP-зал.

На морду этого хама в погонах надо было посмотреть. Весь сдулся. Только толстыми пальчиками-сосисочками тыкал в кнопки миниатюрного мобильного. Поди, конфисковал у кого-то понравившуюся игрушку, а в габариты попасть не может. Бормотал что-то нечленораздельное. «Не в моих силах... Провели... Слушаюсь, слшась!»

Так тебя, наглая твоя морда! Знай наших! Я еще и компенсацию за неиспользованный по твоей милости билет с твоего ведомства слуплю. Ты, гад, в штаны наложил, когда привезенный Оленевыми «дизайнерами» юрист протокол моего задержания требовал и документы, объясняющие причину обыска. У Олигарха моей мечты слабых юристов не бывает, так что за все свое погонное хамство заплатить придется сполна. Расплачивайся!

* * *

Испортившая настроение сцена улетучилась из сознания, лишь только в самолете завели «Левый, левый, левый берег Дона...». Прежде я ненавидела эту песню, которую лабухи играли в каждом ростовском кабаке, а пьяный люд из квасного патриотизма считал своим долгом орать, перекрикивая децибелы. Но сейчас, стоило, откинувшись в кресле, услышать первые ноты, как невеста из какого гейзера возникшее тепло разлилось по всему телу.

— Домой? — поинтересовался чисто конкретный сосед, заметив улыбку на моем лице.

— Домой...

* * *

«Дома» было все как всегда. По мутной серой реке плыла баржа. Девушка с кавалером загорали прямо на парапете набережной, умудряясь не сваливаться в воду во время бесконечных томных поцелуев, заводящих не столько их, сколько рыбачащего рядом пенсионера. У мужичка поплавок уже несколько раз вздрагивал, но, засмотревшись, он не замечал желаний рыбок попасть на его крючок.

Вдохнула опостылевшего и родного запаха реки, теперь можно двигаться дальше.

Я, оказывается, отвыкла от тяжести чугунной калитки своего двора. В школьную пору открывала одной рукой, второй привычно придерживая мороженое или кулек семечек, а сейчас и в двух руках сил не хватило, пришлось плечом подтолкнуть. Но через камень, притаившийся сразу за калиткой, о который всегда спотыкаются чужие, переступила — рефлекс не пропал.

— Вай, кто же это! Анжеликочка! — запричитала соседка Зина. Хорошо зная, как я ненавижу свое старое имя, добрая женщина только так меня и называла. — С лица как спала!

Килограммов десять, исчезнувшие с моих боков благодаря столичным фитнес-центрам, казались соседке крахом процветания.

— Отощала-то! Не сахар жизнь эта московская! И что хорошего в ней! К своим приехала? К какому из них-то? А ни первого, ни второго твоего благоверного-то здесь нет. И Каринка на экзаменах. Бабка только дома. Идка! Ии-даа! Внучатая невестка приехала! — завопила Зина на весь двор. В столице давно достали бы из кармана мобильник, но в этом дворе всю мобильную связь заменяла соседка Зина.

* * *

Ида на кухне резала лебеду. Ах да, сегодня же суббота!

Странное исчезновение двух внуков не отвратило прабабку моих сыновей от обычного для летних суббот собственноручного изготовления пирожков с яйцом и лебедой.

Руки в муке, фартук в муке. Полный противень пирожков налепила, в духовку затолкала, еще один противень заполняет. Потом вдвоем со свекровью всю неделю будут давиться, черствеющее тесто в себя заталкивать да на поджелудочную жаловаться, но ничто не отключит в них этот идиотский рефлекс. Суп варить, так ведерную кастрюлю! Мясо жарить, так противнями! Баклажаны засаливать, так полную эмалированную выварку, никак не меньше. И не видят, не хотят видеть, что жрать это некому. Героическими усилиями обеих гранд-дам поляна вокруг них зачищена, все живое их смертоносными взглядами истреблено, на выжженной поляне две вдовствующие императрицы остались в гордом одиночестве. И в тоске.

— Не объявились?

Плюхнула на пол дорожную сумку и, дорвавшись до кувшина с водой, залпом выпила половину. Забытая августовская жарница родного города разморила.

— Не объявились! — то ли констатировала факт, то ли передразнила меня Ида. — А ты думала, дитятки уже тута и ты тута, снова им мозги крутить, шуны балек! [2]

— Баб Ид, ты пыл-то свой для других нужд побереги! Я вам теперь никто и звать меня никак. У тебя Каринэ есть, ей мозги и прочищай. Кстати, где она?

— В винирситете!

Прабабка моих сыновей за всю свою жизнь так и не научилась правильно выговаривать место работы Карины и к античной литературе, преподаваемой моей свекровью, относилась презрительно. «У Христофоровны гайс [3] медсестра.

И укол сделает, и давление померит. У Марковны дочка в ресторане работает, карбонатика, севрющки всегда принесет... а эта... Доцент!» — вечно ворчала Ида, делая

ударение на первый слог. При своей армянской родословной Ида говорила на странной смеси диалекта донских армян и того нижнедонского говора, на котором общалась моя бабушка, всю жизнь прожившая в казачьем хуторе с названием Ягодинка. Смесь получалась гремучая.

Семейное доминирование мужчин — два сына Карины и два моих сына, приходившихся здешним гранд-дамам соответственно сыновьями, внуками и правнуками, — не примирило их с наличием женских особей в остальном окружающем мире. Эти две дамы были уверены, что, кроме них, женщин на земле быть не должно. Что сказывалось на их отношении к любым представительницам женского пола моложе Идиного возраста, возникавшим в опасной близости от их мальчиков. Женщин они не любили. Не переносили на дух. В университете ходили легенды о Карининой неприязни к женскому полу, что доводило несчастных студенток до предынфарктного состояния. Старшекурсники всегда были готовы объяснить несчастным пташкам, что если их угораздило родиться девками, да еще, не приведи господь, смазливенькими, то нечего и рассчитывать на «хор.» или «отл.» с Карининой подписью. Теперь свекровь доводила до обмороков несчастных абитуриенток.

— Экзаменты, — констатировала Ида, и я с удивлением обнаружила, что, забыв про все свои отдельные питания, доедаю третий пирожок с ненавистной мне лебедой.

* * *

От Иды не удалось узнать ничего, кроме «Гуэлин торе-ес! Пропали внуки, пропали родные». Сидеть выставленной на всеобщее обозрение двора я не собиралась. Дверь, с общей лестницы-балкона ведущая на свекровину кухню, одновременно служащую в этой старой квартире и прихожей, как обычно летом, и не думала закрываться. За десять минут моего пребывания заглянуть в нее успели все соседи: «Ликочка, какими судьбами! Ида, вам синенькие не нужны? Завтра из деревни сват машину привезет, можем пару мешков уступить по-свойски», «Анжелочка, мы и не думали, что ты когда-нибудь вернешься. Отощала-то! Заходи, холодцом угощу. Со дня шахтера остался!» Утраченный за пять лет иммунитет к коммунальному житию автоматически восстанавливаться не хотел. Я с трудом сдерживалась, чтобы не наговорить колкостей всем этим милым людям с их холодцами и синенькими. По всему было ясно, что пора отсюда ретироваться.

— Перцу горького купи и чесноку, огурцы и синенькие закатывать! — скомандовала Ида, будто я объявилась после пятилетнего отсутствия исключительно для того, чтобы консервировать баклажаны.

* * *

С детства, убегая из этого густонаселенного двора, где не то что любой поступок, а любой помысел был выставлен на всеобщее обозрение, я привыкла думать на ходу. В прямом смысле слова, выхаживая идущими вдоль Дона улочками, кривыми, неказистыми, с прорванными трубами и ирреальными провалами во времени. Здесь всегда трудно было понять, «какое, милые, у нас тысячелетье на дворе», начало какого века случилось — этого, прошлого, позапрошлого...

Эти ростовские улочки выломались из времени и пространства и не хотели встраиваться в структуру что советских, что постсоветских реалий. Этому «невстраиванию» не могли помешать ни случающиеся раз в семьдесят лет переименования, ни варварское впихивание меж старых южнорусских домиков кирпичных гробин новейшего псевдоэлитного жилья. Улочки, как упершие руки в бока тетки, своих позиций не сдавали и локтями распихивали все, им чуждое: у новорусского новостроя проседал фундамент, шли трещинами стены, а в стеклопакетные окна, словно ухмыляясь, заглядывали дома и домишки, подобные нашему, — столетиями не отремонтированные, но полные собственной гордости, коей у элитных монстров не наблюдалось.

В детстве я чуралась всех этих рытвин, колдобин, покосившихся стен, полуобвалившихся балконов. Живя здесь, думала, что не люблю этот город — разрушивший, опухавший, не сберегший себя. Но сейчас, взбираясь вверх от Дона, впервые подумала о вещи невероятно простой — легко любить красивое, изысканное, таинственное, всеми признанное. А ты попробуй любить то, что можно любить не глазами, а только ощущением внутренней сути, не разумом, а наследственной памятью всех, живших и любивших на этой земле. И может, только эта любовь есть истина?

Я выросла в Ростове, точнее — в той части нынешнего Ростова, которая прошлые века числилась отдельным армянским городом Нор-Нахичеваном, потом Нахичеванью-на-Дону. И хотя собственно мой род к армянам, даже ростовским, никакого отношения не имел, поселившись еще до моего рождения в этой части города, мои родители запрограммировали многое из того, что потом должно было случиться со мной: и встречи-расставания с мужьями, и рождение детей, и поиск чего-то своего в профессии. Как всегда и везде, каждым своим шагом родители, сами того не подозревая, программируют будущее детей и даже внуков.

Дед моего отца был таганрогским греком, предок его приплыл когда-то на торговом судне продавать колониальные товары, да так и осел в благодатном, хоть и не ставшем столичным городе. Другой дед отца пришел в Таганрог из Грузии, и я сама не знаю, греческая или грузинская досталась мне фамилия. В советском детстве отчего-то больше нравилось думать, что греческая. Так получалось иностранное. По матери я была чистокровной казачкой, если о казачьей густо намешанной крови можно сказать как о «чистой». Мамин брат когда-то в юности прошел по хуторам, где оставались многочисленные кумы, сватья, братья, и собрал редкую для простого крестьянского рода вещь — родословную, доведя ее до неосяземо далекого 1783 года, когда первый из отысканных во тьме истории маминых предков под командованием самого Суворова служил в крепости Дмитрия Ростовского, а после так и остался в донских степях.

Гремучая смесь и без того горячих кровей, в которых, в свою очередь, растворились и персидские, и тюркские, и арабские струи, слишком часто вспенивалась в жилах, доводя до кипения все мое существо. А уклад жизни нашего широкого двора добавлял ко всему прочему еще и армянского темперамента. Внешне я на армянку не была похожа, разве что темные, цепким плющом вьющиеся волосы, черные глаза и южная пышность форм, с которыми в своей новой московской жизни приходилось неустанно бороться при помощи модных диет и фитнес-центров. Но дух соседского уклада вошел в подсознание. Я прыгала через веревочку с Наташами и Наринэ, играла в войнушку с Сережками и Рубенчиками и даже собственным, данным мне от рождения именем была обязана этому армянскому окружению.

По местной традиции меня назвали пышным именем Анжелика, и я с трудом дотерпела до совершеннолетия, чтобы, получая паспорт, сократить ненавистное, блескучее, как обертка дешевой конфеты, имя до краткого Лика. Но девичью фамилию, Ахвелиди, доставшуюся как редкое греческое наследство, и не подумала менять в обоих браках. Собственная фамилия всегда ласкала губы. Вдох и выдох. Восхищение и ирония. Ахвелиди. Лика Ахвелиди — чем не бренд! Не подаваться ж было в двукратные Туманяны.

* * *

Свекровь моя, этот Зевс в юбке, преподавала античную и персидскую литературу будущим филологам, историкам и журналистам. В университете о ней слагались легенды, целые апокрифы. Что-что, а предстать монументальной, словно высеченной из глыбы, свекровь умела всегда. И страху на окружающих напустить — это ее хлебом не корми! Только недавно я догадалась, что поддержание собственного грозного облика дорого обходилось самой свекрови. Ей бы предстать доброй бабушкой с очечками и вязаным чулком. Но какие могут быть чулки, когда вещаешь про Агамемнонов, Медей, на худой конец Шахерезад. Не поймут и не прочувствуют. Вот и приходилось Коре ежеутренне влезать в шкуру олимпийских богов и восточных тиранов и день за днем являть миру свою ужасающую грозную суть.

Как я ее ненавидела! Господи, прости, как же я ее ненавидела! Сильнее этой ненависти была разве что та, которую она испытывала ко мне.

Ее ненависть была двойная. Любая мать тайно или явно не любит женщину, которая однажды приходит, чтобы отобрать у нее сына. Свекровь законно ненавидела меня дважды. Ибо мне удалось увести двух ее сыновей. И, по твердому ее убеждению, сделать ее мальчиков врагами.

— За юбку! — кричала она на весь наш укутанный багрянцем осеннего винограда двор. — Было бы за что, а то за две сиськи и дырку посредине! Мать променяли! Друг друга променяли на девку! Дуру!

Дура, то есть я, стояла этажом ниже, вздрагивая от гула тяжелого металлического балкона, ярусами опоясывающего наш двор и отдающего у меня над головой истерикой каждого свекровина шага. Забившись в угол своего «детского» яруса, где прежде была квартира моих родителей, спорить я тогда не могла. Лишь крепче прижимала собственного сына к животу, в котором уже поселился сын второй. У двух сынов были разные отцы, но обоим эта исторгающая вопли ненависти нахичеванская Иокаста, дважды Эдипова мать, приходилась бабушкой.

Раз в год, в августовскую пору, свекровь была вынуждена слушать не только про родных ее сердцу Сцилл, Харибд и сирен, но и про лишних людей и лучи света в темном царстве. К вступительным экзаменам в университете привлекали всех преподавателей, не деля их по векам мировой литературы.

За время, что я ее не видела и видеть не хотела, свекровь почти не изменилась. Зевс-громовержец на рабочем месте. Заметила меня. Метнула одну из своих молний, от которых лет десять назад я сгорала на мученическом костре. Но не сегодня. Теперь я бронищу на собственной коже отрастила во-о-т такую. Пали не пали, не сожжешь!

— Явилась, не запылилась...

Опередив чахлую абитуриентку, шествующую на экзаменационную голгофу, я плюхнулась за стол напротив свекрови.

— Кора... — впервые назвала свекровь не казуистически громоздким Каринэ Арташесовна, а по имени и на «ты».

Сзади раздался приглушенный звук, похожий на хлопок, наверняка кто-то из напуганных абитуриенток свалился в обморок от подобного обращения с их мастодонтом.

— Кора, у тебя сыновья невесть где, а ты все со мной воюешь, остановиться не можешь. С другими давно пора воевать. Понять только надо — с кем. Излагай факты!

Из опыта работы с привередливыми богатыми заказчиками и их капризными женами я вывела формулу — разговаривать надо кратко, уверенно, в приказном тоне, иначе не выжить. Формулу эту я и решила применять к свекрови. С Корой так никто и никогда не разговаривал, но, похоже, только такой тон она и понимала. Жаль, я этого десять лет назад не знала, глядишь, и жизнь сложилась бы иначе.

Сообразив, что ее молнии от меня рикошетят, свекровь привычно испепелила парочку абитуриенток, не решавшихся вытащить из лифчиков шпаргалки, и, как-то погаснув, перешла к делу.

— Первым Кимка пропал, — начала она историю таинственного исчезновения сыновей.

— Запой?

— Зашился он, что и настораживало. Как зашился, совсем мрачный стал. Дней пять у меня жил, в мастерскую не возвращался. Накануне, в воскресенье, пошел сарай ломать. Арам переехал, его сарай нам отошел. Хороший сарай, новый. А наш столетний был, да еще весной канализацию прорвало, два месяца говно текло...

Как апологет античности, свекровь в бытовой речи позволяла подобные непричесанные слова, которые в ее устах звучали гекзаметром.

— Это когда-то он отдельным домом числился, а теперь грунт просел, одна стена покривилась, сарай закрываться перестал. Твердила этим иродам, чтоб стену поправили и дверь сделали, украдут алкаши все закрутки! А у них все руки не доходили. Тимка денег дал, сказал, чтоб наняла кого-то, умник. Как это наняла?! Соседи скажут, сынов у нее, что ли, нет! Позор, да и только.

Еле-еле удалось перевести свекровь с вечной темы соседей на тему пропажи сыновей.

— Все барахло в новый сарай перенесла. Ким пошел старый ломать. Сарай просто так не ломался. Это новоделы через год рушатся, а наш сарай тыщу лет мог простоять! Сначала грохотало на весь двор. Ким по камням долбил, а Зинка вопила. Потом шум стих, Кимка побежал звонить этой... своей второй...

Мою последовательницу в брачном союзе с ее сыном, как и некогда меня, называть по имени свекровь принципиально не желала.

— ...а сарай забросил. Я все спрашивала, когда доломает, он отвечал: «Погоди, мать, тут дела такие великие, может, сарай наш нас еще прославит». Я его уж прославляла-прославляла! Когда на другой день доламывать собрался, нарисовалась эта блядина, Элька твоя! Вся стоп-сигнал. Сама в чем-то красном, и машина красная, люди знающие говорили, чуть ли не дороже их дома стоит, — «Феррари», кажется. Вроде как бумажку, по факсу полученную, Киму привезла, а сама задом перед ним так и вертит, позы ахчих! — выругалась по-армянски свекровь и продолжила: — Ким почитал, в лице переменялся. Подолбил стенку сарая, подолбил, потом пиджак схватил и вышел. И не вернулся ни к обеду, ни к ужину. Элька наутро снова нарисовалась, еще какую-то бумажку с факса принесла, но Кима уже не

было.

— А бумажка эта вторая где?

— Кто его знает! Сунула куда-то, не до бумажек мне было. Ты вообще слышишь, что я тебе говорю, или мозги как всегда не в том месте! Я говорю, Кимка вышел, и все! А она мне про бумажку с факса...

— Хватит, Каринэ, не стражай. Я уже тобою пуганая-перепуганая. Не боюсь больше. В бумажке той могло быть что-то важное.

— У подруги своей бандитской спроси, если ее куриных мозгов хватило, чтоб три строчки запомнить.

— Спрошу-спрошу, не кипятись. Я сегодня и без тебя кипяченая. С Кимом понятно. То есть понятно, что ничего не понятно. А Тимур?

— Что Тимур? Я Кима день ждала, думала, пьет где-то, на второй день Тимуру позвонила. Тимка приехал, все оглядел, сказал, ждать будем, а он корреспондентов из «Криминального вестника» на поиски... как это он сказал... А, «зарядит». Так и сказал: «Бойцов из криминалки заряджу!» Позвонил куда-то и пошел сарай доламывать — Зинка уже на весь двор орала, что бульжники посреди дороги валяются. Пошел Тимка ломать, тут эта лярва снова нарисовалась.

— Элька? — догадалась я.

— Она самая. И давай теперь перед Тимкой задом туда-сюда. Вроде о тебе спрашивать, но не до тебя ей было, уж мне поверь! Бандита ей своего мало, еще и Тимке мозги крутить. Повертела задом, повертела, воздушный поцелуйчик отвесила и умелась. А Тимка покурил-покурил, из ворот вышел, и все... Ни слуху, ни духу...

Веселенькая история! Если бы бывшие мужья терялись по одному, то это не впервой. Мои экс-благоверные и не на такое способны. Но чтобы оба разом, из одного места! Да хоть место было бы приличное, а то сарай допотопный. Все это было более чем странным.

— А чем они в последнее время занимались? — спросила я и поняла, что вопрос риторический. Вряд ли сорокалетние мальчики стали бы докладывать мамочке, с кем водятся. Хотя с этой мамочки станется проверить весь список — с этим дружи, а с этим не дружи.

— У Кимки заказ странный был. Что-то восточное. К нему араб какой-то навевывался, может, даже шейх.

— Так уж шейх... — Вспомнила араба, вылезавшего из длиннющего лимузина перед воротами постпредства, и хмыкнула: не слишком ли много шейхов в нашей жизни развелось? Свекровь обиделась.

— Нечего хмыкать. Можно подумать, одна ты у нас талантливая, столичная. — «У нас» по отношению к бывшей невестке, с которой бывшая свекровь до последнего телефонного звонка не разговаривала лет пять, звучало сильно. — Кимкины работы в последнее время несколько раз покупали, даже за границу. Не то что при тебе! Вот и араб этот Кимушкину картину купить хотел, только Ким уперся и не продавал.

Я не стала возражать — без толку. Спросила, чем помимо работы занимался Ким.

— В археологию ни с того, ни с сего ударился. На этой почве с этим бандюком Ашотом, мужем твоей Эльки, сошелся.

— Между бандюком и археологией какая связь? — не поняла я.

— А такая, что Элька с Ашотом детей учиться отправили в Англию, а эти малолетние бандиты там археологией увлеклись. Даже на раскопки ездили куда-то в Рим. А как на

каникулы домой приехали, так и давай здесь все копать. Ашот сначала их от ментов да от властей отмазывал, детки все улицы перерыли. А потом вдруг сам увлекся. Меценатом заделался. Археологическое общество спонсировать стал, вместе с Кимкой проекты обсуждал. То они у нас во дворе дома первых армянских переселенцев раскопать хотели, то крепость на Кировском. — К постсоветским переименованиям свекровь так и не привыкла и городские улицы звала по-прежнему.

— А Тимка? — поинтересовалась я судьбой второго мужа. — Все на баррикадах свободы слова?

— Потиху стал. Не то что при тебе! — Чтобы свекровь — да не уколола! Не преминула подчеркнуть, что в пору наших браков ее ненаглядные мальчики вели себя не в пример хуже, чем без моего тлетворного влияния. — Программу свою вел, но без скандалов обходилось. Его даже на премию «ТЭФИ» выдвинули.

— Как выдвинули, так и задвинут! — констатировала я. В прошлом году, оформляя квартиру одной из телезвезд, имела возможность наглядно представить себе уровень столичных телевизионщиков в сравнении с телезвездами провинциальными, к разряду каковых последнюю чертову дюжину лет и относился мой экс-муж номер два. — Там понты другие. Тимке не дотянуться.

Свекровь кинула на меня очередной огнемётный взгляд, но сама о него же и обожглась.

— А супруги их законные? Ничего не знают?

Свекровь покряхтела. Я держала паузу, с детства запомнив совет Джулии Ламберт из культового фильма советских времен, что паузу надо держать сколько сил хватит. Я и держала, не собираясь помогать свекрови наводящими вопросами.

— Не живут они с супругами, — сдалась наконец свекровь.

— И давно?!

— Ким года два... А Тимур прошлой осенью от своей третьей сбежал.

Это было что-то новенькое. Прежде о matrimониальных переменах в жизни моих экс-супругов мне не сообщалось. Исключительно с благими намерениями, полагаю, чтобы не зазналась и не считала их очередные разводы своей заслугой.

— Все равно придется с их последними женами поговорить. Может, они что-то знают.

— Попробуй! — величественно дозволила свекровь. — Но едва ли они помогут. Кимкина последняя в Эмираты работать по контракту уехала, туда он ей и звонил. А Тимкина третья хоть в его телекомпании работает, но вряд ли что знает. Прогноз погоды! Это он от твоего большого ума в такую противоположность кинулся, — свекровь снова не преминула найти корень зла во мне.

— Час от часу не легче! Ладно. Принимай экзамен, не то барышни в обморок сейчас свалятся. А я пойду, поброжу, может, чего и надумаю.

— Крупной соли купи, а то у нас закончилась! Банки закатывать, а соли нет.

И эта туда же, вторая баба Ида! А еще доцент.

* * *

В Тимкиной телекомпании мухи от скуки дохли. Как прилежная жена телевизионщика, за недолгое время совместной жизни я уяснила, что лето — время для телевидения провальное. Зрители отъезжают на курорты и дачи, которые здесь, на юге, называют

«садами», увозя с собой свое зрительское «телесмотрение», а с ним и рейтинги, а с ними и рекламные деньги. Помнится, Тимка жутко злился, когда я не понимала, почему его летняя «черная» зарплата на порядок меньше зимней.

— Рекламных денег меньше и доходов с них меньше, чего тут не понять! — кипел Тимур.

Припомнив давние объяснения, я ничуть не удивилась, что в прежде кишачем людьми ньюсруме сейчас сонно замирали над клавиатурой компьютера две барышни. В одной из них я узнала новую Тимкину жену, теперь уже тоже бывшую, которую Каринэ и называла «прогнозом погоды». «Третья бывшая» работала тем, что Жванецкий как-то назвал «сексуальнейшей борьбой циклона с антициклоном», демонстрировала собственную фигуру на фоне метеосводок, вплетая градусы и метры в секунду в рекламные призывы спонсоров. Самое хлебное на провинциальном ти-ви занятие. Здесь не столица, найти другого мужа-жену здесь проще, чем найти другую работу на телевидении, так что моему бывшему второму мужу и его бывшей третьей жене хочешь не хочешь приходилось сохранять высокие отношения.

«Третья бывшая», в пору нашего недолгого брака ходившая у Тимки в стажерках, сделала вид, что не узнала меня, — не вышло. Выражение глазок выдало ее особую ко мне неприязнь. Сделала вид, что ей срочно потребовалось в монтажку, готовить прогноз погоды для вечернего выпуска новостей — снова не вышло. Монтажка была безнадежно занята, сквозь матовое стекло виднелись два силуэта, слившиеся за монтажным столом в длительном поцелуе. Пришлось «третьей бывшей» отвечать на мои вопросы.

— На кого Тимур в последнее время компромат нарывал?

— Тихо сидел. Ничего и не рыл. В соседнее ханство разве что смотался...

— Ханство?!

— Говорю ж, в соседнее. Наше простое российское ханство. Но кассеты из той командировки все здесь. Их никто не крал и красть не собирался. Вряд ли он компру снимал. Сюжет заказной был, заплачен заранее, причем официально.

— Настали светлые времена! Джинсу легализовали! — Все из той же недолгой жизни с одним из телегероев современности я знала, что заказные, оплаченные черным налом сюжеты на телевидении зовутся «джинсой», а почему они так зовутся, похоже, телегерои и сами не знали.

— Пиарщики Хана вовремя подсустились, окучили соседние регионы.

— Хана?

— Ну, президента. Все одно — хан.

— А ребята из «Криминального вестника» ничего не нарыли? Кора говорит, что Тимка после пропажи Кима подключить их собирался.

При имени нашей с ней общей свекрови мою последовательницу передернуло. В ее сознании свекровина казуистика была на добрый пяток лет свежее, чем в моем.

— Про криминальщиков не знаю. Зайди к ним сама. Кать, а Кать, уголовники где? — амебным голосом спросила «третья бывшая» у телефонной трубки.

— Нет их щас. На мокруху поехали. Там кого-то из угольщиков в области завалили. Трупик отработают и к вечеру будут, — поведала недавняя Тимкина жена тоном, каким можно говорить о возвращении съемочной группы с показа мод. Впрочем, для телевизионщиков это было одно и то же.

Мастерская Кима была на замке. На том же старом амбарном замке, который висел на этой двери и добрый десяток лет назад, когда наша институтская группа в этой мастерской сдавала Киму Кимовичу зачет по рисунку. И ключ от амбарного замка лежал все там же, в пустом трехлитровом баллоне, притаившемся в коридорном шкафу, полном банок с засохшими красками, воняющими растворителями и пачкающимися грунтовками.

Ключ вошел в замок, проржавевший с поры, когда я последний раз им пользовалась, и дверь в мастерскую открылась. Собственно, по меркам столичных художников трудно было назвать мастерской эти полторы сырые полуподвальные комнатенки. Но в сем нехудожническом городке, где в советскую пору даже такие хоромы были положены только членам Союза художников, а в похожих соседних комнатенках не ваяли, а жизнь свою жили целые семьи, Ким считался редкостным везунчиком. В ту пору мастерская официально числилась не за ним, а за натуральным членом официального художнического союза, за которого Ким периодически выполнял поденщину — портреты передовиков производства малевал, гигантские панно во дворцах культуры и прочие радости официоза. Сам член Союза, утомившись от восхождения на официальный олимп, в нем и заснул похмельным сном, навсегда утратив тягу к прекрасному, и плесневелый подвал оказался в полном Кимкином распоряжении.

В мастерской все было как всегда — то есть вверх ногами. Первый и последний раз я попыталась навести здесь порядок вскоре после официального вступления в брак. Как черт от ладана сбежав от зашедшего к матери Тимки, придумала себе оправдание, что надо у мужа в мастерской порядок навести. Кимка тогда уехал к друзьям в Танаис, раскопанный на полпути от Ростова до Таганрога древнегреческий город. А я от дикой злости на себя, на Тимку, на Кимку, на весь мир, за полдня навела в этой годами не убираемой мастерской почти стерильный порядок. И, гордая собой, улеглась на кушеточке спать. Проснулась от дикого рыка Кима. Никогда в жизни, ни до, ни после, не слышала, чтобы Ким так кричал. Я вообще не слышала, чтобы Ким кричал. Напротив, показателем его ярости всегда был не увеличивающийся, а уменьшающийся звук, чем тише он говорил, тем становилось жутче. Но в тот раз он орал, отчаянно и самозабвенно. Оказывается, вместе с грязными дощечками, служившими законному супругу палитрами, я выбросила единственно возможное сочетание красок, дикими муками найденное им для цвета ноябрьского неба, и в качестве старой испачканной тряпки снесла на помойку шедевр новейшей инсталляции, подаренный гостившим у Кима немецким художником.

— Была б хоть идиотка художественно необразованная, не так обидно было бы! — вопил муж. — Так ведь не идиотка же! Чему я учил тебя полтора года?! За что тебе зачеты ставил?! Чтобы ты никакого нюха на настоящее в искусстве не выработала?!

«Настоящее» пришлось отрывать на общей помойке. Удачно найденный колорит ноябрьского неба в мусорном баке успел дополниться пылью из пылесоса — отчего, на мой, по мнению мужа, нехудожественный взгляд, предзимнее небо стало только правдоподобнее. Инсталляцию, в свою очередь, украсила варварски вскрытая ножом банка «Тюльки в томате», в чем, впрочем, при желании тоже можно было найти особый философский смысл.

Сейчас инсталляция эта смотрела со старого шкафа, на котором кучей были свалены шедевры Кимки. А я осторожно, как в ледяную воду, шаг за шагом входила в пространство,

энергетика которого, судя по всему, не должна была меня принимать. Или, напротив, должна была всосать меня и не выпускать обратно. Слишком больно я сделала хозяину этого пространства. И слишком поздно это поняла. Но тогда я так панически боялась собственной боли, что не замечала, как делаю больно другим.

* * *

За печкой, натуральной побеленной печкой, которую Кимке зимой приходилось топить углем и дровами, стояли несколько холстов. Зная, что в этот угол Ким обычно составляет важные для себя работы, достала их, расставила вдоль печки.

... дикие олени, бегущие куда-то к закату...

... странные перемешанные краски и контуры, складывающиеся в непонятные лица...

... мой старый портрет, нарисовав который, Ким впервые попробовал меня поцеловать...

... контуры нашего двора — край лестницы, старые камни кладки сарая. Я, или мне показалось, что это я, выходящая из какого-то дьявольского пекла. Сам Ким, мелькающий где-то на краю этого заката, в самой его огненной части превращающегося в рыжие волосы женщины-птицы, нависающей и надо мной, и над Кимом, и над миром.

Странная для Кима работа. Совсем не похожая на все, что делал он прежде. Не узнай я отдельные характерные для бывшего мужа мазки и сочетания красок, решила бы, что это чья-то чужая картина, случайно занесенная в его мастерскую. Но это был какой-то его собственный безумный сюр.

... снова эта незнакомая рыжая женщина на стандартном портрете. Узкие-узкие губы, не самые добрые глаза. Неужели ревную? Быть такого не может. Или придираюсь? Или, как нормальная баба, не прощаю иного женского присутствия в жизни любого из своих прежних мужчин?

Прошлась по мастерской, едва не стукнувшись головой о низкую притолоку, ведущую из крохотных сеней в собственно комнату. Что-то в ауре этой мастерской было не то. Что-то не так. Хотя с чего я взяла, что через столько лет придя из иной жизни, с ее коттеджами и дворцами, которые я вынуждена была декорировать, в эту нищую полуразвалившуюся халабуду, я найду дверь в ее прежнюю ауру. Преуспевающая столичная дизайнерша не может смотреть на этот обломок собственного прошлого глазами истерзанной провинциальной девочки, которая чертову дюжину лет назад пришла сюда впервые. И почувствовала, что здесь меньше болит душа.

* * *

Металлический грохот в сенях заставил вздрогнуть. Выглянула из Кимкиного полуподполья. Общая дверь на улицу была приоткрыта. Хотя я помню, что плотно прикрыла ее, зная, как здешние постоянные обитатели ругаются на сквозняки. В сенцах со стены свалился огромный таз, в котором баба Нюся из третьей квартиры всегда летом варила варенье. Аромат абрикосов и плавящейся сахарной патоки разливался по сырому дому, проникая даже в Кимкины холсты. Невзирая на сюжеты, в них каждое лето возникали

абрикосовые оттенки и сладостная тонкость линий. Варенье бабы Нюси ворожило.

Попыталась повесить таз на место — не дотянулась. Бабе Нюсе таз с его законного места снимал обычно Ким. Пошла на второй этаж — спросить, куда убрать с дороги сие сокровище.

— Не варю, унученька, не варю. До сада сваво уж и не доеду — ноги болять. И абрикоса не та пошла, мелкия, кисляя. Дерево, оно ж, нык, как я, отжило свое. Таз, почитай, года три без дела висит. А свалился чего, бес его знает. Мож, домовою какой завелся.

Баба Нюся дошаркала до облупленного синего стола, служившего одновременно и шкафом, кряхтя нагнулась, достала прикрытый пожелтевшей марлей трехлитровый баллон с мутной закваской, плеснула в чашку с навечно въевшимися в ее стенки чайными следами.

— Хлебни кваску, а то парит нонче. Думала, росказни это бабок необразованных... — к таковым баба Нюся себя никак не относила. — ...Но чего-то у нас тут творится. На той неделе ночью усе горело. Просыпаюся — зарево. И не знаю, куды бечь. Полыхайть все подо мною. Думала, стерская Кимушкина горит, мож по пьяному делу пожег чтой-то.

Слово «мастерская» баба Нюся всегда сокращала до более короткого «стерская».

— Пока оделася, да до низу дотелёмкала, тихо — ни дыма, ни гари. Не приснилось ж мне. Вот те крест, не приснилось! А на Спас привидение приходило.

— Так уж приходило! — Я уже не знала, как потактичнее ускользнуть от словоохотливой старушки. — Привидения, скорее, летают.

— Приходило-приходило. Привидение. Усе белое, размахастое, только нимб на голове черный. Нимб золотой, поди, должен быть. А энтот черный. И привидение тожить это в Кимушкину стерскую шась!

— А вы не ходили смотреть, что за привидение и что ему в Кимкиной мастерской надо?

— Боязно. Из двери сунулась как есть, в рубахе, простоволосая. Хотела шаличку накинуть, поглядеть, да ноги не слушают. И околела враз...

— Привидение, значит, с пожаром, — повторила я, чтобы хоть что-то говорить, пока буду пятиться к двери. В сумке весьма кстати заверещал мобильник.

— Ты где?! Соли и перца купить не забыла?! — инспектировала меня свекровь. Интересно, кого она инспектировала в мое отсутствие?

— Извините, баб Нюсь, срочно вызывают! — пробормотала я и быстро выскользнула за порог. Теперь осталось только закрыть дверь в Кимкину мастерскую. Добро его вряд ли кому нужно, но алкаши залезть могут. Так что лучше замок навесить.

Вошла в мастерскую забрать оставленный на столе замок и ощутила странное беспокойство. Сколько меня здесь не было — минут пять-семь, не больше. Но что-то поменялось в самом чуть затхлом, пропитанном красками воздухе. Словно тревога какая-то разлилась.

С трудом повернула ключ в заржавевшем замке, потом долго не могла его вынуть. И не успела дотянуться до трехлитрового баллона на полке, чтобы спрятать ключ на его обычное место, как поняла, что меня встревожило. Перед тем, как загрохотал таз, я рассматривала картины. Они стояли, прислоненные к побеленной печке. Последней я смотрела эту странную мистерию с нашим двором и женщиной-пожаром. Но сейчас, закрывая дверь, я последним увидела мой старый портрет. И если я заметила его, значит, он оказался сверху остальных.

Снова вставила ключ в замок, открыла дверь и вошла внутрь. Так и есть. Поверх всех выставленных около печки работ осталась лишь я в темно-бурых тонах. А где пожар?

Перебрала картины, прислоненные к печке за моим портретом. Все не то. Странно. Неужели кто-то мог специально сбросить таз, чтобы выманить меня из мастерской и забрать картину? Зачем?

* * *

Снова затореадорил мобильник.

Со съемной подмосковной дачи звонила нянька: Тимыч налил Кимычу клея в ботинок, а Кимыч искупал Тимыча в бочке — на подводника готовил. Засунул голову младшего в бочку и не давал вынырнуть — нормальная счастливая братская жизнь!

— Мам, я тебя люблю!

— Приезжай поскорей!

— Мам, Пашка дерется!

— Это Сашка дерется! Скажи ему, что нельзя обижать младших!

— Так он всю жизнь будет младшим, и что мне теперь, его всю жизнь не обижать?

— Мам, привези бионикла!

— Папам привет передай, — по очереди кричали в трубку два моих чада.

С биониклом было проще — теперь что столица, что провинция, в любом детском магазине все игрушки на выбор. С папами дела обстояли сложнее. Прежде чем передать им привет от сыновей, их надо было найти.

(ЖЕНЬКА. СЕЙЧАС)

Меня не было.

Я умерла. Закончилась. Растворилась. Превратилась в пепел, рассеянный над этим злосчастливым океаном, который все-таки нас разделил.

Я закончилась в миг, когда, отрадовавшись удачно завершившейся эпопее с Магеллановой жемчужиной и не успев решить, что же теперь делать с таинственным счетом тихоокеанской диктаторши, открыла машущую крыльями летучей мыши электронную почту и увидела письмо от Джил — американской жены моего мужа...

«...airplane crash...»

Я исчезла вместе с самолетом, который увозил от меня Никитку и увез его теперь уже навсегда.

Я растворилась в тот миг, когда что-то сломалось в этом проклятом «Боинге», и жизнь моя вместе с этим «Боингом» рухнула в океан.

Отозванный из своего телевизионного «космоса» Димка в тот же день улетел в Штаты. Оpozнание, символические похороны, оглашение завещания (оказывается Китка, как порядочный американец, успел оформить и завещание), некий раздел собственности с американской семьей, так и оставшейся для погибшего Никитки официальной, все эти ненужные для нас формальности свалились на Димкины плечи. А я сидела в углу своего дивана-космодрома, выдвинутого по случаю ремонта в центр комнаты и не шевелилась.

Я не могла дышать. Не могла чувствовать. Не могла хотеть. Меня не было.

Не было.

И больше быть не могло.

(ИВАН ЛАЗАРЕВ. 1747–1783 ГОДЫ)

«Злодей прошедшей зимой занимался только тем, что калечил, душил и сжигал людей заживо. И все это с целью добыть деньги и показать себя грозным государем, наводящим ужас на весь мир.

Не насытившись злодействами, негодяй явился в столицу Хорасана, где возвел семь очень высоких башен из человеческих голов. Затем ему пришло в голову предать мечу всю свою личную гвардию, состоявшую из четырех тысяч человек. Но они узнали о намерении монарха, и десяток самых храбрых явились ночью в шахский шатер, и разрубили тирана на куски, и послали их во все концы страны. Голова же была отделена от тела и водружена на острие копья...»

Да-а! Брат Себастьян, викарий из Джульфы, чьи мемуары о христианской миссии тридцатипятилетней давности взялся в долгой дороге читать Иван Лазаревич, краски явно сгустил. Но все равно не передал и малой толики того ужаса, который наводил на своих подданных грозный Надир-шах.

Это здесь посередь бескрайних южнорусских степей страхи давней персидской жизни кажутся делом давно забытым. Когда позади уютный столичный Петербург с доброй Императрицей, расположенной к нему более, чем ко многим ее советникам, а впереди исполнение миссии, ставшей для него оплатой давнего долга, можно и не помнить о том, что запало в душу в детские годы.

Не был он тогда еще ни русским графом, ни действительным статским советником, ни влиятельным сподвижником Ее Императорского Величества. Даже Иваном Лазаревичем Лазаревым еще не был. В той далекой жизни звали его другими именами, в зависимости от того, куда заводила его семью торговая и прочая царедворная надобность, коей под цокот копыт и скрип колес их бесконечных странствований с севера на юг несколько веков промышляли все в их старинном, известном с XIV века, роду. Род их, вышедший из армянских земель, как только не кликали в разных странах, и Газарянами, и Егиазарянами, но сами себя звали Лазарянами.

При рождении армянского мальчишку нарекли Ованесом. Но когда пришлось бежать на север, поспешно оставляя позади лишившуюся своего правителя, но еще не рухнувшую великую империю Надир-шаха, и навсегда переходить под покровительство российской короны, то и имена и фамилия их переписались на российский лад.

Надир-шах был зарезан через три месяца после трапезы, к которой он пригласил армянского купца Лазаря Лазаряна. Двенадцатилетнему Ованесу, выросшему в стране жестокого правителя, где громко возносились лишь хвалы мудрости Надира, а рассказы о его жестокости могли отыскать чужие уши даже в родных стенах, казалось невероятным, что кто-то может посягнуть на жизнь шаха. Надир казался вечным. Но теперь, три десятка лет спустя, обладая его нынешними знаниями и опытом придворной жизни, Иван Лазаревич мог

понять все, не осмысленное мальчишкой Ованесом.

Годом ранее Надир обложил феодалов новыми налогами. Из Систана сборщики податей должны были привезти налог на неслыханную прежде сумму в 500000 туманов. Но взбунтовался Систан. Не только простолюдые, но и феодалы отказывались безропотно платить шаху. Беспорядки перекинулись и на близлежащий Белуджистан. И в жарком воздухе Персии звуком лопнувшей в кеманче струны зазвенело: «Мятеж!» Посланный на его подавление племянник Надира Али Кули-хан вдруг перешел на сторону мятежников. Надир приказал заживо сжечь его сыновей и ослепить жену и мать, а сам отправился в поход.

Что случилось там, в лагере под Хабушаном, теперь уже не узнает никто. Вот брат Себастиан пишет, что тирану пришло в голову предать мечу всю свою личную гвардию, состоящую из четырех тысяч человек. Откуда католическому священнику знать, что приходит в голову восточному правителю? Западу и Востоку друг друга не понять. В этом Иван убеждался уже не раз. На этой разности сознаний делал свою выгоду его отец, этот промысел, выстроенный на разностях Запада и Востока ему и завещал.

Вряд ли можно верить священнику, как и прочим «очевидцам». Сам он помнит лишь одно — гонца, душной июньской ночью 1747 года ворвавшегося в их дом. Губы воина потрескались от долгой скачки и кровили, бурая лента кровяного сосуда, крутым бугром выступившая на шее, отбивала дикий ритм его сердца.

— Шах зарезан!

Столь стремительно Ованесу приходилось действовать лишь два раза в жизни — во время того мешхедского побега и в недавнем алмазном деле, возведшем его к вершинам уже российской власти. Той персидской ночью надо было бежать. И надо было исполнить долг.

После трапезы с шахом Лазарь понял, что Надир не жилец, смерть уже явила ему отблеск своего холодного огня. Все, что из нажитого в Иране можно было отправить в Россию, Лазарь отправил заранее. Во дворе дома всегда ждали готовые лошади, а в арбу задолго до рокового дня было уложено все самое необходимое.

Отец платил огромные деньги нескольким воинам из ближней охраны шаха, и платил не зря. Вот и тогда он отдал гонцу сто туманов за принесенную прежде ему весть и еще триста туманов за то, чтобы лошадь гонца «расковалась» в пути. И захромала. И продлила этот путь на три часа. По сто туманов за каждый час лошадиной хромоты!

— Запрягай! — скомандовал отец.

Слуги закладывали в повозки последние тюки и сундуки, рыдающие няньки, которых приходилось бросать в Мешхеде, несли в карету спящего Екимку, прислужницы под руки вели тяжелую мать, растирая ей виски и то и дело поднося к носу флаконы с благовониями, способными унять разыгравшуюся мигрень. Ованес хоть и не садился еще за стол со взрослыми мужчинами, но многое уже мог понять и боялся, чтобы мать не разродилась в пути.

Отец хотел как можно скорее отправить семью, а сам спешил в шахский дворец, дабы исполнить то, что было обещано. Но задумался, не зная, как все устроить. Как пройти на женскую половину шахского дворца и как пробраться в тронный зал по узкому тайному ходу, протиснуться по которому под силу лишь хрупкой наложнице...

— ...или ребенку, — договорил за отца Ованес.

Обряженный в одежды одной из материнских прислужниц двенадцатилетний мальчик, лицо которого скрывал некаб [\[4\]](#), и впрямь мог сойти за прислужницу из шахского гарема.

Он и отыскал Надиру и тайным ходом, заранее сообщенным Лазарю Надир-шахом,

вывел ее на шахскую половину, прямо к подножию Павлиньего трона. Драгоценный трон, как и весь тронный зал, охраняли снаружи три десятка воинов, миновать которых было невозможно. Но в самом зале близ трона не было ни одного охранника. Так решил шах, дабы сияние золота и драгоценных камней не мутило сознание воинов. И возникнув из потайного хода почти под самым тронном, Ованес и Надира смогли уйти обратно в него, никем не замеченные. Только уходить пришлось с пустыми руками.

Рядом с тронном было несколько прикрытых златоткаными коврами мраморных плит, по которым ступали лишь ноги повелителя. Прочим под страхом смерти было запрещено подходить к тронном ближе, чем на двадцать ступней. Ованес и Надира подошли. И открыли известную Надире плиту. И достали из тайника ларец. Но ларец, в котором хранились главные алмазы Надир-шаха, был пуст. Обрезана была и золоченая нить, на которой с балдахина Павлиньего трона к глазам шаха свисал желтый алмаз с двумя надписями. Кто-то успел побывать около шахского трона прежде них.

У стен этого дворца действительно были уши, и то, что шах шептал в пылу любви своей любимой наложнице, стало известно кому-то еще. Да и деньги Лазаря оказались не всемогущи. Или у кого-то было больше денег? Или другой гонец принес кому-то вест о кончине шаха быстрее, чем Лазарю?

Тем же путем выбрались к потайному выходу из дворца, около которого уже ждала кормилица со спящим наследником на руках. Надира сказала что-то кормилице, Ованес не смог разобрать что. Он понимал, что нельзя терять ни минуты. Если алмазы исчезли, значит, вест о кончине шаха уже не тайна и любое промедление теперь грозит им смертью. Надо скорее выбираться за третью ограду, где с запряженной повозкой ждет отец.

Кормилица удивленно вскинула брови, но Надира тихо, но резко повторила сказанное вновью. Кормилица передала ребенка Ованесу и исчезла. Он же в женском наряде изображал прислужницу и должен был теперь под покровом своего сложного платья прятать малыша. Ребенок, почувствовав не привыкшие к ношению детей руки, зашевелился и зачмокал во сне, закривил рот, грозя разреваться. Нужно было уходить. Ованес потянул персиянку за край ее накидки, но женщина не шевельнулась.

— Надо скорее! — Шептал мальчик сквозь мешающий ему говорить некаб. — Убьют!

Но женщина словно вросла в землю и только смотрела на дверь, за которой исчезла кормилица. Ованесу казалось, что время замерло, а сердце стучит так громко, что слышно даже в шахском дворце. Сейчас от этого стука проснется ребенок, закричит, и тогда смерть неминуема.

Женщина не шевелилась.

Зато зашевелился ребенок и стал издавать пока еще тихие, но все нарастающие звуки. Женщина чуть повернула голову, посмотрела на не справляющегося с ребенком мальчика. Из глубин сложного одеяния вынырнула рука наложницы и протянула украшенный камнями флакончик.

— Капни ему в рот. Уснет.

Едва справляясь с непривычной женской одеждой и шевелящимся ребенком, Ованес с трудом смог раскрыть флакончик. Капли попали не в рот, а на лицо малышу, чуть терпковатый запах полыни и еще чего-то неведомого, сладко-дурманящего, поплыл вокруг. Ребенок, чуть поморщившись, облизнулся и начал успокаиваться.

Теперь, проезжая по разморенной летней жарой придонской степи и вдыхая обычный для этих мест запах полыни, Иван Лазаревич как наяву вспомнил ту мешхедскую ночь, и

стук сердца, и дрожь в руках. И ту грань азарта и ужаса — что, если не успеем?!

Ованес всем существом своим чувствовал, как истекают минуты. Словно в момент, когда на их пороге возник шахский охранник и с его пересохших губ горячим шепотом сорвалось «Шах зарезан!», кто-то перевернул огромные песочные часы и пустил быстрый бег отведенных им минут. Скоро оплаченное отцом время лошадиной хромоты истечет, гонец доскачет до дворца, и рухнет эта мертвенная тишина, и взорвется, и погребет под собой эту женщину, и этого ребенка, и его, совсем чужого им, не имеющего никакого отношения к этому проклятому шаху мальчика Ованеса.

Кормилица возникла из потайной двери, когда в песочных часах времени, отмеренного им для побега, сквозь тонкий перешеек протекали уже последние песчинки и Ованесу казалось, что он сам превратился в сосуд, наполненный страхом. Сейчас этот страх начнет выплескиваться через край.

Кормилица протянула Надире... ларец с детскими погремушками. Ованес не поверил глазам — и этих игрушек они ждали, рискуя жизнью?! Но Надира, тонкой рукой перевернув погремушки, кивнула.

— Можем идти.

И указала кормилице на потайную дверь, чтобы та возвращалась во дворец. Лишних мест в кибитке беглецов не было...

Отец, который хорошо знал систему охраны шахского дворца, ждал за третьим кольцом, которое — в отличие от первых двух заметных всем колец — составляли воины тайного отряда Надир-шаха. Переодетые в простолюдинов, сливаясь с тенями от стен и деревьев, они совершали непрерывный обход дворца на расстоянии семи улиц от первого «открытого» оборонительного поста. Пятнадцать сменявших друг друга тайных агентов опоясывали дворец, появляясь на одном и том же месте с разницей в три-четыре минуты. Главное было не попасть в эти минуты, а вписаться в их срединную волну.

— ...утсун ут, утсун ины, иннысун ^[5]...

Вжавшись сам и затащив Надиру в небольшую арку одного из домов и моля Бога, чтобы в доме этом не оказалось собак, Ованес, как научил его отец, считал до ста. Лучше до ста десяти. Тогда больше шансов не спугнуть своими шагами впереди идущего тайного охранника и не попасть на глаза идущему следом.

— ...хайрур ины, хайрур тасы ^[6], — досчитал он до ста десяти. На всякий случай произнес и «хайрур таены мэк», чтобы магия трех единичек в числе сто одиннадцать охранила их, и потянул Надиру за собой.

Еще через три улицы их ждал отец.

— А ничего нет... — разочарованно сказал Ованес, передавая спящего ребенка со своих затекших рук в руки отца. Но в глазах Надиры, едва видных сквозь прорезь накидки, мелькнул странный блеск. Или от пережитых волнений и страха ему это только показалось?

* * *

С тем и уехали. Даже не найдя обещанных правителем пяти алмазов, Лазарь Лазарян не смог бросить женщину и ребенка. Увез их в Россию, себе на беду. Или на счастье?

Теперь уже Иван Лазаревич не знал, как точнее ответить на этот вопрос. Строки записок католического аббата вызвали давние детские воспоминания. И, словно заново

вчитываясь в старую забытую книгу, он смог увидеть то, что открыто глазам мальчика, но доступно лишь мудрости мужа.

Дабы не мозолить глаза и не волочить на хвосте идущих по следу ищеек, в полдень века они поселились в Астрахани. Надиру, которой и лет-то было едва ли многим больше, чем Ованесу, выдали за дочь отца-матери, и, как след, за сестру Ованеса и братьев его. Из Надиры ее переименовали в Наринэ, а сына ее, малолетнего шахзаде Надира II, который для всех посторонних приходился отцу внуком, а им племянником, для чужих ушей стали звать в честь их деда Назаром.

Позднее, когда южные просторы уже сокрыли новоявленную Наринэ и Назара, выписанный из Парижа губернёр пересказывал им с братьями сказки «Тысячи и одной ночи». Болтливый Минас, Минька, не удержался, спросил у мосье Доде про Надиру.

— На колени пала, голову ниц. И так лежала, пока матушка батюшку не увела.

Мосье Доде поведал о многобрачии мусульманских мужчин.

— Она думала, что отец ее во вторые жены забрал! — радостно засмеялся Минька. — То-то матушка криком зашлась, все требовала свезти нечестивицу со двора.

Ованес разозлился на брата, что тот едва не выдал их семейную тайну. Но сейчас живо вспомнил ту картину — распластанная ниц простоволосая наложница, ее босые ступни на холодном полу, униженные браслетами щиколотки. И покорность во взгляде, внушенная ей с детства покорность новому мужчине, новому господину. Не может быть, чтобы в батюшке мужское естество не шевельнулось! Или шевельнулось, только он, мальчишка, не умел тогда этого заметить? Шахская наложница хороша была! До сих пор помнится, как хороша! И с чего это он решил, что, громогласно объявив Надиру собственной дочкой, Лазарь отнесся к ней только как к дочке?

Лишь теперь, когда эта почти кощунственная мысль пришла в голову, в сознании Ивана Лазаревича картина за картиной стали всплывать отроческие воспоминания.

Астрахань, где поселились они в первое время после побега из Мешхеда. Матушка с сыновьями отправилась «на променад». Соскучившись от крика младших братьев, бесполезного катания по главной улице и необходимости раскланиваться с новыми знакомыми, он отпрашивается и на углу своей улицы выпрыгивает из экипажа. Уже подбегая к дому, видит, как из ворот, бормоча, крестясь и поминая нечистого, спешит нанятый в услужение к отцу отставной солдат.

— Свят! Свят! Грех-то какой! С дочерью-то! Грех! Грех! Мальчика отставной солдат не замечает и, едва не сбив его с ног, бежит прочь от их дома. Как черт от ладана бежит. Ованес не поймет, что так напугало храброго служаку. С виду все тихо. Только через неприкрытое оконце из дома доносятся тихие стоны и странная помесь персидской, армянской и неведомой ему речи.

Слова, как струны, то звенят низким голосом отца, то переливаются сладким щебетом Надиры. Но слов мало. Больше других, неведомых ему звуков. Стоны, такие мягкие, вязкие, что хочется в них провалиться, как в перину пуховую, и в их блаженстве не шевелиться. От тихих этих стонов в голове, где-то под самой черепушкой, тысячи мурашек, но не больно колющих, а умиротворяющих и возбуждающих, как пузырьки шампанского, которое привез из Франции отец и позволил Ованесу сделать несколько глотков на Рождество.

И в горле комок. И хочется не шевелиться, не двигаться, застыть, замереть, чтобы не спугнуть, не разрушить это дивное, неизведанное прежде состояние блаженства.

Стоны тихой волной нарастают, сливаясь с хрипами отца, и мальчик удивленно

замечает, как вздыбились его штаны, и там, между ног, плоть напрягается, каменеет, пылает жаром.

— Беда, Наринушка, беда!

Тихий шепот отца, мешающего персидские, армянские, русские слова, еле слышен сквозь прочие заворожившие мальчика звуки.

— Беречь я должен тебя, девочка! Лелеять. А не могу.

Надира-Наринэ отвечает что-то, но Ованес не разбирает слов. Лишь чувствует, что от звуков ее голоса напряжение в нем нарастает, ведет к какому-то непознанному доселе пределу, за которым наслаждение сливается с мукой.

— Не могу! Не могу! Долг, будь он проклят! — хрипит отец все сильнее и сильнее, пока не срывается на крик. Отчаянный сладкий и горький крик, повисающий над заснувшим в полуденной дреме двором. Крик этот, как ветром опавшие листья, разметывает все приятно царапавшиеся в голове мурашки. Ованесу жалко этого стремительно вытекающего из него ощущения блаженства. Только вязкая сырость, невесть откуда взявшаяся в его штанах...

* * *

Даже теперь, вспомнив те мурашки, Иван Лазаревич ощущает возбуждение своей чуть уставшей плоти. И понимает то, чего отроком понять не мог. Не удержался отец, не устоял перед чарами Надиры. Оттого и отправил ее от греха подальше? Или, кроме греха, была и иная угроза?

Матушка страдала:

— За вырождением его придут, твоих сынов перережут!

И напирала:

— Свези ты их подальше со двора? Подальше свези...

Чувствовала опасность, нависшую над семьей, или ее больше тревожила опасность иная, нависшая над ее супружеским ложем?

Может, и не прислушался бы отец. И не такие натиски случалось выдерживать Лазарю Лазаряну, когда спасал он своих людей и свой груз от терских контрабандистов. Может, и устоял бы, смирился бы и с атаками жены, и с мыслью о собственной греховности, но случаи нехороших происшествий стали множиться.

Камень, упавший с колокольни во время крестного хода, в коем участвовал батюшка, убил шествовавшего рядом диакона, лишь случайно не покалечив самого Лазаря.

Вскоре матушкина повозка рассыпалась на полном ходу. А когда кучер, с трудом удержав коней, смог повозку остановить, выяснилось, что все оси подпилены и не убилась матушка только чудом да редким кучерским умением.

Еще через несколько дней младшего брата Екима, прозываемого все чаще Иоакимом, едва не своровал бусурманский разбойник. Кто-то подсыпал маковых зерен прислуге в чай, все мамки да няньки позасыпали. Впотьмах окно детской комнаты было разбито, и негодяй кинулся заталкивать Иоакимке кляп в рот. Благо не отъехавший с родителями на ассамблею Ованес прибежал и спугнул бусурмана. Тот, бросив раскричавшегося Иоакимку, бежал через окно, порезав щеку осколками разбитого им же стекла. Кровь осталась на осколках и дорожкой не засохших капель вела через забор, на улицу, где обрывалась рядом со следами конских подков возле пожелтевшего прежде осени клена. Иоаким потом долго не мог

засыпать по ночам, все твердил про змею, какая была на руке бусурмана.

Так или не так, но отец решил убрать Надиру-Наринэ с подростком мальчишкой подальше от своей семьи. На удачу, к «дочери почтенного и уважаемого Лазаря Лазаряна» прислали хиами — сватов.

Жених оказался издалека. Жить по долгу службы должен был в устье Дона в небольшом поселении, названном Полуденкой.

— Сам государь Петр Алексеевич близ Полуденки открыл источник, полный дивных вод, и назвал его «Богатым источником». Поселение пока небольшое, в несколько десятков семей. Но вы, Лазарь-джан, как человек, бывающий при дворе государыни, знаете, что Елизавета Петровна в прошлом году своей грамотой учредила на том месте таможеню.

Жаждающие заполучить красавицу невесту сваты показывали список с государевой грамоты.

«Для сбора тарифов и внутренних пошлин с привозимых из турецкой области и отвозимых из России за границу товаров таможеню учредить по реке Дону вверх от устья реки Темерник против урочища, называемого „Богатый колодезь“.

— С прошлой весны при таможене пристань построена и пакгауз. И расквартирован гарнизон, где жениху нашему и надлежит служить. Вам ли, Лазарь-джан, объяснять, какие выгоды сулит таможеня, да еще и в устье двух рек, дающих единственный путь во все моря. Через зятя свои торговые пути в новые земли проложите!

Сваты дельно интересовались джгезом — приданым. В отсутствие шахских алмазов вывезенные из Мешхеда пять тысяч туманов, которые еще за памятной трапезой отдал Лазарю Надир-шах, казались отцу назначенными для раздела. С прочими, лично для него шахскими дарами — драгоценными камнями, золотыми слитками, украшениями невиданными — он решил повременить, но шахскую плату за спасение Надиры и сына счел справедливым поделить. Три тысячи ему с семейством, две — Надире-Наринэ с сыном. Не в шахский дворец, конечно, отправляет он свою «девочку». Но, хоть и не в роскоши, так при таможенном гарнизоне надежнее будет. Пока он сам не обоснуется в Москве или в Петербурге, не обновит знакомства и связи при дворе, не поставит новое дело на широкую ногу, в чем зять на таможене и впрямь помочь может. А там можно будет и поближе их перевести.

Один лишь вопрос сватов застиг отца врасплох:

— А дочка ваша и внук по фамилии как зовутся?

Отец чуть было не сказал, что Лазаряны, а как же еще, но вовремя смекнул, что ежели названная дочь представлена всем как вдова, то у нее и у ее сына должна быть фамилия погибшего мужа. Глянув на лежавший на столе кошель с назначенными в приданое двумя тысячами туманов, Лазарь ответил:

— Туманяны они. Наринэ после нового замужества новую фамилию Господь пошлет, а Назарка так Туманяном и останется.

И была свадьба — харсаник. Не слишком пышная.

— Харснацу — невеста — во второй же раз идет под венец! — поясняли скромность обряда родственники жениха, не ведая, что никакого венца в первый раз у невесты не было и быть не могло.

Странное молчание невесты объяснили ударом, перенесенным после смерти любимого мужа. Но и молчащая невеста, пусть даже с приплодом, но с такой редкой красой и таким весомым приданым была для жениха страсть как желанна.

Наринэ молча терпела все неведомые ей обычаи армянской свадьбы. Молча приняла и «отцовский» прощальный поцелуй, и подаренные Лазарем три огромных чистой воды топаза: «Не алмазы Надир-шаховы, но все ж...» Только маленький Назарка зашелся в крике, видя, что их с матерью увозят со ставшего ему родным двора. Взрослые молчали. Молчал и Ованес, на пороге собственного пятнадцатилетия уже числящий себя взрослым. И только одинокий детский крик стоял в ушах, пока повозка не скрылась за воротами.

Отец в ту же осень засобирался в столицы. Семью оставлял покуда в Астрахани, но Ованеса решил взять с собой. Самое время приобщаться к делу.

Гонец нагнал их карету через несколько верст от города. Отец лишь успел взглянуть на письмо и переменялся в лице.

— Разворачивай! На Дон гони! На Дон! Единственный раз за жизнь видел Ованес чтобы по лицу отца текли слезы.

— Нет больше Надиры.

(ЖЕНЬКА. СЕЙЧАС)

Холодно.

Ступни и ладони не хотят отогреваться, и редкая для Москвы жара не способна их согреть.

По утрам приходила пылающая всей полнотой жизни Лика. Открывала дверь своим ключом, смотрела на доставшуюся ей по Оленевой воле хозяйку квартиры как на редкостное, мешающее ей недоразумение, а я даже выгнать ее не могла — сил не было. И видеть ее не могла. Потом и Лика куда-то пропала. Пылала теперь где-то в другом месте. А я затухала. Погасла уже.

Жизнь кончилась. И только холод остался.

Сажу в углу своего дивана, замотавшись в старый пуховый платок земляного цвета, какие прежде носили деревенские женщины, мгновенно от одного его вида превращаясь в старух. Платок остался со времен, когда грудного Димку укладывали спать на балконе — гулять с ним по улицам было некогда. Никита писал докторскую, я еле-еле успевала разделываться с хвостами от прошлых сессий, и сын в любой холод дрых на балкончике двадцать третьего этажа нашей высотки на Ленинском проспекте. В теплой квартире он спать принципиально не умел, зато на балконе мирно сопел ровно по три часа. Даже при морозе в минус двадцать мы выносили ребенка «гулять», еще до комбинезонов и шубеек, завернув в этот пуховый платок.

Двадцать лет назад платку этому доводилось укутывать счастье. Теперь горе.

Проходя мимо зеркала, повернулась к мутному отражению, накинула платок на голову и замотала лицо, как делали крестьянские бабы — подтыкая и заворачивая уголки, не оставляя ничего, кроме собственно лица. И из зеркала на меня посмотрела древняя, убитая горем старуха. Так, наверное, выглядели моя получившая похоронку бабушка и пытавшаяся выжить в лагере Лидия Ивановна. Как выживали тогда — не постичь. Но от понимания того, что чужая бездна горя бездоннее, собственное горе меньше не становится.

Сорок лет. Старуха. В год, когда Толстой женился на Сонечке Берс, его теще было всего лишь тридцать шесть. А на фотографии такая дородная, вполне старая матрона в уродливом старческом платье и чепце. Вот и я такая, и по годам вполне могла бы стать свекровью — старой, въедливой, противной, ненавидимой.

Вырванный с корнем шнур телефона лишил эту квартиру связи с внешним миром. Приведенные Ликой строители относились к рабочей аристократии и регулярно извлекали из чистеньких синих спецовок собственные сотовые телефоны. Мне же связь с миром была больше не нужна. Что такое мир? Где он, если не в нас? Во мне мира теперь не было. Только ощущение мрака, черной тучи надо мной или во мне, некой злой силы, справиться с которой я не могу. И отойти в сторону не могу. Сажу и жду, когда меня раздавит.

Вчера в обреченных попытках заснуть смотрела в потолок с проломленной Ликой

нишей. И показалось, что это не дыра, а падающая многотонная конструкция, огромный, стремительно приближающийся прямоугольник, который с каждой секундой становится все больше и больше. А я лежу и жду, когда раздавит. С упоением жду. Мгновение — и все закончится. И не будет боли. Но мгновение не наступает и не наступает. Упоение смешивается с ужасом и с этой болью, что живет отныне во мне, и длится, длится, длится...

За дни и недели, прошедшие после получения электронного письма, сообщавшего о гибели Никиты, я поняла все идиомы отчаяния. Поняла, что значит рвать на себе волосы, и как бьются головой о стенку, и как седеют на глазах, и как до безумия хочется вспороть себе живот, проткнуть сердце, чтобы нечему было болеть. Или не себе проткнуть, и не себе глаза выколоть, а кому-то неведомому, кого до безумия хочется ненавидеть. Знать бы только — кого.

Можно ненавидеть океан, который отнял у меня Никиту. Можно ненавидеть Джил, американскую жену моего погибшего мужа, чувство долга перед которой заставило Никиту возвращаться в Америку тем злополучным рейсом. Или ненавидеть себя за то, что он погиб, возвращаясь от меня. Можно ненавидеть мир, в котором разбиваются самолеты, и любимые, единственно любимые и нужные люди погибают именно в тот миг, когда ты окончательно понимаешь: жизнь без них невозможна. Можно ненавидеть всех и вся. Легче от этого не становится...

Никита погиб из-за меня. Позвонил спросить об отправленном в телевизионное реалити-шоу Димке, а моя подруга Ленка выпалила:

— Ты там у себя в Америке жиры растрясаешь, а Женьку похитили!

И далее по тексту, насчет его идиотизма, и того, как он мне нужен.

Я убила его, потому что он прилетел ко мне. И этим рейсом улетал от меня. Останься он в семейной кровати своей Джил, был бы сейчас жив и здоров и даже весел. А я... Существовала бы себе в замороженном состоянии. Не знала бы счастья — не знала бы горя. Счастье — слишком болезненно, покой вязок и манящ. Счастье, если оно счастье, пытается собственной конечностью. Тем краем, падать с которого невыносимо больно. Покой — мягкая перина. С нее не взлететь, но на ней и не разбиться.

Иногда, приходя хоть в относительно адекватное сознание, я пыталась понять — за что? За что?! ЗА ЧТО?!

Почему я не могла остаться на той грани, на которой старательно балансировала все годы после нашего глупого развода и отъезда Никиты? Ведь в тот раз мне удалось выжить. Жизнью это, конечно, трудно было назвать, скорее, механическим функционированием. Но в тот раз я сохранила оболочку, и двенадцать лет притворялась, что живу. Пока за три дня нашего с Никитой воссоединения вдруг не склеилась, не собралась из тысяч кусочков, не вдохнула в этот неожиданно сложившийся пазл душу, не взлетела куда-то к солнцу. И не рухнула. Почему судьбе обязательно надо вознести нас повыше, в облака, чтобы потом ударить побольнее?

Не прилетал бы Никита, жил бы себе там, в своей заколдованной Америке, которая для меня все эти годы была ничуть не ближе той вечности, в которую он перешел теперь. И что? Что было бы со мной?

Я раскрыла бы тайну огромного состояния, которое Ими вместе со счетом оставила Григорию Александровичу, а он вместе с этой квартирой оставил мне. Слетала бы в Цюрих. Оприходовала бы все эти нули, много нулей на сумме банковского вклада. Стала бы богатой. Безумно богатой. Неприлично богатой...

И что? Чего я захотела бы в тот абсолютный миг — не увидеть ли Никиту?

Круг замкнулся.

Меня вознесли в небо и бросили в тот же океан. Но в отличие от Никиты я умерла не насовсем, а только отбила все внутренности, раздробила крылья и, не потеряв сознания, осталась в той бездне, из которой нет выхода — не умереть, но и не вдохнуть.

Иногда заглядывала испуганная соседка Лидия Ивановна. Что-то говорила про бездны отчаяния, про то, как разом потеряла всех близких. Ее возлюбленный — японский военный Хисаси, дедушка Араты, — вынужден был вернуться в свою Японию, с которой воевал СССР, надежды свидеться не было и быть не могло. Двое детей и мать погибли во время блокады в Ленинграде. Лидия Ивановна говорила что-то про отчаяние и про звериную жажду жизни, которая просыпается только на краю смерти.

— Если бы не лагерь, в котором выжить было невозможно, если бы не обретенная мною в этом лагере Викулечка, которая должна была доказать отрекшемуся от нее мужу, что она невиновна, мы бы обе не выжили. Там подыхали сотнями, если не знали, зачем жить. А жить хотелось, несмотря ни на что, — пыталась объяснить мне соседка. Но я не понимала.

— Зачем?

— Чтобы жить.

Сама соседка, обретшая японского внука любимого человека, несмотря на свои «очень далеко за восемьдесят», порхала на крыльях давней любви. Лидия Ивановна читала и перечитывала письмо, которое дедушка оставил Арате, и активно озаботилась оформлением завещания на иностранного гражданина.

— Наконец есть кому квартиру оставить! Да и вы, Женечка, будете под присмотром! — рассуждала, зачесывая старым черепаховым гребнем волосы, старушка, уверенная в том, что не я должна быть опорой мальчику, почти годящемуся мне в сыновья, а он может стать опорой мне.

— В Араточке есть то, чего нашей жизни очень не хватает: мудрость восточного человека, ощущающего мир иначе, чем мы, — продолжала Лидия Ивановна, чьи глаза светились впервые за те десять лет, что мы прожили рядом. Так светились мои глаза в три дня воссоединения с Никитой.

Тогда увидела себя в зеркале, из которого сейчас на меня глядела старуха, и не узнала — красота счастья.

Арата звонил из Америки, куда он полетел, чтобы поддержать Димку. Все случившееся с нами этот японский мальчик воспринял как свое горе и свое дело. И, узнав о случившемся, спокойно констатировал факт наличия у него годовой американской визы и пошел покупать сразу два билета. Если мне и могло быть хоть немного легче, то от сознания, что рядом с Джоом этот спокойный, надежный японский мальчик, вдруг ставший родным.

* * *

Иногда в эти бесконечные дни и почти светлые ночи мне казалось, что надо что-то делать с собственной жизнью. Пределы отчаяния достигнуты. За любым падением неизбежно должен начаться подъем — не может же он не начаться. Надо, почти как Мюнхгаузен, вытаскивать себя за волосы из бездны. Надо заставлять себя жить.

Но другая часть сознания спрашивала у этой настаивающей активной половины: а

зачем? И перед этим наивным вопросом меркли все слабые порывы. Влезу обратно в свою остывшую, липкую от застывшей крови старую шкуру, которую покинула моя душа. И что? Что еще я не сделала на этой земле, ради чего мне следовало бы мучиться, но жить? Дом не построила, так кому он нужен, этот дом? Теперь и затеянный Оленем и Ликой ремонт никому не нужен, не то что дом. И дерево возле непостроенного дома никому не нужно. А сына я уже родила.

Могла бы рассказать себе про внуков, ради которых стоит жить. Но вряд ли Димка скоро сподобится подарить мне внуков, новое поколение в отличие от меня не рождает в девятнадцать.

Могла вспомнить про работу. Кому нужна эта работа? Бегать по бесконечным съемкам, снимать трупы и части тел, разметанные взрывами участвовавших терактов, в буквальном смысле валяться в ногах у власть имущих на паркетных съемках, тиражировать парадные портреты их одинаковых с лица супругов... И для этого меня создал Бог?

Могла я вспомнить и про «весь мир», который позволяла мне увидеть моя профессия фоторепортера. Снимала и в Китае, и в Уругвае, и на Филиппинах. И что? Принесло мне это счастье?

Где оно, счастье? Где? Счастье мое осталось там, в декабре 1978-го, когда объяснявший что-то заумное алгебраическое мой репетитор Никита вдруг оторвался от тетради и притянул меня к себе. В тот раз он даже не поцеловал меня. Испугался. Но более оглушающего счастья, чем в считанные доли мгновения, пока он притягивал меня к себе, во мне не было больше никогда. Просто большего быть уже не могло.

* * *

Заходил Олень. Садился на край дивана, брал за руку. Молчал. У него самого последнее время что-то не срасталось в его диком мире большого бизнеса.

— Сезон охоты на оленей открыт! Некоторым слишком не терпится получить лицензию на отстрел! — невесело шутил Лешка, кивая головой в сторону телевизора, на экране которого мелькали привычные властные морды.

Мне было не до шуток. Даже пожалеть его, посеревшего, постаревшего, не могла — не жалелось. Ты жив, Олень, жив, чего же еще?! А бизнес, миллионы-миллиарды... Все миллиарды променять бы сейчас на одну жизнь, да нет такого обменного пункта.

Дизайнерша Лика что-то рассказывала о собственной бабушке, которая в войну за год получила похоронки на мужа и двух старших сыновей и осталась одна с пятью детьми на руках. Но бабушка какой-то там Лики меня не волновала.

Приходил отец. Говорил про своего отца, которого он не знал.

— Как — не знал? — не сразу вынырнула из своего горя я. — Сама же еще помню дедушку Вадима, твоего папу.

— Отчима. Мама, твоя бабушка, вышла за него уже после войны, а я так мечтал об отце, что стал сразу звать его папой. Тем более что родного отца никогда и не видел. Его забрали за три месяца до моего рождения. Происхождения не простили.

— Ты говорил, что происхождение у нас самое что ни на есть небарское...

— По матери и по отчиму. Отец из графского рода был, говорят. За что и пострадал. Хотя наверняка никто ничего не знает. Он даже матери об этом не рассказывал. Тридцать

седьмой год, не лучшее время для рассказов про аристократические корни.

Никогда прежде, даже в перестройку, когда стало модно гордиться пострадавшими от режима родственниками, отец не рассказывал, что дед был репрессирован.

— Его выпустили или в лагере погиб?

— Не выпустили. Но погиб он не в лагере, на фронте в штрафбате. До войны мать даже не знала, жив ли отец или его приговор означает расстрел. В сорок первом осенью уже с фронта он через какую-то крестьянку сумел переслать записку. Но мы были в эвакуации, и до матери записка дошла только в сорок третьем. И мать снова стала ждать. Через полгода пришла похоронка, а мать верить в нее не хотела.

— Ты думаешь, ей было легче узнать, что он жив, только для того, чтобы узнать, что он мертв? Сколько там лет прошло, пять, шесть? Через шесть лет получить надежду, чтобы потом снова ее потерять. Жестоко.

— Жестоко? Наверное. Но твоя бабушка говорила, что никогда, ни в один миг жизни не была более счастлива, чем в те секунды, когда раскрыла эту записку и поняла, что отец жив.

— Думаешь, стоит взлетать в небо, чтобы упасть с еще большей высоты?

— Думаю, стоит взлетать.

Отец, как в детстве, гладил меня по голове, говорил что-то про не известное никому собственное предназначение, про то, что сорок лет — это только начало, что я не знаю и знать не могу, что мне суждено еще в этой жизни.

Смотрела мимо него и даже ответить ничего не могла. Не верила. Но удивлялась совпадению. Ночью, в тот предрассветный час, когда засыпают даже ангелы, я видела, как приходил Кит. Открыл дверь своим ключом, который дала ему перед отъездом: «Чтоб всегда мог вернуться, вдруг нас с Димкой дома не будет». Постоял у порога, не отражаясь в зеркале.

«Хочу к тебе», — только и сказала я.

«Не спеши. У тебя еще есть дело в этой жизни».

«Нет у меня без тебя дел...»

«Есть. Главное, которое без тебя не сделает никто. Поверь».

И вышел. И я не знала, как его удержать.

ЗАЛОЖЕННЫЙ В ОСНОВАНИИ

(ИВАН ЛАЗАРЕВ. 1747–1783 ГОДЫ)

— Разворачивай! На Дон гони! На Дон!

Комендант таможни сообщал «почтенному Лазарю Назаровичу» о трагедии, разыгравшейся в доме его зятя.

«Неведомо, какой бес попутал, только, по моему разумению, прибил он жену свою, дочку вашу, до смерти. Не пожалел и внучонка малого, ударил мальчонку по головушке, что череп прошиб. Малец пока не помер, а станет ли жить, одному Богу известно! Злодей схвачен и посажен под арест, где и будет содержаться до особых ваших распоряжений...»

Единственный раз за жизнь видел Ованес, чтобы по лицу отца текли слезы.

Вид арестованного зятя был страшен. Ничего не осталось в нем от молодого, сияющего жениха, которого три месяца назад проводили они от своего порога. Сидящий теперь перед отцом арестант более напоминал безумного и все повторял:

— Не я... не я... Бил, но не убил... Не я... не я...

Постепенно из несвязного полусумасшедшего бреда дело стало проясняться. Жизнь молодых после приезда в Темерницкую таможню шла неплохо. Молодая жена все больше молчала, лишь играя с сыном в свои восточные погремушки, что-то тихо гулила ему на ушко, но счастливому мужу хватало того, что жена могла дать без слов.

Поселились в крохотном, наспех сложенном домишке, но в тот же месяц на богатое приданое начали строить каменный дом. И место досталось знаковое, у входа, отведенного для будущих ворот, камень из земли огромный не выворотить. Сказывали, с древних племен на донских курганах камни, подобные этому, остались.

— Улиц в Полуденке еще не разметили, так мы на камне том и написали, что будет здесь наш дом.

И постройка была Наринэ в радость.

Сама в глине вымазывалась, тесаные камни укладывала. Говорю — не барское это дело, без тебя сложат! Молчит, улыбается только и глиной камни замазывает. Денежку из приданого вашего — туман персидский — в стену заложила, для пущего богатства...

Все шло хорошо до тех пор, пока не подбросили молодому мужу странное послание.

— Писано было, что никакая Наринушка не честная вдова. Что еще в Персии спуталася она с отцом своим Лазарем и выродка от отца прижила. А вдовой объявили, дабы позор скрыть. И приданое немереное дали, чтобы со двора срамницу скорее сбить.

На лице Лазаря желваки ходуном заходили. Зять продолжал:

— Грех на мне! Ударил, каюсь! Как письмо прочел, в сознании помутилось. А еще негоциант заезжий, чей груз в ту пору досматривали, поднес вина. И вино то было со вкусом ненашенским, как с полынью, но не полынь это, не горчит, а сладит да туманит. От вина того плыло перед глазами, до дому едва дошел. Хотел у жены правды доискаться, она молчала. Я и ударил в сердцах.

Руки арестанта тряслись.

— Ударил, но не убивал! Вот те крест, не убивал! Ударил и аки в пропасть какую провалился. Как очнулся, углядел две лужи крови вокруг жены и пасынка, да я за сына Назарушку почитал... Не мог я... Не мог... В доме все перевернуто, подушки, перины вспороты. Да все туманы с богатого приданого пропали...

Отец молчал. Спросил лишь, не объявлялся ли на таможне кто чужой. Вместе с опалелого зятя, бормочущего лишь: «Господь видит, не мог я такого натворить, не мог...» — отозвался сам комендант:

— Как разобрать-то, кто свой, кто чужой? Негоциантов много с грузом едет. Через наш Темерник короче, чем через Астрахань, и уж куда безопаснее, чем через Терек... Один из пришлых расхворался и в горячке пролежал неделю-другую. В аккурат за день до смертоубийства и отъехал.

Отец спросил, не было ли чего необычного в их непрошеном постояльце.

— Бусурман, он и есть бусурман. Глаза чернющие, брови кривые, шрам через всю щеку. Да еще и змея вокруг пальца три раза обвитая обрисована...

Шрам... Змея вокруг пальца... Кровь на осколках оконного стекла их дома в Астрахани... Иоакимкины страхи про бусурманову руку со змеей... Ованес поглядел на отца и понял, что они оба подумали об одном и том же.

— Не зять это сделал! — только и молвил отец. И, повернувшись к помешанному арестанту, добавил: — Если и есть грех на мне, то не тот, что тебе описали.

Подойдя ближе, взял зятя за подбородок.

— Кровосмешением не грешен! На тело дщери своей вовек не посягал, — честно ответил отец. Умолчав лишь о том, что убиенная дочерью ему и не приходилась.

* * *

Маленький Назарка от удара по голове не умер, но который день лежал не шевелясь. Отец хотел взять его с собою в Москву, но таможенный комендант отговорил:

— Мальца не троньте. Не сегодня завтра помрет, хоть похороним по-людски, подле матери, а не в неведомом краю. Дорогой лишь растрясете, мук дитятку невинному прибавите.

С тем и уехали. Перед отъездом постояли над свежим холмиком на донском берегу, перекрестили отпущенного из-под стражи, но явно тронувшегося умом зятя, и уехали.

— Вот и все! — сказал отец, когда южные степи сменились среднерусскими лесами. — Долгу моему конец. Награду за службу от шаха получил, а слова своего и не сдержал. Ни камни, дороже которых на свете нет, не сберег, ни жену его с сыном от смерти не оградил. Даже имени их не сохранил. Остается тебе, Иван, после меня долги отдавать.

Ованес спросить хотел, какие такие отцовские долги переходят теперь на какого-то Ивана, но прежде поинтересовался:

— А Иван, это кто?

— Иван — это ты. На Руси мы, значит, быть тебе Иваном Лазаревичем Лазаревым. А нам всем Лазаревыми. Где жить, так и петь. Иначе род наш на русской земле не возвысится. Ми дзеров эрку дзмерук чен брни, — добавил по-армянски он, и сам на русский перевел: — Одной рукой два арбуза не удержать.

Долгой дорогой до Москвы отец рассказал все, что успел поведать ему шах, и все, что узнал сам Лазарь о пяти великих алмазах. Лазаревы по-прежнему не знали, кому удалось опередить их той июньской ночью в шахском дворце. Подозревали и индийского ювелира, которого шах привез с собой из Дели и который после гибели шаха исчез столь же стремительно, как и они сами, и всех прислужников, что входили в шахскую залу во время той трапезы, и других, ненавидевших Надиру, жен и наложниц.

Ищейки Лазаря рыскали от Мешхеда до Дели, но щедро оплачиваемые поиски раз за разом заводили в тупик. До своей смерти отец успел узнать лишь, что след «Горы света» — «Кох-и-нура» — нашелся в Кандагаре, в сокровищнице афганских эмиров, а срезанный с балдахина Павлинъего трона желтый алмаз с вязью «Шах» так и остался в Персии и переходил из рук в руки все новых и новых иранских шахов, быстро убивавших и свергавших друг друга.

Отец завещал Ивану отыскать алмазы — сколько сможет. Первый из описанных пяти камней, алмазную розу «Дери-а-нур», удалось не только отыскать, но и выкупить. И... перепродать. С выгодой, о которой нельзя было и мечтать. Отец, узнав, что удачно найденный и перепроданный алмаз даровал всему их роду дворянство и сделал его, Ованеса Лазаряна, Ивана Лазарева, доверенным советником императрицы, не стал корить за потерю найденного. Напротив, горделиво вскинув голову, повторил свое наставление, которое Ованес и младшие — Минас, Хачатур и Иоаким — запомнили с младенчества.

— Близко к трону, но не рядом! Чуть в стороне, дабы рушащиеся монархии не погребли под собой. Советником, но не участником! Сподвижником, но не вершителем! Самая выгодная позиция любого из вынужденных царедворцев, каковая позволяет собрать все доходы от близости к власти, но не платить ни по одному из ее счетов.

Так жил отец при дворе иранских шахов. Так начинал при дворе русских царей. Так теперь сумел устроиться у ног императрицы и Иван. И весь свой род пристроить. Близко, но не рядом.

Он обменял алмаз на возвышение. На невиданное возвышение их рода.

Лет двадцать назад пришло из Астрахани от дальней родни Лианозовых письмо, что объявился в их армянском круге купец Григорий Шафрас. И привез он не шелка, не изумруды, а диковинный алмаз.

«Алмаз как роза, круглая и весьма высокая с одной стороны, и обрезанная с нижней грани. Вода камня прекрасная, и весит он добрых 280 наших каратов. Сказывают, что камень был при дворе вашего прежнего правителя Надир-шаха, который вывез его из Индии. Шафрас купил его за триста туманов у бежавшего из Надирова дворца его бывшего прислужника».

Триста туманов!

Ивана бросило в жар. Триста туманов. Сумма великая для простого смертного, но ничтожно малая для истинной цены камня такой красоты и такой истории.

Наспех собравшись, Иван поскакал в Астрахань, но сговориться с Шафрасом не смог. Негоциант намеревался выгодно нажиться на алмазе и требовал невиданную для тех мест сумму в сто двадцать тысяч рублей золотом. При всем богатстве лазаревского рода и для Ивана сто двадцать тысяч были деньгами немалыми. Чтобы заплатить их, надо было продать оба дома в Москве, в Столповом переулке, прекратить строительство дома и армянской церкви в Петербурге на Невском проспекте. Или продать шелковую мануфактуру во Фрянове. Или вынуть деньги, выгодно вложенные в торговые поставки, в лавки, склады, имения. То есть обменять то, что составляет и еще возвысит славу и силу их рода, на дивную, но безделицу.

Насладившись сиянием алмазной розы, Иван вынужден был отступить, вернуть камень Шафрасу. Но и себе оставить шанс. Лазарев уговорил Шафраса везти камень в Амстердам и там заложить его в банк, в ожидании, пока Иван соберет нужную сумму или же найдет иного покупателя.

* * *

В 1773 году во время одного из долгих застолий его светлейшее сиятельство граф Григорий Орлов, одаривавший Ивана Лазаревича своим расположением, посетовал, что не знает, что бы такое необыкновенное подарить на день ангела императрице.

— Набегут! Нанесут безделиц драгоценных! Любой дар в таком болоте потонет!

Отвергнутый фаворит жаждал напомнить о себе. И Иван понял, что настало время алмаза. Спросив у Орлова, сколь много денег готов потратить тот, дабы выделиться из числа подносящих дары к императорскому трону, и услышав ответ: «Сколь угодно, лишь бы поразить», — Лазарев в ту же ночь уехал к Шафрасу в Амстердам. Через три недели, отмерив Шафрасу даже не сто двадцать, а сто тридцать тысяч золотом, Иван уже вез алмазную розу в российскую столицу. Орлов выложил за камень четыреста тысяч. И коленопреклоненно поднеся императрице воистину поразивший ее дар, представил и Ивана:

— Лазарев.

— Граф Лазарев, — поправила государыня.

Так род Лазаревых стал графским. Алмаз, который отныне именовался «Орлов», был укреплен в верхней части российского скипетра, а перед Иваном распахнулись все двери. Государыня, зная о его богатом опыте, удостоила Ивана статуса советника и живо интересовалась его мнением во всех восточных делах.

* * *

— Что с твоими соплеменниками в Тавриде делать, граф? — спросила государыня. — Подати их собирают в казну Шагин-Гирею, а надобно, чтобы шли в казну нашу, чтобы наши вновь приобретенные южные земли их трудами усиливались.

Лазарев уехал в Тавриду. И, встретившись с архимандритом Петросом Маркосяном, с архиепископом Иосифом Аргутинским, с купцами и ремесленниками, понял: боятся армяне, что турецкий султан вытеснит русских из Крыма, а тогда и их единоверцам несдобровать. Боятся и ищут защиты.

К императрице Иван вернулся с вестью о готовности армян идти в южнорусские земли. Вспомнив донской берег, где когда-то они с отцом оставили могильный холмик Надиры и пришибленного Назарку, Иван решил, что лучшего места для новой жизни крымским армянам не найти. Крепость Дмитрия Ростовского, уже после смерти Надиры построенная рядом с прежней таможней, давала надежную защиту новому обосновывающемуся возле Полуденки поселению. Кроме того, граф Лазарев сумел получить у императрицы значительные льготы для переселенцев. 86 тысяч десятин земли отводила государыня перешедшим из Таврии, дозволение основать один город и пять селений, на десять лет освобождение от государственных податей и служб, на сто лет избавление от воинской повинности.

Далее Лазарев обернул дело так, чтобы не согласно с ним командующего русскими войсками в Крыму князя Прозоровского сменил решительный генерал Суворов. И 18 августа 1778 года первая партия переселенцев в сопровождении донских казаков пустилась в путь.

Письма, все эти годы приходившие из Полуденки, сообщали о житии Надир-шахова наследника, об истинной родословной которого не догадывался никто. После страшного удара, проломившего ему голову, мальчонка без малого три года пролежал недвижно. Не жил, но и не помирал. Выхаживавшие его бывший комендант таможни с женою на добрый исход дела не надеялись, но деньги от Лазаревых получали исправно, оттого и обхаживали живой трупик как могли. После пришло с Дона письмо, сообщавшее, что Назарка ожил, «есть-пить может, но умом обидел его Господь». Посланный в Полуденку лучший в Петербурге лекарь Клемейнихель вернулся ни с чем.

Излечить мальчика нынешняя медицинская наука неспособна. Но жить так он может долго, а может и завтра помереть. Все в Божьей воле!

Иван Лазаревич назначил несчастному богатое содержание, дабы всем, кто за ним ходит, убогий был не в тягость.

* * *

Империя российская к нынешнему 1783 году значительно расширилась на юг, и крепость Дмитрия Ростовского стремительно теряла военное значение. Все более обраставшая жилыми поселениями вокруг девяти лучей своих редутов и ближних форштатов крепость уже почти сливалась с армянским городом, к созданию коего большие старания приложил Иван Лазарев. Город звался Нор-Нахичеван. И дом, камни в основании которого некогда замазывала глиной сама Надира и в котором ныне жил умалишенный Назарка, оказался теперь в черте разросшегося за несколько лет города.

У Лазарева здесь, на юге, были свои интересы. И свои долги. Более чем через три десятка лет возвращался он в эти края, чтобы и дела торговые да мануфактурные упрочить, и совесть свою упокоить.

* * *

Разъезды привычны Лазареву с детства. Когда долго не случается трястись на расейских дорогах, засыпать под скрип колес и терпеть прочие неудобства пути, в его полной удобств

графской жизни начинает чего-то не доставать. Сердце, привыкшее бежать наперегонки с дорогой, не может биться в размеренном ритме и все норовит обогнать тело, в коем вынуждено стучать.

Впрочем, и долгие тяжкие пути по постоянному бездорожью Лазарев умеет приспособить для собственного удобства. В Европе позаимствовал устройство легкого возка со съемной меховой драпировкой для зимы и откидным верхом для лета. Европейский возок его приближенный служивый Михайло, после европейских странствований испросивший дозволения прозываться Михелем, всячески улучшил. В один из редких месяцев оседлой жизни, разобрав иноземный возок до остова, новоявленный Михель собрал его вновь, да так, что не только верх, но и весь возок мог легко складываться и в случае надобности убираться в пару сундуков.

Лазарев редкий талант слуги всячески поощрял, хоть и посмеивался порой над ничемностью его нововведений.

— Посуди сам, кому придет в голову с этажа на этаж ехать в твоей клетке-элевайторе, которая все норовит с твоих веревок сорваться и упасть, когда проще по лестнице подняться, а кто немощен, так того и слуги внесут.

Иван Лазаревич посмеивался над складывающимися матрешками горшками, сохранявшими пар супа или прохладу кваса, над распорками для катания белья и над особо потешной кадкой с встроенными внутрь граблями, которые приводились в кручение отдельным колесом. Михель называл свою кадку «постирочной механизмом» и уверял, что настанет время, когда бабам не надо будет мыть белье в тазу.

— Механизма все постирает, только ручку крути! — ликовал Михель, пока вделанные в кадку грабли не подрали в ключья две тончайшие фламандские простыни.

Нынче в степную жару Михель опробовал ветродуй, забиравший потоки воздуха из оконца и направляющий их в карету. Измученный жарой Лазарев и одобрил бы новшество Михеля, если бы не расчихался. Вместе со степным чуть охлаждающим ветром в карету несло и пыль, и пыльцу растений, от которых он с детства сопел и чихал.

— Амброзия зацвела, — важно заметил слуга и, сняв с крыши ветродуй, занавесил оконца тряпками, на которые с пристроенных на все той же крыше площадок стекала вода.

— Дабы не пересыхали и пыль не пущали.

Так и просмотрел Лазарев ближние подступы к крепости, очнулся лишь, когда его возок миновал ведущие в крепость с запада Архангельские ворота.

— Доложи коменданту, его сиятельство граф Иван Лазаревич Лазарев приехать изволили! — кричит караульному возница.

— Доложить сию пору никак невозможно! Граф на клиросе.

— ?!

— В церкви поет.

* * *

В этот воскресный день в Покровской церкви было многолюдно. Солдаты, гарнизонный люд, немногочисленные семейства офицеров, прихожане из Доломановского и Солдатского форштатов да русские жители армянского Нор-Нахичевана.

Среди нескольких певчих Лазарев не сразу признал знакомого ему генерала. А

комендантствовал в крепости в это лето тот самый генерал, которого Иван Лазаревич и присоветовал императрице назначить на великое армянское переселение из Таврии — граф Александр Васильевич Суворов. Сестра суворовского адъютанта Акима Хастатова Анна недавно стала женой одного из братьев Лазаревых Минаса, что только упрочило их приятельствование с генералом, которого многие в двух столицах считали чудаковатым.

Со времени последней встречи, когда после аудиенции у императрицы оговаривали они с Суворовым все тонкости великого Таврического переселения, прошло пять лет. Александр Васильевич смотрелся тогда много бодрее и моложе. Пышущим здоровьем генерал никогда не был, всегда отличался сухостью и поджаростью. Но нынче Лазарев его бы и не узнал. Изстоящего теперь перед ним на клиресе человека словно разом весь дух выпустили. И оставили только оболочку.

Он пел одними глазами. И голосом. Больше в нем ничего не осталось...

* * *

За разговорами — как турок да горцев в узде держать и какие ветры при дворе нынче дуют, каких фаворитов к трону возносят — день к закату и подошел. Александр Васильевич достал из походного мешка миниатюрный портрет коротко стриженной девочки, больше похожей на постреленка, насильно одетого в девичье платье.

— Суворочка моя, Наташка, Наталия Александровна. Ныне в Смольном институте. Государыня милостью своей дозволила.

Всегда сухой и строгий, Суворов неожиданно улыбнулся.

— Смерть моя для Отечества, а жизнь для Наташи.

— Варвара Ивановна как поживать изволит? — по долгу приличия поинтересовался Лазарев здоровьем генеральши, но простой вопрос выбил генерала из всех рамок приличия.

— Едыть ее мать! Как желает, так и пусть и поживает!

— В Москве сказывали, что она другой раз на сносях... — продолжил Лазарев, да осекся, догадавшись, в чем может крыться причина резкости Суворова.

О Варваре Ивановне, в девичестве княгине Прозоровской, по Москве немало разговорое ходило, только Иван Лазаревич не желал каждой сплетне верить. Говорили, что Прозоровские от праздной жизни поиздержались, вот и отдали Варюту за привечаемого императрицей старого генерала, а сама молодая жена все на мужнего племянника глядит. По Москве еще и не такое скажут. Но теперь сам тон генерала говорил, что повод для пересудов был.

— Жил себе столько лет бобылем, бобылем и помереть был должен. Позору не знать. А занесло в мои годы на молодухе жениться, и на те, получай! — прихрамывая, бегал из угла в угол большой залы комендантского дома Суворов. Словно подбитый воробей по клетке скакал. Такой же махонький, сухонький, взъерошенный.

— Злые языки все про Варюту да про племянника моего двоюродного Кольку, секунд-майора, доносили — не верил! Сколь мог, столь и не верил! Той осенью привез семейство в эту крепость, так в закубанской степи ногайцы бедокурить стали, пришлось выступать. А воротился...

Суворов подбежал к столу и залпом выпил полстакана водки.

— Сырохнев, капитан... И ведь из дельных, к воинскому делу пригодных. «Науку

побеждать» мне составлять помогал, мои воинские правила литературно записывал. И этот Сырохнев с Варютой...

Глаза коменданта стали красными и сухими. Волчьи глаза, не людские.

— Рассудок помутился, как их увидел. И рога на своей башке воочию вообразил. Думал, порешу и их, и себя. Благо Иосиф Аргутинский, архиепископ Нахичевана, в крепости оказался, утихомирил. Растолковал дураку старому, что на все Божья воля, чтобы не корил себя, что на изменщице женился. Не женился, не было бы Наташки.

Суворов снова взглянул на портрет девочки, и голос его чуть потеплел.

— Ради того, что дочь есть, и унижения перетерпеть можно. Но Наташку отобрал! В Смольном институте все лучше, чем при такой-то матери. И что Варюта от меня брюхата, вовек не признаю!

Суворов все мерил и мерил своими кривыми шагами низкую комнату, а Лазарев, допивая непривычную для себя крепкую, настоянную на здешних травах водку, думал о странности судеб. Одному жена рога наставляет и невесть от кого нежеланное для отца дитя рождает, а другому и после всех молитв не даруется благодать взять на руки своего сына.

* * *

Через балку, прозванную здесь «трубой», что отделяет крепость от разрастающегося армянского города, Лазарев переехал на следующий день. Виденную им тридцать лет назад Полуденку было не узнать. Пораженный бурностью развития его стараниями созданного города, Иван Лазаревич никак не мог отыскать нужный дом. Да как и отыщешь, если в виденную им пору вокруг ветер свистал, а ныне всюду каменные дома, лавки, артели, церкви, молодые шелковичные сады, которые повсюду насадили привыкшие к шелкопрядству армяне. Старые дома влились в новые, бегущие от берегового обрыва вверх улицы, называемые здесь линиями, и теперь было уже не распознать, что он мог видеть здесь воочию в былую отроческую пору, а что ему только казалось.

Хорошо возница-солдат, приставленный к нему Суворовым, вырубил.

— К Назарке-Блаженному?! Так ить три линии туды — и за поворот. Туманянов двор там.

Смотревший за Назаркой комендант и жена его тихо и смиренно отошли в мир иной, успев, однако, удивить Ивана Лазаревича вестью, что Назарка женился.

«Случаются в его разуме просветления. В одну из годин нормальности обжанился, и жена его, Катерина, тяжела нынче. Даст Бог, здоровенького, умом не обиженного родит. Девка она не армянская, отроду со здешних земель. И, знамо дело, не барских кровей, да дурню при его болестях барыня зачем. А за деньги, что ваше сиятельство исправно посылает, любая добрая баба при ем жить за счастье почтет».

Три линии «туды» и за поворот. Едва не споткнувшись о вросший в землю камень, о котором еще арестованный муж Надиры поминал, вошел Иван Лазаревич в украшенный тяжелой чугунной калиткой двор. Сам распорядился калитку эту на своем Чёрмозском железного дела заводе в Прикамье отлить и в Нор-Нахичеван отправить.

Малого деревянного домика, в котором прожила несколько коротких месяцев и где нашла свою смерть Надира, уже не было. Другой, прочный, хоть и небольшой дом из тесаного камня, построенный на приданое, выделенное отцом из Надир-шаховых денег,

красовался теперь посередине двора. Как вежи утекающего времени затянули его стены плющ да дикий виноград — за год-другой никакая стена сплошным зеленым ковром зарости не успеет.

— Ваше сиятельство! Благодетель!

Баба молодая, опрятная, с мальчонкой на руках склоняется перед ним. Баба и в ноги пасть готова, да ребенок мешает, своего требует. Голозадый чернявый мальчонка разом одну грудь сосет, а другой играет и выпускать ни из рук, ни изо рта бабью дородность не собирается.

— Так ить то племянничка вашего Назара сынок родный. Бог послал умишком не в отца. Отдай, отдай, стервец, титьку! Вишь, благодетель наш пожаловал, а ты орать! Молчи, окаянный!

Баба краснеет, с трудом отрывает кричащего дитенка от груди, заправляя два полушария под рубаху.

— Откуда знаешь, кто я таков?

— Сосед наш при крепости наемный служака второго дню прибеж, говорит, благодетель ваш, Лазарев Иван, Лазарев сын, пожаловать изволил. Так и ждем, вашсияльство!

— Так ты Катерина, Назарова жена будешь?! — понимает Лазарев, с любопытством разглядывая и женщину, и здешний быт.

Двор чистый, даже нарядный багрянцем краснеющего винограда и иссиня-фиолетовой спелостью молодой шелковицы. На бабе кофта и юбка добротного сукна. На деревянном столе под летним навесом хлеба каравай, да кувшин вина, и спелый алой сахарности арбуз.

Лазарев берет арбузный ломоть и ест, перемежая с вином и хлебом. Арбузный сок течет по рукам, по фламандского кружева манжетам, по рукавам шитого лучшим голландским портным сюртука, но Иван Лазаревич не замечает сотворенных арбузом бед. Так сладко и так вкусно ему не было с детства. Изыски придворных кулинару не в счет. Хотя изысками матушка императрица гостей потчует, а сама, как и Иван, все больше простую пищу жалует. Иной раз, в очередь с долгими разговорами о восточной дипломатии, картошкой с холодцом и его угостит. Высшее благоволение вместе с императрицей холодец из свиных хрящей с соленым огурчиком трескать. По восторгу это угощение нахичеванской Екатерины императрицыному холодцу вровень.

— Кушайте, вашсияльство, кушайте! Жара в этом лете все хлеба попалила, а арбузам жара мать родна.

Так и не спущенный матерью с рук мальчонка, едва оставив титьку, тянется к арбузной мякоти.

— Итить, куды полез! Вашсияльство сперва откушаеть, — одергивает мать, но Лазарев уже протягивает мальцу кусок мякоти из арбузной сердцевинки. Мальчик хватает и тянет в рот и, перепачкавшись, хитро улыбается, показывая все свои четыре зуба.

— Сам где будет?

— В доме. В игрушки свои играть. Он ить у меня аки дитяtko малое. — Иван Лазаревич с удивлением замечает в голосе женщины нотки нежности, если не любви к полоумному мужу.

После такой умиротворяющей прелюдии представшая его взгляду картина особенно тягостна. Здоровенный мужик тридцати шести лет от роду сидит, вжавшись в каменную стенку, и ковыряет ее ложкой. Рядом на разноцветном половике, какие бабы здесь вяжут из сношенных, нарезанных на длинные полосы юбок да рубаш, игрушки-погремушки валяются. Катерина спускает с рук мальчика, и тот ползет к отцу, ручонкой стараясь дотянуться до одной из игрушек. Убогий, еще больше вжавшись в свой угол, отмахивается, а когда малыш хватается ручонкой одну из погремушек, и вовсе в голос ревет.

— Ой, да отдай тятке его забавку, я те другую дам! Хуже дитятка, — жалуется Лазареву Катерина. — Малому растолковать сподручнее, нежели ему. Днями в игрушки свои играть, а то, как ныне, в дальнем углу сидит, стену ковыряет. Уж и три камня выбрал, насилу на место вставили да глиной замазали, а он другой раз давай ковырять. И слово какое говорит, не разобрать. Маари, ма, ба. Может, мамку зовет.

После двора, смешавшего принесенный ветром с Дона дух речной тины с ароматом спеющих во дворе желтых груш и с чуть горьковатым запахом предосенней травы, спертый дух комнаты, где живет Назар, ударяет в нос. И нечистот вроде не видно, ходит Катерина за несмышленным чисто, но от удушающего запаха болезни и несвободы мутит. Иван Лазаревич и не знает, как поскорее счесть долг исполненным да уехать. Для приличия спрашивает:

— На мужа не жалуешься?

— Чё ж жалиться!

Катерина, разомлев в непривычной праздничной одежде, утирает пот со лба. Капельки на ее загорелом веснушчатом лице замирают бисеринками мелкого жемчуга. Родись эта женщина в жизни иной, с нее картины бы писали да сонеты ей слагали, вглядывается в это лицо Лазарев. Но в этой жизни ей век за умалишенным ходить да Бога благодарить, что благодетель при больших деньгах не обижает.

— Не буян он. Не дерется. Не пьет. И мужнее дело, ох, как могёт, — без тени смущения говорит она. — А что умишка не стало, так на все воля Божия! Боялася, что и сынок в негс уродиться может. На богомолье ходила. Так и выродила здоровенького. Дохтур из крепости до нас приходил, смотрел, сказывал, не в отца сынок.

Почему жизнь так несправедлива? Хотя где она, справедливость. Калечный, богом обиженный, сидящий теперь перед ним на полу и не знает, что является он не кем иным, как наследником иранского шаха, то бишь персидским принцем, шахзаде. И при ином повороте фортунова колеса владеть он мог бы и алмазами величайшими, и драгоценными россыпями, и горами золота, и гаремами, полными чаровниц. И властью. Неограниченной властью правителя Востока. Да только всего этого не понять мужику, который мочится в штаны и из всех человеческих чувств понимает лишь голод да холод. Он счастлив своими детскими бирюльками, которыми теперь играет вместе с сыном. И кричит до слез, если годовалый дитятко какую из бирюлек отобрать у него хочет.

А что, если кара отцов, дедов и прадедов падает на детей, и за грехи, за страшные злодеяния шаха Надира платит теперь этот жалкий человек...

Попав из радужного алого арбузного настроения в плен тягостных дум, Иван Лазаревич спешит попроситься.

— Деньги будут вам поставлять исправно, — уверяет он и без того припавшую к его руке Катерину. Сидящий на вязаной подстилке Назар тянется к нему.

— Ээ-бэ! — бормочет убогий и сует в руку одну из своих игрушек.

— Радый он вам! — поясняет Катерина. — Гостинчик дарит! Он ить игрушки эти

никоды с рук не спускает. Комендантиха сказывала, что поделки эти с ним ишо из вашего дома приехали. Как опосля удара очнулся, только ими играет, никому не дает. А вашсияльству подарил. Признал, видать!

— *Туман яром, туман долиною
Туман яром, туман до-олиною.
За туманом ничего не видно,*

— откуда-то со стороны Купеческой слободы доносится грудной бабий голос.

— За тума-аном ничего не видно... — растягивая слова и меняя ритм каждой вторящейся строки, подхватывают песню несколько высоких голосов.

Повисший над Доном вяжущий белесый туман накрывает крепость, не видно уже ни Георгиевских ворот, из которых выехала карета статского советника, ни замерших на карауле часовых, ни возвращающегося с учений в гарнизон отряда. Лишь топот сапог, мелькание голубых шаровар да обрывистая команда «Р-няйсь!». Как белый шелк, расстеленный на столе модной модистки, туман растекается по балке, разделяющей крепость и армянский городок, а там, словно докатившийся до края отрез, обрывается в начинающиеся за Нахичеваном поля.

Графская карета держит путь на восток, до Каспия, а там в сторону Персии, куда Лазарев послан по государевым делам.

В последний раз проезжая по чистеньким добротным улочкам Нор-Нахичевана, Иван Лазаревич старается мыслью унести в новое порученное ему дело тайных переговоров в Персии. Да все оглядывается на странное, околдовавшее его место.

Что за сила таится в обрывистом донском берегу, что притянула их сюда три десятка лет назад, а после заставила чувствовать себя обязанными и этой земле, и тем, кто на ней жить остался? В чем кроется неразгаданный им Божий промысел, который заставляет их, Лазаревых, и сынов прочих важных и влиятельных российских фамилий явными и тайными рычагами больших политических экзерсисов и каждодневным упорством торговых и прочих промысловых надобностей разводить в еще недавно безлюдной степи очаг новой жизни. И создавать переселенческое городище, и строить крепость Ростовскую, коим вскоре суждено слиться воедино, и образовывать новый город, способный стоять на этом месте вопреки и во славу. Ради кого все их дела и помыслы? Кому суждено родиться в городе этом и славу его множить?

От мыслей о таинствах предначертаний Господних по щеке катится непрошенная слеза. Иван Лазаревич опускает руку в карман камзола, и... рядом с платком нащупывает что-то позвякивающее.

Погремушка.

Подаренная умалишенным Назаркой та персидская безделица, лишь отыскав которую в корзинке с игрушками, Надира согласилась бежать из Мешхеда.

Лазарев вынимает замусоленную детской слюной безделку из кармана и выставляет на свет, вдруг прокравшийся через рассеивающийся туман. Сквозь протершийся шелк изнутри восточной вещицы сыплются мелкие и чуть более крупные камешки и бусинки, создававшие в погремушке звук. А следом на ладонь вываливается самый крупный, идеально овальный, как лицо прелестной женщины, камень. И проступает дивное неземное сияние.

(ЛИКА. СЕЙЧАС)

Стояла и вдыхала презираемый прежде запах речной тины и не понимала, что со мной. Неужели я люблю этот город? И этот опостылевший двор. И гудящую от каждого шага колокольным набатом лестницу от моей детской до моей семейной жизни — двадцать три ступеньки. И идущий из всех окон вечный запах жареной рыбы и подсолнечного масла. И этих курящих мужиков, сидящих на корточках вдоль покосившихся заборов. И соседок, в тапочках выходящих на центральную улицу за хлебом и семечками. И всех этих женщин, по субботам выписывающихся на городской базар в бархатных и парчовых платьях. И все, что я прежде так истово ненавидела.

Город с его нарочитой южной кичливостью, где все — и краски и страсти — через край, напоказ, город этот вьелся, впитался, вошел в кожу с дымом жарящихся на набережной шашлыков и каштанов. И там растворился, сколь ни пыталась я его из себя исторгнуть, вычеркнуть, забыть. Сколь ни пыталась ненавидеть, чтобы потом, вот так через пять лет, свалившись как снег на голову с нерадужным посылом поиска пропавших мужей, вдруг застыть посреди этого дважды проклятого мною города и вдруг всеми фибрами души ощутить: я люблю его! Я люблю этот причудливый эклектичный мегаполис. И он любит меня. И извиняется передо мной за все, что пришлось мне здесь пережить. И подает мне едва ощутимый, но явный знак, что готов расплачиваться по старым счетам.

Если собрать воедино всю энергетику отчаяния и любви, выпущенную мною в низкое южное небо, тысячу ракет в космос можно было бы запустить. И если сегодня это небо вдруг вернет мне хотя бы сотую долю моей любви, то доли этой хватит, чтобы отыскать, вытащить пусть и прошлых, но все же мужей из таинственной черной дыры, что вдруг так необъяснимо поглотила их.

* * *

— Ахвелиди!

Едва не сбив меня посреди улицы (правила дорожного движения в этом городе никогда не были в чести ни у водителей, ни у пешеходов), резко затормозил навороченный бумер, из которого выглядывал мой одноклассник Мишка Платонов. За время моего отсутствия Михаська успел облачиться в форму с погонами, плохо стыкующуюся с дороговизной его автомобиля. Ежели ты мент, то у тебя и зарплата должна быть государственная, а ежели у тебя зарплата государственная, то неоткуда взяться бумеру, ежели не со взяточных денег, а ежели бумеры берутся со взяточных денег, то ты не мент, а последняя сволочь — я так понимаю.

Но так понимать я могла в столице, которая большая и в которой вид чужого мента в бээмвэшке не говорил мне ничего, кроме его потенциально взяточной сути. В этом же

городе пышный и добродушный вид Михаськи говорил мне прежде всего о другом. О сердобольной бабушке, водившей Мишеньку до седьмого класса за ручку в школу, и о его щечках-яблочках, красневших при любом удобном и неудобном случае, о его коте Петровиче, прославившемся тем, что умел ходить на унитаз, и об удивительно вкусном хворосте, который Михаськина мама пекла на каждый день его рождения, и весь класс после угощения пачкал тетради жирными руками... И уж только после всего этого служебная оболочка, накинутая на суть моего одноклассника, могла при желании сообщить мне о том, сколько и за что положено отстегивать майору Платонову.

— Приветик, Платонов! Да ты никак на государеву службу подался! — сказала я, усаживаясь на просторное переднее сиденье Михаськиного автомобиля.

— Имеешь что против?

— Ни-ни! Давно при погонах?

— Четвертый год.

— И, как водится, каждой перемене мест положена и перемена семейного статуса? Ты ж любишь жениться.

— Как водится!

Михаська на моей памяти пятый раз менял место службы, а вместе с местом службы менял и супругу. Если бы в свое время земляку Чехову пришло в голову описать в образе Душечки не только дочь отставного коллежского асессора Племянникова, но и особу противоположного пола, то Михал Карпыч был бы претендентом номер один на звание «Душечка». Переходя из развалившегося райкома комсомола в только что народившийся кооператив, затем в коммерческий клуб, потом в городскую администрацию и вот теперь в милицию, на каждом новом рабочем месте Михаська не просто обзаводился новой женой, но и сообразно женам кардинально менял свой образ мыслей и внешний облик. Он худел и толстел, подсаживался на систему Порфирия Иванова или жрал и пил все подряд, подавался в трудоголики, сутками работая то на благо отечества, то на толщину семейного кошелька, или пускал все по ветру и спал без продыху. И так до тех пор, пока в мозгу в какой-то неуловимый миг не перемыкало и он, собрав манатки, не отправлялся очередной раз менять судьбу и профессию.

Нынешний вид Михаськи, солидного, отолстевшего, полысевшего, подразумевал наличие рядом аналогичной супруги — дородной, солидной, милицейской. Так и есть, на откинутах солнечном козырьке красуется фото дамы при погонах. И если я еще не разучилась считать звездочки, то в этом браке супруга старшая по званию.

— Кто-то просто любит жениться, а кто-то исключительно на родных братьях специализируется, — добродушно огрызается Михаська. — Что, в Ростове братья закончились, пришлось в столице искать, не найдется ли какого завалыщего Туманяна?

— И столичные Туманяны не находятся, и здешние пропали.

— Тебя Каринэ на срочные поиски вызвала?

— А что, поиски требуются срочные? Одноклассник пожал округлившимися плечами.

— Ну-ка, ну-ка, Михаська, выкладывай, что знаешь. Тебе по должности знать положено.

Плечи так и остались в поджатом состоянии, а Михаська, поглядывая на фото очередной любимой супруги, заерзал задом по основательно продавившемуся под его весом креслу.

— Мне в администрацию на совещание по борьбе с терроризмом надо. Давай вечером встретимся. Или завтра. Или еще лучше к Эльке сходи. Ашот всегда больше моего знает.

Эге-ге! Если менты переадресуют к бандитам, значит, с моими мужьями дело обстоит еще серьезнее, чем я думала.

— Довез хотя бы до Элькиного замка, раз колоться не хочешь. А то меня уже ноги не держат, отвыкла я в столицах пешком ходить.

— Говорю ж, в администрацию... по борьбе с терроризмом... — излишне заученно бубнит Михаська. — А ноги... — Чуть более плотоядно, чем положено просто приятелю детства, оглядев мои коленки, высунувшиеся из-под положенного для такой жары мини, Михаська разворачивается через две сплошные и тормозит около ошалевшего постового. А постовой от такой наглости не в свисток дует и не штраф малюет, как сделал бы любой нормальный постовой в любой нормальной Европе или Америке, завидев столь вопиющее нарушение правил, пусть даже со стороны начальника, а вытянувшись по струнке, козыряет правильным номерам Михаськиного бумера.

— Здесь только мотоцикл на посту. На мотоцикле доедешь? — обращается ко мне Михась и, не дожидаясь ответа, отдает команду постовому сержанту: — Оперативно доставить по адресу! Выполнить и доложить!

И снова крутанув через две сплошные, рукой утирает крупные капли пота, которые, невзирая на все усилия бээмвэшного климат-контроля, выступают на его нахмуренном лбу.

Милицейский мотоцикл, свербя мигалками, мчит меня в сторону Элькиного дома, а я, вцепившись в пропитавшуюся потом форменную рубашку везущего меня сержанта, пытаюсь сообразить, почему это Михаська сразу сообразил, что я прилетела искать пропавших мужей? Свекровь в милицию не обращалась. Откуда ж ему знать?

* * *

Основательный замок, принадлежащий моей школьной подруге Эльке и ее мужу Ашоту, милейшему человеку, о котором в этом городе каждому ребенку было известно, что он «большой авторитет», был моей первой дизайнерской работой. Вот уж где я развернулась и от души позволила себе поиздеваться над заказчиками за их же деньги.

Говорят, в каждом короле есть настой плебса, который необходимо выпускать наружу. Комплексы, особенно тщательно скрываемые людьми с солидным положением, будь то положение в кабинете министров или в местной бандитской группировке, требуют выхода. Делая дом Эльке и Ашоту, я вдруг поняла, что мои интерьеры могут стать той комплексной психотерапией, за которую заказчикам будет не жалко отваливать весьма кругленькие суммы. Если мой дом — моя крепость, в крепости этой должно быть пространство, в котором дозволено вырываться на свободу наивной, убогой, плебейской сути, глубоко запрятанной внутри каждого из нас.

Дизайн это диагноз. Точно поставив этот диагноз, можно манипулировать заказчиком. Создавая пространство, в котором тот сможет выпускать на свободный выгул собственные фанабери, отчаяния, страхи и стыдные в глазах прочего света причуды, из наемной дизайнерши я превращаюсь едва ли не в персонального психоаналитика, к коим у нас по-прежнему ходить не принято, но душу облегчить ох как хочется.

В доме Ашотика я впервые позволила себе поиграть в те игры, которые потом за пару лет в столице сделали мое имя модным брендом, впервые придумала пространство с двойным, тройным дном. Первый слой для положенного понта и показухи, второй для

тщательно запрятанных тайн души.

В этом доме у тайного внутреннего слоя были свои две половины, не похожие одна на другую, как не похожи друг на друга их обитатели. Половина для Эльки, половина для Ашота. Разведенные в противоположные части огромного дома, эти приватные половины столь полюбились хозяевам, что в понтовом общем внешнем слое они встречались лишь по делам особой важности: трахнуть, денег с мужа слупить, пыль в глаза друзьям пустить...

Эта семейная парочка была столь нарочито колоритна, что покажи ее на эстраде, полное ощущение комического дуэта обеспечено — Миронова — Менакер, Саша с Лолитой, на худой конец.

Внешне Элька с Ашотом смотрелись в паре не менее потешно. Ашотик коротенький, кривоносый, кучерявый в тех местах головы, которые ему еще удавалось отвоевать у наступающей лысины. Элька высокая, пышная. Кровь с молоком. Адреналин с кокаином. Экстази, запитая валидолом.

В школе Элька любую контрольную умудрялась сдавать первой. Не от большого ума, а от большой женской хитрости. Элька сумела выдрессировать сидевшего с ней за одной партой Владичку, замухрышку-отличника, классического «ботаника» с ровненьким проборчиком пионерской стрижки и навечно засевающим в глазах страхом перед собственной мамочкой. После этой дрессуры Владичка сначала решал первый вариант, заданный левому ряду, где сидела Элька, а уж потом собственный второй. Завершив дело переписывания подсунутых Владичкой ответов в свою тетрадь, Элька не забывала озадачиться и своей судьбой, заставляя отличника писать в своей тетради повернувшись так, чтобы Эльке удобно было списывать решения и для меня.

Лет в семнадцать, отплясывая в ресторане на свадьбе подруги ламбаду, она попала на глаза выходящему из отдельного кабинета коротенькому человеку. Об Ашоте уже в ту пору всему городу было известно, что он «серьезный человек», цеховик, попутно крышующий и тех и этих. «На ашхар эгиле охт ой арчев!» — говорила об Ашоте моя свекровь, что в переводе с донского армянского значило, что «он родился на семь дней раньше черта».

При виде Эльки рожденный на семь дней раньше черта замер, забыв о сопровождавшей его свите. Через минуту ноги в ботинках на высоченных каблуках стали притопывать в такт Элькиной ламбаде, а еще через несколько минут Ашот уже подтанцовывал Эльке, неумело виляя боками, лишь бы прижаться к танцующей фурии.

Элька стала наваждением несчастного бандита.

— Вай! Вай! Надо мной весь город смеется! — периодически вопил несчастный Ашотик, выслушивая от собственных шестерок красочные донесения о приключениях любимой супруги, случившихся то там, то сям.

Элька на крики мужа ни малейшего внимания не обращала. Она была абсолютно, тотально убеждена, что ежели она своей неземной красотой составила счастье этого тщедушенького, коротенького человечка, который в пору, когда еще не принято было нанимать водил, не мог позволить себе купить солидный навороченный джипешник, потому что ноги у него доставали до педалей только в отечественных «Жигулях», то ей плевать на его авторитет и все писанные и неписанные нормы.

— Чтоб я еще хоть раз поехала с ним куда-то! — вопила Элька, в дикой ярости вернувшись с благоверным из Рима. Недельное существование в общей с мужем спальне явно недешевого гостиничного номера превысило все лимиты ее терпения, отведенные драгоценному супругу.

— Нет, ты представляешь! Он ночью в туалет встает! Унитазом гремит! Спать мне не дает!

И, лишь утихнув от истового возмущения, Элька начинала демонстрировать шубу «от Фенди», кольцо «от Картье» и мешок — в прямом смысле слова мешок — обуви по триста-четыре доллара за пару, приобретенной Ашотиком для своей дражайшей половины все в том же римском вояже.

В мафиозной структуре какой-нибудь Сицилии Эльку давно бы элегантно устранили, дабы не позорила честное дело семьи. Но в нашем милом городе и мафия всегда была со своим домашним колоритом. Во все времена, при всех режимах, встречаясь на улицах, горожане поясняли спутникам: «Сурен, под ним Нахаловка» или «Это Витька Круглый, большой человек, держит старый базар», столь же спокойно и почтительно, как через пару кварталов представляли следующего случайно встреченного знакомого: «Николай Петрович, секретарь Пролетарского райкома партии».

В общем, Элька была классической стервой, каковой во все времена могла быть жена какого-нибудь партийного чина, главы администрации, банкира или бандита. Хотя самой Эльке такие сравнения и на ум прийти не могли. Элька всегда была Элькой. Элькой — и все тут! И хоть ты тресни — Элькой! Стервозной, взбалмошной. И бесконечно любимой собственным мужем.

Ашота, который при любом экономическом и политическом режиме держал в порядке и страхе если не весь город, то его большую часть, дома в порядке и страхе держала Элька. В первые недели после свадьбы грозный муж еще пытался интересоваться, почему утром на кухонном столе грязные тарелки из кузнецовского коллекционного фарфора с окурками, погашенными о недоеденные натюрморты. Но вскоре интересоваться перестал: накладно. После каждого подобного вопроса легким движением Элькиной ручки распахивалось окошко, и окурки в натюрморте вместе с коллекционной тарелкой вылетали во двор. И там, разумеется, благополучно разбивались вдребезги. А Элька, положив любимый суджук на последнюю чистую тарелку, отправлялась в спальню, чтобы, дожевывая остренькую колбаску, не мудрствуя лукаво, зашвырнуть коллекционного близнеца под кровать — авось Ашот когда-нибудь достанет.

Другой раз банка не убранного вовремя в холодильник, оттого подкисшего за ночь лечо была вылита на голову мужа, и кусочки обильно залитых масляно-томатным соусом мясистых красных и желтых перцев свисали с остатков его некогда черных волос — не фиг орать, что в этом доме все прокисает!

По ходу счастливой семейной жизни дело дрессировки мужа было поставлено на широкую ногу и принесло свои плоды. Ашотик больше не возмущался, прав не качал. Никогда и ни по какому поводу. А для своевременного мытья тарелок нанял многочисленную прислугу. Но вошедшая во вкус дрессировки благоверная не давала ему расслабляться. В пору появления первых пейджеров Элька умудрялась посылать любимому супругу сообщения, звучащие, как команда опытной собачницы, уверенной в своем псе: «Голос!» — если не звонил долго, «Место!», «Рядом!» — если требовалось срочно вызвать мужа домой, «Фас!» — если требовалось кого-то приструнить. Не спускавший никому в этом городе ни малейшего невнимания к собственной персоне, от любимой жены Ашотик был готов сносить и не такое. Лишь бы Элька в его жизни была.

Элькин слой в этом доме был превращен мною в нарочитое кабаре. «Мулен Руж», перемешанный с единственно доступным для советской девочки образчиком в виде

гэдээровского «Фридрихштадтпаласа», который мы с Элькой в третьем классе упоенно смотрели по телевизору в ее малосемейке. Теперь — в соответствии с материальными возможностями Ашота — Элька могла легко спонсировать любое из обозначенных действий, заставив звезд любого масштаба разыгрывать «Мулен Руж» у нее на дому. Но присущая даже самым отвязным из провинциальных девочек привычка смотреть на звезд снизу вверх осталась и в моей однокласснице. Звезды по-прежнему казались ей звездами, загадочными и недоступными. И познакомившись в своей столичной дизайнерской жизни со многими из тех, кто составлял предмет Элькиной зависти и разговоров, я не смогла бы убедить ее в том, что звезды тоже люди.

Все блескучее, переливчущее, выпендючее, в тайне составлявшее самую Элькину суть, на ее половине дома было возведено в абсолют столь абсолютный, что и сама хозяйка, взирая на мир, созданный мною для нее, не нашла что возразить. «Ё... твою мать — красиво-то как!» — процитировала свой любимый анекдот Элька, из чего я сделала вывод, что государственной комиссией в лице хозяйки моя работа принята на отлично.

Половина Ашота была той тихой гаванью, в которой несчастный муж мог хоть ненадолго забыть о любимой жене, перевести дух и предаться мыслям о вечном, предаваться каковым уважаемый бандит очень и очень любил. В другое время в другой жизни он явно стал бы армянским философом, историком, упоенно зарывающимся в иную научную реальность. Эту реальность я и создала Ашоту в его части дома. Вернее, игру в эту другую реальность.

Увидев, какой интерьер я соорудила для ее благоверного, Элька чуть меня не съела.

— На кой ляд этому гемору столько книг! Он, что ли, твоя Каринэ-Античная?! Письменный стол, как у поэта-классика. Что он за этим столом писать будет — записки рэкетира?

Но по глазам Ашота я поняла, что попала в точку. Соответствующий созданному интерьеру образ классического книжного червя оказался той потаенной мечтой, в которой Ашот не признавался даже самому себе.

Занявшись интерьерной психоаналитикой, я поняла, что играть в это надо до конца и на полном серьезе. Псевдонаучный кабинет для правдоподобия надо было обставить книгами. Заведя в смете оформления дома графу «Книги», я скупилась у свекровиной коллеги по кафедре несколько стеллажей литературных памятников и философских словарей. «Опыты» Монтеня, Маргариту Наваррскую, «Гептамерон», Честерфильд, Макферсон, Метьюрин — не самое обиходное чтение даже для филфаковского преподавателя. Обнищавшая к середине 90-х университетская профессорша на эти деньги купила квартиру для женившегося сына, выделенной же на дизайнерские изыски смете расходов эта статья особого ущерба не нанесла: золотые унитазы или старые книги — деньгам все равно. Книжки даже дешевле. Но, расставляя на антикварных полках выступающие в роли декоративного элемента редкие тома, я и представить себе не могла, что Ашотик начнет их читать. И увлечется! Но Ашотик подсел на чтение. Причем не на абы какое, а на самое трудное чтение, скупая теперь даже разрозненные тома «Философского наследия».

* * *

На подъезде к Элькиному дому в дополнение к и без того показательному вою мигалок

милицейского мотоцикла сержант еще врубил сирену. Пользоваться обычным дверным звонком здесь было не принято.

Узкую дверь в огромных воротах открыла сама Элька. Как водится, в сарафане из последней летней коллекции Гуччи и в стоптанных китайских кроссовках на босу ногу. В подмосковной реальности Рублевки или Жуковки представить себе даму подобного ранга, лично отправившуюся к воротам открыть дверь, и думать не могли. В Элькиной реальности все несовместимое запросто сливалось воедино.

— Привет, Серёнь! — так же запросто Элька приветствовала явно хорошо знакомого ей постового сержанта, который меня привез. — Михаська тебя спровадил? Мы ему, этому Михасику, покажем, как людей по жарюке на мотиках без кондиционера гонять! Сам не мог зад свой приподнять и отвезти! Личка, родная, Личка, дорогая! Не было бы счастья...

Элька одновременно разговаривала со мной и с сержантом, умудряясь попутно еще и руководить собственным охранником, чтобы «по-быстренькому — одна нога здесь, другая там сбегал в дом, притащил Серёнечке чего-нибудь холодненького попить». По обычному для одноклассницы словесному потоку трудно было понять, что мы не виделись пять лет. Элька тарыхтела так же, как и во времена, когда я умудрялась забегать к ней по нескольку раз на дню, чтобы излить хоть толику измучивших меня страстей.

— Все растем, все хорошеем, все тощеем! А у меня зад как был, так и не сплыл. Хотела отрезать лишнее, уже со всеми хирургами-косметологами посоветовалась, вот тут уже нарисовала, сколько отрезать надо, чтобы в джинсы двадцать девятого размера влезать.

Излишняя стыдливость никогда не была отличительной Элькиной чертой. И теперь, нисколько не смущаясь охранников, Элька задрала тысячедолларовый сарафан, наглядно указывая, сколько и где ей надо отрезать.

— Но полетела на Карибы, а там один старикашка французский, барон, между прочим, какой-то, все на мой зад пялился да причмокивал. Чего, говорю, барон, мать твою баронскую, причмокиваешь. Вокруг девок моделей с такими вот талиями, с такими вот задиками, а он на мое коромысло зарится! Так дед этот аристократический говорит: «Вы, мадам, в женской красоте ничего не понимаете! Это все не женщины, а манекены для продажи изделий от кутюр. На их зады и не встанет, а вы по пляжу идете, все колышется. Даже у меня давно забытый прилив сил намечается, что уж там про более кондиционных мужчин говорить!» И еще сказал, что у меня зад, как у этой... Как ее там, на картинах художника французского... Тулуз-Лотрека.

— Ла Гулю, — подсказала я, удивившись, что подруга запомнила хотя бы Лотрека. — Луиза Вебер по прозвищу La Goulue — Ла Гулю.

— Во-во, эта самая Гуля.

— Это он тебе все по-русски говорил? Или ты французский в совершенстве освоила?

— Адик перевел. Я его для таких дел с собой вожу, — заявила Элька, не поясняя, для каких именно «таких». — Да и папочку попутно порадовала. Папочка мой задик любит, правда, папочка?!

Элька с высоты своего роста похлопала вышедшего из дома Ашота по лысинке.

— Папочку мой задик возбуждает.

Пока Ашот галантно склонялся к моей ручке, Элька еще выше задрала сарафан с вполне лотрековскими узкими треугольными вырезами на груди и спине. И, не подозревая о коронном номере предшественницы, сравнения с которой она удостоилась от французского старикана, в финале домашнего канкана так же непринужденно запрыгнула на стоящий в

тени беседки стол — ооп-ля! А я лишней раз мысленно облизала собственное профессиональное самолюбие: как это я в точку попала! Войди французский барон в пространство, оформленное мною для подруги, он уж явно расшифровал бы все не считанные Элькой лотрековские цитаты, коими была полна ее половина.

— Ты ж, подруга, поди, и не ко мне пожаловала, а к этому растряндыю. Пять лет ни ответа, ни привета, а на порог — и сразу к нашему папику. Нет бы с подружкой душу отвести, языки почесать, так сразу к Ашотику, к всеильному, — пойди, Ашотик, туда, не знаю куда, откопай мне мужиков моих разлюбезных, расхреновых...

Мы вошли в дом, окутывающий прохладой хорошей сплит-системы, и Элька уже доставала из двухметрового холодильника плетеную флягу с белым вином.

— А с чего вы все решили, что я кого-то откапывать прошу. Может, просто так повидаться приехала. Сейчас винишка холодненького глотну — и языками чесать будем. — Для наглядности сделала несколько глотков приятно охлаждающего винца.

— И то верно. Пусть эти сволочи-мужики сами подышают! Не хрена их спасать! Все, Ашотик, свободен. Бабы-дуры в загул идут! Эй, Сироп или кто там сегодня дежурит, врубайте сауну, а Воробей путь живо за раками и пивком слетает. В бане сегодня женский день! Мы с Личкой гуляем!

— Мне Каринэ сейчас как по мозгам нагуляет! Приказано крупной соли купить, чеснока и в срок явиться на семейное производство — баклажаны и огурцы закатывать.

— Ярмо давно не примеряла?! Сами с Идкой за чесночком слетают, не царицы! Всех в баню! И сами в баню! Давай-давай! У нас банщик новый Маркосик эвкалиптовые веники замачивает, а потом тебя этими вениками так отделает — на свет заново нарождаешься!

— Анушис! Малышка! — Если реальный Лотрек говорил, что из-за собственного роста лучше всего изучил человеческие ноздри, то Лотрек нахичеванский привычно чмокнул супругу в грудь, которая была как раз на уровне его губ. — Вы там с Маркосиком начинайте, а Личочка вас догонит. Мы поговорим немножко, и она вас догонит.

В других устах это адресованное жене «вы с Маркосиком начинайте» звучало бы по крайней мере двусмысленно, но у Ашота и в этой фразе не звучало ничего, кроме безграничной любви к взбалмошной Эльке.

* * *

На половине Ашота все было почти так, как я сама сделала много лет назад. Нарочитый академизм придуманной мною обстановки слишком пришелся хозяину по душе.

— Боюсь без тебя что-то менять, — развел руками хозяин. На некогда добытом мною антикварном письменном столе Буля теперь поблескивал жидкокристаллический монитор внушительных размеров. Экран призывно мигал десятком сообщений, полученных по «аське» за время недолгого отсутствия хозяина, и взывал к его совести всеми возможностями компьютерного сленга в каком-то чате.

— Чатишься? — глазам своим не поверила я.

— Технический прогресс, — утвердительно кивнул головой один из главных местных авторитетов. — Без него никак!

Интересно, а рэкетирская отчетность теперь тоже обрабатывается при помощи компьютерных программ?

— Извини, быстро отвечаю, что я в оффлайне, — бочком подсел к компьютеру Ашот. — Исторический портал содержу, несколько сайтов по истории, археологии. Я, Ликочка, на историю нашу подсел. Стыдно ничего про себя, про свой род не знать. Как выродки какие-то без прошлого — кто мы, откуда. Как армяне на Дону появились, откуда пришли, как? Ты знаешь, в 1778 году по пути из Крыма до Дона армянские переселенцы треть потеряли, пятнадцать тысяч погибли, не вынесли тягот.

— А копальщики твои где? Каринэ говорила, детишки ваши археологией увлеклись.

— Бандиты! — расплылся в гордой отцовской улыбке Ашот. — Как Алька с Ануш из Оксфорда приехали, весь город вверх дном перерыли. В первый же день каникул Михась из ментовки их привез. Они под памятником Кирову рыть начали, их и повязали, чуть ли не в диверсии и терроризме обвинить хотели, пока не разобрались, чьи дети! Ашот выдержал многозначительную паузу.

— Потом председатель комиссии по культуре извиняться приехал, каклан шун [7]! Понимаете, Ашот Суренович, раскопки без разрешения... коммуникации... историческая часть города! Гайван [8]!

Дети им и говорили, что историческая часть города. Что под этим самым Кировым самый центр крепости Дмитрия Ростовского был, дом коменданта, Покровская церковь, Суворов в ней на клиросе пел, говорят... Разобрались, в натуре. Несколько лимонов отбашлял им на культурные нужды, а они археологическое общество мне зарегистрировали.

— Несколько лимонов? — привыкнув по столичным меркам все считать в у.е., которые теперь плавно видоизменялись из долларов в евро, я удивилась щедрости даже щедрого авторитета.

— Рублей. Несколько миллионов рублей. Ты забыла, что здесь хоть и гордая, но провинция. И у нас все по-прежнему считают в рублях.

— А Кима к твоим рытвинам каким ветром занесло?

— Это меня к нему занесло. Он же вечно что-то рыл в Танаисе. Я как историей проникся, так на Кима вышел. Он историей армянского поселения на Дону и занимался. Я ему оклад как председателю Общества армянской истории положил, секретаршу выделили, оргтехнику завез...

Бывший муж, неформал из неформалов, умудрявшийся даже в советские времена являться читать лекции в джинсах и свитере, в роли председателя чего бы то ни было с секретаршей и оргтехникой — хотела бы я на это посмотреть!

— И что?

— А ничего. Много интересного Ким открыл. Раскопал, что Ованес Лазарян, он же Иван Лазарев, тот, что алмаз «Орлов» достал, руку свою к нашему городу приложил.

— И при чем здесь дела столетней давности?

— Не сто, а двухсотпятидесятилетней...

— Пусть двухсот пятидесяти, — согласилась я. — Но при чем здесь древние армянские тайны и пропажа моих мужей, сразу обоих. Не золото же скифов Кимка для тебя раскопал!

— До скифов мы еще не дошли. У нас же обратный отсчет, ход времени от нашего века к прошлым. До скифов подождать придется. Пока мы только до 1750 года добрались. А там не история — экшн с фикшном, триллер с киллером! Одни тайны! Ваш двор как раз на месте первых поселений стоит, хотел его под музей забрать, всех из этой богадельни переселить. Мои ребята и квартиры всем жильцам подобрали. Киму отдельно, Каринэ с Идой отдельно. Им в Нахичеване, соседям подальше, но в весьма приличном районе. Но...

Ашотик уныло развел руками.

— Благая идея разбилась о скалу моей свекрови? — догадалась я.

— До твоей скалы и добраться не успел. Зинка, соседка ваша, такой вой подняла, тентек

[9]! Никакого музея не захочешь. Ничего-ничего! Я теперь к бывшему дому армянского общества на Большой Садовой присматриваюсь...

— Где гостиница «Московская»?

— Он самый. Там же раньше армянского общества дом был. Вернуть хочу!

— Бог с ним, с музеем, и с Зинкой, и с раскопками. Мужья мои бывшие здесь при чем?

А Тимур, тот вообще ничего не копал.

— Да-а, Тимка твой в последнее время сник. Я ему уже предлагал: давай, оштах [10], я тебе на телеканал забашляю сколько надо, только не кисни! Не помогло.

— И башли на канал не взял?

— С лицензией на вещание что-то не срослось.

— Ашотик. Ты же все знаешь. Кто? — спросила я напрямую, надеясь, что один из хозяев города мне сейчас просто расскажет кто, за что и куда дел моих мужей. И как их из этого «куда» достать.

— Никто. Здесь не мог никто. Не посмели бы. Все знают, что я с Кимом советуясь!

— Тогда где они? Если в этом городе, где никто не рискнул бы на тебя нарваться, никто тронуть их не мог, получается, их выкрал кто-то извне? И вывез куда-то.

Ашотик побряхтел.

— Жена последняя Кима не нравится мне что-то. Маймуд [11]! Араба какого-то сюда привозила.

— Араба?

— Она как за Кимом замужем побывала, модной галеристкой себя возомнила. Все работы Кима и его собутыльников в Эмираты вывезла. Устроилась там в какой-то галерее подрабатывать. Ни хрена не заработала, зато какого-то араба подцепила и лапшой все уши ему завешала. Даже в Ростов притащила, работы покупать.

— Да-да. Каринэ говорила, что шейх какой-то к ним во двор приходил, диким виноградом восхищался. Но арабу мои мужья зачем?

— Не знаю. Но сучка эта с арабом своим обратно в Эмираты уехала.

— Замуж вышла?

— Замуж таких арабы не берут. Но чую, что-то в этой арабской истории нечисто. Нюх у меня на такие дела, поверь.

Это «поверь» с почти твердым «э» во втором слоге и без мягкого знака в конце Ашот произнес так, что внутри у меня что-то нехорошо сжалось и расжиматься не хотело. В нашем почти дружеском общении случались мгновения, когда я вспоминала, что муж подруги не просто балагур, весельчак и подкаблучник, а что в этом городе у него и иная, весьма серьезная репутация. Сейчас был один из таких моментов. Если Ашот говорит «повэр», приходится верить.

— Она и Киму мозги вкручивала, через наш факс письма присылала, Элька к вам домой их отвозила.

— А что за письма?

— Не мое дело. У Эльки спроси. Это она свой носик в чужие записки любит засунуть, цависимис [12]!

Ничего от нее не скроешь! Может, эта бестия Кима в Эмираты звала.

— Слушай, я ведь эту мою последовательницу совсем не знаю, даже не видела ее ни разу. Что она собой представляет?

— Телка-метелка. Но с амбициями. Рыжая копна на мешке амбиций.

Рыжая копна... Что-то недавно мелькавшее. Какое-то незафиксированное ощущение. Рыжая копна на мешке амбиций. Ашот действительно стал философом.

* * *

— Чем сауну топить, во дворик бы вышла. Температура на улице примерно та же! — из кондиционированного пространства дома я втиснулась в сауну, где на верхней полке под аромат шалфея и эвкалипта млела раскрасневшаяся подруга. — Эль, а что в факсе было, который ты Киму отвозила?

— Я чужих записок не читаю, — пробормотала подруга. — Разве что в восьмом классе от твоих кавалеров...

— Верю в твою кристальную честность. Но в интересах следствия...

— Текст странный. Алинка из своих Эмиратов какой-то перевод с арабского присылала. Кроме перевода, там ничего и не было. «Привет» да «Пока». Даже без «Целую» — это не случай, если следующие за тобой супруги супругов вызывают у тебя ревность.

— Супруги супругов ничего у меня не вызывают. А из перевода ты ничего не запомнила?

— Бред там был. Сказки Шахерезады. Как раз для твоей дивной свекрови.

— Нет, Каринэ про факс ничего не знает. Видела только, что ты Киму бумагу отдала, а саму бумагу увидеть не успела. Вся надежда на твои умственные способности. Поднапрягись.

— Чего зря напрягаться. Говорю ж, бред бредятинский. Шах какой-то с восемнадцатым сыном, алмазы-топазы, в какую-то стенку зарытые. Говорю же, бред!

* * *

Клятвенно пообещав Эльке вернуться попозже вечером и попариться по полной программе, я засобиралась.

— Пора восвояси. Каринэ убьет, если соли и чеснока не куплю.

— Обижаешь! — расплылся самой гордой из своих улыбок Ашот. — Полный засолочный комплект уже в машине. И соль не йодированная, чтобы соленья ваши не повзрывались. А то моя красавица в прошлом году сама на закупки выписалась и вместо нормальной соли набрала йодированной. То-то залп из всех орудий в кладовой случился. Прислуга три дня потом отмывала. Но эта хорошая соль. Идэальная! Маркосик тебя отвезет.

Видимо, Маркосик в этом доме был на все руки мастер

(ХРИСТОФОР ЛАЗАРЕВ. 1829 ГОД)

— Воля твоя, Ленушка, а я за Семушку замуж пойду!

— Воля твоя, Любушка, не пойдешь!

— Пойду! Пойду! Я в Семушку Абамелека влюблена.

— Маменька говорит, детям любить невозможно. Потому как малы еще. Семушку любить тебе никак нельзя.

— Отчего же?

— Оттого, что Семушка армянского рода, а они промеж собой обыкновенно женятся. Абамелеки с Лазаревыми, Лазаревы с Абамелеками. Маменька говорила, чтобы род сохранять, имения да и капиталы из семьи не выпускать и алмаз какой-то персидский диковинный на сторону не отдать. Хотя как можно из-за алмазов против любви идти? Как можно против любви, Люба? А, Люба?! Ах, полно! Пожалуйста, перестань. Да что же такого я сказала, что ты так плачешь! Ведь только маменькины слова повторила. Я не виновата, что в армянском роду так принято жениться и что наш род Татищевых не армянский! Ах, Любушка, ах, голубушка, сестренушка, перестань, пожалуйста. Хочешь, я тебе свою Беатрису отдам. Насовсем отдам. Только еще три денечка поиграю — и отдам.

— Вместе с кружевным турнюрором, который маменька из Бадена привезла?

— С ним самым и отдам, и лошадку в придачу! Только не реви! Не то нас хватятся и выспрашивать будут, отчего глаза у тебя мокрые и красные, и что говорить тогда? Что ты за Семушку замуж хочешь?

— И что капиталы, и что алмазы, у нас разве их нет? И Мамонтовка есть, и драгоценности от бабушки. У маменьки на портрете парюра фамильная, чем не драгоценности!

— Наши алмазики лазаревским не пара.

— Тогда за шаха замуж пойду! У него всяких драгоценностей поболее, чем у Абамелеков с Лазаревыми будет, когда он императору нашему алмазы преогромные дарит. Вот за шаха и пойду!

— Шахи, можно думать, не промеж своих, как Абамелеки, женятся! Да у шаха и не одна жена, а много...

— Как это много?

— Ты третьего дня разве не слыхала, как твой любезный Семушка сказывал, что в Персии многоженство... многоженки... И не упомяну, как сказать. С шахом много жен ездит. Герем называется.

— Врешь! Шаху, что к нам пожаловал, Хорзем... Хорзев... Хорзев-Мирзе шестнадцать лет. Как у него много жен быть может? Он же еще мальчик, как Семушка! Так бы расцеловала!

— Кого — шаха или Семушку?

— И того и другого. Я в герем пойду!

— В герем маменька не позволит.

— Разве я ей говорить стану! Сама проберусь.

— Ой, Любочка, как же ты проберешься? Мы ж в Лазарево, Москва близко, а шах уже в Петербург уехал, в Таврическом дворце там живет. И охраны у него видимо-невидимо, сама слышала. И оруженосцы, и беги какие-то, и кофевары, и еще кто-то... Запомню, слова больно мудреные. И еще какой-то сундук, что привезенный нашему государю алмаз в дороге охранял.

— Вот и снова выдумываешь! Как сундук охранять может? Сундук, он и есть сундук.

— Это человека охранного такое название.

— Человек живой так зваться не может!

— А я говорю, может!

— А я говорю, не может!

— А я говорю, может...

— Ленушка, Любочка, скорее, что мы нашли!

* * *

Зашуршали юбочки. Две девочки Татищевы скорее побежали в дальний угол сада, где уже в кружок сбились четверо из шести детей князя Давыда Семеновича Абамелека и сестры хозяйина усадьбы Марфы Иоакимовны, живущие лето в поместье своего дядюшки, Христофора Иоакимовича Лазарева. Центром образовавшегося кружка была найденная животинка.

— Бедненький! Замерз в овражке!

— Ночи нынче не холодные, замерзнуть чего ж?

— Так дрожит весь!

— От страха, должно быть. Тебя, Тема, схватило бы на руки чудище огромное, поглядела б я, как бы ты дрожал. То-то бы стучали зубки. Ты для ежика самое чудище и есть. А ежик мал, как ты.

— Больно ты, Катенька, воображаешь, что взрослая! А чай пить с взрослыми, как Сему и Аню, тебя, глядишь, и не зовут! — обиделся самый младший из мальчиков, Абамелеков семилетний Артем.

— А вот и зовут! Сама не иду! Там нынче этот барон Дорф приехал. Противный. Усики мелкие. И глазки, как у мыша, которого в пустующем доме видели, бегают, бегают, а замрут, и того противнее, не знаешь, куда от его взгляда деваться. А третьего дня, когда Дорфа этого не было, я чай с большими очень даже и пила!

— Тема, Катя, полноте! Вам споры спорить, а ежик дрожит! — не выдержала Ленушка Татищева.

— В дом его нести надобно!

— Куда же в дом, Ленушка! Заругают! Другой раз, как ласточку с крылышком у тебя под кроваткой нашли, то-то шуму было!

— Тогда еще мадемуазель Бинни при нас служила, она живность не любила. А ваша матушка простила, и Катерина Мануиловна не серчала, — говорила Ленушка.

— Зато наша с тобой матушка, ох, как заругала! — возражала ее сестра Люба. — Да и кто ежа тащить будет, он же колючий!

— Надобно кукольную кроватку из младшей детской принести, и так нести, будто бы кукла. Старшие и не догадаются.

— Сонюшку послать! — десятилетний Абамелек, названный в честь деда Иоакимом, говорил о самой младшей сестре Соне, близняшке Артема.

— Как за кроваткой для ежика бежать, так и Сонюшка большая! А как от мадемуазель удирать, так Сонюшку все и бросили! На веранде теперь дядюшка Христофор с папенькой. А у папеньки глаз насквозь видит, ничего не утаишь!

— Да уж! В воскресенье хотел Бастору печения после детского чая вынести, так папенька тотчас же углядел, что карманы топорщатся, — согласился Артемка.

— А что же делать?! Ежик так впрямь заболеть может!

— Соня, не реви! Говоришь, не мала уже Сонюшка, вот и не реви! И ты, Тема, не реви! Ленушка, Любочка, сбегайте за кроваткой! Я теперь пойду Аню или же Сему просить взрослых отвлечь, а вы ежика следом несите.

* * *

Катенька Абамелек, двенадцатилетняя озорница, оказалась в это лето на той грани детства и отрочества, на которой так не терпится перейти во взрослое состояние и быть допущенной ко взрослым разговорам и совершенно не хочется лишаться детских радостей, подобных нынешнему найденному ежику.

Старшие брат с сестрой оказались на качелях в оранжерее.

— ...и в шестнадцать лет Хозрев-Мирза привозит целую шахскую миссию ко двору российского императора. А мне в четырнадцать лет на все просьбы только и отвечают — когда вырастешь да когда вырастешь! Батюшка немногим старше на войну с Наполеоном пошел и храбро дрался. Вот уж, воистину война как подарок судьбы! А меня даже на воинский смотр не взяли. И на карнавал в доме Разумовских на Тверской, где шах жил, не взяли.

— И меня, Семушка, не взяли, даром что тебя годом старше.

У Аннушки утреннее платье из лимонного гюгрона до полу. Катеньке платье до полу еще не дозволено. Только до колена.

— А шахский внук, рассказывают, дивный красавчик! Глаза черные. Платье не нашего фасона, камнями драгоценными расшито, сверкает... — восхищается Анна, но Семен перебивает:

— Тебе бы, Аня, все про наряды да про глаза! Юный шах на Военно-Грузинской дороге набега горцев не испугался. На коня прыг — и ускакал, а нукера его убили... или поранили! Вот это шахский внук! Никакой охраны не ожидает, сам за себя постоять может! А нас разве одних куда пустят!

— Я, Семушка, мыслию одной мучаюсь. Государь Николай Павлович Хозрев-Мирзу принял. Весь Петербург только о нем и говорит, как угодить не знает! И Москва принимала по-царски...

— Сама же говоришь, красавчик! И шахский внук! И загадочный, будто из шахерезадовой сказки. Вот все угодить и желают.

Аннушка тем временем продолжает:

— Я про другое думаю. За всей этой роскошью и забыли, за что он плату привез. Никто

теперь и не думает, что бриллиант, императору даренный, и посольство это пышное — плата за Грибоедова жизнь...

«Все на этом персидском посольстве помешались, — думает Катенька. — Только и разговоров всюду слышно: „Хозрев-Мирза золотую табакерку Каратыгину пожаловал!“ да „Хозрев-Мирза в карнавале всю ночь веселился и всеми девушками хорошенькими очень даже любопытствовал! Про графиню Завадовскую сказывал, что каждая ее ресничка ударяет в сердце, вот ведь каков принц крови!“

Не до забот об ежике брату с сестрой. Того и гляди, маленькой назовут, коли с просьбами к ним подступится. Хотя, ежели они про шахского внука говорить затеяли, так тем пусть и взрослых отвлекают.

— Дядюшка Христофор Иоакимович теперь говорил папеньке, что Хозрев-Мирза в Москве к матери Грибоедова визит делал, извинения приносил...

— Не может быть! — Сема с Аней на два голоса.

— Спросите сами. Он теперь с папенькой на веранде... От старших и след простыл. Теперь за ними на веранду.

Пока прикрываешь младших, когда те кроватку с ежиком обратно в дом тащить будут, можно и послушать, как Сема с Аней из дядюшки известия выуживают.

* * *

— ...и визит наносил, и драгоман его перевод делал, что Персия вовек не забудет великого дела, совершенного Грибоедовым для мира между нашими державами...

— Каково лукавство! Убили, и давай извинения приносить да алмазы раздаривать, — вступает в разговор Елизавета Ардалионовна Татищева. Мать Любы и Лены в суждениях резка. Дурака всегда дураком назовет, будь ты хоть принц крови, хоть сам государь император!

— А Настасья Федоровна-то Грибоедова тоже хороша! — Екатерина Ардалионовна все более горячится. — Весь государев дар за мир с Персией у Александра перед его отъездом в Тегеран отобрала. А дар был немалый: Анна второй степени и четыре тысячи золотом! А нынче и шахской расплатой за жизнь сына не побрезговала!

— Полно, Лиззи! У несчастной женщины не стало сына, какой может быть счет!

— Настасья Федоровна только на людях несчастна! Всю выгоду, какую могла иметь от убийства сына, поимела. Воистину несчастная эта Нина. Женой и нескольких месяцев не побыла, и мужа потеряла, и дитя мертвое родила.

Про несчастную Нину Грибоедову Катенька слыхала. Это история другой ветви их рода, самих Абамелеков. Сестра их отца Анна замужем за Давидом, сыном грузинского царя Ираклия. От родства с грузинским царем все они, Абамелеки, стали грузинскими князьями и род князей Чавчавадзе, из которого происходила несчастная Нина Грибоедова, знали близко, почти по-родственному. И самого Грибоедова не раз принимали. В прошлом году Александр Сергеевич приезжал в их дом на Невском. Катеньке, даром что еще не доросла до взрослых разговоров, позволили тогда сыграть его вальс перед самим автором.

Грибоедов хвалил, но спешил говорить с дядей Христофором о персидских делах. А после пришла весть, что его убили. И Катенька никак не могла понять, как это «убили»: был — и вдруг нет.

— Семушка! — дернула за рукав старшего брата. — От Грибоедова ничего-ничего не осталось?

— Голову его отрубили и насадили на шест. Тело три дня и три ночи волочили по улицам Тегерана, потом в выгребную яму бросили, после едва нашли. Тело его в деревянном ящике на арбе отправили в Тифлис.

Катенька жмурится, представляя себе отрезанную голову и выгребную яму. Все это кажется таким жутким и таким невозможным. Только с младшими постельку ежику собирали, а теперь Грибоедов, персидский мир, отрезанная голова, алмаз в дар русскому царю во искупление крови...

Так государь император и сказал: «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие!» Воротившийся из Петербурга дядюшка знает подробности того, как юный Хозрев-Мирза нашему государю дарил алмаз — цену грибоедовской крови. Заодно были прощены два последних курура контрибуции, а это четыре миллиона рублей серебром.

— Хорошо себе «происшествие»! — острая на язык Елизавета Ардалионовна не смущается вслух сказать то, что у других на уме. — Жизнь российского дворянина оценена в камешек, пусть даже редкостный!

— Да, не много жизнь наша стоит. Не много. Хотя подаренный императору камень, что в столице прозвали «Шахом», дорогого стоит. И, знаете ли, камень этот мог в нашем роду быть, — говорит Христофор Иоакимович, и словно ветер по веранде прокатывается.

— Как «в роду нашем»?!

— Он тоже фамильный лазаревский?

— Алмаз этот был среди тех пяти редких камней, которые Надир-шах показывал нашему деду. Но, как вы все знаете, после смерти Надир-шаха тайник его оказался пуст. Дед Лазарь думал, что следы всех камней потеряны. Но один или несколько камней все же были сокрыты любимой шахской наложницей среди игрушек сына, и много лет спустя один из камней перешел дяде Ивану Лазаревичу, от него нам вместе с погремушкой.

— Погремушкой?! — Елизавета Ардалионовна выказывает неподдельный интерес. — Что за погремушка?

Достав из нагрудного кармана ключ, Лазарев кличет дворецкого.

— Порфирий! Принеси ларец. Тем временем, ежели позволите, продолжу. Другой, подобный алмазной розе камень, стараниями дядюшки зовется ныне «Орлов» и красуется в скипетре Российской империи. Подаренный ныне императору желтый алмаз «Шах» третий из их числа.

— Знать бы, в чьих руках побывал он с тех пор, как исчез из тайника под Павлинным тронном! — говорит Катенькина матушка Марфа Иоакимовна.

— Бог даст, приятель мой давний Павел Петрович Сухтелен, генерал-квартирмейстер Главного штаба Его Императорского Величества, что ныне к Хозрев-Мирзе приставлен, миссию свою окончит и поможет на многие из тайн свет пролить, — отвечает отец Давыд Семенович, но взгляды уже обращены к вошедшему Порфирию.

— Вот и погремушка!

Лазарев достает из принесенного Порфирием ларца старую восточную игрушку. Теперь все глаза устремлены на загадочный предмет, и некому заметить выглядывающую из-за спины Семена маленькую Ленушку Татищеву. Только глядит девочка не на завороживший старших алмаз, а на свою маменьку Елизавету Ардалионовну. И отчего-то пришептывает: «Только не это! Только не это!»

Елизавета Ардалионовна, не слыша шепота дочери, протягивает руки к игрушке.

— Это и есть главная безделица рода Лазаревых?

— Она самая!

— Где же начинка?

— Извольте опустить пальчики туда, где шелк и парча по краю протерлись. Да-да. И меж мешочков с камешками, стеклышками и бусинками, которые делают игрушке звучание, скрыта и наша фамильная игрушка.

Елизавета Ардалионовна извлекает из погремушки алмаз. Внимательный наблюдатель в эту минуту мог бы счесть с лица Татищевой все чувства разом — от удивления и досады до злорадства. Жадно разглядывающая алмаз женщина и не догадывается, что ее младшей дочери в эту минуту видится рука со змеиным рисунком вместо кольца.

— Эдакий камень состояния стоит! — Елизавета Ардалионовна с трудом выпускает алмаз из рук и принимается с не меньшим вниманием разглядывать хранящую сокровище игрушку.

— Оттого за ним и такая охота! Знали бы вы, сколько раз пытались его перекупить, выманить его у Лазаревых! Ответ был всегда один: не отдается камень! Подарен быть может, продан никогда.

Младшие зовут Катеньку вместо детского чая просить себе молока, чтобы поить ежика, а мысли Катюшины убежали далеко-далеко и никак не вернутся. Разве что папенька говорит, к Спасу обещался приехать какой-то его приятель со смешной фамилией Сухтелен, которого император теперь при шахском посольстве состоять определил. Тогда и про тегеранское дело, и про красавчика Хозрев-Мирзу, внука нынешнего персидского правителя Фетх-Али-шаха, одного из сыновей наследного принца Аббас-Мирзы, расскажет...

* * *

Спустя несколько дней поздним вечером Христофор Иоакимович подъезжает к Москве. Дела Лазаревского института восточных языков, созданного его отцом по завещанию дядюшки Ивана Лазаревича, зовут своего попечителя. Перед новым учебным годом завтра должен заседать Ученый совет, да и типографское оборудование время оплачивать пришло. Вот и едет Христофор Иоакимович в ставший делом его жизни институт. А мысли то и дел сбиваются с одного любимого дела на другое — с институтских надобностей на проказы племянников, а с их ангельских личиков снова на дела учебные. И теперь, уже миновав Калужскую заставу и замечая, как опускается на любимый город короткая летняя ночь, Лазарев невольно возвращается мыслями в имение, спят уже, поди, маленькие непоседы?

Шумно в лазаревском доме. Да только весь этот детский гомон иной раз резанет Христофора Иоакимовича по сердцу. Шестеро племянников и еще две дочки гостящей Екатерины Ардалионовны Татищевой — создания дивные. Теплые, ласковые. Только вот им с Катериночкой Господь детей не пошлет.

Нет у лазаревского рода наследников. Из всех сыновей старого Лазаря только Иоаким оставил наследников. Дочки Ивана Лазаревича умирали во младенчестве, а единственный сын и наследник Артемий Иванович двадцати двух лет скончался. Иван Лазаревич завещал все брату своему Иоакиму и ему, племяннику Христофору. И у Христофора Иоакимовича детей тоже нет. Того и гляди, придется снова доблесть лазаревского рода племянникам

передавать. Племянники, спору нет, достойны. Один Семен чего стоит — и серьезность, и доблесть, и ум не по годам приткий! Но так хочется и своим дитятам в глазки посмотреть. Какие они могут быть, глазки у его-то созданий...

И все же он рад, что щебетом племянников раскрашена их всегдашняя тишина. То в салочки играть требуется, то венки плести у деревенских девушек учиться надобно. То ежика в лесу нашли, молоком из блюдечка поили, в кукольную кроватку, в мастерской самого Гамбса сделанную, спать укладывали. Три ночи несчастный еж из кроватки удирал, по комнатам как пьяный мужик топал да к ужасу дворецкого Порфирия и горничных на персидских коврах, еще дедом Лазарем привезенных, гадил, пока Христофор Иоахимович над несчастной животиной не сжалился и в сад не вынес. Побежал ежонок, только пяточки застучали. Про утренний рев и сказывать нечего. Катеринушка с Марфой все утро рыдающим детям говорили, что у ежа дома сестры-братья остались.

— Вам один без другого тоскливо бы случилось, так и ежику без дома никак не можно. Всем без дома плохо, будь ты животное или, совсем даже напротив, человек.

Дядюшка Иван Лазаревич не только о прямом потомстве думал. Оставил двести тысяч капитала «для заведения и содержания училища, в пользу нации своей». Отец, Иоаким Лазаревич, не только волю брата выполнил, но и своих более ста тысяч рублей на дело учебного заведения внес. И в восемьсот пятнадцатом году было открыто «преподавание наук для поступивших в оное воспитанников, как из армянской, так и других наций». Еще дед Лазарь вскоре после приезда купил у содержателя шелковой фабрики Захария Шеримана участок земли недалеко от Кремля, в Столбовом переулке. В годы былые там, на месте срубленного соснового бора, Иван III селил насильно вывезенных в Московию богатых новгородских бояр и купцов. С годами выстроены там были палаты князей Милославских, которые после принадлежали железных заводов держателю Вахрамею Миллеру, затем князьям Незвицким и Салтыковым, а с прошлого года — выкупившим их Лазаревым. Еще один дом в том же переулке дядюшка Иван Лазаревич в восьмисотом году купил у князей Мещерских, теперь в нем жили педагоги института. А главное здание наново выстроили.

И теперь, при свете фонарей подъезжая к нарядному, выстроенному в классическом стиле особняку, Христофор Иоахимович привычно любовался плодом лазаревских трудов. После смерти родителя все попечительские заботы перешли к Христофору Иоахимовичу и брату его. И институт в Москве в переулке, который теперь по их армянскому роду все чаще звали не Столбовым, а Армянским, отбирал много времени и сил. Но и даровал много наслаждения. Весной пожаловал он на выпускные экзамены и был приятно удивлен тем, как российские юноши восточные премудрости постигли.

Теперь Христофора Иоахимовича увлекла еще и типография.

— Три печатных станка из Петербурга доставлены, — докладывает институтский распорядитель уже по пути от кареты к парадному входу. Знает, что Лазарев зря времени терять не любит. Многие дела и на ходу можно решить. Распорядиться высадить новые цветы в институтском дворике перед чугунным с мраморными изображениями обелиском, что в двадцать втором году в память о родителе и брате его Иване Лазаревиче открыли. Или осведомиться, как продвигается ремонт конюшни и постройка нового типографского корпуса. Со временем Христофор Иоахимович думает докупить в Лондоне хорошее типографское оборудование, шрифты для разных языков, восточных и европейских, скоропечатные машины, матрицы, и издавать учебники и монографии. Без просветительства, без хороших книг ни одну нацию не сбережь и не поднять!

— Завтра! Все типографские надобности завтра, — обещает Христофор Иоакимович. —

А теперь, даром что поздно, встреча у меня назначена.

— Посетитель ждет в верхней столовой! Извольте откусать?

— Не голоден. Чаю вели подать!

Пройдя по парадной мраморной лестнице, Христофор Иоакимович входит в актовую залу. Привычно окидывая взглядом роскошные бронзовые люстры, свечи в канделябрах у портрета государя, персидский ковер на полу в центре залы и торжественный длинный стол, за которым завтра соберутся на ученый совет преподаватели, а он займет свое законное место во главе этого стола.

Кивнув, мол, доволен, Христофор Иоакимович быстрыми шагами выходит, и, попутно заглянув еще в несколько классных комнат, поднимается выше. Здесь под самую крышу ведет изысканной красоты чугунная лестница — произведение умельцев Чёрмозского железного завода, купленного еще дядюшкой Иваном Лазаревичем у графа Строганова. И каждый раз, поднимаясь по этой лестнице в собственную попечительскую столовую, Христофор Иоакимович испытывает необъяснимое чувство, будто не ноги его перебирают эти черные ажурные ступеньки, а крылья поднимают его под самые небеса.

— С чем пожаловал? — поздоровавшись, спрашивает Христофор Иоакимович у гостя, сидящего спиною к зажженным в тяжелом канделябре свечам и оттого кажущегося черным и таинственным.

— Заговор! — произносит гость, и только что испытанное ощущение полета улетучивается. — В шахской свите есть человек с упомянутым вашими предками знаком — змеей, обвинившейся вокруг среднего пальца правой руки.

— Знак змеи еще не есть преступление, — пробует скорее себя успокоить, чем возразить гостю Лазарев.

— Знак не есть преступление, — соглашается гость. — Преступление есть подкуп. Человек со змеей намеревается подкупить тех, кто к вам в доверие вхож. Мамонтов и Шериман, к чести их, отказались. Но нам не дано знать, кто будет следующий.

* * *

Ленушке Татищевой плохо спится в ту ночь. Даром что нарыдалась о пропавшем ежике. Прежде после рыданий спалось так сладенько, а теперь отчего-то грустно. И сердце между ребрышек колотится, будто птичка-кенар, что живет в оранжерее Лазаревых, по клеточке мечется. А что как кто-нибудь умрет? Папенька, или маменька, или вот даже Любушка. Или она сама. И что тогда? В гробик положат и в земличку закопают? И как жить весело, в игры играть, ежели знаешь, что кто-то умереть может? Вот и плачется от таких мыслей Ленушке.

Еще плачется оттого, что сестрица Любушка объявила себя в Семушку Абамелека влюбленной. Ленушка и сама в Семушку давным-давно влюблена. Он и камень удивительный овальный ей подарил, что привез в прошлый год из Италии. Никому не подарил, а ей отдал, и хранит теперь Ленушка этот камень под подушкой.

Да что проку! Говорили они давеча с сестрою, нельзя им замуж за Абамелеков — приданым не вышли. Что ежели и за другого хорошего человека будет нельзя? Ежели время замуж идти настанет, а за ними и дать будет нечего, как тогда?

Род татищевский, кажется, не бедный. И поместья имеются, и мужиков много. Только с

прошлой зимы невесело стало в их доме. Маменька шуметь громче обычного принялась. Папенька исчез куда-то. Учителю от должности отказали, одну гувернантку на них с Любочкой оставили. И летом отчего-то в свою Мамонтовку не поехали, в Москве сидели и только в августе приехали гостить в имение к Лазаревым. У Лазаревых, спору нет, хорошо. Да только плохо, что это не дома. Отчего боженька не родил ее у Лазаревых? Боженька им деточек не дает, вот и дал бы ее! И Семушка Абамелек приходился бы ей тогда кузенком, а в их роду на кухнях женятся.

Катерина Мануиловна тихая, ласковая, не серчает, как маменька. И Христофор Иоакимович с детьми играет, даром что все ему не родные.

С прошлой зимы мама повторяет, что папенька их «промотался». Когда она первый раз так сказала, Ленушка с Любочкой ну смеяться! Так и виделся папенька в гардеробе за ворот сюртука подвешенный. Мотался-мотался из стороны в сторону, пока не промотался окончательно, и ничего от бедного папеньки не осталось. Но после папенька исчез куда-то, маменька стала браниться пуще обычного, и Ленушка поняла, какое невеселое это слово «промотался». Теперь в их доме только и разговору было, что про «закладные», «проценты», «долги». Ленушка и слов таких прежде не слыхивала, а теперь поняла, что слова это важные, из-за них прежняя добрая жизнь в их доме не наладится.

Еще плакала Ленушка оттого, что не знала, дурная ли женщина ее маменька. Как-то раз еще в московском доме, проснувшись среди ночи, она услышала с парадной половины дома маменькин смех. В последние дни маменька не смеялась, только плакала или бранилась, и вдруг веселый такой смех. Босиком, в одной рубашке Ленушка пошла на звук маменькиного голоса. Что как сейчас откроет она дверь, а там маменька и папенька веселые, скажут ей, что все уладилось, что нашли деньги и все теперь будет по-прежнему.

Маменька сидела на кушетке под своим парадным портретом, словно копия нарисованного. Только глаза другие, злые отчего-то глаза. Рядом с маменькой сидел человек в длинном парчовом одеянии, в Москве и в Петербурге такого не носят. От длинноты платья Ленушка решила, что в гостях у маменьки женщина, и лишь когда гость повернулся, увидела и длинный острый нос, и усы, и черную бороду. Хотела посмеяться, что мужчина вдруг длинное, как у дамы, платье надел, но вспомнила, что маменька уезжала на маскарад, который Разумовские давали для персидского принца, и успокоилась. Может, сам Хозрев-Мирза в гости к маменьке пожаловал.

Впрочем, шахский внук, сказывали, молоденький, а этот совсем даже не молод. И страшон. Говорит-говорит что-то маменьке на ухо. Ленушка слов не разбирает: кушетка далеко от двери. А мама смеется и головой из стороны в сторону качает — нет-нет-нет. А страшный человек своей головой, напротив, — вниз-вверх, да-да-да! И все ближе к маменьке, ближе...

Ленушка едва не кричит от страха. И что делать, не знает. Кинешься маменьку спасти — что как она заругает. Детям выходить вечерами в гостиную не дозволено. А не кинешься, не закричишь, что как страшный человек маменьку уволочет, как тот джинн из сказки.

Джинна с маменькой за спинкой кушетки не видать. Лишь странные звуки доносятся да все то же «нет-нет-нет, да-да-да». Нет-нет-нет! Да-да-да! Глядишь, как в маскараде новую игру придумали, вот и продолжают.

— Вам, Лиззи, это и стоять ничего не будет! — вдруг громко шепчет «джинн» на дурном французском. — Посудите сами, что для вашей подруги та игрушка — восточная безделица, случайно предками с чужой земли прихвачена.

— Безделица не безделица, но не мне она принадлежит. Отчего бы вам у самих Лазаревых не спросить, — отвечает мама.

— Когда я, официальный посланник шахского двора, сундуктар...

Вот когда Ленушка слыхала то странное слово, что после называла сестре Любушке, а та не верила, что человек может сундуком прозываться!

— ...сундуктар, чьим рукам было доверено охранять в дороге шахский дар, явлюсь к Лазаревым за пущей безделицей, за детской игрушкой, они могут заподозрить в том нечестный умысел.

— Зачем же роду вашему детская игрушка?

— Единственная память о прадеде нашем, чье возвышение от двора шаха Надира началось! И если это для нас прихоть, то для вас, Елизавета, моя прихоть дает единственный шанс поправить ваши дела. Иначе вам по закладным не заплатит. Пустите детей своих по миру.

— И я должна разменять будущность моих детей на бесчестие?

— Не бесчестие! Только деньги. Большие деньги. Рука «джинна-сундука» взлетает над спинкой кушетки, потрясая тяжелым кошельем. На пальце той руки темнеют то ли кольца, то ли рисунок какой...

— Этого хватит забыть все беды, причиненные вам вашим супругом. Иная дорога только в приживалы, а деточек в сиротский приют...

Горло перехватывает судорога ужаса — в приют! Их с Любушкой в приют! Едва не до крови закусывает Ленушка свою ладошку, чтобы не закричать. Рука «сундука» все трясет кошельем. И кольца, привидевшиеся девочке на пальце черного джинна, извиваются и свертываются трижды обернувшейся вкруг пальца змеей.

С той ночи змея, и кошель, и голос «сундука» стали пугать по ночам. Ленушка мучилась мыслию, чтобы маменька не сделала чего дурного. Отчего тогда привезла их гостить в усадьбу к Лазаревым?

Родил бы ее Боженька у Лазаревых, и не надо было б ни о чем таком думать. Были б у нее тогда черные глаза и черные кудри кольцами. У них с Любушкой волосы белесенькие, в локоны еле-еле укладываются, а у девочек Абамелеков кудри черные, расчесать невозможно, горничная Марьяша по утрам измучается, пока Кате и Соне головки уберет.

Родил бы ее здесь Боженька, и она была бы весела, как Катя и Соня! А если напротив, Боженька родил бы ее не в этом господском доме, который куда как лучше их дома в Мамонтовке, а в деревне, среди мужиков? Лежала бы она крохотная в стогу сена и орала, а мать ее крестьянка снопы бы вязала. Прошлым летом Ленушка такое видала.

Они с Любочкой от мадемуазель убежали и из леска за их садом случайно вышли в поле. Из небольшой скирды на краю поля неслись истошные вопли. Младенец, завернутый в какие-то грязные тряпки, посинел от крика. Ручками сучит, и слезки в маленьких глазиках. Так и орал, пока с дальнего края поля не пришла загорелая баба. Пот со лба отерла, из грязного кувшина молока отпила, титьку из-под рубахи вынула и младенцу дала. Ухватился, аж высунувшиеся из тряпья ножки задергались. Титька у бабы большая, с синими вздувшимися полосками, Ленушка никогда такой не видала. У маменьки в парадных платьях корсаж приподнят, край груди виден, красивой, белой. И колье из парюры фамильной, про которую Любонька давеча поминала, на маменькиной груди сияет красиво. Так красиво, что маменьку художник Брюллов рисовал. А эту бабу какой художник нарисует?! А если и нарисует, где такую картину повесишь? Не в залах же, разве ж такое в парадных залах

вешают — баба с голой титькой и посиневший младенец.

У Ленушки тогда головка закружилась. Хорошо, мадемуазель Бинни их отыскала, отругала и домой увела. Ленушка ругани мадемуазели в кои веки рада была. Дома чай с бисквитами, и никакого синего, дурно пахнувшего младенца. Грех гневить Господа! Молитву сказывать надобно, благодарить Боженьку, что она живет в теплом домике, спит в мягкой постельке. И книжки читает, и в игрушки играет, а не как тот младенец — в сыром стогу голодным криком заходится. И что с того, что Аннушка Абамелек скоро фрейлиной императрицы будет, а она, Ленушка Татищева, не будет. Главное, она замуж за хорошего человека пойдет, и у нее будут детки, много деток. Ах, почему ж нельзя за Семушку...

(ЛИКА. СЕЙЧАС)

Вы знаете, чем пахнет южное лето?

Не рекой, не скошенной травой, не пылью и не раскаленным асфальтом, хотя и ими тоже.

Южное лето пахнет заготовками на зиму — сиропами и маринадами, соленьями и вареньями. С раннего июля по поздний сентябрь терпкий дух рассолов и заливок, льющийся из распахнутых настежь окон, перемешивается с ароматом варений.

Огурцы для засолки на южных базарах измеряются сотнями и стоят те невообразимые гроши, за которые столичный человек поленился бы даже семена в землю бросить. А надо еще рассаду вырастить, высадить, полить, окучить, выполоть сорняки, истребить вредителей, снова полить, ведрами таская к грядкам воду из ближайшего колодца, собрать урожай, рассовать зеленеющее море по грубым холщовым мешкам, загрузить в допотопный «Жигуль» тысяча девятьсот семьдесят третьего года выпуска, прожариться под полуденным солнцем, пока закипевший мотор будет плевать и без того раскаленной водой, доехать до рынка, переругаться с перекупщиками, откупиться от крышующих, забашлять, умаслить, дать на лапу... Чтобы наутро почти за бесценок отдать таким же богатеям, уверяющим, что на сельмашевском рынке на два рубля дешевле.

Потом огурцы эти, как малые дети, будут мокнуть в хозяйской ванне, забирая из ведер и пластиковых канистр последние запасы воды, которая в этом городе течь из-под крана давно уже не хочет, чтобы к вечеру вызвать к жизни наш советско-российский вариант капиталистического конвейера, составленного из всех членов семьи. Пряный аромат эстрагона, сельдерея, чеснока и укропа въедается в кожу и остается в порезанных и натертых пальцах надолго. Кто помладше специи режет и по банкам рассовывает — главное не перепутать, куда острый перец положили, а куда еще нет. Кто постарше, налегая на машинку для закручивания, занимается делом в высшей степени эротичным — в экстазе сливает крышку с банкой...

Ах, это летнее закатывание банок, превращенное жителями знойного юга в священный ритуал. Хозяйка, не заготовившая на зиму несколько сотен баллонов с солеными огурцами, помидорами, кабачками и патиссонами, не забившая полки сараев и подвалов батареями компотов, варений, заправок, соусов и аджик, не нашедшая своего фирменного рецепта консервирования баклажанов и засаливания арбузов, не имеет права на звание хорошей жены и матери.

— ...Вы бланшируете ваши помидоры?

— ...Сельдерея сколько на баллон?

— ...И обязательно вынуть косточку! Шпилечкой аккуратненько так поддеваете через попку, ну через то, где у вишенки хвостик, и вынаете! С косточкой не тот настрой!

— ...Все помидоры в тот год повзрывались! Уксус, видать, плохой. Уж как без помидоров-то дожили до нового урожая, и не сказать!

— ...И добавьте веточку смородины. Говорю вам, добавьте смородины, не пожалеете.

Ах, эти южные заготовки на зиму! Предложение зимою покупать по баночке в магазине звучит кощунственно. Все мешками! Все кадками! Кажется, ни за какую зиму это не съесть, да и не выпить столько, чтобы всем этим закусывать. Но и выпить, и заесть, задыхаясь от остроты алого помидорчика больше, чем от того, что этим помидорчиком закушено. Эх, ядрен, аж во рту все горит! И запить все прозрачным рассольчиком с плавающими в нем веточками петрушки, мраморными дольками чеснока и одинокими горошинами душистого перца.

А после жаловаться на язвы, гастриты, поджелудочные, как личную обиду воспринимая любое упоминание о диете. Фраза «Ограничьте острое и соленое» в лексиконе южных врачей отсутствует. Они же не сумасшедшие, чтобы предлагать такое! Они же сами живут в этом городе! Здесь легче скорчиться от боли, чем не хрустнуть болотно-зеленым в пупырышках огурчиком, легче сдохнуть, чем не съесть. Если не съесть, то жить тогда зачем?

* * *

— Эгав эрвинацав! За смертью посылать! — отреагировала на мое появление Ида. Каринэ на удивление промолчала, только выразительно взглянула на часы.

Когда я вернулась от Эльки, два столпа развалившейся семьи ушли «в ночное». Число закатанных банок и баллонов с баклажанами и огурцами, выставленных на холщовый мешок крышкой вниз — проверить, не протекают ли, измерялось уже рядами, а число заранее приготовленных пустых банок не уменьшалось.

— И кто все это будет есть?! — не удержалась я от столичного вопроса, забыв, что в родном городе такие вопросы считаются неприличными

Обе гранд-дамы наградили меня достойными взглядами.

— Неча умничать! Соль лучше отмерь.

Не успев пикнуть, я оказалась встроенной в семейный конвейер. Иные южные семьи подобный конвейер держал крепче всех прочих родственных уз. Семьи давно не было, а конвейер был. Как это разойтись с мужем, а кто будет мешки с базара тащить и банки закручивать?!

— Соли мы у Зинки заняли, тебя разве дожدهшься! Пойди, отнеси ей свою пачку! — сквозь зубы процедила свекровь, пока я доставала из пакета выданный мне Ашотиком «боевой засолочный комплект», выкладывая вокруг пачки каменной соли натюрморт из красных жгучих перцев, болотной зелени хрена и укропа.

Рядом с моим натюрмортом на столе красовался оплетенный кувшин вина. Что-то новенькое. Любовью к вину мои гранд-дамы никогда не отличались. Обе всегда предпочитали пропустить стопочку армянского коньячка, приправляя ее старой байкой о знакомом, который уверял, что это русские придумали закусывать коньяк лимоном. «Настоящий коньяк закусывают толко пэрсиком! Пэрсиком!»

— Подарок тебе привезли. Нашли, что везти — кислятину! — указав на бутылку, прокомментировала свекровь. Белое вино в этом доме по-прежнему было не в почете.

— И кто привез? — поинтересовалась я, на что получила конкретный ответ:

— Нам не докладывали!

Никто, кроме Эльки с Ашотом не знает, что я здесь. Разве что Михаська решил

собственную негалантность исправить и бутыль из взяточнического запаса перекинул.

— Сама пить не будешь, — не спрашивала, а утверждала свекровь, отдавая дальнейшие распоряжения, — Зинке снеси, как соль отдавать пойдешь. Зинка все выглушит!

Ах, этот вечный соседский принцип: «На тебе, Боже, шо мини не гоже!» — бабуля моя называла это так. В нашем дворе всегда найдется, кому непригодный в хозяйстве презент подарить.

* * *

Зинка, которой я была вынуждена на ночь глядя тащить занятую свекровьями соль, была уже в соответствующей этому времени суток кондиции. Но, как и мои гарпии, колдовала над баллонами. Только у Зинки на повестке дня были одни огурцы, без баклажанов. И сей титанический труд соседка сопровождала не занудными придирками в духе моих свекровей, а громогласным исполнением неоднократно показанной по всем телеканалам арии Квазимодо из модного мюзикла. Ну и прихлебыванием винца, разумеется.

Все-таки я отвыкла от действительности родного двора. Неверно среагировала на нездоровенький блеск в глазах соседки и характерное дрожание ее рук, когда та, открыв принесенную мною пачку соли, попыталась отмерить нужное число ложек в кипящий рассол.

— Не многовато ли?

— Цыц! — скомандовала Зинаида. — Яйца курицу не учат! Ты мои огурки кушала? Я те спрашую — ты мои огурки кушала, чтоб меня учить, сколько соли сыпать! Это у твоей Каринки хинин вместо помидорок. А у меня огурчик к огурчику! Закусываешь — душа поет!

Душа у Зинки явно пела! Причем громко. «Я-аа-а душу дьяволу готов отдать за ночь с тобо-оо-ой!»

Зинка ложкой зачерпнула кипящий рассол. Подула на него так, что брызги разлетелись во все стороны, оставляя белесые от выпарившейся соли следы. Попробовала.

— Ядреный! Глотни!

Я замотала головой.

— Тогда винца.

Поморщившись на мой следующий отрицательный жест, Зина вытерла руки о фартук, плеснула из принесенной мною фляги щедрую порцию в стакан.

— Ну, за нас, таких красавиц! А если мы не красавицы, то мужики просто зажрались! — выдала свою традиционную присказку Зинаида и жадно выпила. — Не! Вы на нее только поглядите! Ну что ты, Анжеликочка, за соседка! Пять лет ее не было, пожаловала — и нате! Ни выпить по-людски, ни закусить. Флягу притарабанила, и все соседство! Давай по трюшечки, с возвращеньцем!

— Зин, я тебе лет пятнадцать назад объяснила, что я не Анжелика, а Лика. Ли-ка! — сорвалась я, и сама же пожалела. Объяснять что-либо Зине было бесполезно.

— Лады! Лика! Лика-хреника! Хоть Матрена. Хоть Алинка-малинка, как эта последняя твоего первого.

Зина мотнула головой в сторону фотографии, висевшей в дешевенькой рамочке на стене. На фото легко идентифицировались главные действующие лица этого дворового театра, собравшиеся вокруг Зинаиды на ее дне рождения. Между Идой и Кимом виднелась

незнакомая мне молодая рыжеволосая женщина.

— Кто это?

— Говорю ж, последняя твоего первого. Кимушкина последняя по счету жена, Алинка-малинка. Сучка с ручкой, тебя почище.

Зина выдавала в адрес последней жены Кима нечто столь же одобрительное, какое всегда неслоь вослед и мне. Я тем временем разглядывала на фото свою последовательницу, видеть которую мне прежде не доводилось. Да уж, лица недобрым выраженьем... Как там ее Ашотик назвал? Рыжая копна на мешке амбиций... Где ж я ее видела? Не во сне же. Но видела. Явно видела где-то... Впрочем, в этом городе все друг друга где-то когда-то видели.

Ах, да! Картина, столь странно исчезнувшая сегодня днем из Кимкиной мастерской. Не померещилась же мне эта картина. Рыжую Алину, изображенную в верхней части холста, я прежде, до этой фотографии, не видала, значит, привидеться, да еще и в нарисованном виде, мне она не могла. А если не привиделась, то кому понадобилось картину с ее изображением красть? Разве что какому-то алкашу, продать бесценный кимовский шедевр за бутылку, рассуждала я сама с собой, закрывая Зинкину дверь и поднимаясь на полтора лестничных пролета вверх, домой. Дома — странно, но я по-прежнему мысленно называла домом эту старую квартиру в полуразвалившемся доме, в котором витали призраки моих былых страстей, — семейный конвейер заканчивал работу.

— Каринэ, ты случайно не просила Кима что-либо с персидского языка перевести?

— Ему б с такими женами русский с армянским не забыть бы!

— Но мог же он просить Алину найти в Эмиратах переводчика для тебя.

— Мне без этой сучки, хан джих, арабистов хватает. Ругалась свекровь всегда отменно, причем сразу на двух родных языках.

Закупорив крышкой последнюю из отмеренных на сегодня банок, она отерла пот со лба, устало уселась у старого деревянного стола. Вытащила из дальнего ящика пачку сигарет, запрятанную между оторвавшихся пуговиц и катушек. Сто лет в обед, а все от Иды прячется! Затянулась и вместе с дымом выдохнула:

— В вашей комнате завалы разбирала. — Похоже, Каринэ, как и я, не могла отвыкнуть называть «вашей» комнату, в которой я по очереди жила с двумя своими мужьями. — Вещи твои нашла. Может, пригодятся. Твоим родителям звонила, чтобы забрали, да они так и не заехали.

Родители мои, еще в пору моих здешних замужеств, едва приватизировав квартиру в этом доме, ее продали и переехали жить в дачный домик. Во двор, который они оставили мне в столь навязчивое наследство, наведывались только по большим праздникам, а с дважды несостоявшейся сватьей старались и вовсе не видеться, дабы не подливать масла в огонь и без того непростых отношений. Заполучая на каникулы внуков, бабушки передавали их друг другу на нейтральной полосе, почти повторяя классические кадры советского кино про обмен шпионов на разведчиков.

В сложенной Кариной коробке обнаружили мои старые босоножки, «беременный» комбинезон, в котором я выносила двух своих мальчишек, и школьный портфель, некогда тщательно закрытый мною на замок. Портфель этот хранил старые сокровища: яблонексовские бусы; бабушкину ладанку; два кусочка медицинской клеенки с полустершимися надписями «Ахвелиди Лика Георгиевна. Мальчик», которые привязывали на ручки моим новорожденным чадам; купленное в пятом классе колечко-недельку;

фотографию семнадцатого года, на которой мои бабушка и дедушка вскоре после венчания, на юной бабушке белая, ею самой связанная шаль, а рука, которую она положила на плечо мужа, черная от крестьянского труда. И письма. От потешных посланий, в которых мы с Элькой оттачивали собственное остроумие в описании незадачливых кавалеров, попутно обсуждая перипетии последнего чемпионата мира по футболу, до тех писем и стихов, что по очереди, а то и одновременно писали мне Тимка, Кимка и прочие, не дослужившиеся до статуса мужей ухажеры.

Ключик от замка я некогда запрятала под левую ножку дивана, на котором протекала моя дважды семейная жизнь. Сейчас Каринэ постелила мне на этом диване, и я, чуть сдвинув с места старого монстра, обнаружила маленький ключик. И открыла портфель.

Письма. Смешные, забытые письма, в старых, советского образца конвертах, с наспех написанными поверх заклеенного уголка последними предложениями.

А вот и гора тимкиных посланий. Как я жаждала этих писем, когда Тимур не замечал меня, как боялась и хотела найти их несколькими годами позже, уже став женой Кима, и как ненавидела эти испещренные беглым почерком серые страницы дешевой бумаги в пору, когда в собственной душе все уже окончательно оборвалось.

«...Проклятая, что же ты творишь! Ты отняла у меня все! Ты отняла у меня даже мой город. Каждая улица кричит о тебе, каждый дом, мимо которого мы когда-либо проходили, каждая скамейка, на которой сидели!

Я мечусь как ненормальный. Я ищу, где бы спрятаться, куда бы забиться, чтобы только не вспоминать, не думать о тебе. Но разве можно. Ты снова, снова и снова, как в диком кошмаре, видишься, видишься, видишься...»

Не знаю, хранит ли бумага энергетику, но с этих исписанных размашистым крупным почерком оборотных страниц шел такой поток чувств, страстей, эмоций, что и спустя столько лет я читать не смогла, тут же спрятала письмо обратно в конверт. До последней минуты я была уверена, что все в моей душе не просто утихло, а застыло намертво, как лава металла в остывшей мартеновской печи. Все сгорело на братском огне взаимной ненависти и взаимной любви моих мужей. Но поток чувств, который по-прежнему шел с потемневших за десятилетие страниц, вдруг оказался смерчем, ураганом, по-прежнему способным подхватить меня, поднять, унести. Чтобы потом, когда сила этого торнадо пойдет на убыль, уронить неизвестно где и неизвестно с какой высоты.

* * *

Кимка и Тимка росли в нашем дворе и в детстве казались мне невероятно большими. Тимур был старше меня «аж на пять лет», Ким еще на восемь. Не считая фамилии, армянских черт в Туманянах было не больше, чем во мне самой. Ну черноволосые, ну смуглые, так на то и юг. Обоих братьев я воспринимала исключительно как взрослых соседей, пока в свои четырнадцать вдруг не поняла, что пять лет это не пропасть. Тогда-то я впервые и увидела Тимура. Именно увидела. И поняла, что пропала.

Тимку в то время окручивала его однокурсница. В пору всякого отсутствия цивилизованных методов предохранения с первых разов беременевшие подружки

традиционно ставили своих неопытных кавалеров перед обязательным для хорошего советского мальчика выбором — быть подлецом и портить жизнь ей или подлецом не быть и портить жизнь себе. В итоге Тимку убедили подлецом не быть. Из окна наблюдая за отъезжавшим от нашего двора свадебным кортежем, я навсегда получила иммунитет от целлулоидных пупсов и ленточек на капоте. Дальше моим тайным кошмаром стал вид Олюсика с пухнувшим день ото дня животом. Беременная Тимкина жена еще много лет являлась мне во всех страшных снах.

После родов Олюсик с дочкой быстро съехала к своим родителям, прихватив с собой и Тимку и оставив мои не случившиеся свидания мне одной. В доме Каринэ Олюсик не прижилась, и, как я поняла уже потом, прижиться не могла. Как не могла прижиться и любая другая невестка, включая меня. Четыре невестки и пять разводов на двух Карининых сыновей лучшее тому подтверждение.

В следующий раз Тимка возник на моем горизонте в мои восемнадцать. Точнее, это я возникла на его горизонте, словно этот горизонт ему кто-то протер. И мы оба полетели в бездну. Только я была готова лететь до конца, до дна, а Тимка летал исключительно по часам, всегда успевая выйти из пике и вернуться домой к псевдосемейному ужину.

Моя первая любовь была втоптана в этот город. Смеясь, мы говорили, что любим друг друга ногами. Встречаясь подальше от дома, снова и снова уходили на улочки, параллельные центральному. Неказистые, нешумные улочки, где вероятность встречи с общими знакомыми была почти нулевой. В этом городе основная жизнь протекала на центральных магистралях, два шага вниз к Дону от Большой Садовой, в ту пору еще звавшейся улицей Энгельса, и ты почти вне зоны досягаемости.

Казалось, тогда я и не видела, и не запоминала ничего, кроме Тимкиных губ. Но позже, с удивлением извлекая из какого-то дальнего сундука подсознания рисунок решетки, заказанной для дома предпоследнего банкира, или рельеф двери для подмосковной усадьбы модного актера, я вспоминала, что все это боковым зрением видела во время наших бесконечных поцелуев в городе юности. Город вместе с любовью впитывался в кожу, пытая несбыточностью и пугая вероятностью — ну сбудется, а дальше-то что?

Что дальше?

Тогда я не думала ни о «дальше», ни о городе. Я просто вышагивала рядом с Тимкой бесконечные кварталы, успевающие вместиться до его очередного дедлайна — то ему свою телепрограмму надо записывать, то ночной монтаж, то «дома давно с ума сходят». А все эти капающие чугунные колонки, из которых при не работающих водопроводах местные жители ведрами носят воду, эти балконные двери, заканчивающиеся провалами, — сами балконы успели давно рухнуть, а двери, ведущие в никуда, остались, — эти граненые стопки с крупной солью, примостившиеся между двойными рамами окон, дабы не запотевали стекла, эти деревья, пробивающиеся сквозь старые камни крутых склонов правого берега реки, — все эти вещественные приметы города, ставшие для меня его чувственными приметами, впитывались в подсознание помимо моей воли. Чтобы потом вдруг прорваться в каком-то понтовом интерьере и выдать себя за новое слово в дизайне.

* * *

Старший из двух братьев, Ким, преподавал рисунок на дизайнерском факультете, куда я

поступила учиться. И только в институте, а не в родном дворе, он вдруг заметил, что девочка-соседка выросла. Сердце мое болело от зависшей во все не кончающейся бездне любви с его братом. Статус соседки давал основания для большего внимания со стороны преподавателя, в которого влюблялись все девочки факультета.

Во время зачета, который почему-то проходил не в институте, а в той самой полуподвальной мастерской, откуда теперь исчезла картина с рыжей птицей-пожаром, чем-то похожей на его последнюю жену, Ким оставил меня отвечать последней. Расписавшись в зачетке, посадил меня напротив и начал рисовать. На том портрете меня не узнал никто: темные, мертвенно-темные тона, провалы вместо глаз.

— Тю, и чей-то ты нарисовал? — протянула баба Ида. — Ликочка кровь с молоком, а ты якуй-та стручку с ручкой накалякал. Чернющую. Сатана, да и только!

И только я сама узнала себя на том портрете. Свои глаза и свою боль, что росла внутри меня от всего не случившегося с Тимкой. И понять не могла, как, разглядев во мне эту боль, Ким решился жениться на мне. Осознанно в такие бездны не проваливаются. Над безднами стараются пройти по краешку, в крайнем случае — пролететь. А он, дорисовав, подошел, поднял за плечи и поцеловал так, что я еле вырвалась. Смутился. Пролепетал что-то невнятное, что всегда целует своих героинь в знак окончания работы.

— Предупреждать надо! — дернула плечами я.

Но не убежала, а осталась в этом странном поле его притяжения. Тем более что надо было заканчивать курсовую, которую я писала у преподавателя Туманяна. Через полгода во время пленэра случился бурный майский ливень, от которого мы прятались в арке старого дома, и Ким целовал меня уже не в честь окончания портрета. Душа словно застыла, анестезировалась от его поцелуев. И в ней, выболевшей, вдруг вспенилось неведомое мне прежде буйное злорадство. Жажда отомстить Тимуру за все, на что он не смог решиться. Так! Так тебе! Ты комплексуешь от статуса младшего брата, все злишься, что Ким всегда старший, всегда первый! Так на тебе, получай! В моей постели он тоже будет первым, раз ты не захотел!

Буйство злости несло меня в диком водовороте событий. Зарегистрировались мы с Кимом потихоньку — я и представить себе не могла все эти радости совковой свадьбы с выкупами, кражами невестинной туфельки и Тимкой в роли свидетеля жениха. Зарегистрировавшись, явились на общий семейный сбор в честь Каринино дня рождения.

— Прошу любить и жаловать — моя жена! — картинно произнес Ким. И я увидела глаза Тимура. И больше ничего.

* * *

Мужья...

Кто из них был моим первым мужчиной, попробуй скажи наверняка. Кровь на постели, как и положено, с Кимкой. Но вопреки этому формальному факту дефлорации я знала, что женщиной меня сделал Тимур. Старательно не доходя до последней грани, он разбудил в зажатой, закомплексованной девчонке женщину. От его невинных ласк я улетала больше, чем от официально дозволенного секса с законным первым мужем. Хотя и Тимкины ласки не всегда были невинны. Если б не квартирный вопрос, если б в конце восьмидесятых в провинциальном южном городе нашлось бы, куда незадорого приткнуться двум

истомившимся страстью телам, девственность моя наверняка досталась бы другому брату.

После Тимкиных поцелуев полноценный секс с его братом казался мне амебным. Или я просто его не любила, Кимку, а Тимку любила, вот и весь резон. Нет, вроде бы и Кимку любила. Только совсем по-другому. Мне было с ним не скучно. Да и Тимке можно было отомстить. За все. За то, что не заметил меня в мои четырнадцать, женился как оглашенный. За то, что, заметив меня в мои восемнадцать, наслаждался своим открытием, даже не думая оставить Олюсика и жениться на мне. За то, что все в этой жизни случается не тогда, когда этого ждешь. Или не с тем...

Думал ли Тимка или не думал бросить жену и дочку, не знаю. Да и о чем мог думать двадцатитрехлетний мальчишка, ставший отцом в девятнадцать лет. Но в день моей свадьбы с его старшим братом мир для него явно перевернулся. И обрел цель. Теперь он должен был меня отбить, тем самым доказав, что в вечном братском споре он первый. Сама по себе я интересовала обоих Туманянов, но не в абсолютной степени. Я в качестве трофея их братской дружбы-вражды была бесценна.

Весь этот жар страстей раскалял и без того не слишком прохладный воздух этого двора и этого дома. Раз за разом незаметные постороннему взгляду Тимкины атаки разбивались о стену моего внешнего охлаждения и показного семейного счастья. Стена делала вид, что она каменная, но я-то знала, что сложена она из бутафорских камней.

Стена продержалась года полтора и рухнула в день, когда Тимка зашел попрощаться перед командировкой на первую чеченскую войну. Ни Карины, ни Иды дома не было. Дома вообще не было никого, кроме меня и восьмимесячного Сашки, мерно посапывающего в своей кровати.

Тимка сказал, что едет на войну. Посмотрел на Сашку: «А ведь мог бы быть мой!» Сашка причмокнул во сне, а мы... Мы рухнули прямо на пол. И мир тоже рухнул. И только локти и колени, содранные о грубошерстный ковер на полу, еще долго болели, доказывая реальность случившегося...

Через три недели, вернувшись из Чечни, Тимка прямым ходом приехал не к жене с дочкой, а в этот дом. И с порога заявил Киму, что он меня забирает.

Ким усмехнулся. Так свысока, как всегда умел усмехаться только он. Вот, мол, еще! Мечтать не вредно! Младший брат для него был младшим, не достойным серьезного внимания. Сам Ким всегда и во всем умел быть ага — старшим, первым, лучшим. Ему и в голову не могло прийти воспринимать Тимку в качестве соперника.

Так свысока Ким и смотрел на Тимура минуты две, пока не перевел взгляд. И не увидел меня. Еще минуту он молчал. Потом встал и вышел.

Дальше начался крошечный ад. Я уже не понимала, кто мой муж, кто его брат. Оба рвали меня на части. Существовать в одном пространстве с ними было невозможно. Пространство накалялось, звенело, пронзалось их братской ненавистью, замешенной на любви. И в центре этого пронзительного замеса оказалась я.

Оформить оба развода до рождения Пашки мы не успели. Тимке потом пришлось усыновлять собственного сына, и пуганица, возникшая от единства фамилий двух моих мужей, доводила работниц ЗАГСа до истерик.

Ким молчал, но молчание это было страшнее любого скандала. Все, невысказанное им, добирала Каринэ. Не знаю, что больше травмило жившие во мне чувства — слепая ненависть-любовь двух мужей или слепая ненависть-любовь одной свекрови. Ее крик с античными интонациями в голосе грохотал на весь двор. В силу профессиональной причастности к

античности косвенный инцест братских браков свекровь восприняла без инфаркта. Но и до открытия в себе удвоенного комплекса Иокасты не поднялась. И меня возненавидела по полной программе.

Двойная ненависть свекрови. Двойная любовь двух мужей. Двойная жажда жизни двух моих сыновей.

И удесятеренная жажда состояться! Справиться! Выстоять! Выжить! Быть! Чтоб доказать им всем, что я не бесплатное приложение к их ненависти-любви! Что я есть! Я буду. Я смогу. Вот только балласт в виде дивной свекрови и двух супругов, которым братские разборки важнее всего, что со мною происходит, мне не потянуть...

Во время одного из показательных домашних торжеств, когда наше образцовое семейство вынуждено было сойтись вместе и два моих мужа, чуть выпив, кинулись откровенно бить друг друга, я не выдержала и убежала. Бежала по перерытым улицам, ломая каблучки, расшвыривая туфли, сбивая ноги в кровь. Бежала, чувствуя погоню. Зная наверняка, что оба, толкая друг друга, уже бегут следом. Бежала как черт от ладана.

Ночь пересидела у Эльки — Ашот велел своим бойцам на пушечный выстрел никого к дому не подпускать, а уж моих мужей особенно. Утром, заскочив на дачу к своим родителям и предупредив, что сыновей заберу через пару месяцев, улетела в Москву.

Чудо случилось. На исходе обозначенных месяцев, за которые я успела оформить на Рублевке дом сосватанного мне Ашотом «большого человека», на полученные деньги снять квартиру и найти няньку, я прилетела за сыновьями, чтобы в день отлета в аэропорту в последний раз увидеть ненаглядных мужей. Обоих одновременно, разумеется. По одному они в моей жизни больше не случались.

Я отрезала от себя эту старую, высосавшую меня жизнь. Почти как Скарлетт, приказала себе не думать о том, что случилось. И лишь иногда, чуть распустив собственное подсознание, обнаруживала в нем бесконечные вопросы — что было бы, если бы... Если бы Тимка сразу ушел от Олюсика и женился на мне до того, как все успело случиться с Кимом? Если бы я не выскочила замуж за Кима? Если бы меня не пытала своей ненавистью Каринэ? Были бы мы счастливы тогда? И сама себе отвечала — вряд ли.

Все случилось, как случилось. Потому что иначе случиться не могло.

Меня утешила моя мама, объяснив все странности моей судьбы просто:

— Дети выбирают родителей, а не наоборот. Это только нам кажется, что мы вольны в своей личной жизни. А на самом деле дети выбирают, когда и от кого им родиться. Оттого мы так и мучаемся порой. Думаем, что любим одного, а дети наши выбирают себе в родители другого.

На мамины слова я обратила внимание не сразу. Тогда только подумала, неужели и я своим рождением заставила моих родителей мучиться не меньше, чем мучаюсь теперь я. Но позднее, в иной московской жизни, в те вечера, когда успевала вернуться домой, прежде чем Кимыч с Тимычем засыпали, укачивая их, я все чаще думала — а ведь и правда! Если бы жизнь вопреки нашей с Тимкой любви не свела меня с Кимом, не было бы Сашки. А если бы не развела с Кимом и снова не свела с Тимкой — не было бы Пашки. Не было всех этих мук, не было и сыновей? Хотела бы я, чтобы не было сыновей? Поменяла бы я хотя бы одного из своих мальчишек на призрачный покой души и счастье? Бред!

Подобные вопросы казались нарочитым идиотизмом, который я стесалась, чтобы лишний раз ответить самой себе: Сашку с Пашкой я бы не обменяла ни на что! Даже на идеальную жизнь и идеальную любовь, увенчанную идеальными, но другими детьми. Я слишком

хорошо знала, что это мои дети, моя жизнь и моя любовь. Пусть не идеальная, пусть прогоревшая, но моя.

Но другая, не материнская часть меня знала и что-то еще. Знала. Только до поры до времени мне не говорила.

* * *

Когда мелодия «Тореадора» огласила округу, я обнаружила, что сижу во дворе на пне, оставшемся от огромной старой шелковицы, спиленной в год, когда я бежала отсюда. И сижу уже, наверное, не первые пять минут, о чем свидетельствовали основательно затекшие ноги. Ничего себе развспоминалась!

Со снятой на лето подмосковной дачи звонили оба моих чада.

— Чучундра пропала!

— Мы ее во двор гулять выпустили, а она и пропала! Конкретная пропажа конкретной черепахи, которая жила с ними каждый день, тревожила Кимыча и Тимыча куда сильнее, чем абстрактная пропажа абстрактных отцов, которых они видели раз в год.

— Я же вам говорила, чтобы красный бант на панцирь привязывали.

— Привязывали!

— Скотчем приклеивали!

— Красный!

— Фосфо... фосре... фосрецирующий!

— Ты хочешь сказать, фосфоресцирующий?

— Ага, светящийся такой бант скотчем на панцирь прилепили!

— И что, даже такого светящегося банта не видно?

— Бант виден. Вот он, бантик, а Чучундры под ним нет!

— Дождик пошел, скотч отклеился, и Чучундра уползла, — ревел Пашка.

— Мам, ты же прошлый раз Чучу в песке откопала, — Сашка не ревел, но дрожащие нотки в голосе проскакивали. — Приезжай скорее, мы без тебя ее не найдем!

Да уж, кроме меня, сыщиков в этой семейке не наблюдается!

Не успела я переключить мысли с поиска Туманянов-старших на поиск черепахи Туманянов-младших, как «Тореадор» снова ворвался в наш засыпающий двор, что вызвало поток более чем ненормативной, хоть и с трудом выговариваемой лексики, вырывавшейся на простор из Зинкиного окна. Судя по произношению, соседка уже допивала принесенную мною фляжку.

Голос совершенной Агаты, как рубильник, переключил мои мысли на московский лад.

— Лика, с вами Алексей Юрьевич хотел переговорить. Вы можете ответить?

Правильность Агаты всегда доводила меня до бешенства. Хотелось ей козу в неподходящий момент показать или ляпнуть что-нибудь такое, что выбьет ее из заученной идеальности. Но раз звонит Олень, про козу его секретарше стоит забыть. Не часто в последнее время мне звонит Олень. Ох, не часто!

— Лик, привет! Сама как? — И, не дослушав моего рапорта: — Женьке надо сменить обстановку. Она в своих четырех стенах подохнет.

— Я-то здесь при чем?! — От злости на мгновение вываливаюсь из предписанного самой себе наивно-провоцирующего стиля общения с Олигархом моей мечты. Ждешь-ждешь

от мужчины звонка, а он — на тебе — звонит, чтобы психическое состояние кикиморы своей болотной обсудить.

— При том! Хочу тебя попросить увезти ее куда угодно. На Бали... — грамотный олигарх знает, что название острова произносится с ударением на первый слог, — ...на Мальдивы, в Эмираты, хотя в Эмиратах сейчас жарко... Куда угодно! Лишь бы Женька сутками не смотрела в одну точку.

Заботливый одноклассничек достался этой общипанной курице. Мой одноклассник Михаська разве что вина взяточнического пришлет, а здесь — хоть тебе Мальдивы, хоть тебе Эмираты!

— Женя и на Мальдивах одну точку найдет.

— Но все же это будет уже другая точка. Две точки против одной — прирост объемов производства двести процентов.

— Мне мужей искать надо.

— ?!

— Потом объясню. Хотя...

Эмираты... Эмираты. Олень предлагает Эмираты...

— В Эмиратах вторая жена моего первого мужа, которая с картины пропала...

Пауза. Все, теперь Олигарх моей мечты окончательно убедился, что у меня не все дома, что в количественном отношении полностью соответствует действительности. Да и в качественном отношении, скорее всего, тоже.

— В Эмираты слетать можно, если ненадолго.

Сама не понимаю, то ли я согласилась, то ли продолжаю рассуждать вслух.

— Решено, в Эмираты! — отрезает мне пути к отступлению Олень. Ну почему я могу трезво мыслить, когда не вижу и не слышу его, и растекаюсь, таю, плыву, дымлюсь, стоит мне только услышать его голос?!

— Ты ж говоришь, там жарко! — Единственное мое достижение в общении с Олигархом моей мечты — могу позволить себе панибратское «ты».

— Вам же не по пустыне шляться! Из кондиционированного «Роллс-Ройса» в кондиционированный отель, — вместо ответного «ты» Олень переводит меня во множественное число с пребывающей в ступоре, но дорогой его сердцу Женькой. — Женьку можно поднять на ноги, только воззвав к ее сознательности. Поворачиваем ситуацию так, что это не ты везешь ее нянчить, а, напротив, я посылаю ее помогать Лике искать мужей. Почему, кстати, «мужей»? У тебя гарем наоборот?

И, не слушая ответа, командует дальше:

— Первым же утренним рейсом в Москву! Агата возьмет билеты на самолет и бронирует номер в «Бульж аль Арабе».

— Что такое «Бульж аль Араб»? — не сразу врубаюсь я.

— Каскады драгоценностей и немножко стройматериалов, — удачно переиначивает классическую цитату просвещенный олигарх.

* * *

Отправляюсь собирать так и не разобранные вещи. Не слишком продуктивной поездочка в родной город выдалась. Возвращение через форточку, да и только. Ладно, раз

олигарх меня для его собственных надобностей вызывает, от дел отрывает, пусть тогда его «компьютерные дизайнеры» к поиску моих бывших мужей подключаются. Женьку где-то на границе Эстонии и Латвии нашли, так уж моих бывших на родной российской земле и подавно отыскать смогут. А я попутно в Эмиратах поищу Алину, как там ее Ашот назвал: «Рыжая копна на мешке амбиций». Глядишь, в мешке этом и отыщется хоть что-нибудь.

Закидывая вещи в дорожную сумку, застываю над старым школьным портфелем с давними реликвиями и письмами — братъ или не братъ. И как в омут с головой ныряю в недочитанное с вечера Тимкино письмо двенадцатилетней давности.

«...Проклятая, что же ты творишь! Ты отняла у меня все! Ты отняла у меня даже мой город. Каждая улица кричит о тебе, каждый дом, мимо которого мы когда-либо проходили, каждая скамейка, на которой сидели!

Я мечусь как ненормальный, я ищу, где бы спрятаться, куда бы забиться, чтобы только не вспоминать, не думать о тебе. Но разве можно. Ты снова, снова и снова, как в диком кошмаре, видишься, видишься, видишься...

Сколько раз сегодня я был на нашем углу. Сколько раз заглядывал в некогда мои окна, ставшие теперь ненавистными, чужими и самыми желанными. Потому что там ты. Но там и он. Мне все время кажется, что еще минута, и ты появишься, почувствуешь, сбежишь. Что одумаешься, что поймешь — из мести жизнь не сложить. Но ты не идешь. И я ночи напролет пытаю себя шагами по этим темным улицам, прячусь в подворотнях от случайных знакомых, чтобы утром они не донесли вам, что видели под окнами меня.

С упорством маньяка я пытаю свое воображение картинами вашего счастья. Пусть даже не счастья, но вашей совместной жизни, вашей любви. Представляю, как он делает то, на что имею право только я. Он целует родинку на правой груди, он касается твоего шрамика от аппендицита, он гасит в вашей (это же была моя! моя!!! комната!) свет...

Более изощренной пытки для меня ты придумать не могла. Если хотела меня убить, раздавить — ликуй, тебе это удалось. Ты попала в самую больную точку. Попала дважды.

Ты отняла у меня не только себя, ты отняла и брата, возведя в абсолют все мои детские комплексы его старшинства и превосходства! Так убить, уничтожить, раздавить можно было, только любя.

Я был идиотски самонадеян. Иногда, каким-то дальним углом ума понимал, что ты можешь уйти, найти другого, но отбрасывал, отшивырывал, отгонял эту мысль, загонял ее в самый дальний угол. И конечно, даже в самом страшном сне не мог представить себе, что этим другим будет мой брат, мой вечный «ага», мое вечное Альтер эго — более успешное, более удачное, более любимое всеми, в том числе, как оказалось, и тобой...

Теперь ко всем моим отвратительным качествам можешь прибавить еще и это — зависть. Дикую, нечеловеческую зависть. И злобу. Я долго, очень долго не решался признаться себе, как я завидую собственному брату. Его таланту. Его харизматичности. Наверное, это злоба серости обиженного обыденного плебея, вынужденного, как попка, долбить в эфире вести с полей и неспособного открыть в себе ваши художнические вольности. Рядом с ним я всегда чувствовал себя неполноценным, вторым, лишним. И ты вбила последний гвоздь в крышку гроба моих надежд и стремлений.

Вряд ли ты простишь мне все, что случилось или не случилось. Но мне уже все равно. Мне худо. И по свинской своей привычке я стремлюсь, чтобы худо было тебе — любимой, близкой, родной. Сможем ли мы когда-нибудь с тобой сравняться? Вряд ли. Ведь у твоей

нежной, истерзанной, романтической души железобетонная начинка. Твоя воля сильнее сердца. Твое добро — оборотная сторона твоего же зла. И при всем том ты неуязвима. Ты права. Я не прав.

Я не прошу тебя протянуть мне руку — сколько можно, скажешь ты. Да и я уже не приму этой унижительной для меня помощи...

Твой Тимур.

P.S. Я люблю тебя, Верблюжонок! Я люблю тебя! Люблю тебя! Тебя! Люблю!

P.P.S. Я тебя ненавижу!»

Чуть протершиеся на сгибах листки письма еще дрожат у меня в руках, когда притихший в ночи двор пронзает крик.

На опоясавшую весь двор круговую лестницу-балкон выбегают почти голые от сна в летнюю жару соседи. Только одна дверь, не поддавшись этой панической лавине, остается закрытой. Зинкина дверь.

— Зинка, открой!

— Открой, тебе говорят! Не то хуже будет! На майские она так напилась, чуть дом не спалила. Короткое замыкание устроила, два дня без света сидели.

— Мож, она и теперь замыкание устроила. Кто ее знает, чего орала. Мож, ее током шарахнуло.

— Да напилась до белой горячки, вот и орет.

— Если бы просто до белой горячки, то и сейчас бы орала.

— Зинка, слышь, открой, не то дверь вышибем! Открой! Василич, давай! Вадика еще покличь, он посильнее будет. Раз-два взяли! Раз-два, поднадави! Зинка! Открой! Слышь, уже ломаем! Зинка! Сломаем, чинить сама будешь, Василича не проси, он и за бутылку замок вставлять тебе не станет. Раз-два, взяли! Зинка! Еще взяли! Зинка! Зинка! Зи-и-и-инка-а-а-а-а!

Около плиты рядом с выпавшей из рук банкой не залитых еще рассолом огурцов на полу лежит Зинка. Из ее рта идет пена, но глаза уже закатились и помертвели.

— «Скорую»! Давайте скорее «скорую»! И в третий дом бегите кто-нибудь, там Олька врач.

— Не нужен тут уже врач, — изрекает Каринэ, словно на кафедре зачитывает эпилог одной из своих любимых трагедий. — Мерили. Скончалась.

— Ой, мамочки родные! — истерически вопит другая соседка, Людка.

— Говорила ж ей, хэв, дура, не глуши всякую дрянь, — прерывает ее крик только теперь доковылявшая до соседских дверей Ида.

Я вздрагиваю. Принесенная мною пару часов назад фляга с вином на две трети пуста. А что, если Зинка не просто так допилась. Что, если...

(ЛАЗАРЕВЫ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ДЕКАБРЬ 1829 ГОДА)

Папенькин приятель с насмешившей Катеньку фамилией Сухтелен к Яблочному Спасу к ним гостить не приехал. И вообще до подмосковного имения он так и не доехал. Взрослые говорили, Павел Петрович изволит состоять при персидском принце.

Настала осень. Абамелеки и Лазаревы съехали в Петербург и, как водится, двумя семьями поселились в домах Лазаревых на Невском. История с таинственным персидским шахом и лазаревским алмазом стала потихоньку забываться.

Петербург не имение, не забалуешь. И старшим и младшим учиться надобно. Классы с утра до вечера. Из французского, из русского, из персидского. И манеж, и танцевальные экзерсисы, и музыка. Так день за днем и проходит — ни поиграть, ни со старшими, как летом случалось, поговорить.

Разве что брат Сема с отцом и дядей о диспозиции наших войск вокруг Эривани, да о походе Паскевича к Тавризу рассуждать может, а им, младшим, про политику да про военные баталии судить пока не велено. А жаль! Эх, Катеньке бы теперь коня да костюм военный! Она бы поскакала вперед, воевать с персами, которые Грибоедова убили!

Страсть как хочется Катеньке в сражение! А ей, как Ане, все стихи да альбомы назначены! Любит Аннушка стихи, пусть хоть сочиняет, хоть переводит, хоть за поэта какого или за всю его родню замуж идет. Все давным-давно знают, что Аню сам Пушкин на руках держал. Да только Ане было не больше года, и Пушкин не был тогда первым российским пиитом, а был лишь сорванцом-лицеистом. Виновата ли Катенька, что в ту пору, когда Абамелеки в Царском Селе жили и проведать лицеистов заходили, Аня уже родилась, а она еще нет. Но что славы, что Пушкин держал? Это же Пушкин пиит, это его слава. А ей, Катерине, лучше бы с мужчинами про военные страсти разговор вести, да только мадемуазель бранится. Стоило третьего дня услышать, что в большой гостиной про отъезд Хозрев-Мирзы разговор зашел, так мадемуазель запричитала, что благовоспитанной барышне слушать такие разговоры не пристало. И увела ее в детскую. Только Катенька и расслышала, пока мадемуазель за ней дверь закрывала, как дядюшка Христофор Иоакимович сказал тетушке Катерине Мануиловне:

— Сухтелен будет у нас на Рождество, душенька...

Эх, как бы попроситься остаться в гостиной со взрослыми, когда этот генерал-квартирмейстер приедет. И должность у него смешная — «генерал-квартирмейстер», это что он, все квартирует? И фамилия потешная — Сухтелен. Дядюшка говорил, приятель его из голландского рода. Да хоть из африканского, лишь бы про шахского внука да про алмаз, императору подаренный, рассказал.

Но пока еще Сухтелен прибудет! Не дожدهшься. Время тянется-тянется. Славно, что нынче елку наряжать надобно, так и время быстрее идти будет.

Елка! Каждый год ее ждешь, и каждый год радуешься, как чуду какому расчудесному. И украшения у них в доме год от года копятя, от поколения к поколению. Вот шарики,

которые двоюродный дедушка Иван Лазаревич своим племянникам Христофору и Марфиньке, Катенькиной маме, привозил из Амстердама. Шарик из стеклышка тонюсенького, Катенька и не знала, что столь тонкое стекло бывает.

Повесили на елочку и восточные игрушки, коими еще дедушка с братьями в детстве в Персии играли. Персидские безделицы — одно загляденье. Красавицы в уборах дивных — все лицо закрыто, лишь глазки в прорезь восточного платка проглядывают. Лошадки арабские, искусно выточенные. Безделки да погремушки, подобные той, в которой алмаз лазаревский фамильный хранится, что дядюшка Христофор Иоакимович летом показывал.

Теперь Фаина, модистка, делающая восхитительные шляпки для мамочки и тетушки Катерины Мануиловны, из обрезков шелка и парчи сделала ангелочков для елки. Крылышки тоненькие, личики добренькие. Даже девочек Татищевых мама Екатерина Ардалионовна, которая как раз в гости к тетушке заехала, налюбоваться не могла. Все Фаину нахваливала, мол, та и любую игрушку смастерить может. И говаривала об особом от нее заказе, что, дескать, восточные безделицы из парчи и шелка ей пришлись по сердцу, желает и для украшения своей елки получить подобные. Сильно торопила модистку, чтоб скорее. Фаина нескольких ангелочков дошить не успела, утром Татищевой заказ на дом возила.

Теперь Соня ангелочков и погремушки на средние ветки вешает, а до верхних не дотягивается и Сему зовет.

— Семушка! Семушка, давай наверх звезду скорее повесим! Без звезды какое Рождество!

Рождество — затык в их доме: перемешивает обряды армянские и русские. Катенька прежде об этом не думала, пока не стала на детские рождественские балы в другие дома ходить. Оказалось, ни у Татищевых, ни у Незвицких, ни у Вильденбургов никто не ест на Новый год тары [\[13\]](#).

А у Абамелеков и Лазаревых Новый год без тари не Нор тары, не Новый год. На тари лепестков, сколько членов в семье, и сверху несколько монеток на счастье.

В сочельник из церкви, построенной двоюродным дедом Иваном Лазаревичем меж двумя лазаревскими домами на Невском, они приносят домой свечи. Сколько их в семье, столько и свечей. На Новый год все дети хором поют «Каландос». И по-армянски поют, и по-русски, и своих друзей учат петь. Девочки Татищевы едва ли не лучше самих Абамелеков по-армянски поют. И по-простонародному колядовать с ними вместе ходят.

Хотя какие колядки в Петербурге! По чужим домам детей в городе не отпустят! Но, помня, как дедушка Иоаким наставлял маменьку, чтобы традиции рода на любой земле чтили, родители отпускают детей собирать угощение по квартирам в двух принадлежащих Лазаревым домах. И то радость! Кто из их почтенных жильцов игрушек на елку подарит, кто марципанов даст. Князь Кочубей, бывает, раздобрится и специально посылает своих людей в кондитерскую Вольфа за пирожными, детей угостить. Даже квартирующий на третьем этаже левого дома строгий Михаил Михайлович Сперанский, чей день рождения аккурат на Новый год приходится, отрывается от своих государственных дел и, вспоминая детство, гоняет лакея за конфетами.

— Эх, бегал я мальчонкой колядовать по сугробам! Дед Василий грозил мне в окно, а мы с братьями малыми едва тулупчики накинem, и бежать! Да разве такие гостинцы поповским сынкам подносили! Хорошо как медом или пустым пирогом одарят! А радости, радости-то!

Михаил Михайлович от детских воспоминаний тает, как мороженое на блюдечке. Важный государственный вид с него сходит, и он вместе с хохочущими проказниками

перебирается на лазаревский этаж праздник отмечать, а там уж снова меж взрослыми умные разговоры разговаривать.

Вот и теперь, не успела маленькая Сонечка забраться к строгому Сперанскому на колени и обрядить его в маску волка — в рождественские праздники можно все! — как колокольчик возвестил о новом госте.

Граф Сухтелен Павел Петрович.

* * *

— ...«Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие!» Государь произнес эти слова, принимая персидский алмаз, — рассказывает Сухтелен. — В тот же вечер камень в присутствии царских чиновников был осмотрен востоковедом Сенковским, который прочитал и дал толкование трех надписей на его гранях...

— Значит, надписей уже три? — удивляется Христофор Иоахимович. — Дед Лазарь Назарович, который держал этот алмаз в руках в покоях самого Надир-шаха, рассказывал отцу и дядюшке о двух надписях. Первая гласила «Брхан сани Нзмшах 1000 снт», что значит — «Бурхан Второй Низам-Шах. 1000 год». По нашему — 1591 год...

— Так давно! — восклицает Ленушка Татищева и испуганно замолкает, заметив, как разом приложили пальцы к губам старшие дети: тссс! Не то прогонят!

— Для камня с историей, насчитывающей века и тысячелетия, два с половиною века — это недавно!

— А что вторая надпись? — интересуется тетушка Катерина Мануиловна.

— Вторая надпись: «Ибн Джхангир шах Джхан шах 1051» «Сын Джихангир-шах Джихан-шах, 1051 год». По арабскому исчислению, разумеется.

— По нашему какой это год будет?

— 1641-й. Вывезший алмазы из Индии Надир-шах говорил деду Лазарю, что желает и свое имя на желтом алмазе увековечить. Да смерть его прежде поспела. Кто же после него на камне отметился?

— Нынешний шах Фатх-Али, дед Хозрев-Мирзы. Не так давно он приказал начертать свое имя. Вы, Христофор Иоахимович, конечно, знаете, а для прочих скажу, что после гибели Надир-шаха империя его распалась. Власть множество раз переходила из рук в руки, пока через полвека шахом Ирана не стал евнух Ага-Мухаммад-Хан, основавший династию Каджаров. Детей у евнуха быть не могло, поэтому наследником его стал племянник Бабахан, выросший в бедности и нищете. Бабахан перед восшествием на престол зарезал брата...

— Всегда говорю, что из нищеты ничего достойного вырасти не может. Не бывает власти из низов! — Ленушкина и Любочкина мать Елизавета Ардалионовна к началу разговора опоздала. Пришла только что, раздумываясь с мороза, разгоряченная, а руки отчего-то дрожат. С тетушкой Катериной как-то странно переглянулась и теперь наверстывает упущенное, гордо вскидывая красивой головой. Но ее высказывания никто не замечает, все слушают Сухтелена.

— ...зарезал брата, а затем принял имя Фатх-Али-шаха.

— Так это нынешний шах?!

— Да, дед гостившего у нас Хозрев-Мирзы. Ровно через тридцать лет в ознаменование юбилея правления он велел на свободной грани алмаза сделать третью надпись. В русском

звучании читается она так: «Схбкран Каджар Фтх'ли шах алстан 1242». В переводе это означает: «Владыка Каджар Фатх-Али-шах Султан, 1242». В нашем летоисчислении 1824 год.

— Всего пять лет назад, — удивляется теперь уже Катенька. Только о такой давности, как 1591 год, говорили, а теперь, кажется, и говорят об истории, а история эта уже при ее жизни случилась. Двадцать четвертый год Катенька хорошо помнит. Ей тогда было семь лет, и очень ей Никола Вильденбург нравился. Теперь Никола давно гусар...

— Прежде, когда отец пересказывал нам с Марфушкой рассказы деда о прошлом этого камня, меня удивила и странная закономерность, — снова вступает в разговор дядюшка Христофор Иоакимович. — Появление очередной надписи на алмазе предшествует бурным историческим событиям — захватам власти, войнам, которые всегда заканчиваются сменой владельца. И нынешняя жажда последнего шаха увековечить себя, почти совпавшая по времени с передачей желтого алмаза императору Николаю Павловичу, тому подтверждение. Не начини сын Фатх-Али-шаха Аббас-Мирза войну, не потеряй он Эривань, не подпиши шах Туркманчайский договор, не растерзай толпа фанатиков Грибоедова, и правителю Ирана не пришлось бы в испуге искать, чем задобрить государя нашего. Желтый алмаз «Шах» так и оставался бы персидским.

— Думаю, старый шах просто испугался последствий, — откликается Сухтелен. — В Персии все были убеждены, что после убийства вазир-мухтара, государева посланника, наше правительство не замедлит в отместку предать смерти посланного с извинениями сановника и его свиту. Оттого и решено было избрать для этого предмета Хозрев-Мирзу. Это в России все носились с ним как с писаной торбой. А если знать Восток, то следовало бы понять, что он не что иное, как чанка.

— Чанка?

— Побочный сын наследника, не имеющий никаких шансов на престол. У принца Аббас-Мирзы гарем производит сотню сыновей. Хозрев-Мирза лишь один из них. Никто в Иране не мог и ожидать, что ему будет оказан в России столь блестящий прием. По своему рождению он не имел на это никакого права.

— Что показывает, сколь мало известны у нас обычаи Востока. У государя нашего не нашлось сведущих в восточных делах советников, способных разъяснить ему тонкости, отчего наш Павел Петрович и принужден был провесть несколько месяцев при юнце.

— Юнец, впрочем, образован и обходителен. И, как мне показалось, несчастен. Трон ему не светит. Дружбы подлинной, искренности при шахском дворе быть не может. Как в таком мире жить? Видели бы вы, господа, как этот юноша вырывался от бесконечных своих мирз, беков, лекарей, оруженосцев, постельников, водочерпиев, кофеваров, шербетчиков...

— Ему и шербет отдельно готовили?

— А как же! Особое положение занимал сундуктар — казначей, который и вез алмаз...

— А ты говорила, что в свите шаха «сундук» был, а он вовсе и «сундуктар»! — шепчет Любушка Татищева сестре, но Ленушка отмахивается и во все глаза глядит на мать, которая снова переглядывается с Лазаревой.

Князь Павел Петрович тем временем продолжает:

— Про то, как освободившись от свиты, принц веселился в Петербурге, в приличном обществе говорить не пристало.

— Уж нет, голубчик, Павел Петрович! Раз начали, извольте продолжить! — настаивает Марфа Иоакимовна и сама себя обрывает: — Ах, да! Дети, пора, пора!

— Но маменька... — начинает Катерина, но, понимая, что при гостях ничего выторговать не удастся, решает, что благоразумнее будет удалиться, а после у брата Семена выпросить. Впрочем, и выпрашивать, похоже, будет нечего. Общий разговор уходит к чему-то уж совсем не новогоднему. Старик Сперанский затевает говорить про «Полное собрание законов Российской империи», которое под его руководством ныне составляется.

— ...комиссия составления законов была преобразована во II Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. И государь, назначая начальником II Отделения Балугьянского, сказал ему обо мне: «Смотри же, чтобы он не наделал таких же проказ, как в 1810 году!»

— Что же такого непозволительного вы натворить изволили в десятом году? — Елизавета Ардалионовна, по ее же признанию, в политических делах не разбирается и разбираться не желает. Она, очевидно, раздражена, что разговор от шахской миссии перешел к какому-то скучному собранию законов старика Сперанского.

— Вы, княгиня, тогда были совсем девочкой! Франкофильский дух моих проектов перед войной с Наполеоном пришелся не ко двору. За излишнее свободомыслие был сослан губернаторствовать в Иркутск. Осмелился рекомендовать для предотвращения возможных революционных потрясений придать самодержавию внешние формы конституционной монархии, избрать законодательную Государственную думу и распорядительные окружные и губернские думы, а также...

Но Елизавета Ардалионовна не слышит слов Сперанского про «политические права дворянства, среднего состояния и рабочего народа». Она снова поворачивается к Сухтелену, намереваясь вернуть разговор к более интересному ее предмету шахского посольства:

— Правду ли сказывали Разумовские, что при Его Высочестве и гарем был?!

* * *

После, отделившись не только от детей, но и от дам, и раскуривая сигары в мужском кругу, Давыд Семенович Абамелек любопытствует:

— Все же, Павел Петрович, между нами, о чем, князь, вы не могли позволить себе говорить при дамах?

— При всем своем гареме юный шах и от наших женщин успевал быть без ума. На Руси же не умеют любить наполовину — или ненавидят, или со всем жаром, пока не задушат в объятиях. У мальчика голова и пошла кругом. И если б только женщины, далекие от света, так и гранд-дамы! И сколь охотно! Но в наших столицах-то не гарем, где каждая наложница принадлежит только шаху. Наше многобрачие хоть и не узаконенное, но вовсе не только мужское. И пожалуйста, перед самым отъездом спешно пришлось искать здешнего доктора, шахский лекарь в этой болезни ничего не смыслил. Угрожая пистолетом, доктора Клемейнихеля, потомка того самого первого Клемейнихеля, что еще при Екатерине служил, требуя неукоснительного сохранения врачебной тайны, привезли к пациенту. Доктор лечил и пиявками, и шпанскими мушками, и меркурием.

— Меркурием? — переспрашивает Сперанский.

— Это мазь ртутная, для подобных целей пригодная, — отвечает Сухтелен. — Принцу полегчало, но полностью оправиться не успел. С тем и уехал.

Павел Петрович развел руками.

— Жаль его! Убьют ведь в этой шахской сутолоке у престола. Убьют и не пожалеют. Или покалечат. Видели б вы его прислужников — визирей, векилей, мирз, беков... Один сундуктар Ахмар чего стоил! Взгляд — кинжалом пронзает. Сразу понимаешь, такой и убьет, дорого не возьмет. На правой руке будто змея вокруг среднего пальца трижды обвилась. Род его вышел из древних шахских пробовальщиков, тех, что должны прежде шаха его яства отвеживать, чтобы не отравили правителя. Сколько раз змея вокруг пальца обвита, столько раз его предки жизнью спасали персидских шахов. Но сам нынешний «змееносец», сказать по-модному, карьеру сделал. От пробовальщика до сундуктара, хранителя драгоценностей, дорос! И интриговать еще, по моему разумению, не гнушался. Иначе зачем бы Ахмар после отъезда миссии еще два месяца в Петербурге провел и только вчера отбыть изволил. Так я уж постарался: сопроводительные бумаги ему оформлены так, чтобы не было у него пути назад. Только до Кронштадта. А далее через Европу пусть ищет путь домой.

— И западной жизни отвеждает! — усмехнулся Лазарев.

— Но Хозрев-Мирза на весь свой сброд не похож, — продолжил Сухтелен. — Он мальчик добрый, с хорошей душой. Знаете, что он написать изволил, когда с генералом Емануелем на Машук взбирался?

Павел Петрович вынул из кармана форменного мундира вчетверо сложенный лист и прочел списанное:

«Добрая слава, оставленная по себе человеком, лучше золотых палат. Любезный брат, мир здешний не останется ни для кого; не полагайся на царства земные и сей бранный мир; он многих подобных тебе воспитал и уничтожил, посему старайся делать добро». Из Фирдоуси.

* * *

Детей-Абамелеков тем временем отправляют спать, а Катерина Мануиловна провожает подругу Татищеву с уставшими девочками. Любушка заснула в креслице и теперь лакей ее держит на руках, чтобы сонную в карету нести, а Ленушка трет глазки кулачками, но стоит подле маменьки, в карету не идет, будто боится прослушать что-то важное. С ужасом замечает она, что из маменькиной муфты выглядывает черный кошелек, что летом она видела в руках джинна-сундука. Неужто маменька решилась на недоброе дело... Отчего ж она тогда такая радостная?

— Ах, Китти! Деньги по закладной за Мамонтовку я нынче внесла! Сразу как из Кронштадта вернулась, так и внесла, оттого и задержалась. А все долговые расписки в том кошельке были. Ахмар этот не поленился, с лета через здешних стряпчих почти все наши долги скупить успел.

— Как же ты не боялась?!

— Так я Сухтелена прежде сегодняшнего вечера видела и узнала, что у Ахмара бумаги в один конец, обратно в Россию ему хода нет. После назначила ему встречу прямо в Кронштадте и предупредила, что толмачей у нас досматривают с особым усердием. Одно дело он в шахской свите со всеми почестями под охраной с востока ехал, другое — один-одинешенек удирает на запад. В Кронштадте из твоих денег пограничным людям было заплачено столько, что они и нужное усердие явили, и глядеть в оба пообещали, чтобы бусурман воротиться не мог.

— Как же он прежде границы «начинку» не проверил?

— Сухтелен приставил к нему двух гвардейских офицеров, которые до самого пограничного столба с него глаз не спускали. Да и «подарочек свой памятный для вашего сына малого» я Ахмару при пограничном чине передала. При капитане потрошить игрушку никак невозможно было.

— Как же бусурман этот деньги за kota в мешке отдал?! Как поверил, что игрушка та самая, подлинная?!

— Он с собой до границы довез la expertise, — Елизавета Ардалионовна произнесла новомодное слово. — Бусурман нашел того, кто сию безделицу видел, в руках прежде держал и мог подтвердить, что она та самая.

— Кто ж ее мог держать в руках, кроме своих! Христофорушка и из ларца ее не вынимал никогда. Разве что тем летом, когда в имении разговор об алмазах был...

— Так и припомни, кто в разговоре том участвовал. Катерина Мануиловна зашевелила губами, перебирая в памяти тот день.

— ...Дети ежа в дом принесли. Катенька плакала, что ее пить чай с большими не пускали, и лишь когда барона Дорфа увидала, успокоилась, не любит она Дор... Дорф?!

— Барон! При мне погремушку восточную со всех сторон оглядел, ощупал, не постеснялся. И гонорарий свой от сундуктара получил. Теперь про меня говорить вздумает, что Татищева воровка!

— Разве мы тебя, душенька, в обиду дадим! Кому поверят в свете — старому сплетнику или Лазаревым?! Мы еще и Дорфа в дурном свете выставим! И Ахмару этому поделом будет!

— Ему уже поделом, душе его черной! То-то он, отъехав от границы, вспорет шелк!

И Елизавета Ардалионовна расхохоталась. На этот раз совсем не зло.

* * *

«Добрая слава лучше золотых палат...» Христофор Иоакимович уже в постели мысленно повторяет прочитанные другом слова. Лучше палат...

Он к палатам золотым и не стремился. Дадены ему по праву наследования. Он лишь желает в меру сил приумножить достояние рода Лазаревых. За то ли его карать? Он ли не заботился о бессмертной душе? Он ли не был милосердным? Наставь на путь истинный, Господи! Надоумь раба твоего Христофора, как жить, чтобы дозволено было роду лазаревскому продолжиться!

Жена вошла в спальню почти неслышно.

— Христинька! Голубчик! Обещать должен, что меня не заругаешь, как в одной провинности тебе признаюсь.

К удивлению Христофора Иоакимовича, жена выглядела не печально, как все последнее время, а улыбалась, как улыбаются их напроказившие племянницы.

— Разве могу я тебя ругать, на тебя сердиться!

— И все одно, обещай! К тому же с моей нынешней тайной меня теперь и ругать никак невозможно!

— Обещаю-обещаю! А что за тайна?

— Тайна после, прежде мой проступок. По долгу дружбы, дабы помочь Лизаньке Татищевой в затруднительном ее положении, я ей фамильную погремушку отдала. Ту самую.

Христофор Иоакимович глядел на жену, плохо понимая, что Екатерина Мануиловна говорит.

— Но Катеринушка... — начал было он. Жена перебила:

— Ты ведь, голубчик, ничего не знаешь. Лизанька просила никому не сказывать, пока не уладится. Страшный человек из шахской свиты, зная затруднительное материальное положение Лизаньки, преследовал ее с лета, угрожая откупить все долги ее мужа и пустить ее с детьми по миру. И таки скупил почти все долги. И разорил бы, с бусурмана эдакого случилось бы! Но обещал много денег, коли она выкрадет у нас погремушку персидскую с алмазом фамильным. Лизанька, душа светлая, долго мучилась, воображая, как ее дети пойдут по миру. Но после, слава Господу, во всем мне призналась. Я ей погремушку и отдала.

— Но как?! — Христофор Иоакимович судорожно глотал воздух, не понимая, как относиться к сказанному женой. — Как ты могла отдать семейную реликвию?!

Катеринушка, его Катеринушка совершила столь страшное прегрешение, что поступок этот не уместился в сознании Лазарева. И ладно бы только совершила, но и нисколько не раскаивалась. Напротив, смеялась легко и весело, как не смеялась уже много лет.

— Друг мой! — столь же весело продолжила супруга. — Конечно, все Лазаревы не чужды пристрастия к старине. Но так негодовать из-за рваной тряпки, хоть бы этой тряпке и сто лет, согласись, смешно.

— Из-за тряпки?! Тряпки?! Алмаз, равных которому сыщется три-четыре во всем мире! И ты говоришь, тряпки?! Пусть даже Иван Лазарев завещал, что камень сей должен быть подарен, ежели не найдется прямых наследников лазаревского рода, но подарен своим, родным, а не отдан таким манером!

— А кто тебе сказал, что я отдала алмаз?

— ?!

— Я отдала Лиззи погремушку. Старую игрушку из парчи и шелка, которая давно расползлась по швам. Вместо нее Фаина с удивительным мастерством сшила ее точную копию, новую и нарядную. А алмаз...

Катерина Мануиловна раскрыла зажатые прежде ладони, на которых лежала смастеренная модисткой копия прежней погремушки, и вынула из нее овальный камень.

— Разве я могла отдать лазаревский алмаз теперь, когда у него вот-вот появится новый законный владелец.

И она приложила руку с камнем к плоскому пока еще животу.

Христофор Иоакимович глядел на жену, силясь осознать два потрясения разом — чудесное обретение фамильного камня, который он уже было счел безвозвратно утраченным, и руку жены на ее животе. Так, замерев в нелепой позе, он простоял минут-другую и упал на колени.

— И все же я не понял, — произнес Христофор Иоакимович, когда первая буря чувств в душе его улеглась и он снова обрел способность рассуждать. — Что же было продано черному человеку из шахской свиты?

— Погремушка. Настоящая персидская погремушка сына Надир-шаха, которую он и просил похитить из нашего дома. Сундуктар коварный слово «алмаз» не произносил, знал, что на кражу алмаза Лиззи ни при каком затруднительном положении неспособна. Вот и заказывал он несчастной женщине взять у нас погремушку. Что такого, если пропадет из дома друзей безделица. Не преступление. Погремушку заказывал, погремушку и получил. В

лучшем виде.

— И камень внутри не прощупал?

— Прощупал. Мы уж постарались, чтобы ему было что прощупать.

— И что ж было продано во внутренностях подлинника?

— Камень. Лиззи нашла у Ленушки под подушкой овальный камень. Похожий такой камешек, по форме почти как алмаз.

12

ОТ СУМЫ И ОТ ТЮРЬМЫ

(ЖЕНЬКА. СЕЙЧАС)

Зачем Олень отправил меня сюда? Зачем примчался провожать в аэропорт? Зачем приставил для сопровождения эту дизайнершу — других сиделок среди своей прислуги не нашел?

В другое время Лика эта, наверное, вызывала бы у меня нормальные эмоции. В тот день, когда, пробив мой потолок, она падала на руки Лешкиному охраннику, а следом за ней летели спрятанные в тайнике сокровища, она мне даже нравилась. Красивая. Темпераментная. Броская. Не заметить такую в толпе невозможно. Позднее, в первые дни после известия о гибели Никиты я не чувствовала ничего, и мне было совершенно все равно, кто рядом. А рядом была эта Лика, каждый день мелькающая у меня в доме, организовывающая какой-то бессмысленный ремонт. Зачем ремонтировать стены, когда в них некому жить.

Хотела ее выгнать, но даже на это у меня не было сил. А сама Лика уходить не собиралась. Ей дал задание Олень, вот она и перла как танк, не обращая внимания на то, что сминалось под гусеницами. Изо дня в день мелькая перед глазами и сливаясь с мукой и мраком, что поселились во мне, Лика сама становилась частью моего ада. И начинала раздражать.

Смуглая, ухоженная, все при ней — и привлекательные формы, и копна темных волос, и блеск в глазах. Прямая моя противоположность. Но противоположность эта крылась не в курчавости волос и не в объеме бюста, а в самой жизни. Жизнь бурлила в Лике, была ключом, то и дело выплескиваясь через край. Жизнь, которой во мне больше не было и быть не могло.

Олень примчался в аэропорт проводить нас. Смотрел как-то странно. Пробормотал, прощаясь: «До скорого!» — и сам себя поправил: «Если оно будет скорым!» И этот в фаталисту подался.

Лешка что-то говорил мне, потом обещал Лике, что его «дизайнеры» из-под земли достанут каких-то Кимку и Тимку и что Агата лично проследит, чтобы все хорошо было у Сашки и Пашки. Чук и Гек, да и только!

Лешка говорил, говорил, но глаза у него были совсем не такие, как два месяца назад, когда мы встретились после двадцатилетней разлуки. Тогда это был взгляд человека, которому под силу все или почти все. Сейчас же у Лешки были глаза еще уверенного в себе, но уже загнанного зверя. Или это я теперь смотрела на мир другими глазами, если я вообще могла теперь видеть хоть что-то в реальности, а не в том небытии, куда вслед за погибшим Никитой переместилась моя суть.

И теперь, стоило ступить на борт самолета, который должен был нас отвезти в Эмираты, я в тысячный раз попыталась представить себе, КАК это было в другом «Боинге».

Что произошло в тот день? Самолет взорвался, и Кит не успел понять, что умирает? Или «Боинг» падал со всех своих тысяч метров, успевая пропечатать в сознании каждого из двух

сотен погибающих весь ужас этого падения?

А я? Что делала в это время я? Бежала по Белому дому, спасаясь от серой кардинальши Лили, намеревавшейся превратить мою жизнь в ад? Ведомая дядей Женей, выходила из премьерской зоны? Как дурочка радовалась своему волшебному спасению как раз в тот миг, когда взрывался самолет Никиты?

В первый год после свадьбы мы вдруг случайно заговорили, как помирать станем — в один день или менее сказочно. Смешной такой разговор, когда тебе восемнадцать, а мужу тридцать один. Улюлюкали, а Кит вдруг серьезно сказал, что не хотел бы лежать в земле.

Лучше стать пеплом, рассеянным над морем.

Испугавшись серьезности его слов, я пролепетала, что к моменту, когда он помрет в глубокой старости, хоронить давно уже будет негде, и всех станут кремировать. По-дурацки хихикнув, спросила, разрешит ли он мне, старушке, не держать урночку на своем туалетном столике. Никита ернического тона не поддержал, отчего мне вдруг стало совсем жутко. Прижалась к его лицу, пальцами погладила висок, впервые заметив в волосах несколько седых нитей, нитей цвета пепла. И вздрогнула от промелькнувшей перед глазами картины: любимое тело превращается в пепел.

Вот он и стал пеплом. Как хотел.

Мысленно я просила, не знаю кого, хоть на мгновение впустите меня в его сознание, покажите, как видел он мир в последние минуты, что понял, о чем жалел...

Но ничего. Пустота.

* * *

В аэропорту нас встречал «Роллс-Ройс». Длинный, неповоротливый символ понта. Менеджер самого дорогого в мире отеля, в котором забронировала для нас номера все та же идеальная Агата, что-то бубнил по-английски и по-русски, что для них каждый гость это «Very important person», очень важная персона, что «Роллс-Ройс», вертолет — это в порядке вещей. Кроме менеджера под ногами вертелась и Беата, секретарша Оленева партнера Прингельмана, который уже второй месяц безвылазно сидел в не менее дорогом, но куда более аскетичном отеле в натуральной пустыне и никуда из этой пустыни выбираться не хотел.

— Прингель решил, что созерцание пустыни его устраивает больше, чем созерцание тюремной решетки, — хохотнул в аэропорту Олень, объясняя, что «в случае чего» его партнер всегда поможет.

Чем нам может помочь пустынный отшельник Прингельман, я не поняла. Только потом вспомнила, что летели мы якобы искать каких-то пропавших Ликиных мужей. Хотя идиоту было понятно, что эта глупая версия была выдумана только для того, чтобы хоть как-то выдернуть меня из четырех стен. Мой сын Димка с Аратой задерживались в Америке, улаживая какие-то сложности с оформлением завещания, а Олень стал всерьез опасаться за мое психическое здоровье. Вот и выдумали небылицу о пропавших мужьях Лики. Почему во множественном числе? Почему в Эмиратах? Хоть бы выдумывали правдоподобнее, а то шито белыми нитками.

Ладно, пусть разыгрывают операцию по спасению моей гибнущей души, если это позволит им чувствовать свою миссию выполненной. Мне что в собственных разрушенных

стенах, что в самом дорогом отеле мира, парусом выстроенном на специально намытом в море острове, все едино. Это Лика как заведенная крутит головой по сторонам, оценивая все увиденное.

— Каскады драгоценностей и немножко стройматериалов! Олень так сказал! Вот и не верь поговорке, что «не все то золото, что блестит!» Здесь полторы тонны золота на оформление ушло. Во всем нашем Эрмитаже девять килограммов, а здесь полторы тонны — почувствуйте разницу!

А блестело в этом «паруснике» все, что только могло блестеть. От золота плыло перед глазами. Здесь даже в еду вкладывали тончайшие лепестки золота, рассыпающиеся при малейшем прикосновении вилки.

Рассыпающиеся в прах — ассоциация пронеслась у меня в голове, и есть это накрытое золотом сооружение я уже не могла. В лифте, спускавшем нас из ресторана под крышей, тошнота подкатила к горлу, чуть не вырвалась на всю эту семизвездную роскошь. С трудом дотерпела до своего номера и склонилась над унитазом, больше похожим на золотой сосуд...

Лика лопотала. Удивлялась заверению менеджера, что из русских, кроме нас, в этом чудо-отеле-парусе живет президент одной из российских республик, который по два раза в год останавливается в королевском номере. Суточная стоимость королевского номера здесь равнялась парочке расходных статей бюджета его республички. «Хан!» — веселилась Лика, сообщая, что окна ее квартиры смотрят на особняк московского представительства этого «ханства» и по ночам там иногда можно увидеть такое...

Как дитя малое, Лика играла с кордлесс-панелью огромного, заточенного, разумеется, в золотую раму плазменного экрана, превращающегося то в телевизор, то в компьютерный монитор. Разглядывала обстановку двухэтажного номера, поминутно отпуская свои дизайнерские замечания насчет вульгарности всей этой запредельной роскоши. Как это ей, бедной, приходится наступать на горло собственному тонкому вкусу и потакать вкусам толстосумов с Рублевки, которым по карману нанять «саму Лику Ахвелиди» оформлять их дома. Фу ты, ну ты... Но уж она-то, Лика, умудряется все тайные комплексы клиентов за их же деньги на свет Божий вытащить и многократно умножить. Нашла чем хвалиться. Я, правда, тоже иной раз в парадных портретах жен и «не совсем жен» наших правителей иную «вторую половину» выставляла полной идиоткой в «Гуччи», но я хоть на весь свет не трубила об этом.

Девушка-ураган, навязанная мне в компаньонки, все никак на могла замолчать. Единственный свет в ее окошке, конечно, Олень. Он единственный смог понять и оценить тонкость великих дизайнерских задумок «самой Ахвелиди», оттого и живет не в помпезном доме, где весь идиотизм его третьей жены выставлен напоказ, а в специально стилизованном для него «гараже», который исключительно для его трепетной, не расставшейся с отрочеством души придумала эта Лика.

Не стала расстраивать дамочку и пояснять, что именно было ценно для Оленя в том гараже, под который стилизовала его новое жилище дизайнерша. Пусть приписывает заслуги себе. Мне все едино. Подумала только, что Лика в Оленя влюблена. Как кошка. Еще бы — олигарх, богатый, красивый, обаятельный, достаточно молодой. Женщины и должны влюбляться в таких. Женщины вообще должны влюбляться. Вот брызжущая жизнью Лика и влюбилась. Да так, что по просьбе Оленя возится со мной, как с навязанным ей недоразумением, отчего версия поиска ее мифических мужей становится еще более потешной. Правда, еще в аэропорту Лика отдала прингелевской Беате какое-то фото и

записку с именем-фамилией и просила немедленно отыскать здесь, в Эмиратах, некую Алину. На законный вопрос секретарши, кто разыскиваемая, ответила: «Вторая жена моего первого мужа». Цирк, да и только. Сама бы посмеялась, если б весело было. Но кишки мои прилипли к спине и отлипнуть не хотели.

* * *

Так я и сидела над золотым унитазом, пока не услышала сдавленный хрип, донесшийся с первого этажа нашего многоярусного номера. Плеснув на лицо холодной воды и на ходу утираясь, пошла в гостиную.

Спускаясь по витой, естественно, золотой лестнице, заметила Лику, которая, не отрывая взгляда от включившегося телевизора, медленно съезжала по стене. В кадре со значком CNN, надписью «Moscow» и означающей прямое включение надписью «Live» борзые ребята в масках с автоматами выводили из машины Оленя. С заломленными за спину руками. В наручниках.

(ЛИКА. СЕЙЧАС)

Во весь огромный плазменный экран, висящий на стене этой золотой клетки, руки в наручниках. И лицо Олигарха моей мечты.

CNN снова и снова крутило кадры ареста Оленя. Его машину слепят фарами — «Взяти Берлина» и только! Люди в камуфляжках, с криками «ФСБ! Оружие на пол!» выволакивают всех из машины. Раздвинуть ноги! Руки на капот! Так и с бандитами не обращаются, не то что с олигархами. Оленя в наручниках вводят в здание какого-то из подразделений Генпрокуратуры. Ведущая новостей рассказывает, что главе корпорации «АлОл» предъявлено обвинение по десяти статьям — уклонение от уплаты налогов юридических лиц, уклонение от уплаты налогов физических лиц, мошенничество в особо крупных размерах... Разве что кошек в подъездах не насиловал. Что происходит?

— Программа «Розыгрыш», что ли?

Я, как утопающий, хваталась за соломинку.

— Сама ты розыгрыш! — подала голос оторвавшаяся от своего унитаза Женя. — Это тебе не анекдот про Валдиса Пельша, пришедшего в камеру к Ходорковскому. Дура.

Это она мне.

— Не понимаешь, чем это Лешке грозит?

Я не понимала. Ничего не понимала, кроме того, что для этой затюханной воробьишки человек, без которого мне не хотелось жить, был Лешкой.

Еще я понимала, что жизнь моя сломалась. И сломалась она не в тот день, когда я, сбежав от мужей, без денег, без связей оказалась в столице. И не в ту ночь, когда свекровь сказала, что мужей моих похитили. Жизнь сломалась сейчас, когда я поняла, что у меня украли Олигарха моей мечты. Совсем не моего и совсем моего человека.

— Надеялась, им одного Ходорковского хватит! — заговорила Женя. — Но у нас любят мочить попарно — Гусинского с Березовским, а Ходорковского с Оленем, чтоб скучно не было.

Столько слов одновременно от этой замороженной курицы слышать мне еще не доводилось. В первый день знакомства, когда я свалилась на нее с потолка, она пришибленная была после наркотиков, которыми ее в каком-то странном плену накачивали. Потом пришибленность сменилась шоком, который засел в ней, мешая реагировать на все, происходящее вокруг. Сейчас курица заговорила. Может, шок выключился другим шоком, пусть менее сильным.

— Лешка-Лешка! Думал, он святее Папы Римского. Думал, это только Гусинских с Ходорковскими сажают, а он пролетит на белом коне над пропастью! Думал, настало время быть «другим русским», что он сделал это время. А время, ап, и его сделало...

Я не придумала ничего умнее, как спросить:

— За что?

— Это как в анекдоте про бьющего жену казака — знал бы за что, убил! — снизошла до ответа Женя. — За что? Умный, красивый, харизматичный. Уже этого достаточно, чтобы лютой ненавистью его ненавидеть. До ходящих желваков. До дрожи в руках.

— Кому достаточно?

— Серости. Неумной, некрасивой, нехаризматичной серости, с трудом пропихнувшейся на вершину. Олигарх кем должен быть? Страшилкой для народа! А этот вождь запросто мог стать. Бабам нравится. А у нас избиратели кто? Бабы. И голосуют они не сердцем, как за Ельцина, а совсем другими частями тела.

Вот и я, похоже, голосовала за Олигарха моей мечты совсем другими частями тела.

— Политика вообще весьма сексуальная забава, — ответила скорее на собственные мысли, чем на Женины слова, я. — Только у большинства тех, кто в нее играет, все силы уходят на этот виртуальный секс с властью. Реализовываться в нормальном сексе им уже не с руки.

— Откуда знаешь? — удивилась курица.

— Так... Паре-тройке государственных и прочих деятелей дома оформляла, а я в ту пору девушка свободная была...

— А сейчас не свободная? — не поняла моя подшефная.

— Сейчас...

Не стала объяснять, что все эти «оформления» были до знакомства с Оленем. Да и что я могла объяснить Жене, у которой с Олигархом моей мечты были отношения, о каких мне не приходилось и мечтать? Что при каждом звуке своего «Тореадора» я надеюсь, что это звонит он. Что, как впервые влюбившаяся школьница, плыву от одного звука его голоса. Что не могу видеть ни в одном другом мужчине мужчину...

* * *

Оторвала взгляд от экрана, на котором Олень в наручниках сменил очередной взрыв на Филиппинах, и глазам своим не поверила.

Женя, в которой я два месяца сряду видела лишь недоразумение в женском обличье, Женя, которая двадцать минут назад на фоне всей этой золоченой роскоши «Бульж аль Араба» выглядела затюханным воробьем, залетевшим в сад павлинов, эта самая Женя менялась на глазах.

Рядом со мной не было больше соломенной вдовы, добровольно закопавшей себя в могилу. Расправились плечи. Голова приподнялась. И взгляд. За несколько минут взгляд ее стал взглядом уверенной в себе женщины, знающей, что ей подвластно если не все, то многое. «Селгадун нег кена аслан хаплан гыдерна», — любит повторять моя старшая свекровь, — «в беде и кошка бесстрашным львом становится».

Мы поменялись ролями. Теперь Женя говорила, а я замерла, не сознавая, что же делать дальше.

— Власть, деньги. Это как любовь и ревность, — продолжала Женька. — Каждый из обладающих ревнует того, кто обладает или обладать только может.

— Может, его отпустят, — робко предположила я. — Гусинского же три дня подержали и отпустили.

— У Гусинского НТВ было. Федеральный телеканал в качестве разменной монеты.

— А у Оленя разменной монеты нет? — похоже, оформляя дома и кабинеты властителей, я научилась разбираться в политиках, но не в политике.

— Боюсь, нет. Лешка стартанул раньше времени. Решил, что можно играть по правилам, когда все вокруг играют без правил.

— И что же делать?

— Если противники играют без правил, остается только играть без правил и нам. Теперь наша очередь помогать Оленю.

Нет, с оценкой Жениной трансформации в нормального человека я поторопилась. Все-таки у этой мертвой курицы от собственного горя крыша поехала и доехала до мании величия. Не соображает, что говорит. Могут ли две беззащитные тетki играть в игру, в которой потерпел поражение сам Олень с его миллионами-миллиардами?! В другой, менее трагичной ситуации я бы рассмеялась — ты-то чем поможешь?! Но смеяться не хотелось. Да и у Женьки в глазах стал появляться какой-то диковатый огонь то ли мести, то ли решимости.

— Как помочь?!

— Первым делом надо поехать в «Аль Маху», проведать Прингельмана. Деловой партнер арестованного, на два месяца добровольно заточивший себя в пустыне, не может не знать, зачем он это делает.

За те несколько минут, что я сидела на полу, куда сползла при виде Оленя в наручниках, Женька успела переделать кучу дел. Позвонила в Москву: «На сколько акции „АлОла“ упали? Так резко? Ага! Ага! Поняла, что надо искать, кому выгодно». Потом звонила своему сыну в Америку. «Скажи Арате, что правило его дедушки я запомнила — если опасности не избежать, то надо стремиться в самую ее сердцевину. Хотя Олень уже достремился...»

Потом звонила Прингельмановой Беате: «Бог с ней, с рыжей не рыжей. Лика, они какую-то Алину нашли, но она не рыжая, ты слышишь?! Рыжую на потом! Сейчас срочно бронируйте билеты на Цюрих. Лик, ты полетишь со мной или рыжую будешь искать? И еще срочно машину, мы к вашему шефу сгоняем. Что значит, машины нет?! Как это у вас машины может не быть?! В аренду возьмите!»

Что значит — рабочий день закончился?! Милая моя, вы понимаете, что с вами будет завтра, если вы сегодня не найдете мне машину?!»

Опустила трубку.

— Похоже, что понимает. Прингельман, как страус, голову свою лысую в барханы гребаной пустыни зарыл и боится, чтобы песок ветром не сдуло.

Я смотрела на нее, плохо соображая. Женька потрянула меня за плечи.

— Лика! Ты хоть что-нибудь слышишь?!

Кого из нас послали кого пасти?

— Почему лысую? — только и нашла что спросить я.

— Не лысую, так кучерявую, седую, черную, один черт! Главное, что трусливую! Давай, собирайся скорее. Теперь нам особенно нужно до этого Прингельмана добраться, пока он из своего курорта миллиардеров не слинял. Лика-а-а! Ты со мной едешь или здесь рыжую Алину ищешь?

— С тобой!

Зачем мне рыжая, я уже не помнила.

Заколдованный круг продолжился. Не иначе как Прингельманова Беата подкупила менеджеров этого семизвездного чуда, чтобы нам транспорт не давали. В отеле, где еще час назад к нашим услугам был вертолет и «Роллс-Ройс», не говоря уже о БМВ, «Тойотах» и прочих мелких радостях жизни, теперь разом исчез весь автопарк. Испарился. Растаял в воздухе.

Наученная недавними приключениями с черной жемчужиной Женька реагировала куда быстрее, чем я.

— Притворяемся. Сейчас скажешь Беате, что страшно заинтересовалась своей рыжей и срочно хочешь встретиться. Тихо-мирно едем в город. И в центре у первой же вывески экскурсионного бюро или аренды автомобилей линияем.

Женька быстро побросала в маленький рюкзачок с симпатичным компасом на боку какие-то пожитки и потянула меня к лифту. При повторном аттракционе «падение в бездну вместе с лифтом» мою компаньонку уже не тошнило — вот что значит великая сила ответственности. Теперь уже я покорно шла за ней, как осел за морковкой.

Запнулась у выхода из отеля-паруса. Пока мы спускались на эскалаторе вдоль единственного незолотого украшения вестибюля — нереально огромных бассейнов с дивными рыбами — по противоположному эскалатору поднималась пестрая компания, в которой я различила знакомые лица. Хан, мой московский «сосед», с ним араб в белой хламиде, может, тот самый, которого я видела во дворе ханского представительства, а может, и другой, издали не поймешь, и какая-то жгучая брюнетка, отчего-то показавшаяся мне знакомой. Брюнетка уставилась на меня, как и я на нее. Так мы и пялились друг на друга, пока эскалаторы не развезли нас в разные стороны. Где я ее видела?

Путешествие на курорт миллиардеров выдалось еще то.

Офис аренды автомобилей мы найти не смогли и в центре города. Время близилось к вечеру, и здешние предприниматели уже закрывали свои конторы, намереваясь с кальянами засесть в ресторанчиках на набережной бухты. Единственное открытое экскурсионное бюро отправляло последний на сегодня автомобильный тур в сафари по пустыне.

— Незабываемое зрелище! Закат в пустыне! Деревня бедуинов! — при виде нас сотрудница турбюро безошибочно перешла на русский с хохляцким акцентом.

— Бедуины не нужны, — остановила ее словесный поток Женя. — Нам в «Аль Маху». Срочно!

Девушка из доблестной когорты украинских гимнасток или солисток ансамблей народного танца, подавшихся в арабские края в поисках лучшей жизни, поглядела с сомнением — что эти две растрепанные тетki забыли на курорте миллиардеров. Но весь вид гарной арабской дивчины говорил, что нажиться на умственной неполноценности клиенток и впарить им, то есть нам, два места в сафари-туре, на проценты от которого она живет, она вполне готова.

— «Аль Маха»? Проще простого! Покупаете тур на сафари! И пока все будут

наслаждаться ужином в бедуинской деревне, приплатите водителю, он вас мигом в «Аль Маху» довезет.

— Так уж мигом?

— Мигом-мигом! Добрым словом вспомните Наташу из Запорожья! — заверила нас землячка по некогда единому Союзу.

* * *

Наташу мы вспомнили. Стоило каравану из джипов, спустив лишние атмосферы в своих колесах, съехать с дороги на песок, как мы вспомнили и Наташу, и мать ее, и нашу мать, и всех, всех, всех!

Ой, мамочки! Ой! Я же не трусиха. С Сашкой и Пашкой еще не на таких аттракционах в парке Горького вертелась и не визжала! Ой-ей! Это что? Неужели и наш джип кувыркается так же, как идущий впереди близнец, который виден мне из окна?! Разве что на голову не становится, но всеми боками подметает эту пустыню? Это и мы так же ужасающе то почти вертикально взмываем на гору из осыпающегося песка, грозящего погрести под собой машину с пассажирами, то боком падаем в пропасть, то скользим по наклонной плоскости? Лучше б я этого не видела. Оказывается, видеть, как падаешь, страшнее, чем падать!

Ой-ей! Еще и этот водитель-индус передразнивает мое «ой-ой-ой!», потешается. У него каждый день по два таких сафари. Говорит, что сегодня еще хуже, чем всегда. Песок слишком сухой. И ветер. Ой, ужас! Ой! ОЙ!

Я готова вцепиться в Женькину руку, но она сама, съехав на пол, уже снова, как в лифте, корчится в желудочных спазмах.

— Психолог, четвертьшвед этот, мать его четвертьшведскую, накачал меня в своей клинике какой-то гадостью, третий месяц в себя прийти не могу, — смутившись, поясняет моя напарница и, с трудом разгибаясь, занимает место рядом с оставленным на сиденье рюкзаком.

Немудрено. При тех шоках и стрессах, что выпали на Женькину долю за это лето, не то что тошнить будет, все кишки наружу вывернет. Как она еще держится?

Кажется, я впервые смотрю на Женьку без той неприязни, что отличала наши отношения с тех пор, как я уловила особую симпатию Оленя к этой женщине-недоразумению. Впрочем, возможно, неприязнь отличала лишь мое отношение к Жене. У нее самой до сегодняшнего дня никаких отношений с миром не наблюдалось. И первой в ней проснулась одержимость.

«Тореадор, смелее в бой!» — как всегда кстати верещит мобильник.

— Развлекаешься там! — инспектирует меня свекровь.

— В пропасть падаю! — честно отвечаю я, чем вряд ли удовлетворю Карину.

— Хуже не будет, — случая сказать мне гадость свекровь не упустит. Вдобавок радуется: — Нас всех эвакуировали. Даже фартук снять не дали. Угроза взрыва дома. Ментов в округе больше, чем жильцов. Одноклассничек твой расхаживает, не слушает никого. Шуми бала [\[14\]](#)!

— Михаська?

— Он самый. Говорю ментам, что старого больного человека нельзя держать на улице...

— Это ты про себя или про Иду? — не удержавшись, язвлю я, но Каринэ то ли не

слышит, то ли делает вид, что не слышит.

— ...а они заладили — «угроза взрыва дома» да «чеченский след». Всю ночь нам, что ли, здесь стоять!

— Кора, ты машину поймай и поезжайте с Идой к моим родителям на дачу. Я позвоню им, чтобы вас встретили. Переночуете за городом, а к утру теракт и рассосется.

— Я тебе что, Ротшильд по ночам на такси за город ездить! У меня зарплата, между прочим, университетская, значит, нищая. Пять тысяч, и рублей, а не долларов. Не твои шальные деньги.

«Шальные деньги» пропускаю мимо ушей. То-то от денежной шалости у молодой женщины вместо маникюра руки постоянно в краске, и пропахла я насквозь не «Шанелью», а растворителями, и головная боль от запаха стройки как профессиональное заболевание в придачу.

— Ты к Михасику подойди, привет от меня передай, он вас с Идой на ментовской машине отправит, — предлагаю я, но уже подозреваю, что придется мне и Михасику из пустыни звонить, о любимых экс-свекровях заботиться, самим два шага сделать трудно.

— То-то Михасик обрадуется! Его менты вчера из Зинкиной кухни недопитую флягу с твоим вином забрали. — Слово «твоим» выделяется всеми доступными средствами голосовой выразительности.

— Вино «наше» чем им не угодило? — Я в ответ давлю на слово «наше». Со свекровью расслабляться нельзя, на войне как на войне. Вино без меня принесли, на столике в кухне битый час стояло. Мало ли чего эти две гарпии подсыпать туда могли, чтобы меня угостить.

— Не иначе как дружок твой под статью подвести тебя хочет, что траванула ты соседку.

Каринэ меня окончательно разозлила. Уж хотя бы излагала одни факты, умозаключения оставляя при себе. Так нет же, все должны знать ее драгоценное мнение! Хотя чего это я так завелась? Ей сейчас там тоже несладко. Подняли ее среди ночи, выгнали на улицу с больной старухой. От такого стресса не то что моя свекровь, любой ангел как бес заворчит.

Караван джипов замирает на какой-то вершине, чтобы туристы полюбовались закатом. Женька с трудом выползает из машины, почти падает в песок.

— Что, совсем плохо? — протягиваю ей бутылочку с водой.

— Жить будем, — через силу улыбается Женя и вдруг добавляет: — Вот это закатаще! Жаль, камеры со мной нет.

Ожила подруга. Сама цвета этого закатного песка, но уже про фотоаппарат свой вспомнила. И то дело. Олень благодарен мне будет, что Женька его ненаглядная в себя пришла. Если, конечно, сам Олень в себя прийти сможет.

* * *

Индус-водитель, который всю дорогу жаловался на сухой песок, оценив протянутые ему баксы, согласился, пока прочие нормальные туристы будут отходить от такого сафари в псевдобедуинской деревне, отвезти нас почти до «Аль Махи».

— Почему «почти»?

— Нэчирал ризёрт. Дикая природа, поэтому так дорого стоит, — на своем индийском английском пояснял водитель. — Работающий на бензиновых двигателях транспорт не может подъехать к отелю ближе, чем на два километра.

— А два километра как, пешедралом?

— Гостей электромобили встречают. Можно верхом.

— Нас, боюсь, встречать не будут, — пробормотала Женька.

Разумеется, встречать нас никто не собирался, но и машины на границе бензинового и небензинового транспорта, на наше счастье, не перевелись. Или это Беата недооценила нашу прыть и, перекрыв автомобильные пути из города, перекрывать ближние подступы к своему шефу не стала.

— Только не говори, что мы к Прингельману! — скомандовала Женька. — Не то он прикажет гнать нас в шею, чтобы соль на рану не сыпали.

— Тогда уж песок на рану, — сказала я, вытряхивая кучи песка из своих не рассчитанных на пустыню панталет.

— Трясем кэшем и карточками, говорим, что погостить надумали, — командует Женька.

— У нас денег хоть на сутки в этом пустынном раю хватит?

— Неважно. Главное, до рая доехать.

Вежливые бои в колониальных нарядах цвета кофе с молоком (сравнивать цвет униформы с тянущимся во все стороны до горизонта песком уже расхотелось) галантно усадили нас в электрокар:

— Добро пожаловать в скрытый в этих песочных джунглях один из самых дорогих отелей мира.

— Не понимаю, кто такие бешеные деньги будет платить, чтобы сидеть и смотреть на пустыню, — удивляюсь я.

— Самые богатые и будут. Кому уже и золото, и светское общество поперек горла, — отвечает Женька. — На тусовочных vip-курортах плебс, который недавно дорвался до денег и которому главное — себя показать. А реально богатые люди за гораздо большие деньги в дикую пустыню или глухой лес стремятся. Чтобы избушка на курьих ножках, но со всеми приметами цивилизации и за порогом глухомань.

— Чего проще. У нас глухомани этой навалом, можем бизнес наладить. Присмотрим здесь богатеев повыразительнее, развалюху моей бабушки на хуторе в глухой степи разрекламируем, и индивидуальные туры наладим. All included, но ежели в навозе увязнуть желаете, это за отдельную плату!

— Хорошая идея. Оленя вытащим, пусть он нефть с газом бросает — слишком дорого они обходятся — и займемся экспортом навоза.

Дороговизна «Аль Махи» была рознью дороговизне «Бульж аль Араба». Никакого золота. Все супер-пупер простое. Но настоящее. В каждой вещи дух. Каждая кружка-подушка антикварная, идеально подобранная. Вот где моему дизайнерскому сознанию раздолье! Ни китча, ни бьющего по глазам богатства. Лишь та дорогая простота, которую вычислит только очень опытный взгляд. Простота богатства, не нуждающегося в саморекламе.

Оглядела собственное пропесоченное отражение в старинном зеркале и уселась на ковер-дастархан. «Из дворца персидского шаха Надира! Восемнадцатый век!» — с гордостью отрапортовала администраторша-болгарка, которую здесь держали специально для работы с толстосумами из России.

— Значит так, ты своими дизайнерскими байками отвлекаешь болгарку, я в компьютере проверяю, в каком коттедже окопался Прингель, — скомандовала Женька и через три минуты, в разгар моих разговоров о натуральности и подлинности всего здесь увиденного,

махнула рукой — уходим!

— А ваши вещи? — заученно улыбаясь, поинтересовалась болгарка.

— Завтра привезут. Мы так внезапно надумали у вас погостить, что все вещи забыли в «Бульж аль Арабе», — почти не соврала я.

Название отеля-паруса впечатление произвело, но все же болгарка стала пятиться к телефону, намереваясь проверить, числимся ли мы в семизвездном чуде отельного бизнеса. Пусть проверяет. Мы пока проверим Оленева партнера — отчего это он в пустыню прежде времени бежать надумал?!

* * *

— Ну а вы-то чего в пустыне окопались?

Женька напирала на олигарха, рангом чуть пониже Оленева, а я разглядывала оказавшегося действительно лысым коротышку. И думала, что олигархи олигархам рознь.

При виде партнера Оленя моему старательно растоптанному себялюбию стало чуток легче. Фух, не такая уж я расчетливая стерва, не в каждого олигарха влюбляться готова. В олигарха — да, но не в каждого! В этого Прингель-Шпингеля — упаси Бог! Мама, роди меня обратно — себя с таким в постели представить, даже за все его миллиарды. Оленю и миллиарды были к лицу. Этому — как козе баян. Хотя сам он про себя так не думает. Длинноногая газель увивается рядом и тоже так не считает. По-другому считает. И все больше в у.е. Э-э, а чего это я про Оленевы миллиарды в прошедшем времени? Типун мне на язык, вернее, пока только на мысли.

— Что ж вы не бунтуете?! Все голову в песок, и не видно вас, не слышно. Ни партнеров, ни союзов ваших, на фиг, предпринимательских, ни профсоюзов олигаршских! — напирала Женька.

— Так ведь страшно!

И без того некрупный Прингельман весь как-то еще усох. Только это и смог выговорить. Больше мы с Женькой ничего из него выжать не могли. Зря только героически преодолевали пустыню.

— Большой бизнес большой страны! — в Женькиных устах это прозвучало почти ругательством. Тем более что при виде Прингеля в величине бизнеса большой страны возникали глубокие сомнения. — Сломают же вас всех поодиночке, как веник в притче. Вам бы только решиться доказать, что с вами так нельзя, и завтра половина промышленности станет, еще через месяц оставшийся без зарплаты народ на улицы выйдет!

— Революционерка! — тихонечко усмехнулся Прингельман. Как он большим бизнесом с такой кротостью в голосе руководит? — Сегодня ты воззвания подпишешь, завтра тебе трубу перекроют. Нефть у всех разная, но течет по одной государевой трубе. Задвижку перекроют, и всему твоему отлично выстроенному и грамотно структурированному бизнесу — п...ц. Или, что еще хуже, скелет твой из шкафа достанут.

Оглядела фигуру Прингеля. Он коротышка, конечно, но до скелета еще не усох.

— У нас же у каждого свой скелет в шкафу. Без скелетов только тот, кто последние пятнадцать лет ничего не делал. Но на все прошлые прегрешения сквозь пальцы смотрят, пока ходишь строем, а высунешься против командира, и приговорят к жизни по уставу.

— К чему — к чему? — не поняла я.

— К жизни по уставу. Развлекаловка в армии такая была. Что так смотрите, девочки? — От этого «девочки» я чуть не упала! — Не верите, что еврей — и в армии служил. Служил-служил, в старые еще времена. Хотя времена, они всегда едины. Высунулся против командира, и меня к жизни по уставу приговорили. С виду никакой дедовщины, никаких издевательств. Старший по званию требует всего лишь точного соблюдения устава. Абсолютно точного. Буквального. Каждые десять минут проверяет, на расстоянии скольких пальцев у меня головной убор от бровей. Каждые пять минут затянутость ремня, количество складок на гимнастерке и все, что там еще в уставе прописано. Только для всех прописано «в общем», а для особо умных «в частности». Как в солдатском анекдоте про «люминий» и «чугуний». После недели такой жизни по уставу и сплошных нарядов вне очереди я попал в госпиталь, хорошо еще в дурдом не угодил. И с тех пор против старших по званию не лезу. Нигде и никогда. И Лешке не советовал. А он вылез. Вот и получил по уставу. Хоть и самый чистый из нас был...

Вот и этот Прингель об Олене в прошедшем времени.

— Кто? — спросила Женька.

— Что «кто»? — вопросом на вопрос ответил Прингель, но и сам до сути вопроса допер. — А то сама не знаешь!

Жест, уходящий в небеса.

— Так высоко?

— И еще выше. Насколько голову хватит задрать.

— ?

— Понятно. А распасовка чья?

— Пас кто-то должен был туда... — Женька повторяет жест в сторону небес, — ... послать. На блюдечке неугодного Оленя со всеми его прегрешениями поднести, в невыгодном свете представить, так, чтоб одно Лешкино имя идиосинкразию вызывало.

Олигаршик развел руками.

— Ищи, кому выгодно...

— Я и спрашиваю, чей пас? Кому выгодно? Прингель молчал. Упорно. Как партизан. Гвозди бы делать из этих олигархов!

— И что дальше? — Женька спросила о будущем Оленя, но коротышка отвечал о своем, о корпоративном.

— Все окэшатся и сидеть будут тише воды, ниже травы. А то и драпать начнут.

— А сейчас вы что делаете? Не драпаете? — не удержалась я.

— Пока мы планоно отдыхаем. Кто на яхтах, а кто и в песках, — объяснил олигаршик и, обиженно надув щеки, уставился в телевизор, где на фоне его собственного изображения корреспондент сообщала, что уголовное дело против господина Прингельмана закрыто «в связи с изменившимися обстоятельствами».

— Какие это такие обстоятельства изменились у вас по сравнению с Оленем? — не поняла я, но прежде Прингеля мне успела ответить из телевизора корреспондентка, закончившая фразу: «...учитывая, что господин Прингельман добровольно заплатил все ранее недоплаченные налоги, что он больше не работает в „АлОле“ и не представляет общественной опасности».

— Оказывается, главное преступление отныне — это работа в «АлОле». Других преступлений в нашем благополучном отечестве нет. — Женька махнула на Прингеля рукой и потянулась к своему рюкзаку с компасом. — Ладно, сюда нас пускать не хотели, отсюда

нас хотя бы вывезут?

— Зачем же вам уезжать, девочки! Отдохнете, сил наберетесь. Я ваши номера оплачу! — захлебнулся собственной щедростью Прингель. — Леша говорил, у вас какие-то проблемы, ищите чьих-то прошлых мужей.

— Сейчас не до прошлых мужей! Сейчас будущих выручать надо! — не подумав, ляпнула я, но Женька, кажется, глянула на меня одобрительно. Не поняла, о чем это я.

* * *

Теперь нас не хотели отсюда отпускать. Свободные номера — не золотые, но сплошь антикварные коттеджи — для нас нашлись, а вот машин — ни-ни. И у второго за сегодняшний день «лучшего отеля мира» начались экстренные проблемы с автотранспортом.

— Мы с тобой в дуэте загадочным образом влияем на работоспособность легкового и всех прочих видов транспорта? Может, бизнес наладить? Пусть нас за большие деньги нанимает тот, кто хочет конкурентам бизнес порушить. У конкурентов все на мази, а мы тут как тут, опаньки! — пыталась шутить я.

Женька молчала. Потом снова куда-то звонила, говорила с каким-то «дядей Женей»: «Под подписку и не мечтаем... Сколько в камере человек? И все на подбор, как сокамерники у Гусинского, „один фальшивомонетчик, другой тоже интеллигентный человек“? А генпрокурор что? Молчит? Опять вне зоны действия сети?»

Я тем временем только отвечала своему «Тореадору», мысленно ругая себя, что Женька по делу говорит, а мне то свекровь позвонит, то детки. Чучундру без банта нашли в дальнем углу соседского участка.

— Мама, давай собаку заведем и на Чучундру ее натренируем. Пусть по нюху выискивает, — вопил Сашка, — а то я ищу, а Пашка загорает! Прислуг я ему, что ли!

— У слова «прислуга» нет мужского рода, — ответила я. Старший сын искренне удивился:

— Почему?! Действительно, почему?

— Наверное, мужики всегда норовят женщин в качестве прислуги использовать.

Но объяснения мои до Сашки не дошли. Пашка уже вырвал трубку и кричал, что Сашка террорист:

— Мы в Винни Пуха играли. Я был Иа, а он Кристофером Робинем. Залез на меня и целый час не слезал! Но ведь Иа же был другом Кристофера Робина! А разве на друзьях ездят?

Пришлось ответить, что иногда ездят и на друзьях. Увы.

— Пока, мам!

— Пока! Мама, я не могу без тебя жить немножко! Конец связи.

* * *

— Лучший курорт мира! Машину дать не могут!

— Похоже, нас выпускать не хотят.

— То впускать не хотели, теперь выпускать. Как в страшной сказке. Берендеева

пустыня.

— Придется выбираться собственными силами.

— Как выбираться? Джип с индусом давно уехал. Да и до остановки нормального транспорта километра два по песку. Без электрокара не добраться. А кар нам с тобой больше не дадут, вышли мы из доверия.

— На верблюде.

— Что?!

— Изъявляем желание срочно кататься на верблюдах. Пусть попробуют не предоставить животное. За те деньги, которые в этой пустыне стоит ночь, караван верблюдов подать обязаны, и не простых, а золотых. На верблюде доберемся до автомобильной стоянки, там видно будет.

Верблюда нам все-таки дали. Спросили, нужен ли погонщик, наглядно указав на вполне сексапильного молодца. Но от погонщика, чьей задачей было водить верблюда вокруг этого чудо-курорта, пришлось отказаться.

Сидеть на этом корабле пустыни оказалось совершенно невозможно. При каждом верблюжьей шаге седло врезалось в ту часть тела, которой мы с этим седлом соприкасались. И врезалось не мягко, а таким основательным тычком, так, что на втором десятке шагов все внутри заныло-заболело. Полное ощущение, что твое тело на позвоночник, как на кол, насаживают. А мне еще нравилось, когда Тимка в той старой жизни называл меня Верблюжонком. Покаталась бы тогда на настоящем верблюде, поняла бы, что это не ласковое прозвище, а чистое бессознательное по Фрейду.

— Ой, мамочки! Как раньше на верблюдах месяцами через пустыню шли?! Больно же! — причитала я.

— Терпи!

— До стоянки два километра. Столько я подобной экзекуции не выдержу. Лучше уж бегом.

— Бегом можно, только скрывшись у охранников из виду. Не то поймают, и будем сидеть зарытые в песок. И никакого Оленя не спасем.

Последний аргумент был железным. Ради Оленя я могла терпеть все. Или почти все.

— Ладно уж, до горизонта в целях конспирации дотерплю.

Минут через пятнадцать медленных попыток — этот полутораэтажный ходячий агрегат нес чувство собственного достоинства весьма медленно — стилизованные бедуинские коттеджи «Аль Махи» растворились в стремительно опустившемся на пустыню вечере, и желанная стоянка нормальных автомобилей с бензиновыми двигателями замаячила в плохо освещенной дали.

— Эй, тпру-у! Чудовище! Ты нас слышишь! Тпру, тебе говорят. Вот гад, тормозить не хочет.

— Знать бы, где у него тормоз. Ну и влипли! Говорила тебе, надо было идти пешком, вечерний моцион изображать. Верблюдище, тормози! Не хочет. Тебе говорят, тормози!

От злости на замучивший меня аттракцион я шарахнула животное ногами по бокам. Чего делать явно не стоило. Верблюд злобно оглянулся и пустился вскачь или как там это у верблюдов называется. С полутораэжальной верблюжьей высоты скачки эти выглядели жутковато. Мы с Женькой вжались, вцепились в повывавшее не один миллионерский зад седло и онемели.

Гип-гоп! Ноги верблюда проваливаются в песок, извлекаются из песка и снова несут

нас куда-то в стремительно темнеющую даль. Гип-гоп, почище сафари.

— Женька, ты жива? — кричу я сидящей сзади меня напарнице. Если мне сейчас плохо, то каково ей после всех ее прежних четвертьшведовых накачек и тошнот.

Гип-гоп! Вон уже и стоянка автомобилей нарисовалась, а верблюд несется, не разбирая дороги. И еще грозно оглядывается на двух идиотов, примостившихся на его спине. Того и гляди, плюнет, и будем мы как Крамаров в «Джентльменах удачи».

— Прыгать надо!

— Что-о-о?

— Прыгать надо. Падать! — еще громче кричит Женька. — Дальше хуже! Он же скорость набирает. Остановить мы его не сможем, лучше падать сейчас.

— Разобьемся!

— У тебя есть другие предложения?

Других предложений у меня нет, но вид земли, точнее песка, пляшущего где-то далеко внизу, под ногами вьючного гада, пугает.

— Не смотри вниз! Ногу перекидывай, давай поддержку, и падай! Падай! — кричит Женька.

И я падаю. Мордой в песок, оказавшийся далеко не таким мягким, как можно было подумать. Песок в носу, песок в ушах, песок во рту! Какого черта нас понесло в эту випустыню? Здешняя обслуга решит, что мы охотницы за экстримом. Да уж, охотницы! Где там вторая охотница?

Выбравшись из современной песчаной инсталляции с оттиском собственного лица, пытаюсь различить в черноте пустынной ночи контуры верблюда. Похоже, этот корабль пустыни уже бороздит свои просторы в одиночестве. Значит, Женька свалилась где-то рядом.

Так и есть. Подруга — надо ж, суток не прошло, а я мысленно уже назвала ее подругой! — лежит метрах в двухстах от меня, устремив какой-то неживой взгляд в небо. Не сломала бы себе чего-нибудь! Нет, слава богу, шевелится!

— Говорят, душа уходит в пятки. У меня в пятки ушел живот, значит ли это, что душа у меня в животе? — отряхивается Женька. — Третий раз за день внутри что-то перевернулось и на место становится не хочет. Так и вращается. Где мой рюкзачок?

Женька пытается приподняться и пошарить в песке поблизости. На ее счастье, она упала не лицом, как я, а затылком, накушаться песка не успела.

— Может, фиг с ним, с рюкзаком, — говорю я, отплевываясь. — Завтра синяк во всю морду будет. Паспортный контроль не пройду, пограничники не признают.

— Синяк закрасим, а рюкзак надо искать. Рюкзачок Арата подарил, как чуял, что понадобится.

— Зачем в пустыне может понадобиться твой рюкзак?

— А ты умеешь определять дорогу по звездам? — с заметной долей язвительности интересуется Женька, но я, вместо того чтобы обидеться, радуюсь — раз язвит, значит, жива!

— Дорогу по звездам не умею. В школе астрономию прогуливала. В «Луна-парке» на колесе обозрения делала вид, что учу, чтобы совесть была чиста. Единственное помню, что скопления бывают газопылевые. На этом мои звездные познания заканчиваются. А звезды здесь красивые. Ух, какие звезды! Не то что в городе! И на Рублевке, где я дома делаю, таких звезд нет.

— Вот любованиe звездами до Рублевки и оставь, — советует Женька. — Рюкзак нужен потому, что в него на наше счастье вмонтирован компас. Я когда во время сафари на полу в джипе сидела, заметила, что при всех зигзагах и выкрутасах мы держим путь строго на юго-запад. Значит, теперь нам надо на северо-восток.

На стоянке, до которой мы все же добрались, выстроилась батарея джипов. И эти сволочи на ресепшне еще нам ввали, что с машинами у них проблема. Не учли наше вдруг открывшееся умение управлять верблюдами.

Охранники стоянки слушали трансляцию вечернего намаза. Как порядочные верующие мусульмане слушали на коленях, склонив до земли головы.

— Молятся, — сделала вывод Женька. — Очень хорошо! Пока молятся, нас не заметят.

— А если там не все мусульмане? — предположила я.

— Представителей других конфессий тебе придется взять на себя, пока я машину угонять буду.

— Ага. Ты примерно представляешь, сколько лет заключения в этой стране полагается за угон джипа, помноженный на совращение охранников? — спросила я.

— А за угон верблюда, ни на что не помноженный? — вопросом на вопрос ответила Женька. — У тебя есть другие предложения? Тогда действуй!

На пороге элегантной сторожки и вправду появился непричастный к намазу охранник в индуистской чалме. Я и пошла индуса неземной красотой сражать. Достала из чудом не потерянной в песке сумки крем для загара. Протянула охраннику, жестом указывая на плечо и бедро — болит, давай, подсоби, парень, помажь! И кофту снимаю, будто чтобы ему удобнее было мазать.

Индус тарашится, но плечо мне трет, а я показываю, давай, друг, ниже натирай! Замечаю пристегнутый у него на ремне радиоприемничек. О'кей, френд, послушаем музычку! Врубаю приемник на полную мощность, чтобы звук заводящегося мотора не сразу слышен был.

— Ты, индус, мажь, мажь старательнее! — Для наглядности еще и бедрами шевелю — не Элька, конечно, с ее сокровищами Ла Гулю, но все же не Женька с ее мальчишеской фигурой, кое-что в моем арсенале еще имеется. — Мажь, дорогой, мажь, ты уже весь на взводе. Хорошо, очень хорошо. Так! Сейчас мы тебе поможем! Вот так, так, так. Еще ближе, еще. Сейчас спустим курок и...

И, как на уроке физкультуры учили в школе, старт с резким ускорением. Эх, пятерку на том уроке я так и не получила, но теперь лишь бы не двойка! Лишь бы обалдевший индус не сразу штаны натянуть успел!

Женька уже вырывает на накатанную дорогу, и я, оставив кончающего охранника с моим кремом в руке, на ходу впрыгиваю в этот вездеход.

— Как ты его завести сумела?

— Эти дикие люди ключи из замков зажигания не вынимают. Святая простота. Рюкзак возьми и компас на северо-восток держи! — командует Женька.

— А по дороге ездить не пробовали? — вежливо интересуюсь я, пытаюсь разглядеть за лобовым стеклом хоть какую-то дорогу. Куда нас несет?!

— По дороге нельзя. Мы не знаем, куда эта дорога ведет, а нам исключительно на северо-восток надо. Так что придется сафари повторять, причем в темноте. Знать бы еще, где у него фары включаются!

— Ты случайно, пока джип воровала, не обратила внимания, у него шины спущены или

для нормальной дороги накачаны? Когда на сафари ехали, весь выводок джипов на краю пустыни останавливался, атмосферы из колес выпускал, прежде чем в песок съехать.

— Извини, дорогая, времени на спуск шин не было, ты и так уже этого индуса довела до края.

— На накачанных шинах нас подбрасывать будет, как на батуте.

— После гонок на верблюде это уже мелочи.

Маленькая Женька за рулем одиннадцатиместного гиганта выглядит, как школьница у штурвала атомного ледокола.

— Жень, я тебя давно хотела спросить, как художник художника: ты джипами управлять умеешь?

— В июне, до того как Никита разби... В общем, два дня в начале лета ездила на «Фольксвагене-Магеллане», что Олень подарил.

— Ничего себе подарочек, за сто пятьдесят штук зеленых! — опешила я. Если Олень такие подарки ей дарит, то все гораздо серьезнее, чем я думала.

— За сколько?! — Женька от удивления едва не выпускает руль здешней «Тойоты».

— Ты баранку-то не отпускай. Сто пятьдесят тыщ у.е. цена твоей машинки.

— Блин! А я, темная, думала, штук пятнадцать. И то угрызения совести мучили, принимать ли такой дорогой подарок. Сто пятьдесят! У Оленя крыша реально поехала! Компас по стрелке держи!

— Я держу, держу! Но тебе не кажется, что мы уже в сплошные барханы заехали?

— Кажется. А что делать? Нам на северо-восток надо, город на северо-востоке, и больше нигде. Нам в город надо, быстрее на самолет — и в Цюрих! А еще бы успеть хоть что-то про твою рыжую узнать, — Женька каким-то чудом вспоминает про теоретически разыскиваемую мною вторую жену моего первого мужа, рыжую Алину, о которой я сама в зигзагах этого дня совсем забыла.

— Зачем нам Цюрих? — интересуюсь я.

— Миллиардершами становиться будем. Без больших денег Оленю не помочь. Тех, кто его туда засунул, надо схватить за причинное место, зажать это место в тисках и держать, пока Оленя не выпустят. А вычислить их и их уязвимые места без денег не получится. У тебя несколько лишних миллионов имеется?

В темноте Женьку не видно, а по тону я уже не понимаю, ерничает она или это последствия падения с верблюда сказываться стали.

— Значит, миллионов у тебя с собою нет. Тогда только в Цюрих! Моральные дилеммы и личные трагедии временно придется отложить. Компас! Компас по стрелке держи, мать твою! — До сегодняшнего вечера я и не представляла, что вчерашняя мороженая курица умеет ругаться.

— Не иначе как в свободное от работы время «Гонками на выживание» развлекаешься. Водила-экстремал!

— Остричь будешь, сама за руль сядешь!

— Нет уж, я лучше за компасом послежу! Левее! Еще левее!

— Куда левее?! Там же гора песка, я и так в темноте ничего не разбираю. Ты в кнопки на приборной доске потычь, может, какая из них фары и врубит.

Пока я тычу во все кнопки на панели и, мешая Женьке, пытаюсь вдавливать расположенные прямо на баранке пазики, крошечную темень оглашает звук моего чудом не потерянного «Гореадора».

Свекровь. Как всегда кстати!

— Нашла! — Каринэ, как обычно, не удосуживается вдаваться в пояснения. Все вокруг были сами обязаны следить за ходом ее мыслей.

— Что наша? Вы с Идой до родителей моих доехали?

— Приютить нас, кроме твоих родителей, можно подумать, некому! Слава богу, всю жизнь в этом городе живем, соседей много! Сидим у Атанянов на Нольной. Второй факс, который твоя Элька привезла уже после того, как Кимушка ушел, в кармане фартука наша.

— Читай, раз наша, или ты звонишь, чтобы просто поставить меня в известность?

— «Удалось точнее перевести последний абзац, — издалека бормочет свекровь. — Скорее всего, он читается так: „В нижнем углу стены замазываю и желтый топаз твоего названного деда Лазаря Лазаряна, пусть и он служит наследством тебе. Да спасет тебя пророк наш Магомет от человека со змеей, обвинившейся вокруг пальца. Это родовой знак твоих врагов, передаваемый ими от отца к сыну“.

— Человека со змеей на пальце нам только и не хватало. Хорошо, Каринэ, хорошо! Левее! Левее, а то е...ся! Это я не тебе, Каринэ, не тебе! Левее!!! Развлекаюсь, конечно же развлекаюсь, вместо того чтобы мальчиков твоих искать! Левее же, говорю! Вот он, свет! Свет! Включился! Обрыв!!! Женька, там дюна! Обры...

ЗАГАДКА «ВИЛЛЫ АБАМЕЛЕК»

(СЕМЕН АБАМЕЛЕК-ЛАЗАРЕВ. РИМ. 1911 ГОД)

— ...От дурной болезни в Петербурге Хозрев-Мирзу так и не вылечили. Но это оказалось не главным огорчением в жизни шахского внука. Лет через шесть после возвращения миссии в борьбе за трон ему выкололи глаза...

— Прав оказался этот ваш Сухтелен, угробили мальчика!

— Угробили. Так и прожил он остаток дней своих слепым, вспоминая московские да питерские утехы.

— А вы говорите, нравы иные. Нравы ни от века, ни от общества не зависят. Поверьте человеку, на свете пожившему. Все едино...

* * *

В парадной обеденной зале своей виллы в центре Рима пятидесятитрехлетний князь Семен Семенович Абамелек-Лазарев рассказывал гостям историю, в которой его деды, прадеды и прапрадеды сыграли далеко не последнюю роль.

Купленная четыре года назад вилла была построена за Яникульским холмом, вдоль древней Аврелианской дороги еще в 1730-е годы и прежде именовалась то «Виллой Тори», то «Виллой Феррони». Теперь же князю доставляло особое удовольствие, направляя приглашения на обеды, ужины, званые вечера и театральные представления, указывать «Villa Abamelek». Отреставрированная Винченцо Моральди, лучшим из всех работающих нынче в Италии архитекторов, вилла сохранила манящие тайны прежних эпох и, украсившись затейливыми вензелями фамильной монограммы Абамелек-Лазарева, приобрела тот шик и шарм, который отличал все, к чему имела отношение эта семья, составившаяся из трех богатейших родов России.

Единственный наследник двух родов: Абамелеков и Лазаревых, женившись четырнадцать лет назад на дочери крупнейшего заводчика и фабриканта Павла Павловича Демидова Марии, Семен Семенович не только продолжил слияние крупнейших российских фамилий и состояний, но и стал одной из самых загадочных фигур новой Европы. Европейские пересуды то и дело крутились вокруг имени Абамелека-Лазарева, лучшие представители высшего общества считали честью быть приглашенными в римский или петербургские дворцы князя, а стремительно богатеющие нувориши Старого и Нового Света то и дело являлись с разного рода проектами, сулящими невиданные прибыли, разумеется, после первоначального вложения значительных средств самим князем.

Но помимо затмевающих сознание прибылей, помимо поражающих воображение платиновых рудников, золотых приисков и железорудных заводов, которыми в большом количестве владел сиятельный князь, особый ореол имени Абамелека-Лазарева придавали и пересуды иного рода. В России и в Британии, во Франции и здесь, в Италии, то шепотом, то

громко из уст в уста пересказывались истории о невероятных бриллиантах персидского деспота, которые уже несколько веков оставляли свой остро очерченный алмазный след в судьбе двух родов, скрестившихся в этом красивом основательном, вполне европейском мужчине.

И нынешние гости князя не могли отказать себе в удовольствии использовать обед на «Вилле Абамелек», дабы насладиться угощениями не только для желудка, но и для ума. А в этот майский день 1911 года в большой столовой зале, где по снежной белизне тончайшей льняной скатерти меж фамильного серебра и наполненных зернами граната чаш богемского хрустала гордо разгуливали серебряные фазаны, обязательные участники всех обедов на вилле, собралось самое изысканное, самое любопытное общество, какое только можно было собрать в новейшей Европе.

Конечно же, сам князь Абамелек-Лазарев, или «*principe S.S.*», как звали Семена Семеновича итальянцы, которым непривычна российская традиция имен-отчеств. Среди римской элиты представление о «*principe S.S.*» сложилось весьма устойчивое. «Этот русский», скупающий на их родине все самое дорогое, что не по карману самим жителям Апеннин, являет собой блистательный образец соединения в одном человеке жесткого и удачливого промышленника, тончайшего ценителя искусств и мецената, и родовитого европейского князя, в котором лишь тонкий орлиный нос и густые черные усы выдают принадлежность к двум старинным армянским фамилиям.

По правую руку от князя сидела *principess Maria Demidoff Abamelek*. Воздушная, эфемерная, почти прозрачная, как звезда народившегося ныне синематографа. Волны вошедшего в моду тончайшего плиссированного кружева спадали на трижды обмотанные вокруг точеной шейки нити крупного жемчуга и спускались к талии столь стройной, что трудно было предположить, что ее обладательнице уже тридцать восемь. На собственной римской вилле хозяйка была редким гостем. Проводя большую часть времени на другой — подаренной ей отцом — вилле «Пратолино» близ Флоренции, Мария Павловна не жаловала ни шумный и помпезный Рим, ни свою историческую родину, предпочитая вести жизнь, достаточно отдельную от жизни мужа. И этот общий обед был скорее исключением, чем правилом в жизни супругов.

Гостями Абамелеков в тот майский день были немецкий барон, персидский посланник, модный французский художник, известный русский трагик, итальянский министр с супругой и некая феерическая дама неизвестной национальности. О феерической даме все шепотом говорили, что, дескать, она международная авантюристка, шпионящая в пользу то одного, то другого правительства, влюбляющая в себя мужчин и обирающая их до нитки, очищающая от излишков сейфы банков и неприкосновенные валютные запасы разных стран. Но все это лишь шепотком, а так, знаете ли, для нас большая честь видеть вас, графиня, на этом скромном приеме в нашем доме и все такое прочее...

И среди таких почетных гостей, а именно между персидским посланником и утонувшей в перьях и блестках авантюристкой, сидел юноша столь скромного вида и столь трепетного возраста, сообразно которым он вряд ли мог быть допущен в собравшееся блистательное общество. В начале обеда юноша явно стеснялся, краснел, тербил манжеты и тугой излишне накрахмаленный воротничок. Но после супа из ревеня он успокоился, а к жаркому из оленины с брусничным соусом даже включился в разговор, время от времени отпуская замечания настолько колкие, что только статус гостя «самого князя Абамелека» мешал принять его за невоспитанного юнца.

В отличие от других гостей юношу не интересовал завораживающий всех прочих антураж — ни большой обеденный сервиз лиможского фарфора с монограммой Абамелека-Лазарева, ни роскошные люстры муранского стекла XVII века, ни расположенная между ними на потолке картина художников венецианской школы позапрошлого века, изображавшая мецената в окружении живописцев, ученых и муз. Стоит ли говорить, что каждый из гостей «Виллы Абамелек» считал своим долгом провести аналогию между изображенным на полотне меценатом и нынешним хозяином. Но юноша на прелести здешней обстановки не обращал внимания. Юноша здесь жил.

Князь Семен Семенович решил устроить каникулы своему крестнику, сыну ближайшего друга Николая Алексеевича Шувалова, и вывез пятнадцатилетнего Ивана в Италию. А теперь рассказывал гостям историю, к которой Иван имел отношение не меньшее, чем сам князь Абамелек. Точнее, не сам Иван и князь, а их предки.

— Прабабка Ивана Николаевича, — князь кивнул в сторону юнца, и головы всех обедавших повернулись к нему, — Елизавета Ардалионовна, царство ей небесное, благополучно добралась до Кронштадта. Убедилась, что Сухтелен свое слово сдержал, бумаги персидскому сундуктару оформлены так, что назад в Россию ему хода нет. И только тогда обменяла переданную моей бабкой Екатериной Мануиловной восточную погремушку на положенный ей кошель с золотом и долговыми расписками. На глазах пограничного капитана проверять начинку погремушки персу было не с руки.

— И что же было начинкой, СимСим? — юный Иван с неким бахвальством, подчеркивая собственное положение «более чем гостя», назвал хозяина дома не князем, не Семеном Семеновичем, а домашним именем, как привык звать крестного с раннего детства.

— Камень. Только не алмазный. Обыкновенный камешек, то ли с крымского, то ли с итальянского берега. К слову сказать, подаренный семилетней бабке Ивана Ленушке, Елене Николаевне, Семушкой Абамелеком, будущим моим отцом, которому в ту пору было четырнадцать лет. Камень по форме оказался очень похож на почти идеально овальный фамильный лазаревский алмаз, вот и сыграл роль кота в мешке, стал, как нынче модно выражаться, дублером. Но отданное за него золото, по счастью, оказалось натуральным.

— А дальше? Что ж было дальше, князь? — графиня, коей молва приписывала недюжинные авантурные способности, живо интересовалась подробностями интриги восьмидесятилетней давности.

— Прабабка Ивана Елизавета Ардалионовна выкупила оставшиеся закладные обеспечив будущее детей своих, а бабка моя Екатерина Мануиловна, которой Господь долго не посылал детей, в день, когда отдала подруге персидскую погремушку, словно в награду узнала о долгожданной беременности.

— Вашей матушкой?

— Нет, то была моя тетушка Анна Христофоровна. Матушка родилась двумя годами позднее.

— Что же, наследника Лазаревы так и не дождались? — сердобольно поинтересовалась жена итальянского министра.

— И да и нет. Еще через двенадцать лет Бог послал деду Христофору с бабушкой Катериной наследника, названного в честь Ивана Лазарева Иваном. Но мальчик умер от воспаления мозга шести лет от роду. Странное, невесть откуда взявшееся проклятие, лежащее на лазаревском роду: дети не рождаются, либо не рождаются мальчики, либо они быстро умирают. И единственными наследницами Лазаревых оставались две дочери.

— И тогда одну из девочек решили выдать замуж за кузена Абамелека, дабы лазаревские капиталы из семьи не ушли? — догадалась графиня-авантюристка.

— Через столько лет нам трудно предполагать, кто и как решал. Но даже при тех трогательных отношениях, которые связывали моих родителей до самого их конца, думаю, что расчет старших сыграл не последнюю роль. Так Семен Давыдович Абамелек и Елизавета Христофоровна Лазарева стали моими родителями.

— Но близкородственные браки не одобряются церковью! — важно произнес немецкий барон.

— На этот брак было дано особое разрешение армянского архиепископа.

— Но как же, будучи Абамелеком по отцу, вы стали вдруг Лазаревым? — поинтересовался генеалогическими тонкостями барон.

— Когда стало понятно, что род по мужской линии не продлится, последние из Лазаревых стали хлопотать о дозволении закрепить род по женской линии. И когда в 1873 году дозволение было получено, все наследственные титулы от деда Христофора перешли его племяннику и мужу дочери, Семену Абамелеку, и его внуку, то есть мне. Так и стал я Абамелеком-Лазаревым. Но боюсь, не передалось ли мне вместе с титулом и фамилией и странное проклятие рода Лазаревых, — глухо продолжил князь, взглянув на сидящую по левую руку княгиню. Детей и в этом браке не было. — Сыну думал фамилию и титул передать. Да вот доселе не судьба...

— Какие ваши годы! — молодежато гаркнул барон, на фоне которого подтянутый и моложавый князь Абамелек-Лазарев и вправду смотрелся весьма выгодно.

— И княгиня в самом соку! — говоривший бросил в сторону Марии Павловны взгляд, вряд ли подобающий немецкому барону. — А уж у мужчин этот процесс возможен до бесконечности. Мой фатер в последний раз стал отцом и произвел меня на свет в семьдесят три года!

— Было бы чем гордиться! — вполголоса проговорила графиня-авантюристка так, чтоб было слышно всем, кроме сидящего на другом краю стола барона. Респектабельные гости, рассмеявшись лишь глазами, сдержали улыбку, только юный Иван прыснул.

— Вы что-то хотели сказать, юноша? — барон приподнял лохматые черно-белые брови. Брови эти и почти бутафорская борода делали его похожим на итальянского короля Виктора Эммануила II, изображенного на знаменитом фотографическом снимке братьев Алинари в день его вступления во второй брак с Розой Верцеллана. Не далее как вчера в фотографическом магазине синьора Пини Иван видел этот снимок, датированный 7 ноября 1868 года, днем королевского бракосочетания. У этого барона одно лицо с дедом нынешнего короля. Но говорить о сходстве прилюдно юноша все же не стал.

— Подумать, когда все эти истории происходили! — нашелся что сказать Иван. — Восемьдесят лет назад! Ни поездов тебе, ни телеграфов, ни телефонов, ни автомобилей, ни фотографий! Каменный век, да и только! А бабушка моя с папенькой СимСима... я хотел сказать, с папенькой князя, дружили. Может, и влюблены были, как знать. А вы, СимСим, с моим отцом сошлись. Поди, и с тетушкой Александрин между ног Толстого да Тургенева ползали, пока Левицкий портреты писателей «Современника» делал...

— Увы, не поспел. И я, и твой отец родились уже после этого события. А тетушка этого молодого господина в более чем юном возрасте случайно попала в фотоателье, где шла съемка великих писателей, и, прячась под столом, ползала у них между ног, — счел необходимым пояснить своим гостям князь. — И между каких ног! Толстой! Гончаров!

Тургенев! Островский!

— Толстой ей тогда очень не понравился, — добавил Иван.

— Толстой умер, — графиня-авантюристка решила проявить осведомленность в литературных делах.

— Да, в прошлом году, графиня. Мне же довелось в 1891 году фотографировать Льва Николаевича в Ясной Поляне. Твоей тетушке, Иван, тогда в ателье Левицкого и в голову прийти не могло, что через неполных три десятка лет фотография достигнет такого прогресса, что все люди сами смогут легко делать портреты и фотографии. А теперь этот юноша большие успехи в фотографировании делает.

— История, как тетушка Ивана между ног писателей ползала, такой же семейный апокриф, как знаменитое предание Абамелеков о том, что Пушкин держал на руках сестру твоего отца, — тихим грудным голосом отозвалась Мария Павловна.

— А кто это Пушкин? — образованности графини-авантюристки хватило лишь на знание Толстого, о котором в газетах годом ранее писали, что он умер.

— Пушкин — это Толстой в российской поэзии. И даже больше! — пояснил графине Абамелек.

— Почему же этот «Толстой поэзии» держал на руках вашу тетушку? Разве это не моветон?

— Мою почтенную тетушку извиняет тот факт, что в ту пору ей был от роду год. После, когда тетушке исполнилось восемнадцать, Пушкин написал ей в альбом:

Когда-то (помню с умилением)

Я смел вас нянчить с восхищеньем,

Вы были дивное дитя...

Стихи на непонятном для собравшихся русском языке впечатления не произвели, лишь Иван в такт звучащим строфам шевелил губами, вспоминая, как читала ему это стихотворение бабушка Елена Николаевна, да сам князь улыбнулся, вспоминая тетушку Анну.

— Вот и тетушке Анне Давыдовне и мужу ее Ираклию Боратынскому, брату поэта Евгения Боратынского, детей Господь не послал.

— Но что же стало с другими алмазами Надир-шаха? — итальянского министра, чья жена родила уже семерых детей, более интересовали иные цветы жизни.

— Алмазная роза «Дери-а-нур» загадочным образом попала к армянскому купцу Шафрасу, была заложена им в Амстердамский банк, откуда ее выкупил брат моего прадеда Иван Лазарев.

— И «Дери-а-нур» стал вашим?! — воскликнула жена министра.

— Нет. Камень был обменян на графский титул и милость российской императрицы. Лазарев продал его графу Орлову, который подарил алмаз Екатерине Великой. Екатерина даровала Лазаревым дворянство, а тот алмаз второй век под именем «Орлов» украшает скипетр российских императоров.

— Желтый алмаз с вязью, названный «Шах», как мы уже поняли, достался русскому императору, — французский художник сделал вывод из рассказанной за обедом истории Хозрев-Мирзы.

— А овальный алмаз, который сам шах называл «Зеба», так и остался вашим родовым

камнем, — не преминул выказать собственную осведомленность Иван.

— Что же два других алмаза? — подал голос доселе молчавший персидский посланник.

— «Гора света» — «Кох-и-нур» днями снова дал о себе знать.

Князь сделал едва уловимый жест, отделившись от стены лакей почтительно склонился перед хозяином и, выслушав сделанное вполголоса приказание, с поклоном удалился. Князь тем временем продолжал:

— Сейчас принесут газету, и я прочту вам дословно. А след самого крупного алмаза, который Надир-шах в честь любимой наложницы назвал «Надирой», так и не найден. Сколь все Лазаревы всех поколений ни вели розыски, сколь ни нанимали сыщиков, сколь те ни разведывали и в Персии, и в России, след камня, боюсь, безнадежно утерян. А вот и «Таймс».

Князь взял с принесенного лакеем серебряного подноса, украшенного все той же затейливой монограммой «А» и «Л», доставленную из Лондона газету, развернул, пробегая глазами по прочитанным утром текстам:

* * *

— «...после откровенного неуспеха двух последних пьес-дискуссий для интеллектуалов „Getting Married“ и „Misalliance“ Джордж Бернард Шоу пошел на поводу у публики и выпустил откровенно кассовую безделицу „Fanny’s First Play“...» — не то.

«31 мая корабль будущего „Олимпик“ отправится в свой первый рейс через океан», опять не то.

«Морис Полидор Мари Бернар Метерлинк выдвинут на Нобелевскую премию по литературе...» — нет.

«Итальянский физик Маркони, прибывший в Лондон по приглашению Королевского общества, обещает продемонстрировать прием трансатлантических сигналов из Глас-Бэй, что в Североамериканских Штатах...» — нет.

А, вот-вот: «Алмаз Королевы Виктории, известный также под историческим названием „Koh-i-Noor“, что значит „Гора света“, вставлен в корону, которая изготовлена для предстоящей коронации короля Георга V и королевы Мэри. Читайте далее на странице 3». Читаем на странице три.

Абамелек-Лазарев развернул газету и продолжил:

— «Древний камень, которого, согласно преданию, могут безнаказанно касаться только боги и женщины, принадлежал правителям Индии, позднее был вывезен в Персию кровавым и жестоким Надир-шахом. После убийства шаха в 1747 году алмаз теряется, и сведения о его дальнейшей судьбе становятся достаточно противоречивыми. По одной версии, он был вывезен в Кабул генералом Ахмадом Шах Абдали, затем перешел к его сыну и внуку Шаху Шуя аль-Мулка, а от них камень снова вернулся в Индию к махараджам сикхов. После подавления англичанами восстания сикхов в 1848 году „Koh-i-Noor“ был объявлен военным трофеем и подарен английской королеве Виктории. По другой версии — после свержения Шаха Шуя в 1813 году он передал этот алмаз человеку, освободившему его из тюремного заключения, Махарадже Раниту Сингху, а королеве Великобритании Виктории алмаз „Koh-i-Noor“ в 1850 году подарил его наследник, 11-летний принц Махараджа Далип Сингх, когда его королевство было аннексировано Великобританией. В любом случае, афганские талибы

утверждают, что Сингх украл алмаз, в статье газеты „Kabul Post“ Сингха называют „большим предателем“ и требуют возвращения исторической реликвии в Афганистан. Настойчивые разговоры о возвращении камня ведутся и в Индии...»

— Странно, что еще Персия ничего не требует! — неожиданно подал голос персидский посланник, но ему никто не ответил. Все увлеченно слушали князя, который продолжал чтение:

— «В любом случае, доподлинно известно, что в Великобритании блеск необработанного 186-каратного алмаза разочаровал публику...»

— Варвары! — снова отозвался персидский посланник, и снова безрезультатно.

— «...и в 1852 году по приказанию королевы Виктории камень переогранили, после чего его масса уменьшилась до 108 карат, но бриллиант приобрел неповторимый блеск и сияние. Отныне этот исторический бриллиант вставлен в Королевскую государственную корону, которая будет возложена в день коронации 22 июня на голову супруги короля Георга V королевы Мэри, ибо королева женщина, следовательно, может касаться камня безнаказанно».

— С ума сойти! — воскликнула графиня-авантюристка. — Русская императрица Екатерина, император Николай, британская королева Виктория и королева Мэри! И в этой компании новых владельцев алмазов Надир-шаха вы, князь!

— Вы правы, графиня, компания подобралась достойная! И то, что волею судеб и трудами моих предков я попал в блистательный ряд, лишь накладывает на меня ответственность. И заставляет продолжить поиски.

— Вы намерены продолжить поиски пятого алмаза?!

— Не исключено. Это мой долг перед предками, перед завещанием прапрадеда Лазаря.

— И где, по-вашему, стоит теперь искать алмаз «Надира» — в Персии, в Индии, в России? — поинтересовался персидский посланник. — Или, быть может, здесь, в Италии?

— В Италии — не думаю. Ни одна из ниточек никогда не вела в эту сторону света. Хотя могу с уверенностью утверждать, что из пяти исторических алмазов по крайней мере один теперь точно здесь!

— Здесь?!

— Почему?!

— Какой?!

Невиданное возбуждение заставляет почтенных гостей, забыв правила приличия, заговорить разом.

— Посудите сами, господа, — степенно отвечает хозяин, — ежели один камень в российском скипетре, второй в хранилищах Зимнего дворца, третий в британской короне, пятый доселе не найден, то несложно вывести, какой из камешков может оказаться здесь.

Больше книг на сайте — Knigoed.net

— Четвертый?

— Алмаз «Зеба»?

— Фамильный камень Лазаревых?

— Вы привезли его?

— Да. Фамильный камень приехал вместе со мной.

— Как неосмотрительно! Времена не те, чтобы возить такие сокровища по дорогам Европы: грабители, авантюристы! — решительно заявила графиня, которой как раз и приписывали всевозможные авантюрные подвиги.

— Камень хранится в банковском сейфе. Сразу по приезде в Рим я абонировал сейф, так что никаких сложностей и опасностей не предвижу.

— Но почему, почему Мария Павловна не носит такой камень?! — воскликнула жена итальянского министра.

— Бриллиант слишком крупный, — отозвалась доселе молчавшая хозяйка. — При всей его изумительной красоте носить его в качестве украшения было бы излишне вульгарно. Даже королевы подобные камни вставили в короны и скипетры, а не украшают себя ими каждый день.

— О боже! Хочу видеть этот брильянт, который настолько велик, что даже вульгарен! Как я хочу его увидеть! — воскликнула графиня. — Mary! Semen! Полжизни за то, чтобы хоть одним глазком взглянуть на ваш алмаз!

— Полжизни это слишком жестоко, графиня. Живите и радуйтесь!

— Но я хочу! Я хочу видеть ваш алмаз! Князь, исполните прихоть женщины!

— Графиня, готов потакать вашим прихотям, но не готов выглядеть дурно в глазах моих гостей. Как я только что объяснил, камень помещен в банковский сейф, и с моей стороны было бы излишне неучтиво бросить гостей и отправиться в банк.

— Быть может, кто-то мог бы доставить камень сюда вместо вас? Мы бы обеспечили вашему посланнику надежную охрану, — отозвался итальянский министр. — Я тотчас телефонирую в жандармерию, и нам пришлют конвой сопровождения.

— Может быть, княгиня? — поддержала мужа госпожа министерша.

— Со стороны хозяйки было бы еще более невежливо оставить своих гостей без внимания... — Абамелек посмотрел в сторону жены.

— И я совсем ничего не понимаю ни в банках, ни в сейфах, — отозвалась Мария Павловна.

— Счастливица! — не преминула вполголоса заметить министерша. — Я бы тоже с удовольствием ничего не понимала в банках, если бы деньги сами каждое утро оказывались у меня в бюро. Или, что еще лучше, все мои счета оказывались бы просто оплаченными. Просто оплаченными, и все! — министерша выразительно посмотрела на мужа.

— ...разве что Иван, — вслух продолжил свои размышления Абамелек. — Он был вместе со мною в банке, когда я закладывал камень в сейф, так что процедура ему знакома, а его лицо знакомо управляющему банка. Думаю, если телефонировать синьору Точелли и послать с Иваном письменное уведомление, разрешающее выдать ему алмаз, то уже через час вы, графиня, сможете насладиться его сиянием.

— О да! Да! Юноша, я готова сопровождать вас! — графиня излишне импульсивно прильнула к мальчику.

— В этом нет необходимости, — сухо прервал ее изливания Абамелек. — В хранилище вас не пустят, в этом банке строгие правила, оттого я и пользуюсь его услугами. Тем более что господин министр вызвался приставить к нашему посланцу охрану.

— Si-si! Откуда здесь можно телефонировать?

* * *

У вызванного министром отряда карабинеров не заняло много времени добраться до виллы, расположенной всего в нескольких минутах езды от Ватикана. Еще меньше времени

ушло на сборы у Ивана. Возбужденный тем, что он сам поедет в банк, сам спустится в хранилище, сам будет открывать сейф, мальчик взлетел по ведущей на второй этаж витой лестнице, не изменив, однако, своей привычке глянуть вниз. Ракурс этот отчего-то его завораживал: просматривающийся сквозь мраморную спираль лестницы мозаичный пол с изображением, подобным тому, как он всегда воображал себе эгиду Афины, доспехи с головой Медузы в середине и со змеями по краям. На этом мозаичном полу голова была подобна голове горгоны Медузы, да и змеи по бокам наличествовали. Иван всякий раз невольно вздрагивал, представляя, как иной несчастный, решивший распротиться с жизнью, может лететь с верхней площадки лестницы в объятия этих змей.

Сменив смокинг на дорожную курточку и кепи, юноша уже намеревался спуститься вниз, но, не успев ступить на лестницу, услышал внизу голоса.

— ...shoot him down! And that's it! [\[15\]](#) — отчего-то по-английски произнес женский голос, который из-за шепота Ивану узнать не удалось.

Графиня-авантюристка? Министрша? Сама Мария Павловна?

— He is so young! [\[16\]](#) — также по-английски отвечал мужской голос.

В другое время обожавший всякого рода детективные изыскания и с упоением читающий все сочинения Артура Конан Дойла Иван занялся бы поиском разгадки таинственного разговора. Но теперь, когда у него было более важное дело, он галопом понесся вниз по мраморным ступеням, а добежав до нижнего этажа, не увидел под лестницей никого. Лишь неплотно прикрытую дверь в следующую залу. Все услышанное показалось странным, и об этом обязательно стоит поразмыслить как следует, но теперь он спешил.

Через четверть часа Иван уже ехал в новеньком «Роллс-Ройсе» СимСима в сторону банка. Услужливая память подсказывала блоковское: «...как все пути приводят в Рим, так нам заранее известно, что все мы рабски повторим...» — а юноша, не думая про рабские повторы, с интересом разглядывал окруживших машину охранников и город за их спинами.

А город этот сводил с ума! Дома, в Петербурге, он не так много ездил по городу. Родительская квартира на Невском, гимназия, дома дядюшки Ивана Алексеевича и тетюшек Александры и Елизаветы, где он встречался с кузенами, дом СимСима на Мойке, театр, манеж — вот, пожалуй, и все его привычные маршруты. То ли от погруженности в собственные размышления, то ли от привычности пути, в родном городе он забывал смотреть по сторонам. Разве что явись на его пути обнаженная нимфа, он остановился бы, а так все бежал, летел, спешил.

Здесь, в чужом и манящем Риме, он видел то, что выпадало из поля зрения в привычном Петербурге. Один или с СимСимом он днями бродил по Риму, вглядываясь в тысячелетние руины и наблюдая картинки нынешнего городского бытия. Покупал карнавальные маски для старших сестер и кузин и оловянное наполеоновское войско для приятеля Мишеньки Люшковского. Миша собирал солдатиков с пяти лет, и, подружившись с ним, Иван тоже намеревался предаться делу коллекционирования, но сам вскорости остыл, а про Мишеньку не забывал. Если видел где настольное воинство, то на свои карманные деньги прикупал для друга то конников Надир-шаха, то российских пехотинцев времен покорения Рымника Суворовым.

Юноша постигал город и просто взглядом, и с удвоенным вниманием впитывал его через глазок фотографической камеры, которую перед отъездом из Петербурга подарил ему СимСим.

Увлечшись, Иван стал снимать все, что видел. Их первый визит в банк: серые клерки с налокотниками поверх сюртуков, чем-то встревоженные вкладчики, причудливая вязь защищающей сейфы решетки, будто пересечение прутьев еще раз обмотали железной нитью. И продавца улиток на улице — жаль, камера не могла передать окружавшего его запаха. И нану, восхитительную римскую любовницу, к которой без смущения привел мальчика СимСим, да только сам Иван, заробев, сбежал из ее заставленной пальмами квартиры. И пришедшего нынче в гости знаменитого русского трагика Незванского. И выходящую из оперы итальянскую примадонну. И рабочих на автомобильной фабрике, куда повез его СимСим, намеревающийся завести автомобильное производство в России: «Ты только погляди, что за чудо этот грузовик „Флоренция“! Две скорости! И кузов! Каков кузов! Целый взвод усадить! Для армейских нужд этому грузовику цены нет! И сколько груза на рудниках можно перевезти во много раз быстрее и экономнее, нежели на подводах!»

СимСим учил его фотографировать.

— Главное — это настроение! Ощущение! Дух! Все пройдет, а через сто лет человек возьмет твой снимок и почувствует то, что чувствовал ты, глядя на этот город, на это парящее над улицами выстиранное белье, на этих голодных оборванных мальчишек и на аккуратненьких бамбини, которым так скучно в их чистеньких курточках и сапожках.

И теперь, из окна автомобиля вглядываясь в жизнь города сквозь силуэты карабинеров, Иван жалел, что не было с ним фотокамеры и что миссия его торопила в банк. Как много восхитительных картинок, просившихся в кадр, оставалось безнадежно утраченными, отображаясь лишь на негативной пленке его памяти — закрыл глаза, вызвал нужную картинку, словно проявил кадр.

Вот играют нищие мальчишки. Босые, в рваных штанах и рубахах, прямо на холодной земле они отвешивают друг другу тяжелые щелчки, служащие расплатой за проигрыш. СимСим говорил, игра эта называется «морра». Мальчишки бросают свои камни-биты с такой неистовой решимостью, что кажется, на кону стоит их жизнь. Выросший в дворянском доме, Иван и представить себе не может, что было бы, окажись он на месте этих мальчишек на холодной земле, голодный и раздетый, с единственной ставкой в пугающей своей дикостью игре, проиграть в которую нельзя, невозможно.

Вот и очередные раскопки. В этом городе веками раскапывают его прошлое, словно и живет этот город лишь для того, чтобы через несколько столетий начали раскапывать и его нынешнюю жизнь. Плохо огороженные раскопки зияют провалами, свалившись в которые в темноте, и шею сломать можно.

Вот рабочие в размашистых итальянских рубахах и необычных полукруглых шляпах, шумно переговариваясь, тяжелыми каменными палицами утрамбовывают булыжники мостовой. Их бесконечный разговор похож на блистательно отрететированный хор из новой оперы.

А вот... вот уже и банк.

* * *

Пока Иван, запечатлевая в собственной памяти не отснятые римские картинки, едет в банк, на «Вилле Абамелек» разговор, как и следовало ожидать, разделяется на дамский и мужской. Мария Павловна уводит дам показывать им устроенный здесь, на вилле, театр, а

мужчины, расположившись в атласных креслах под гобеленом семнадцатого века, изображавшим коронацию императора Марка Аврелия, переходят к кофе и коньяку.

— Рим! Рим! Он совсем не тот, что в пору моего первого приезда, в семидесятые годы! — говорит хозяин. — Пока мы здесь в мужском обществе, без дам, могу признаться, что я для того и привез мальчика, чтобы дать ему то, что было запретно в пору моего отрочества.

— Да уж! — громогласно одобряет трагик Незванский. — Кто бы мне в юности подарил Рим со всеми его прелестями!

— А я бы и теперь от всех прелестей Вечного города не отказался, не то что в отрочестве, — откликается французский художник.

— Тогда, в 1873-м, был другой Рим. С ежевечерними променадами в Рипетте, с бесконечной сутолокой телег, создававшей рынок на площади Навона. После дождя рынок этот превращался в озеро, и торговцы вылавливали уплывающий товар и лошадей. Теперь такое кажется невозможным, но я все это видел.

— А торговцы углем, развозящие свой товар на гондолах! — не преминул предаться воспоминаниям итальянский министр.

— А белье, развешанное сушиться на портике Оттавии!

— А женщины! Вы вспомните тех женщин в бесконечных кринолинах! — У немецкого барона свои воспоминания о городе сорокалетней давности.

— Но были женщины и без кринолинов. И мы с вами их знаем, — хохотнул министр. И, пользуясь отсутствием госпожи министерши, пропел: — «*La donna e' mobile, qual piuma al vento, muta d'argento e di pensiero...*» [\[17\]](#).

— Да только никто не водил нас к ним столь щедро, как вы нынче отвели Ивана.

— Дар не был принят. Увидев раздевающуюся нану, мальчик просто сбежал, — улыбнулся Абамелек.

— Но хоть вы-то, надеюсь, остались?! — воскликнул трагик.

Появившийся в дверях мажордом внес какой-то пакет на серебряном подносе с монограммой и, поклонившись, вполголоса сказал что-то хозяину.

— Уже проявлены и напечатаны? — откликнулся Абамелек. — Очень хорошо. Иван сейчас вернется, и поглядим на его творчество. Учю мальчика фотографировать. Увлекательное это, надо сказать, занятие. И у Ивана есть определенные задатки.

— Вы пестуете мальчишку, как родного сына, — промолвил трагик.

— Он мне больше, чем сын, — отозвался хозяин.

* * *

Операция в банке прошла, как и виделось Ивану, солидно и торжественно. Вошел в кабинет управляющего синьора Точелли, которому уже позвонил СимСим, предъявил расписку, спустился следом за управляющим в тот самый подвал с причудливой сеткой решетки. Проследив, чтобы посторонние управляющий и охранник остались за решеткой, набрал сообщенный ему СимСимом код, извлек сейф, достал сафьяновую коробочку с камнем, тщательно закрыл сундучок и, вложив его в сейф, снова набрал код. Все, как и должно быть. Управляющий важно пожал ему руку, пригласив и далее пользоваться услугами только этого банка, и проводил до дверей...

Странности начались на улице. Автомобиля СимСима и сопровождавших его карабинеров охраны на том месте у подъезда банка, где их оставил Иван, отчего-то не оказалось. Улица перед банком была пуста. Вечер, стремительно спускающийся на город, сгущал краски, но вряд ли мог скрыть целый отряд охранников и новейший «Роллс-Ройс 40/50» с шестицилиндровым мотором на семь литров, пневматическими шинами, новомодным откидным ветровым стеклом и последней новинкой — фигуркой «Дух экстаза» на капоте.

Решив, что кортеж ждет его за углом, Иван пошел вдоль серого здания банка и вышел на еще более пустынную улицу. Но там не было ни автомобиля, ни карабинеров, ни замеченных им при подъезде к банку двух десятков рабочих, шумно утрамбовывавших мостовую. За углом вообще никого не было. Римские улицы пустынностью обычно не отличались, скорее напротив, кишели людьми всех сословий. Отчего вдруг такая пустота?

«Как в сказке у мистера Кэрролла? „Curiouser and curiouser“. Все страньше и страньше. Вот тебе и страньше!» — подумал Иван, изо всех сил стараясь не поддаться испугу. И отчего-то вспомнил день, когда они с СимСимом закладывали камень и ценные бумаги в банк. Тогда Ивану показалось, что за ними кто-то следит, но СимСим расхохотался и посоветовал не читать столько детективных романов, даже если это считается хорошим тоном. Но теперь, вспомнив то ощущение, Иван почувствовал предательскую дрожь в коленях.

«Спокойно. Теперь только спокойно. Я же не маленький. Я не ребенок. Я сумею добраться до виллы сам, и камень доведу в неприкосновенности. Нужно только скорее найти экипаж. Главное, не первый попавшийся. Мистер Шерлок Холмс учил доктора Ватсона никогда не садиться в первый встреченный им экипаж, это может быть засада. Только во второй или лучше даже в третий или четвертый...»

Но ни третьего, ни четвертого, ни даже первого экипажа на улице не было. На улице по-прежнему не было вообще никого.

Темнело стремительно. Чужие улицы переставали выглядеть маняще, как днем, и Иван уже не шел, а почти бежал, не разбирая дороги. Перемешанные с новыми стройками раскопки древнего города зияли не огороженными провалами, способными увлечь бегущего в свои бездны, и несколько раз юноша едва не свалился в раскопочные ямы.

Из грязной подворотни вывалилось некое тело, едва не припечатавшее бегущего к земле. «Пьяный», — успокоил себя на бегу Иван, но на всякий случай, так же на бегу, достал из потайного кармана курточки сафьяновую коробочку и хотел спрятать алмаз в другой карман, но почему-то засунул камень в рот.

Через несколько кварталов быстрого бега увидав первого возницу, юноша забыл о только что мысленно проговоренных правилах Холмса и, пытаясь справиться со сбившимся дыханием и перекатывающимся во рту камнем, закричал, пришепетывая:

— Исвосщик! Coachmen! Coachmen! Исвосщик! Сюда! Скорее!

Проезжающий мимо возница на коляске со спущенным верхом почти нехотя осадил дохлого вида клячонку, чтобы та бежала медленнее, но не остановился, а продолжал ехать рядом с бегущим Иваном, не позволяя юноше перевести дух.

— Абамелек! Вилла Абамелек, — кричал мальчик, пытаясь ухватиться за коляску и запрыгнуть внутрь, но возница и не думал останавливаться.

— Ватикано! — отчаянно размахивая руками, пытался объяснить Иван. — Совсем рядом. Ватикано. Собор Сан Петро. San Pietro. Рядом.

Возница качал головой, показывая, что не понимает.

— Via Gaeta, пять. Cinque ^[18], — вспомнил адрес Иван.

— Si paga prima! ^[19] — сделал характерный жест пальцами возница — деньги, мол, предъяви, а то знаем мы вас, таких пассажиров. — Lire, lire!

— Лиры... — Иван похлопал себя по пустым карманам. На вилле миллионера никому и в голову не пришло, отправляя мальчика за алмазом стоимостью в несколько миллионов, дать ему с собой несколько лир. — Лиры там, на месте! На вилле Абамелек. Principe Abamelek. Там лиры. Там!!! Поехали скорее.

Извозчик только покачал головой, махнул кнутом, и подстегнутая лошадь поскакала быстрее, оставляя уже сбившегося с дыхания юношу далеко позади.

— Говорил же папенька: учи разные языки, учи! А я все отпирался, что французского, немецкого и английского цивилизованному человеку довольно. Вот тебе и довольно! — не прекращая бега, бормотал себе под нос Иван.

Заждавшиеся гости на «Вилле Абамелек» тем временем переместились в парк. Возникшая задержка с доставкой алмаза поставила в неловкое положение всех — и гостей, и хозяев. Привычная церемония званого обеда была нарушена. Теперь и откланяться без лицемерия обещанного алмаза было как-то неловко, и ожидание неприлично затягивалось.

— Следует позвонить в полицейское управление, — решил итальянский министр, — может, какой-то казус по дороге.

— Я провожу вас к телефону, — отозвался хозяин. И, подведя гостя к аппарату, взял в руки пакет, оставленный мажордомом рядом на столике. — Что наш мальчик на этот раз снимал?

Из фотографического магазина синьора Пини прислали проявленные и отпечатанные карточки.

Первые кадры, они отъезжают из Петербурга. Мелькающие среди целого сада дамских шляпок батистовые платочки. Руки провожающих, среди которых мужская рука с каким-то чуть смазанным от движения замысловатым изображением около среднего пальца — то ли нарисовано что-то на руке, то ли такая перчатка. Иван сделал снимки из трогающегося поезда и успел запечатлеть как кто-то опоздавший, закутанный в длинный темный плащ, впрыгивает на подножку соседнего вагона.

Кадры на римском вокзале, итальянские переселенцы с узлами и картонными коробками идут по перрону. Со спины они похожи на российских крестьян — такие же цветастые юбки и скромные белые платочки на женщинах и девочках. Разве что шляпки-канотье мальчишек выдают не российскую жизнь, да стоит повернуться любому мужчине — как тому черному на дальнем плане — и видна иная кровь. Хотя этот черный крестьянин и на итальянских крестьян не слишком похож, скорее есть в нем что-то восточное...

А эти кадры Иван снимал в банке в тот день, когда они закладывали камень в сейф. Сам Абамелек заполнял бумаги и выслушивал синьора Точелли, а мальчик через глаз своей фотокамеры успел подметить много забавного. Люди в очереди к клеркам заполняют документы, получают деньги. Женщина повернулась к окошку кассы, в кадре она почти спиной, в три четверти оборота, что-то знакомое в этой линии шеи и в этом фасоне шляпки. У соседнего окошка Иван запечатлел процесс получения денег, рука берет банкноты, а вокруг среднего пальца загадочный рисунок — четырежды опутавшая палец змея. Очень похоже на смазавшееся изображение руки, что машет на вокзале в Петербурге. Как может одинаковая татуировка быть у человека, провожавшего их поезд в Петербурге, и человека,

получавшего деньги в римском банке именно в тот день, когда они закладывали там алмаз?

— Дозвонились, синьор министр?

— Номер в полицейском управлении почему-то не отвечает.

— Не нравится мне все это. Очень не нравится. Еще четверть часа, и надо будет что-то предпринять.

— Полагаете, ваш названный сын мог украсть у вас алмаз?

* * *

Незнакомая улица уводит Ивана куда-то в сторону от его цели. Он все надеется выйти на один из холмов и оттуда увидеть купол собора Святого Петра, чтобы понять направление движения. Но в быстро густеющих сумерках на почти не освещенных улицах невозможно разглядеть даже крыши соседних домов, не то что купол собора вдали.

— Не туда. Иду совершенно не туда. Таких трущоб в стороне виллы СимСима быть не может.

Темень. Руины, дома, трущобы, улицы без электрических и без газовых фонарей. Сумерки опускаются на эти грязные улицы столь быстро, что уже ничего не разглядеть. Как все это далеко от его утреннего восприятия Рима — торжественного, словно бросающего тебе вызов своей величественной красотой. Этот вечерний вызов куда серьезнее утреннего. От быстрого бега у Ивана пересохло во рту, алмаз прилип к щеке.

Слабый огонек света над убогой вывеской «Osteria del Tempo Perso» [\[20\]](#).

Ниже на деревянной дощечке краской нацарапано «Vino». Вино, оно на всех языках вино. Не убьют же его здесь, может, воды дадут. Курчавый хозяин в длинном грязном фартуке, с пустой кружкой в руках что-то лопочет, указывая руками на дверь. Выглянувшие на шум отцовского голоса дети мал мала меньше трещат еще быстрее и шумнее, чем отец, а меньшая девочка в прохудившейся соломенной шляпке хватает Ивана за брюки и тянет в таверну.

— Где я? Где? — спрашивает Иван, пытаясь на всех языках сразу разъяснить хозяину свой вопрос и свою просьбу. — Воды, пожалуйста.

Курчавый хозяин той же пустой кружкой, какую держал в руке, зачерпывает жидкость из большой стоящей у входа деревянной бочки.

— Vino! Vino!

— Нет! No! — машет головой Иван. — За вино у меня денег нет. Non ho soldi [\[21\]](#). Воды бы!

Девочка в прохудившейся шляпке тащит из глубины грязной комнаты другую кружку, но отец отбирает ее и засовывает свою кружку с зачерпнутым вином в руку Ивана, жестом подбадривая — пей, пей.

— Спасибо. Я завтра вам деньги привезу, — шепелявит юноша и, думая лишь о том, как не проглотить камень, начинает жадно пить...

— Lo zio e' caduto [\[22\]](#). Quell'uomo e' caduto [\[23\]](#)! — говорит девочка и опускается рядом на коленки, трогая светлые волосы Ивана. — E' caduto e non riesce ad alzarsi [\[24\]](#).

(ЛИКА. СЕЙЧАС)

— Женька! Я поняла! Она перекрасилась! Ну конечно, если рыжий на черный...

— Кто перекрасился?

— Вторая жена моего первого мужа.

— Только вторых жен первых мужей нам не хватало. У тебя все кости целы?

— Вроде бы. Здесь подушки безопасности размером с парашют. В кресло вдавили, не вылезти.

— Скажи спасибо, песок сухой. Мы не перевернулись, а вместе с песком скатились с этой горы, хоть и слишком быстро, — оглядывается по сторонам Женька. Одна из включившихся в последний момент фар осталась свободной от песчаного плена и теперь освещает этот пустынный пейзаж.

— Ага, и на полсалона ушли в песок. Хорошо еще, что зарылись боком, а не передом джипа, где мы сидим. А то куковали бы по шею в песке, как Мишулин в «Белом солнце пустыни».

— Только кто бы пить из чайничка нам давал?.. Это тебя в момент падения осенило про рыже-черную?

— Угу. Днем в отеле на встречном эскалаторе заметила ее с нашим Ханом и чужим шейхом. Теперь вспомнила взгляд, как у птицы-пожара на Кимкиной картине. Я в его мастерской картину нашла, и за пять минут, пока я к старушке на верхний этаж поднялась, картину украли. Кому понадобилась? — риторически вопрошаю я.

— Откапываться давай!

— Какое тут откапываться! Моя дверца вся в песок ушла. Придется через твою.

— Мою заклинило, кажется.

— Тогда через люк в крыше. В нынешней диспозиции и крыша не крыша, а бок, и прыгать не так высоко — не верблюд. Тебе помочь? Тогда сама давай, и компас свой не забудь, а то сгинем здесь в пустыне. Хорошо, еще ночь, не жарко. Днем мы бы расплавились без следа. Лезешь? Я еще думала, что это дамочка брюнетистая при Хане с шейхом на меня так уставилась, а она меня просто узнала!

— Кто она?

— Да Алина же, рыже-черная. Она ж наверняка меня на фотографиях видела и на Кимкиных рисунках. Хотя по Кимкиным рисункам кого-то узнать можно далеко не всегда.

— Но ты же ее идентифицировала. А что твоя «вторая первого» с Ханом и шейхом делала?

— Понятия не имею. Странное сочетание. Араба какого-то она здесь еще раньше подцепила, даже к нам во двор привозила. Свекровь потом все твердила — шейх, шейх, хотя, скорее всего, какая-нибудь жалкая арабская сошка. Шейхи здесь святее Туркменбаши и Ким Чен Ира, станут они тебе с рыжими Алинами путаться. Но каким боком здесь наш Хан замешан? Я тебе говорила, что с моего балкона представительство его дивной республики

как на ладони. По ночам такого насмотришься!

— Ночами спать надо.

— Надо. А работать когда? Пока от клиентов вернешься, пока моих головастиков уложишь, вот и ночь.

— А сколько их у тебя?

— Кого, клиентов?

— Головастиков.

— Двое. Как в том кино — «мальчик и тоже мальчик».

— Счастливая. Я второго так и не сумела.

— Э, какие твои годы!

Брякнула, не подумав, и сама испугалась. Что это я несу с перепугу! У нее ж муж погиб, хоть и давно разведенный, но, наверное, сильно любимый. Еще не хватало, чтоб она снова впала в ступор. Но Женька, помолчав, вернулась к моей «второй первого».

— Выходит, нам до Цюриха еще нужно понять, как твоя рыжая-черная с Ханом и прочей нечистью связана.

В том, что Хан нечисть, у Женьки сомнений не возникало.

— Сама Хана этого в его «городе солнца» снимала. Вокруг нищета, как в позапрошлом веке, и он на «Роллс-Ройсе» по глухой степи рассекает. Ты стрелку на компасе видишь? Тогда пошли.

— И сколько мы идти будем! Мы ж во время сафари минут сорок ехали, а сейчас до падения и десяти не проехали.

— На сафари нас нарочно крутили — лево-право, верх-низ, чтоб страшнее было. Люди же платят за страшное. Если все эти повороты убрать, мы по компасу путь в три раза короче найдем.

— Как ты заметила, куда нас везли, ты ж на полу лежала?

— Профессиональная привычка. Меня на Филиппинах в их местную Чечню возили, на остров Минданао. Сопровождающих моих боевики захватили, а меня пустили на все четыре стороны, как хочешь, так до города и добирайся. С тех пор привычка направление отслеживать появилась.

Вот тебе и курица — от боевиков на Филиппинах убежала, здесь меня вытащила.

* * *

Мы обе, наверное, слишком устали от стрессов этого дня. Женька потускнела, если в этой темени можно было разглядеть чью-то тусклость. Но по ощущению она сникла, свою беду, наверное, вспомнила. А я, сбросив бесполезные панталеты, то и дело отплеываясь и отряхиваясь от забившегося всюду песка, смогла наконец подумать о беде собственной. И о собственном счастье. Об Олене.

После шекспировских страстей нашего южного двора подмосковная аморфность, в которую я попала, сбежав от мужей, не могла вызвать у меня ничего, кроме зевоты. Раз не удержалась и зевнула в постели, да так, что у кавалера все опало. Но я не очень-то и переживала за новоявленного Ромео. Спать хотелось сильнее, чем предаваться любви, тем более что собственно любви в этих телодвижениях не наблюдалось. Один инстинкт, хоть и очень древний.

Позднее в своей московской жизни я быстро запрятала душу подальше вглубь себя — не время, не время, совсем не время! Настрадалась дома, начувствовалась, налюбилась, и что толку? Теперь только карьеру делать, деньги зарабатывать и мальчишек поднимать! Надеяться больше не на кого! Но телу собственному позволяла добирать недобранное. Легкая увлеченность, настоящая на хорошем сексе, вот, пожалуй, и все, что было мне на тот момент времени нужно. Сердце и душа были отправлены на принудительную профилактику.

Была рада, когда мне звонили, не печалилась, если не звонили. Не просиживала дни напролет, гипнотизируя телефон, как это было с Тимкой в нашу еще домобильную эру. Легко и красиво сходилась, столь же красиво расходилась, уходя первой, пока ощущение не успевало испортиться и пока от меня не начинали хотеть большего.

Все было так, пока не появился Олень. Вернее, пока я не появилась на его пороге, куда меня привела его же третья жена, увидевшая у подруги оформленную мною квартиру. И внутри что-то вспыхнуло. С первого раза. То есть в первую нашу встречу я еще не поняла, не успела понять, что пожар моей души уже занялся. Оговаривая какие-то детали моей занятости на его проекте, сочла необходимым предупредить, что порой могут возникать непредвиденные сложности в виде моих детей — заболеют или в школе родительское собрание.

— А кто у вас? — спросил Олень. И, узнав, что два мальчика, мечтательно произнес: — Я тоже хочу сына!

Произнес так, что мне показалось, что его жена уже в положении. Олень замотал головой.

— Нет, только две дочки. Обе с мамами за границей живут. Вижу пролетом раз в год.

— Ничего, и сын еще будет. У мужиков все намного проще. И дольше...

И в этот миг меня и переклинило. С чего я решила, что этого сына Оленю должна родить именно я? Своих мне мало?! Но все, что в наших отношениях случалось и не случалось после, виделось мне в единственном преломлении: я ему сына родить должна, а он!.. А он торчит то в Кремле, то в Сибири. А он спит с этой идиоткой женой. А он нянчится с этой странноватой фотографшей... А он... А он... А он...

Не к месту снова вспомнила теорию моей мамы, некогда объяснившей странности моих браков тем, что это дети выбирают, когда и от кого им родиться, и тем самым сводят и разводят своих родителей. И уверовала, что развел меня с Тимуром и привел меня к Оленю мой следующий сын. Наш с Оленем сын. А уверовав, решила покорно ждать развития событий.

Покорно не получалось. События развивались не так, как мне бы того хотелось. Олень работал сутками напролет. В полном смысле слова. Делая его дом, я уж могла составить график его жизни. В минимальной внерабочей части этой жизни он то странным взглядом смотрел на Женьку (в которой, по моему тогдашнему глубокому убеждению, и смотреть было не на что, даже ревности она у меня не вызывала, только удивление), то напрочь выламывался из действительности и на неделю зависал в домике, который я специально для него стилизовала под гараж из его отрочества. Бренчал на гитаре, пилил какие-то железяки и смотрел видео с записями доисторических хоккейных матчей семидесятых годов, которые привез из Канады. Замечать меня в ином, кроме дизайнерского, качестве Олень, казалось, и не собирался.

Мне же, кроме Оленя, теперь не хотелось никого и ничего. Тело предательски отказывалось принимать любовь от кого бы то ни было, кроме него, а он мне любви не

предлагал. Тело отказывалось чувствовать что бы то ни было, не связанное с Оленем. Тело вообще отказывалось чувствовать.

Привыкнув во время двух бурных замужеств к весьма активной сексуальной жизни, я достаточно легко поддерживала заданный ритм в жизни послемужней. Недостатка в желающих поддержать этот ритм не наблюдалось. Но теперь сама загнала себя в западню. И оказавшись в постели с последним любовником уже после того, как ощутила себя будущей мамой Оленевых сыновей, ужаснулась, обнаружив, что не могу ловить кайф от того, от чего ловила его прежде. И не просто не могу, а чувствую натуральное отвращение к мужчине, который еще несколько дней назад легко доводил меня до исступления по нескольку раз за встречу.

Случившееся ошарашило — и что же теперь делать? Идиотская ситуация, когда не можешь изменить человеку, которому ты изменить не можешь хотя бы уже потому, что он тебе никто. Между вами ничего не было, и ты ему ничего не должна. Но любой флирт с любым другим мужчиной, возникавшим в моей жизни, обрывался в зародыше. Светлый Оленев образ мешал жить. А жить вне нормальной сексуальной активности женщине тридцати трех лет вроде бы тоже не пристало.

На исходе второго месяца такого «поста» я истерически наорала на обоих сыновей, на их няньку, на их черепаху Чучундру, которая не вовремя под ноги подвернулась, поругалась с текущим заказчиком, послала подальше заказчиков потенциальных и заперлась в опустевшей квартире (дети с нянькой и с черепахой сбежали подальше от меня на дачу) страдать.

И злиться. На него. И на себя.

Как я на него злилась! Боже мой! Как я на него злилась! Вглядываясь в его изображение, мелькавшее в выпусках новостей и в разного рода политических и глянцевого журналов, истово отыскивала неприятные мне черты. Не Аполлон. Тимка, тот сложен как бог. И не Геракл, не пронес бы меня на руках от Дона до нашего дома, как это запросто делал Ким. И вообще не мой тип мужчины. Не мой, и все тут!

Влюбляясь и увлекаясь и уже постфактум анализируя случайные и неслучайные увлеченности, я с удивлением вывела, что все мои мужчины были одного типа — не очень высокие, но хорошо сложенные, легкие и цепкие. Внешне Олень напрочь выпадал из этого ряда. Но попытки найти пятна на солнце успехом не увенчивались. Пятна находились. Но легче мне от этого не становилось. Мне по-прежнему хотелось только Оленя. Оленя, и все тут! Ну почему он должен был достаться этой тупоголовой идиотке, его третьей жене, а не мне?

Когда эротические сны стали посещать меня чаще, чем в пубертатном возрасте, а вместо кактуса, нарисованного в пашкином учебнике по «Окружающему миру», я вдруг углядела весьма определенный орган в весьма определенном состоянии, то поняла, что с неудовлетворенностью надо что-то делать. Понять — поняла, а что делать, так и не знала.

Вечером, замерев в кресле возле кроваток своих сыновей в покорном ожидании мига мерного сопения, когда можно будет встать и уйти «в ночное», рисовать свои проекты и макеты, я вдруг улетела в иные миры. И оттуда, из дальности неведомого мироздания, ко мне пришел Он, тот единственный Он, который был ласков и талантлив в постели, как Тимка, и красив, благороден, умен, как Кимка, и к тому же желанен, богат и харизматичен, как Олень.

Ах, если бы половину языка синьора Бенедикта в уста графа Хуана, а половину

меланхолии графа Хуана на лицо Бенедикта... Да еще вдобавок стройные ноги, and money enough in his purse... [25].

Издевалась над собой словами шекспировской Беатриче, сыгранной когда-то в школьном спектакле на английском языке, но сама все летела и летела в неведомую бездну, в которой меня ловили сильные надежные руки, прижимали к себе крепко-крепко, так, что перехватывало дыхание, и несли куда-то далеко. Может быть, в счастье.

Летела и летела в это счастье, пока через приоткрытую дверь в большом зеркале в коридоре не увидела картину, которая ничего общего с этим космосом и этим полетом не имела и иметь не могла, — усталая, растрепанная женщина, возле кроваток засыпающих сыновей руками добирающая то, что не давалось иным способом.

«В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле». Услужливая память подсунула одну из любимых фраз Ежи Леца. Внутри космос, а внешне картина весьма неприглядная, чтобы не сказать непристойная или порочная. Впрочем, все так живут. Самим себе, не то что другим, не признаются, но живут. Встала. Пятерней причесала непокорные волосы. Пора жить дальше.

И стала жить.

Как именно жить, придумать не успела. В ту же ночь позвонила свекровь, и я ринулась отыскивать бывших мужей, надеясь, что эта шокотерапия приведет в чувство, заставит забыть об Олене. Не заставила. Я забывала об Олене максимум на пару часов, чтобы потом с утроенной силой думать о нем, и только о нем, пропади он пропадом! Вот и пропал, типун мне на язык!

Я пыталась поймать себя на тщеславии, уличить в корысти — полюбить олигарха может каждая! Но каждый раз, копаясь в собственном чувстве, как пальцем в незатянувшейся ране, обнаруживала помимо возможного тщеславия и корысти и иной постулат собственной любви.

Снова и снова задавала себе вопрос, кто вскружил мне голову — человек или его образ, Олень как он есть или его олигаршьи антуражи? Полюбила бы я Оленя не в построенном мною особняке на Рублевке, а в нашем старом дворе, под гулкой лестницей? Олень не на его «Мерседесе» с охраной, а на «Тойоте», ниже, на «Жигуле», еще ниже, на автобусной остановке, в китайском пуховике с сумкой-педерасткой на поясе, такой Олень был бы мне столь же мил? И каждый раз честно отвечала: не знаю.

А потом вдруг поняла, что могу простить мужику все, кроме нереализованности. Человек в китайском пуховике — это не антураж и не стоимостный показатель, а показатель погаснувшей души. По крайней мере в это время, в этом городе, в этом мире для меня это выглядит так.

* * *

Что ты любишь в любимом?

Можно ли выявить суть и любить только суть без всех ее внешних проявлений? Что есть суть, а что ее упаковка? Можно ли в любви отделить зерна от плевел, собственно суть объекта любви от его сиюминутной упаковки?

Кимка был хорош в своей упаковке конца 80-х. Тогда непризнанные андеграундные художники были в почете, и вокруг них концентрировался весь драйв, энергетика жизни.

Тогда в нашем городе, где все транспортные маршруты сходились в одной точке — на базаре, в этом купеческом, кабацком городе кайфово было торчать в полутемной мастерской в гнилом подвале, пить дрянное винцо, противопоставляя себя системе с ее повальным блатом, жаждой достать то, чего нет у соседа, и только этим выделиться.

Кимка был тогда в своем времени и в своем драйве. Как и Тимка был в том времени в своем драйве оппозиционного журналиста. Ездил в Москву на первые съезды народных депутатов, брал интервью у Ельцина, за которое председателя его телекомпании вызывали на ковер в обком партии, что только придавало Тимке веса в глазах почитательниц. Баррикадность была у него в крови. На баррикадах Тимур заряжался энергией и передавал ее всему, к чему прикасался.

Когда аромат развеялся, эпоха сменилась, я билась над неразрешимой загадкой: это я такая стерва и люблю мужиков только на их пике, а стоит им чуть увянуть, как и чувства тут же затухают, или не в моей стервозности и женской ссученности дело? Я любила их в пору, когда у них горели глаза. Главной сексуальной составляющей для меня всегда была эта бешеная энергетика, исходящая от мужчины, который делает свое дело в жизни. У мужика, делающего то, к чему сподобил его Бог, иные глаза. Иной взгляд, походка иная. Причем это не всегда увязано с деньгами. Нет, в бессребреницы я никогда не записывалась, но драйв этого Богом данного дела не променяла бы ни на какие счета в банке. Драйв, который был когда-то в двух моих мужьях, который передался двум моим сыновьям, но из бывших мужей безвозвратно вытек.

Силилась понять, любила бы я Тимку по-прежнему, стань он звездой какого-нибудь из столичных телеканалов, с соответственным денежным приложением, а не протирай штаны в заштатной провинциальной телекомпании, которой давно уже пора сгинуть в волнах нормальной рыночной экономики, а? Вернулась бы я к Кимке, не превратись он из андеграундного художника в одного из тех спивающихся непризнанных гениев, один вид которых всегда вызывал у меня отвращение, а стань признанным на Западе мастером? Если бы работы Кима скупали крупнейшие галереи мира и неврубающиеся, но силящиеся прослыть продвинутыми богатеи готовы были выкладывать тонны баксов за его пачкотню?

Как-то, не успевая подобрать картины, призванные выступать в качестве цветочных пятен в один из интерьеров, попросила родителей переслать мне несколько Кимкиных работ, завалившихся в их садовом домике среди моих старых вещей. Обрамив достойно, выдала творчество бывшего мужа за работы самого модного ныне на Западе без вести пропавшего русского гения. И для придания веса собственному вранью счет за работы тоже выставила пятизначный — меньших счетов заказчик не просекал. Прокатило. Из пятизначного счета отложила часть на счет Кимкиного Сашки, часть на счет не-Кимкиного Пашки, а часть отправила свекрови с указанием выдавать Кимке строго по чуть-чуть, чтобы не пропил все сразу.

Была ли я как преданная жена обязана вытаскивать на свет Божий из собственных мужей их заснувшую харизматичность? Должна ли была стать для них ракетой-носителем, силясь, раз за разом преодолевая земное притяжение, вывести их на орбиту? Или все же имела право сбросить с себя мужей, как бесполезный, но тяжелый груз, и рвануть реализовываться самой? Ведь кроме долга перед мужем или мужьями у меня должен был быть и главный в жизни долг — долг перед самой собой. Долг состояться, дабы в старости не списывать собственную «неслучившесть», нереализованность на мужей и детей. Тем более на детей.

Тогда, пять лет назад, я раз и навсегда сказала себе — имею право! Я Есть! Я Буду! Мало того что я не требую с этих чудо-мужей денег и сама тяну на себе двух их чад, тянуть еще довески в виде двух папаш и одной свекрови мне не под силу, ни материально, ни морально. Выжить я смогу, только сбросив их. И я сбросила. Ускорение, приданное этим стремительным облегчением веса, позволило сделать тот рывок, без которого я не смогла бы устроиться в столице и устроить жизнь так, чтобы Сашка и Пашка могли нормально расти. И я набирала и набирала скорость, оформляла дома, офисы, участвовала в выставках, публиковалась в модных журналах, участвовала в телепрограммах, открывала собственное дизайн-бюро. Бежала и бежала все вперед и вперед и знала, как жить. Пока не встретила Оленя.

Думала — ну чем я хуже его третьей дуры. И убеждала себя, что не хуже. Только третья его дура была здесь ни при чем. Увидев глаза Оленя, смотрящего на Женьку, поняла разницу. В глазах у Оленя была вечность, только мне в этой вечности места не находилось, а я не хотела, не собиралась в это верить. Но ужаснулась явственному ощущению: предложи Оленю сейчас отдать все, что у него есть, — за Женьку отдаст. Отдаст не идею, а ее видимое успешное воплощение. Не отступится от своего дела, такие не отступаются, а, обретя Женьку, сможет начать все сначала. И преуспеть. Ведь вся его умопомрачительная карьера, все его миллионы и миллиарды были сделаны с единственной целью — доказать, что он лучше аспиранта, затмившего Оленя в Женькином сознании. Выбери Женька в девятом классе его, и, глядишь, — у страны не было бы олигарха. Зачем грызть землю и рваться в небо, когда тебе хорошо на груди у любимой женщины. Реализованные в любви слишком редко рвутся в небеса, увы! Поэтому небо полно нереализованными.

* * *

— Дорога! — вернула меня к реальности Женька, указывая рукой в сторону появившихся на горизонте огней, обозначивших шоссе. — Видишь, минут за двадцать дошли.

Судя по ее осунувшемуся лицу, и Женька эти двадцать минут провела в собственных далях.

— Машину поймать бы, и побыстрее. До города еще километров сорок. У тебя местные тугрики есть, а то я в обменный пункт и не заходила?

— Деньги-то есть. Боюсь только, ни один приличный араб таких автостопщиц на борт не возьмет. Здесь страна строгих нравов.

— И что ты нестроного в нас нашла? Помятые-порватые, все в песке... На постояльцев «Бульж аль Араба» и «Аль Махи» не тянем.

— Правильно! У нас же карточка гостей «Бульж аль Араба», покажем водителю, чтоб не сомневался. Все прочее сойдет за причуды европейских туристов.

Затея вообще-то была еще та. В мусульманской стране двум женщинам не самого аккуратного вида голосовать на шоссе, это уметь надо! Но еще сорок километров пешком наши ноги не выдержат.

— Говорят же, из-за дурной головы и ногам работа, — самокритично признала Женька. — И чего нас в эту «Маху» понесло!

— Так к Прингелю же, за информацией.

— То, что мы от Прингеля узнали, на любом сайте в интернете прочесть можно. Только

гонки по пересеченной местности себе сдуру устроили. Я устроила. Это у меня с головой что-то, сама понимаешь, — после паузы добавила Женька.

Я понимала, но по ее примеру посыпать себе голову пеплом не спешила. Моей голове хватило и песка.

— Если мы так будем помогать Оленю и твоим мужьям, останемся у разбитого корыта. Логику включать надо.

Да уж, с логикой в эти сутки у нас у обеих полный провал.

— Мужья мои вряд ли здесь... Едет что-то. Голосуй! Рукой маши! Эх, не понравились мы арабу этому!

— А зачем же мы тогда в эти самые Эмираты прилетели? Вы ж говорили, твоих пропавших мужей искать. Кстати, а чего это их два сразу?

— Жизнь так сложилась. Мужа два, свекровь, слава тебе господи, одна, второй я уже не перенесу. Голосуй!

— Ладно, чего руками махать. Все равно не остановится. Вечерний рейс на Цюрих мы так и так пропустили, придется до утра ждать, самое время заняться твоей рыжей.

— Если она уже не занялась нами. Что-то она подозрительно на меня косилась. И записка странная, после которой исчез Ким, пришла отсюда, с ее факса.

— Ну ты красавица!

— Почему красавица? — спросила я, обидевшись.

— У факса же должен быть номер! По нему можно позвонить или другой факс отправить, или по номеру узнать адрес, даже если прингелевская Беата в очередной раз захочет нас запутать.

— Про номер факса я не подумала. Свекровь записку зачитывала в самый наш миг падения в песчаную пропасть. Как-то не до того было.

— Звони свекрови, пусть номер продиктует. Звонок мой вызвал у Карины явное неудовольствие.

— Ты знаешь, сколько сейчас времени?

— Догадываюсь, что много. Но вы у Атанянов вряд ли спите.

Зная свекровину подругу Наю Атанян, я и думать не думала, что после пережитого стресса обе дамы спокойно улеглись и уснули. Наверняка чешут языки, а насчет позднего времени, это лишь бы на меня собаку спустить. Но, выдав точно отмеренную порцию нравоучений, свекровь сообщила:

— Домой нас пустили. Ничего у них там не взорвалось. Только кусок стены сарая выворочен. Жаль, весь не разнесло, а то третью неделю доломать его некому. Михаська этот твой, поруководил и уехал с вещдоками. А вещдоки — куски сарая. Сыщик! Пыль в глаза пускают, да людей по ночам будоражат.

— Ладно, чего теперь шуметь! Хорошо, что так обошлось. Валокординчику накапай и спать ложись, — на вежливость у меня уже не было сил.

— Других дел у меня прямо нет, как спать! Завтра конференция по персидскому эпосу! Доклад готовить надо, а какой после всего этого доклад! — важно заметила моя эпическая свекровь.

Но снизошла. От доклада оторвалась, продиктовала номер Алининого факса, который Женька записывала пальцем прямо на песчаной обочине.

— Привет персам! — подытожила я и стала набирать номер «второй моего первого».

Сработал автоответчик, говоривший женским голосом по-английски, все приятное

впечатление от которого смазывал остаточный налет южнорусского «гэ». В конце сообщения, Алина резко перешла на русский и скороговоркой пробормотала: «Ким! Я все поняла! Я знаю человека со змеей вокруг пальца! Таких совпадений не бывает! Найди меня!»

— Значит, она знает, где Ким, — сделала вывод из услышанного Женя.

— Или надеется, что он позвонит. Но какой-то человек с какой-то змеей на пальце волнует и ее, и Кима. В записке тоже про змею на пальце что-то было. Чушь какая-то!

— А записка от какого числа?

Женька явно устала идти и опустилась на обочину, доставая из рюкзачка сигарету. Но лишь прикурила, как зашла в кашле. Казалось, еще чуть, и ее снова всю вывернет. Пришлось вытащить из ее пальцев сигарету, бросить в песок, а самой Жене протянуть бутылку с оставшейся после сафари водой, хоть я и не была уверена, что песок, который был теперь повсюду, не попал и в воду.

— Попей. Тебе с твоими отравлениями и стрессами сейчас только курить!

— А я и не курю. Возьму сигарету и бросаю. Не идет. Того и гляди, курить брошу и растолстею.

— Мечтать не вредно. А почему ты спросила, какого числа записка? Откуда свекровь может это знать?

— С того же факса. Там же дата отправки рядом с номером пропечататься должна.

Пришлось снова набирать «любимый номер». Свекровь на этот раз не заскрипела, а попросту обматерила меня не на так и не выученном мной армянском в его донском варианте, а на чистейшем русском. Но дату посмотрела. «19 августа, 15.30. Кимушка как раз в этот вечер пропал».

— Факс пришел за несколько часов до того, как первый муж пропал. Моя подруга ему этот текст привезла — у нее факс дома стоит. Свекровь говорила, что он развернул, прочитал и вскоре со двора вышел. Больше не вернулся.

— Странно все это! В любом случае стоит спросить у этой Алины, что такого она про человека со змеей на пальце поняла, — изрекла Женька и махнула рукой очередному приближающемуся автомобилю.

Не стыкующийся с нашим грязно-песочным видом белейший, ирреально чистый, как и все машины в этой стране, «Ягуар» с тонированными стеклами, к нашему удивлению, затормозил. Вышедший из салона водитель, тоже индус, улыбнулся во все свои тридцать два зуба и гостеприимно распахнул заднюю дверцу, в которую мы с Женькой моментально проскользнули, пока индус не передумал. И лишь когда дверца хлопнулась и «Ягуар» стал стремительно набирать скорость, заметили пассажира, сидящего впереди.

— Так вы не только революционерки, вы еще и партизанки! — произнес пассажир и повернулся.

При всей краткости нашего знакомства не узнать Прин-геля было невозможно.

(ИВАН. РИМ. 1911 ГОД)

Веки каменные. Не хотят открываться.

Все болит. Руки, ноги, ребра. И рот. Скулы как судорогой свело, зубы сжались, не разжимаются. И во рту что-то мешает глотать.

Камень! Камень все еще во рту.

Значит, алмаз он не потерял. Значит, не все еще так плохо. Но где он? И что с ним случилось?

Иван пробует пошевелиться. Не получается. Кроме боли, телу еще что-то мешает двигаться. Пробует приподнять голову, получается с трудом. Всего-то обзора что простыня, которой он укрыт, и какие-то бугорки под ней. Он связан. Толстым канатом привязан к узкой кровати, на которой лежит. Это он может если не увидеть, то почувствовать. Как может почувствовать и то, что на нем нет одежды. Веревки и простыня — весь его гардероб.

Где он? Тусклый светильник в дальнем конце неуютной длинной комнаты. В небольшом уголке света на стене видно распятие. Стены мрачные, два длинных ряда одинаковых узких кроватей, застеленных тощими серыми одеялами, рядом с кроватями крашенные белой краской тумбочки. Постояльцев в этом «пансионе», кроме него, похоже, нет. Кровати и тумбочки пусты.

Где он? В лазарете для бедноты? В сумасшедшем доме? Как он попал сюда? Вино было отравлено? Но, кажется, он не умирает, разве что все тело болит. Или в вино подсыпали один из новейших препаратов, отключающих сознание, Иван читал про такие в «Химическом вестнике». Кто подсыпал? Зачем надо было его раздевать, тащить в этот убогий лазарет, привязывать? Охотятся за алмазом? Неужели в таком случае не нашли? Не догадались разжать ему челюсти? Неужто он и без сознания сжимал их столь же упорно? Возможно ли это? Скулы теперь болят от напряжения, значит, сжимает он их уже не первый час, даже теперь, когда вокруг никого нет, скулы не хотят разжиматься.

* * *

— Где же ваши карабинеры, господин министр? — не выдержал князь Абамелек, когда часы указали третий час отсутствия юноши.

— Немедленно телефонирую вновь, — суетится министр. Но по ходу телефонного разговора меняется в лице. — Князь, я должен уехать! Меня срочно вызывают к Его Величеству...

— Но где же мальчик? — произносит Мария Павловна вслед министру, суетливо убегающему по мозаичной дорожке парка вместе со своей супругой.

— Где же камень — хотели спросить вы, — возражает графиня-авантюристка.

— Что тот камень? Разве мальчик не важнее? — отвечает Абамелек.

— Сколько мальчиков держали этот камень в руках, и кто их помнит?! А камень жив, и будет жить! И славить вас! — пылко говорит графиня.

— Разница между нами, графиня, в том, что, доведись выбирать между мальчиком и камнем, вы бы выбрали камень. А я мальчика, пусть даже не родного.

— Вы говорите так от большого богатства, князь. У вас капитала — жить не прожить. Когда жизнь заставила бы вас считать последние гроши, вы бы так не судили. Не пожалели бы мальчишку.

— Вы жестоки, графиня...

— А вы, князь, излишне прониклись образом мецената. Но загляните сейчас в свою душу, спросите себя честно — мальчик или родовой алмаз, и честно ответьте самому себе, раз вслух не хотите признаться.

— Вам телефонируют, князь, — докладывает слуга.

— Кто?

— Не желают представиться.

— Не хочу ни с кем разговаривать.

— Они говорят, вы захотите, если узнаете, что мальчик у них...

* * *

Из коридора доносится какое-то шуршание. Так может шуршать дамское платье на ходу. Голоса.

— I've just called prince Abamelek [\[26\]](#), — мужской голос говорит по-английски со странным акцентом. Учитель Ивана всегда называет произнесенное подобным образом «just» — «чудовищным славянским жэканьем».

— Does he know that he can exchange diamond to the boy? [\[27\]](#) — у голоса женского тоже акцент, но другой, ближе к тому, как говорят по-английски здесь, в Италии.

Говорившие миновали коридор, больше ничего не слышно. Да и не нужно. Без того ясно — его похитили. И требуют у крестного выкуп. Он попался как младенец, а еще мнит себя мужчиной. Так подвести крестного! Теперь за его несчастную жизнь похитители требуют у князя Абамелека алмаз...

Как алмаз? А во рту у него что? Если бы у него забрали алмаз, то не требовали бы камень у СимСима. Значит, алмаз во рту. И похитители решили, что жизнь крестника богатый князь обменяет на камень. Но СимСим ведь знает, что камень должен быть у него, у Ивана. Что же он теперь должен думать? И как отсюда выбираться?

В коридоре снова шорохи. Шум. Старческое шарканье ногами, еле слышные шамкающие голоса.

Дом престарелых, вот это что! Не далее как нынче за обедом министр хвалился, что теперь в Риме выстроена образцовая богадельня, в богадельне его и держат. Не министр ли его и украл?

Общее шарканье постепенно стихает, но одинокие шажки все слышнее и слышнее. Иван пробует повернуть голову, чтобы рассмотреть в темноте, кто пришел. Старушка божий одуванчик. В белой рубахе, с веткой цветущей камелии в руке. Быстро-быстро что-то лопочет по-итальянски.

— Paolo, ti ho trovato, mio Paolo [\[28\]](#).

Явно сумасшедшая.

— La tua Lucia ti ha aspettato [29].

Старуха подходит все ближе, тянет сморщенные старческие руки к его лицу, гладит волосы. Что это? Наклоняется все ниже. Тянется сморщенными губками, которые, на манер гимназисток, складывает бантиком, к его губам. Господи, помоги! Он уважает старость, но не так же! Сухость старческих бумажных губок на его губах.

— Dai un bacio all tua Lucia [30].

Напрягаясь всем телом, Иван пытается хоть немного сдвинуть простыню, чтобы старуха увидела связанные руки, но, как на грех, простыня начинает сползать совсем с другого края. Еще чуть, и перед старческими глазами предстанет то, что он совершенно не намеревался показывать кому бы то ни было, тем более старухе. Ужас!

— Тоже рад нашей встрече! Всем сердцем рад! — по-русски тараторит Иван, теперь уже пытаюсь удержать съезжающую с торса простыню. — Помогли бы вы мне, дорогая Лючия, развязаться. Благодарность моя не имела бы пределов!

О боже, старуха увидела обнажающиеся ноги. Еще чуть, и... Боже, какой стыд!

— Dai un bacio alia tua Lucia. Adesso ti slego [31]!

Хоть что-то поняла! Указывает на веревку, которой он связан, и на свои сухонькие губки.

Бабушка хочет, чтобы ее поцеловали, тогда развяжет. Старость нужно уважать. Нужно представить себе, что это моя бабушка! Или... еще раз взглянув на явившуюся нимфу, — или прабабушка! И поцеловать бабушку. Бабушку поцеловать. О Господи! Как можно это сумасшедшее чучело вообразить бабушкой Еленой?! Лучше без воображений!

Зажмурившись, Иван клюет старушку в подрагивающие губки.

— Лючия! Нам хотят помешать. Мы должны бежать! — то по-русски, то по-французски шепчет Иван и всеми сколько-нибудь подвижными частями тела указывает на веревки.

— Di nuovo, come allora, ci vogliono impedire di essere insieme [32].

Понимает хоть что-то или лопочет просто так, а потом еще парочку подобных ей нимф позовет?!

— Освободи меня! Помоги!

Сообразила! Пытается развязать узел, но ее скрюченным пальчикам это не под силу. Смотрит вожделенно. Надо что-то говорить, зубы ей заговаривать, только не молчать! Пусть думает, что ее несчастный Паоло ей что-то говорит. Да что тут скажешь. Стихи разве что читать. Да-да, стихи! В стихах ритм завораживает. То послание, что Пушкин посвящал тетушке СимСима Анне Давыдовне.

— Когда-то (помню с умилением) я смел вас нянчить с восхищением, вы были дивное дитя... — Боже милостливый! Неужели и эта нимфа была когда-то дивное дитя, а ведь была же! Была! — Не останавливайся дорогая! Развязывай! Вы расцвели, с благоговеньем вам ныне поклоняюсь я. Я не бранюсь, я хвалю тебя! Видишь, говорю — прелестное дитя! За вами сердцем и глазами с невольным трепетом ношусь. Ношусь же, ношусь! Развязывай! Я уже продолжаю, продолжаю! Хоть Пушкин тебе нравится! И вашей славою и вами, как нянька старая, горжусь. Кто здесь нянька, кто здесь старая...

— Io salvero' il mio Paolo e saremo felici per sempre [33].

Старуха приходит в чрезмерное возбуждение. Уже горят желтые глазки, даже сквозь воск кожи пробиваются красноватые всполохи румянца. Еще немного Северянина и Блока, и

узел на связавшей руки веревке поддается кривым пальцам Лючии. Ноги Иван распутывает сам и, стыдливо обмотавшись простыней, намеревается бежать.

— Вовек не забуду доброту Лючии! Что, дорогая? Конечно, вернусь. Только разведу путь для нашего побега и вернусь! Жди. Жди! Amore! — на всякий случай уверяет Иван, пока пятится к двери. «Амор» действует на старуху умиротворяюще. Взмахнув снова подобранной веткой камелии, Лючия усаживается на стуле возле кровати, к которой был привязан Иван, ждать.

— Amore!

В простыне, как античная статуя Цезаря из парка Сим-Сима, юноша крадется по дому престарелых. Такие заведения существуют лишь для того, чтобы в них захотелось поскорее умереть. «Боже, неужто ты можешь и мне послать такой страшный конец!»

Мрачные стены. Холодный пол. Койки, выстроенные в ряд, как в казарме. Нескончаемо длинный стол в вонючей столовой — богадельню только что открыли, а отвратительный запах уже впитался в стены. Комната, которую и ванной-то не назовешь, скорее помывочная для этих живых трупов, на группку которых он едва не нарвался в очередном бесконечном коридоре.

В стенах коридоров кощунственный архитектор сделал ниши для статуй. Парочка грубо сработанных новоделов уже заняла свои места, в другие проемы, притворяясь статуей, то и дело прячется Иван, пропуская снующие по коридору старческие тени. Потом снова бежит. С этажа на этаж, шлепая босыми ногами по ледяному даже в майскую ночь полу. Где же выход из этого ада?

Дверь — заперта. Дверь — заперта. Крики за спиной.

— Fermo, fermo, tenetelo fermo! [\[34\]](#)

Это за ним? Неужели погоня?! Дверь — заперта. Лестница. Коридор. Поворот. Еще поворот. Еще дверь. Поддалась! И...

С разбегу Иван вламывается в эту первую поддавшуюся дверь и быстро захлопывает ее с обратной стороны.

— Polizia! Protezione! Aiuto! Sono Stato attaccato! [\[35\]](#)

Похоже, он через какую-то потайную дверь перескочил из одного заведения в другое. Судя по антуражу, это уже не богадельня, а вполне респектабельная на вид водолечебница. Зеркальные стены, аккуратные ванны, в одной из которых в грязи орет дама. Натурально — дама в грязи. Сеанс грязевых ванн.

— Polizia! Protezione!

— Тихо! Тихо, синьора! Не стоит так кричать! Дверь, которую Иван, вбежав, захлопнул, сотрясается с обратной стороны. Значит, все-таки погоня. Сейчас тоненькая дверь поддастся, и что тогда?

— Синьора! Только не кричите! Я влюблен. Аморе! — как заклинание пришепetyвает Иван. Помогает. Дама перестает визжать, но и дверь вот-вот поддастся тем, кто пытается ее сломать. — Да, я горю! Аморе!

Дама глядит уже заинтересованно и блаженно вторит юноше:

— Amore!

У выламываемой двери остается последняя петля.

— Прошу великодушно простить меня. Другого выхода у меня нет! Исключительно страсть ведет меня к вам, дорогая синьора! — шепчет Иван и, сбросив простыню, ныряет в ванну к даме. — Теперь, дорогая, визжите! И погромче! — успевает добавить он и с головой

скрывается в грязи ровно в тот миг, когда выломанная дверь рушится, впуская в водолечебницу толпу преследователей.

Дама, умница, визжит на полную мощь.

— Oh, diavolo! Questo e' un ospedale! Ci scusi moltissimo, signora! Inseguiamo un fuggitivo pericoloso! Dove e' andato? [36]

Дама машет рукой в сторону другой двери и истошно вопит до тех пор, пока дверь не закрывается за последним из преследователей, и лишь тогда она вытаскивает из грязи больше похожего на чудище Ивана.

— Nella doccia! [37] — его спасительница указывает в сторону душа.

— Вы так великодушны, синьора!

Юноша выбирается из ванны и, оставляя на полу следы грязи, перебегает в душ. Смываемая грязь обнажает все новые участки юного тела, и только что старательно визжавшая дама начинает учащенно дышать. Ах. Ах. Ах!

— Oh Dio, che bello! [38]

Оказавшаяся весьма округлой дама встает из своей грязи и по Ивановым следам перебегает к нему в душ.

— Adesso ti faccio fare un bagno! [39] — пышнотелой итальянке явно не терпится использовать свои ладони в качестве мочалки для его тела.

— Мама миа! Не стоит! Честное слово! Не стоит! Я сам отмоюсь! Что это со мной! Стыд какой! Только не сейчас! Можно же управлять своим телом. Можно.

Но не слушается тело. Предательски напрягается.

— Не сейчас! О нет, синьора! Не стоит! Не надо! Я сам! Знали бы в гимназии, что я буду стоять с обнаженной женщиной под душем и желать лишь убежать от нее, засмеяли бы! Другой раз. Милая синьора, другой раз! Обещаю! Domani! Завтра!

Оставляя мокрые, но теперь уже чистые следы, Иван подхватывает свою простыню, и, наспех замотавшись, исчезает в выломанной двери. Надо бы вниз, к выходу, но как выйти в этой простыне? Упекут в сумасшедший дом, а уж там в рот точно заглянут. Кажется, пробегая по верхнему этажу этой богадельни, он заметил протянутую из окна в окно другого дома веревку с сохнувшим бельем. Так и воров стать недолго. Но верну! Все верну! Только бы там сушились не женские панталоны.

Добравшись до четвертого этажа, юноша высовывается из окна, подтягивая к себе веревку с вполне мужского вида рубахой, штанами и даже поясом. Это прежде он понять не мог, как же вывешивают белье над людной улицей, да еще и на высоте многоэтажных домов. Теперь разглядел, что у этого итальянского изобретения два колесика — в окне дома на одной стороне улицы и в окне дома на другой, а между ними пущенная по кругу веревка, на которой белье парусом обыденности трепещет над улицей.

— Верну! Видит Бог, все верну! — шепчет Иван, впопыхах натягивая еще влажные штаны. — Как же отсюда выбираться? Как найти виллу князя?

В доме напротив светятся окна. Не самый приятный район, но, судя по окнам, в доме том живут не разбойники. Хотя вряд ли кто из них пустит не говорящего по-итальянски юношу в ворованной одежде с чужого плеча. Хотя...

Иван всматривается в женский силуэт, резко очерченный в светящемся окне напротив.

Не может быть! Нана!

Нана, от которой несколько дней назад он так позорно сбежал, заподозрив крестного

* * *

— Вам снова телефонируют, князь, — почти склонившись к уху князя Абамелек-Лазарева, говорит мажордом.

— Тот же голос?

— Нет, это женский голос, — дабы не компрометировать хозяина, опытный слуга отвечает почти не шевеля губами.

Голос наны в телефонной трубке удивил. Прежде в дни, когда супруга гостила на здешней вилле, его римская любовница не звонила никогда.

— Что-нибудь случилось?

— Твой мальчик у меня.

— Ну, слава Богу, стал мужчиной! Я уже волноваться начал! Какие-то странные звонки, выкуп, похищение. А он всего лишь решил стать мужчиной.

— Подожди, Семен, с ним что-то не так! Еле его узнала — грязный, в чужой нелепой одежде с безумными глазами, шепелявит...

— Камень при нем?

— Какой камень? — недоуменно переспрашивает нана. — С твоим крестником что-то не в порядке, а ты — «камень»! Какой камень?

— Да так.... Никакой. Я быстро приеду, разберусь.

* * *

«Роллс-Ройс», посланный с Иваном в банк, так и не нашелся, и князю Абамелеку пришлось ехать в экипаже.

После особой отстраненности, которую создавал салон автомобиля, в обычном экипаже князь Семен Семенович чувствовал себя словно выставленным на всеобщее обозрение. Но у незащищенности этой нашлись не только минусы, но и плюсы. Не только он оказался открыт перед городом, но и город снова, как когда-то в юности, оказался открыт перед ним. И показывал картины, не замечаемые при быстрой и комфортной езде в авто. Теперь, проезжая под многоярусными арками, которые образовывались из развешенного на веревках свежестыранного белья, он вспоминал свое первое давнее ощущение от подобного зрелища. Ни в одном российском городе он не встречал такого полета простыней, кальсон и рубаш. Казалось бы, дворянскому мальчику древнего богатого рода должна претить эта прачечная на улице, но нет. Напротив, при виде трепещущего на ветру белья он испытывал редкое чувство, будто попутный ветер наполнял и его собственные паруса, и легко и стремительно нес его навстречу будущему.

То ощущение ветра так и осталось в юности. Где сломалась его грот-мачта? Когда поник парус? Отчего ветер перестал набираться в паруса?

Пытаясь анализировать прожитые полвека, Абамелек хотел найти ту точку, с которой все пошло не так, как хотелось. Точку возврата. И ему отчего-то казалось, что точка эта где-то здесь, в Риме. Но в его пятьдесят три на эту точку не вернуться. Нужны свежие,

предвкушающие жизнь шестнадцать. Нужен тот, чьими глазами можно иначе взглянуть на жизнь и на весь этот мир.

Абамелек привез мальчика в Рим, чтобы доставить радость сыну лучшего друга. И чтобы напитаться свежестью ощущений. Чтобы еще хоть раз плотненько того счастья, который испытал в Риме сам.

В его жизни не стало радости. Не стало удовольствия. Жизни самой не стало. Можно купить еще десяток платиновых рудников и золотых приисков. Можно положить в банк еще несколько миллионов. Можно построить еще несколько домов и дворцов. Можно приобрести еще несколько древних шедевров. А дальше что? Что дальше?

Мысль эта все чаще мучила Абамелека, не давая наслаждаться жизнью, как он привык.

Что дальше? Зачем его жизнь? И жизнь его предков?

Все они, и Лазаревы, и Абамелеки, были. Жили. Работали. В нем воплотились. Но дальше что?

Зачем деньги, если, множась, удваиваясь, удесятерятся, они рожают на свет лишь новые деньги, а те — новые деньги и так до бесконечности? Как в старой сказке о золотой антилопе и жадном шахе — золото вылетало и вылетало из-под копыт антилопы, пока не погребло алчного правителя. Неужто алчность была той главной родовой чертой и Лазаревых, и Абамелеков, и Демидовых, удовлетворить которую и позволил им Господь?

Он усмехнулся, сообразив, что менее уместной минуты для таких рассуждений трудно было найти. Но мыслям не прикажешь.

Человек всегда добивается того, чего он хочет. Но лишь того, чего он действительно хочет! Эту странную фразу он услышал от старого возницы четырнадцатилетним юнцом, впервые попав в Рим. Дивный город околдовал, опьянил, вовлек в свою тысячелетнюю круговерть. И заставил вспомнить услышанное только теперь, несколько десятков лет спустя.

Человек добивается лишь того, чего он действительно хочет. Значит ли это, что все в их родах хотели только богатств? Богатства множились и множились. А роды хирели и хирели. И проклятие бездетности дошло уже и до них с Марией. Обманули Лазаревы свою бездетность, перевели род на Абамелеков. А Абамелек-Лазаревым на кого переводить?

Женившись на Марии Демидовой, он думал слить два крупнейших в России состояния, вложить образованные капиталы в новые промышленные производства, привнести то, что может дать его стране подкрепленный их деньгами промышленный и технологический прогресс. А теперь он все чаще думает — зачем? Для чего? Для кого? Для кого он задумал новый великолепный дворец на Миллионной в Петербурге и теперь мучает Фомина, архитектора, и его рисовальщиков, недовольный эскизами? Для кого он еженедельно проверяет отчеты управляющих чугуноплавильными и железоделательными заводами, угольными копиями, золотыми и платиновыми приисками, железными рудниками и соляным промыслом? Зачем ежемесячно видит, как пухнут нулями его счета в банках?

Дальше что? Где жажда жизни, без которой и жизнь эта никому не нужна?

Иван прав — мир изменился. Не только технические новинки потрясли его основы. Теория психоанализа, все больше и больше занимающая ныне его воображение, не столь заметна миру, как телефон или автомобиль, но грозит перевернуть основы миропорядка куда основательнее. Хотя вкладывать свое состояние он все же будет в телефоны, автомобили и прочие технологии, а психоанализ оставит для собственных частных нужд.

Читая теперь труды Юнга и Фрейда, он пытался понять, что есть желание? Почему оно

наиболее сильно в момент запрета и постепенно исчезает, испаряется, растекается, сливается с воздухом жизни, когда о-су-ществ-ля-ет-ся, становится доступным или, что еще хуже, вмененным?

Как он прежде спешил по этой дороге, к волновавшему его подъезду, где ждала его нана! И что теперь? Теперь он привез сюда мальчика, чтобы его глазами увидеть женщину. Чтобы почувствовать, ощутить вскипающую в юном сознании и в юном теле бурю чувств, на которую он неспособен уже давно.

Все вошло в ритуал. В привычку. В привычку, убивающую чувство. Нынче на обеде в его палатце были не одна, а сразу несколько дам, способных кружить голову и вызывать самые разные чувства, от возвышенных до вполне земных. И что же? Ничего. Ничего, кроме скуки. Графиня? Навязчива. Итальянская министерша — глупа. Хохлатка, подгребающая под себя каждую лиру, заработанную или украденную мужем, чтобы немедленно спрятать в чулок или, по-современному, снести в банк. Можно представить себе эту матрону в банке... Хотя почему нет. Постой, постой. Не ее ли спина и показавшийся неуловимо знакомым поворот шеи на снимке, что Иван делал во время их первого визита в банк, — дама, получающая или отдающая лиры через кассовое окошко. И рядом та рука со змеей на пальце. Не хватало еще ему, образованному человеку, клюнуть на приманку семейных сказок о персидских бусурманах, по всему свету преследующих лазаревский камень.

Несколько дней назад Иван сбежал из дома римской жрицы любви. То ли испугался вдруг свалившейся на него доступности недоступных прежде желаний, то ли не дорос еще до такого рода утех. Хотя по виду мальчик уже превратился в юношу. И ежели развитие ныне происходит не медленнее, чем в его времена, то юношу этого давно должны терзать желания, которые во времена его собственной юности не брался объяснить никто, а теперь берется объяснить и оправдать психологическая наука.

Теперь нана сообщила, что мальчик у нее. Значит ли это, что юные желания победили незрелый разум? Или права графиня: вид алмаза смутил рассудок его крестника? Не лазаревский же бриллиант решил поднести Иван к ногам не дешевой, но все-таки шлюхи?

* * *

Дверь в квартиру любовницы на третьем этаже приоткрыта.

«Ждут», — думает князь Семен Семенович и входит. Станный вид передних комнат с перевернутыми креслами, разодранным кружевом чехлов, разбитыми горшками пальм, которые так любит его нана, кажется Абамелеку странным.

«Так бурно выиграла молодая страсть?!»

Но, продвигаясь все дальше и дальше в глубь квартиры, с каждым шагом князь убеждается, что страсть здесь ни при чем.

Чем ближе к спальне, некогда подарившей ему столько приятных часов, тем разгром заметнее. И коснувшись рукой двери, ведущей в чертог любви, Абамелек всем своим существом ощущает, что сейчас увидит там нечто ужасное. Только не может предположить, насколько ужасное.

На пышной кружевной кровати лежит его нана. Из перерезанного горла тонкой струйкой еще течет кровь.

(ЛИКА. СЕЙЧАС)

Не узнать сидевшего на переднем сидении «Ягуара» Прингельмана было невозможно.

Труднее было понять, зачем это он оторвал свой сухой задок от антикварного арабского кресла, сориентированного на песчаные барханы, отчего столь резко прервал свои упоительные наблюдения за пустынными сернами-махами и рванул следом за нами? Спасти? Утопить? Хотя утопить нас в этой пустыне было бы проблематично, проще зарыть.

— Ну что, испугались?! Неужели я такой страшный, что от меня надо бежать пешком через пустыню?

— Мы не пешком, то есть не только пешком.

— Да, уж! Наслышан. Бедного верблюда всем миром искали, еле успокоили несчастное животное. Верблюд головой тряс и на всех плевался.

— А охранник-индус тоже плевался?

— Охранник? Про охранника не знаю. Выгонят, конечно, беднягу с работы — джип вы украли.

— Ничего мы не украли. Временно арендовали. И, попользовавшись, оставили. В чуть перевернутом состоянии.

— Чуть — это как?

— Чуть — это на боку. Лежит себе джипик в песочке на бочку. Может, даже и не очень помятом бочку.

— Да-а, красотки! Я за вас вовек не расплачусь.

— Расплатитесь. Опыт есть, с налогами же расплатились, — съязвила Женька.

— Ага. И можете спать спокойно! — поддакнула я. Прингель захихикал.

— Нет, и все же! Неужели я такой страшный?

— Не страшный, а противноватый, — честно призналась я. Приукрашивать мужские достоинства я никогда не умела, да и не хотела. Противноватый, он и есть противноватый, и нечего мнить себя Джонни Деппом.

— Ну, противноватый-непротивноватый, а до города довезу. Не хочется вас наутро еще из тюрьмы выкупать. Здесь нравы строгие. На прошлой неделе застукали целующуюся парочку из числа украинских туристов, вычислили, что они не муж и жена, а муж и жена у каждого дома остались, так обоих в тюрьму посадили.

— И вы испугались, что мы с Ликой принародно целоваться станем? — Женька поглядела на Прингеля, как на недоумка. — И не надейтесь!

— Не надеяться, что принародно, или не надеяться, что станете? — снова захихикал Прингель. С чувством юмора у олигарщика явно были большие проблемы, ладно хоть оказался не самой большой сволочью, и на том спасибо.

Теперь Прингель был само очарование. Выслушав еще пару раз моего «Тореадора», заставлявшего меня вести невольные переговоры со свекровью по поводу ночной эвакуации и недоломанного сарая, Прингель расщедрился. Позвонил Беате, приказал по интернету

найти в Ростове фирму, занимающуюся разбором старых построек и вывозом строительного мусора, поручить им свекровин сарай и даже собственной кредиткой прямо из Дубая оплатить заказ.

Душа-человек! Если б еще Оленю кинулся помогать столь же активно, цены б ему не было. Но с активностью в помощи Оленю у Прингеля явно возникла заминка. «Что же можно поделаться... сами понимаете... откуда идет... кто же может противостоять...» Всему остальному Прингель был готов противостоять с превеликим удовольствием.

За оставшиеся до города сорок километров мы успели выяснить, что Беата действительно нашла «вторую моего первого», что Алина действительно перекрасилась. Более того, все время нашего отсутствия она провела в нашем же чудо-отеле. Сначала поела золото в компании нашего Хана, а затем предавалась наслаждению в тамошних спа, столь же необыкновенных, сколь и дорогих.

— Она и сейчас в спа, ее водорослями натирают! — сообщила по телефону Беата, отправленная Прингелем следить за нашей «рыже-черной».

В принципе я собиралась не мудрствуя лукаво пойти и со своей последовательницей поговорить. Что, красавица, знаешь, — колись! Но передаваемые Беатой сводки с полей невидимого фронта напрягали все больше и больше. Мадам периодически отрывалась то от водорослей, то от масок из вытяжки спермы акул и общалась по телефону по-русски и по-английски.

Принудительно загорающая в непосредственной близости Беата (Прингель, еще раз натужно расщедрившись, решил-таки оплатить обещающий быть астрономическим счет из спа, лишь бы Беата чуть загладила перед нами часть его предыдущей вины) из Алининого общения вывела немного. «Не Агата!» — не преминула заметить Женька, подчеркивая, что личная помощница нашего олигарха не в пример сообразительнее. Но натертая экскрементами морского котика Беата все же сумела уловить, что через полтора часа «все должны собраться в роял-сьют», самом дорогом номере самого дорого отеля мира, ныне занимаемом демократически избранным руководителем дотационной российской республики.

— Так! — скомандовала Женька. — Тебе придется внедряться в роял-сьют, без тебя там никто ничего не разберет. А мы будем результата ждать на ближних подступах. — Я буду ждать! — поправилась Женька, заметив, как шея Прингеля после услышанного «мы» автоматически втянулась в плечи. — Если будешь задерживаться, отзвони. Я в Цюрих полечу одна, в Москве тогда встретимся.

Окончательно договориться не успели. «Ягуар» уже ехал по центру города.

— Тимка!!!

— Что?

— Тормозите! Тормозите же, говорю, или разворачивайте! Там Тимур!

Мне показалось, что на набережной среди облаченных в белые хламиды арабов мелькнул мой второй муж.

— Да тормози же, мать вашу! — но водитель понимал лишь указания непосредственного шефа.

— В этом месте остановка запрещена. И разворот запрещен. Здесь очень высокие штрафы за нарушение правил дорожного движения.

— Какое к черту дорожное движение! Тормози, тебе говорят! Не то прямо на ходу вывалюсь.

Пока до Прингеля не дошло, что надо приказать остановиться, мы продолжали ехать, и ехать с весьма немаленькой скоростью. Когда «Ягуар» затормозил, нужная мне часть извивающейся набережной с мелькнувшим на ней Тимуром уже скрылась за поворотом. Вырвавшись из машины, я побежала, как не бегала со времен институтских зачетов по физкультуре. Скорее, скорее. Исчезнет же в хитросплетении мелких торговых улиц.

Степенные арабские мужчины с ужасом взирали на босую, растрепанную белую женщину, со всех ног мчащуюся и орущую «Тим!». Еще не хватало, чтобы меня арестовали за нарушение общественного порядка.

Сердце выскакивало на бегу. Тимка или не Тимка? Если он, то почему здесь? Разве бывает так, чтобы ткнуть пальцем в почти случайную точку на глобусе и именно там отыскать свою пропажу. Или это не пропажа? Мало ли какой европейского вида турист на Тимура похож.

Миновала поворот. На нужном мне отрезке набережной оказалось на удивление пусто. Совсем пусто. Лишь китайцы, перегружающие с маленьких баркасов на парапет свой проникший во все мировые щели товар.

Тимур мог исчезнуть в одной из этих разбегающихся от набережной узких улочек района ювелирных магазинов с неблагозвучным для русского уха названием «Голд сук». И тогда его уж точно не найти. Или мог уплыть на одном из туристских или торговых баркасиков, что бороздят воды бухты. И тогда, чтобы его догнать, надо знать, куда плыть — в сторону города или в сторону Персидского залива. Или это мог быть вовсе и не Тимур — приключений у меня сегодня хватало, могла и обознаться. Да и не видела я бывшего мужа пять лет, кто знает, как он теперь выглядит?

Впрочем, измениться радикально он вряд ли мог. Не видела же я его только живьем, а в новостях разных центральных каналов иной раз мелькали его репортажи из родного города, и каждое появление Тимура в кадре оглашалось громогласным криком «Папа!». Причем, как водилось в нашей чудной семейке, при появлении любого из отцов «Папа!» кричали и Пашка и Сашка разом. Отцов в их жизни было так мало, и сыновья подспудно решили эту малость по-братски делить на двоих...

— Упустила? — запыхавшаяся Женька уже стояла рядом со мной.

— А ты зачем бежала?

— Сама не знаю. Наверное, чтобы бежать. Когда бежишь, легче. Остановишься, совсем плохо. Не он?

— Упустила. Прибежала, а на набережной уже никого. А здесь разве найдешь?

Спустилась вниз, к бухте, опустила испачканные песком ноги в воду — панталеты, кажется, я потеряла еще в пустыне. Рядом Женька расшнуровывала свои кроссовки.

— Может, не он?

— Чую, что он. Обознаться я не могла. Но что он здесь делает?

— Что? Ты же сама везла меня в Эмираты искать пропавших мужей, а теперь спрашиваешь, что они здесь делают. Или все это легенда?

— Легенда не легенда, но приврали изрядно. Олень просил увезти тебя хоть куда-нибудь, чтоб ты в четырех стенах не сидела. Развеять.

— Развеяли!

— А мужья мои реально пропали. Только дома. И зацепок не было. Олень обещал, что его «дизайнеры» всех на уши поставят, но мужей моих бывших найдут. Тебя ж в каком-то иноземном заточении нашли.

— Меня нашли, — согласилась Женька и, облегченно выдохнув, тоже опустила ноги в воду. — Но Эмираты при чем?

— И Эмираты особо ни при чем. Кроме Алины, зацепок здесь не было, да я и не очень рассчитывала, что будут. Больше на Оленя и его «дизайнеров» надеялась, но им теперь не до моих мужей. Мне и самой уже, кажется, не до мужей было, пока Тимка не мелькнул. Что он может здесь делать?

— Мог к этой рыжей, которая черная, прилететь. По-родственному, — предположила Женька. — Найдем ее, разберемся. Разберемся, а?

Последнее «а» было адресовано уже не мне, а подошедшему Прингелю. Бежать за нами он не стал, его правильный водитель нашел правильный разворот. И теперь недавний Оленев сподвижник с удивлением разглядывал свалившихся на его лысую голову дамочек, болтающих ногами в воде, и не знал, что лучше сделать — покрутить пальцем у виска или сбросить штилеты из кожи пони и, наплевав на белизну льняных штанов, шлепнуться рядом.

— Дальше что? — поинтересовался отставной олигарх. Он поддался живому порыву и теперь с видимым наслаждением болтал пухлыми волосатыми ножками в воде.

— Дальше? Дальше все по плану. «Чемодан-вокзал-Ростов», — проскандировала явно посвященная в тайну спартаковских пристрастий Прингеля Женька.

— С предварительной засадой в роял-сьюте, — добавила я.

* * *

В ванне нашего многоярусного номера в отеле-парусе я быстро смыла песок с тех частей тела, которые невозможно было прополоснуть на набережной. Хотя я и на набережной прополоснула бы, с меня бы случилось, только после этого в строгой мусульманской стране от тюрьмы меня и Прингель бы не откупил. Но если сидеть на ночной набережной и болтать в воде ножками мне нравилось — век бы так и сидела, то закончить водные процедуры в этой навороченной ванной поспешила как можно скорее, чтобы вычурность золоченых кранов и унитазов не успела окончательно отравить мою дизайнерскую душу.

Пока вытиралась, Женька снова включила CNN.

— Российский бизнес серьезно озабочен сложившейся ситуацией... — бубнил министр-волчара, которому я полтора года назад оформляла кабинет и загородную домину в четыре наземных и два подземных этажа.

— Озабочен он, как же! — пробурчала Женька. — А сам, небось, уже давится от предчувствия, как сожрет Оленя.

— Откуда знаешь?

— В девяносто седьмом этот крендель Оленю залоговый аукцион проиграл и с тех пор все ждал, где бы ножку подставить. Подставил, нечисть...

Волчара в тускловатом свете смотрелся не столь фартово, как в декорациях собственного министерского кабинета, мною для него созданных. Скорее выглядел зловещей тенью в игре на контрсвете. Такой же зловещевой тенью он казался в ночь, когда я его случайно заметила во дворе ханского представительства. Свекровь тогда еще позвонила, что мужей украли, я работать села, но не работалось, вот на балкон и вышла и засекала его...

Странно. Ведь я тогда с балкона видела Хана, который нынче здесь, ждет не дожидается меня в королевском номере. И Шейха видела. Или не шейха, но так я тогда обозвала араба в длинной белой хламиде. А сегодня утром на противоположном эскалаторе я снова видела Хана и Шейха. Может, даже того самого. Поди пойми, он это или не он. С черной бородой и в белых накидках для меня они все на одно лицо. Странные параллели. Теперь Хан и Шейх здесь с моей рыжей последовательницей каким-то боком причастны к исчезновению моих бывших мужей. А Волчара-зверь, по словам Женьки, не может не быть причастен к истерии, устроенной вокруг Оленя. Какая между ними связь?

Додумать промелькнувшую мысль не успела, пора было внедряться на двадцать пятый этаж, в роял-сьют — королевский номер.

План был прост. Женья, разыграв очередной приступ, отвлечет дежурящую на этаже менеджершу, а я, стащив запасной ключ, внедрюсь в королевские покои. Так и случилось. Женьке и разыгрывать особо ничего не пришлось. При одном взгляде на нее становилось понятно — человеку плохо. Очень плохо. Нужна срочная помощь.

Пока менеджерша кинулась помогать теряющей сознание постоялице, я внедрилась в еще пушью роскошь роял-сьюта. И пожалела, что не прихватила с собой противорвотное. Все, что успела мельком разглядеть, пока протискивалась поближе к зале, откуда доносились голоса, сияло золотом. Богатство, прущее в этом отеле изо всех щелей, в его главном номере было удвоено, утроено, удесятерено. Эльке бы понравилось.

Если наш с Женькой «обычный» полуторатысчедолларовый номер был выдержан в модных пятилетку назад сине-золотых тонах, то десятитысячный (десять штук зеленых за одну ночь!) королевский сьют добивал золотом, замешенным на крови. Такое впечатление производил здешний красный со здешним золотым. Создававшие его дизайнеры были явно помешаны на золоте и на дорогом текстиле. Всюду подушечки с буфами, естественно, золотыми. Огромные персидские ковры ручной работы, тоже, разумеется, кроваво-золоченые — мечта тирана! А это что за дверка?! Мамочки родные, лифт между двумя этажами этого номера! У нас точно этот лифт за отдельные гостиничные апартаменты приняли бы.

О, а это уже апупеоз дизайна для особо избранных: невероятных размерищ багряная кровать, поднятая на постамент и заточенная в золотой круг с четырьмя черными траурными мраморными столбами по периметру. Вау! Кровать для комплексов! На таком ложе только тиранов умерщвлять, а нормальным людям спать и друг друга любить едва ли получится.

Впрочем, любить тут, кажется, никто никого и не собирался. Или собирался? Только не того, на кого можно было подумать. Ой, куда это я случайно нажала, что кровать эта закрутилась?! Вот для чего, оказывается, здесь круг! Точно, гроб на колесиках! Как это теперь остановить, не то на шум все сбегутся?! Выключайся давай, выключайся!

Обойдя королевский номер по кругу, я с тыла спальни подобралась к его главной гостиной, откуда и доносились голоса. Но не успела приложить ухо к двери, как дверь эта растворилась, стукнув меня по голове. На пороге стоял натуральный Кинг-Конг в арабской одежде. И с высоты своего дюжего роста смотрел на меня, ну что, мол, попалась!

Кинг-Конг указал в сторону двери и втолкнул меня в общую залу королевского номера. Последовательницы моей в комнате уже не было. Зато сидели Хан с Шейхом, тем самым, которого в свой последний московский вечер я заметила во дворе ханского представительства. Оба смотрели на меня весьма напряженно. Хан пугливо тербил мочку уха. Шейх с ухмылкой ненасытившегося варана крутил огромный перстень на среднем

пальце правой руки. В какой-то из оборотов перстня Шейх почти снял его, и на открывшейся фаланге стал виден рисунок — четырехкратно обвившаяся вокруг пальца змея.

(ШЕЙХ. 1969 ГОД)

В школе учитель втыкал палку в песок, чертой отмеряя конец урока, и все следили, когда тень доползет до черты.

И была одна книжка — Коран. Что и значило «книга». Других книг в его стране тогда не было.

Так на песке он проучился четыре года. А на пятый, в 1969-м, попал в Оксфорд — первым из своей страны. Потому что годом ранее в его стране нашли нефть.

До того, нищий ты или наследный принц, значения не имело. Та же нестерпимая жара, ни деревца, ни капли воды вокруг, тот же голод, та же боль во вспученном животе. Врачей, таких, чтобы в белых халатах и с фонендоскопами, в стране тоже не было ни для кого — ни для правителей, ни для подданных. И ему, сыну шейха, знахари делали такие же прижигания вокруг пупка, как детям бедноты. Впрочем, беднотой тогда были все. Верблюдов пасли на дощечках — подкладывали дощечки под ступни, чтобы раскаленный песок ноги не спалил, и так, нагибаясь то за одной, то за другой дощечкой и перекидывая их вперед для следующего шага, шли за своим верблюдом по пустыне.

Животы распухали, как взбесившиеся воздушные шарик, которые, казалось, вот-вот лопнут — потом, в Лондоне, он видел такой фокус у уличного клоуна, надувавшего разноцветные шары каким-то веселящим газом. И арабские знахари, тысячелетиями лечившие истощение прижиганиями, отговорив свои молитвы, раскаляли на огне особые, похожие на клейма, палки, и под вопли измученных детей начинали свое дело. В его стране верили, что если прожечь кожу вокруг пупка, то в образовавшуюся дыру сможет уйти нечистый дух, пробравшийся в бедное детское тельце.

Мальчики от боли истошно кричали — девочек тогда не лечили, и он даже не задумывался, почему. И в этом крике знахарям виделось избавление от нечисти.

Мальчики кричали. Он молчал. Было больно, нестерпимо. Но он не мог и представить себе, как это сын правителя будет кричать на глазах толпы. И что если потом, уже правителем, он будет вынужден предстать перед лицом этой толпы, а среди тысяч, упавших на колени, найдутся десятки вспомнивших, как он мальчишкой орал от боли? Разве смогут они после этого верить своему правителю?

В жизни «до нефти» у шейхов их страны был только долг. То положение, которое обязывает. Все остальное наравне с теми, кто имел право от боли кричать. Позднее, в оксфордской школе, тщательнее, чем его одноклассники, изучая историю британской королевской семьи, он нашел в далеких от дикого арабского мальчишки Виндзорах то общее с ним, что могло связать только истинных особ королевской крови. То подсознательное или осознанное, с кровью или с набором ДНК переданное понимание собственного места и собственного долга. Говоря о бомбардировках Лондона во время Второй мировой войны, учитель истории рассказывал, как теперешняя королева-мать едва не уволила своего дворецкого, осмелившегося на Рождество подать к столу присланный в подарок окорок.

«Слабоват для королевы подарочек! — расхохотался Харрис, сын автомобильного магната. — Вот и погнала слугу, чтобы всякую муру ей к столу не тащил!»

Что взять с плебея с тюнингом вместо внешности и карбюратором вместо сердца. Этот никогда не поймет, отчего королева не могла принять больше того, что в войну полагалось взрослому жителю Лондона по карточной системе. И отчего его собственный отец, шейх, даже схоронив троих собственных умерших от голода детей, до недавнего времени не позволял себе и своей семье больше того, что могли позволить себе простые граждане его страны. У автомобильного наследника иное мышление и иная степень ответственности.

Когда время изменилось и вместо появлявшейся в старых легендах волшебной струи воды на их измученную землю еще более волшебным черным потоком хлынула нефть, шейх-отец послал его учиться. Чтобы он сумел понять, к чему обязывает их род новое великое положение. «В бедности мы жили, и жили достойно. Теперь мы должны не уронить свое достоинство и в богатстве!» — сказал тогда отец.

А времена у их династии случались всякие. Легенды гласили, что пару веков назад их род знал и золотые времена, сменившиеся после безраздельной нищеты, которую успел застать и он. Правящей их династия стала в девятнадцатом веке, когда первый из его предков ушел от безумно богатого двора персидского шаха, и, переплыв Персидский залив, поселился на этой забытой пророком безводной земле.

Что заставило его покинуть роскошь империи персов и опуститься до житья в пустыне — неведомо. Но неосознаваемое им самим пророчество привело его сюда. И полтора столетия поколение за поколением держало здесь его потомков, заставляя мучиться и бедствовать на этой почти бесплодной земле, чтобы на исходе века двадцатого вылиться бесконечным нефтяным и новым золотым дождем. И надо же, чтобы дождь этот случился теперь, при его жизни, и ему был дарован редчайший шанс — шанс на сравнение.

Прародители его, вместе со всем народом честно пройдя весь путь нищеты, не успели узнать жизни иной, с достатком, доведенным до уровня баснословной роскоши. Дети его нигде, кроме как на старых кадрах хроники, не увидят вспухшие животы таких же малых, как они, детей, и уже не поймут, не узнают, что значит голодать. Для его детей автомобильные гонки в Монте-Карло, день рождения в парке развлечений под Лос-Анджелесом, скакуны за много миллионов долларов входят в почти унылую каждодневность.

Ему же выпал редкий, единственный шанс почти вертикального взлета. Не просто из нищеты в богатство, а из невозможности в возможность! В возможность видеть будущее и нефтяными миллиардами своей династии приближать его.

«У человека есть выбор: или следовать за кем-то, или пробивать дорогу. Посланные нам богатства выбора не оставили — мы вынуждены своими лбами прокладывать новый путь. Иначе зачем эти богатства нам посланы?!» — сказал отец, отправляя его в неведомый западный мир — учиться.

Когда самолет, к которому его подвезли на арбе, взмыл в небо, он, доселе не видевший даже машин, решил, что так душа прощается с телом. И стал истово молиться. Через двадцать минут молиться надоело, и двенадцатилетний мальчик выглянул в иллюминатор. И увидел землю — извивающиеся змеи дорог и переливающиеся золотым монисто огни городов. И солнце! Восходящее над горизонтом солнце. Здесь, над облаками, оно казалось нестерпимо алым и нереально огромным, как нереально огромным был взваленный на его плечи долг — понять, куда вести свою страну, чтобы она смогла жить, если черный фонтан их счастья вдруг иссохнет столь же внезапно, как и возник.

В Оксфорде он выглядел дикарем, запущенным в Виндзорский замок. Он и не знал, что солнце может быть не палящим, а просто светящим, холодным — оксфордские ноябрьские плюс тринадцать по Цельсию были для него холодом. Не знал, что жизнь может протекать не на улице, а уроки и развлечения могут проходить за каменными стенами. Эти пришедшие из глубины чужих веков увитые плющом каменные стены он воспринимал как заточение. Куда ни повернись, взгляд всюду упирается в камень, а ему не хватает желтой бескрайности пустыни.

Одноклассники по знаменитой школе в первые дни воспринимали его как бесплатное развлечение. Где еще в наши дни увидишь человека, который не умеет сидеть на стуле, не умеет пользоваться столовыми приборами. Назначения серебряных палок и лопаток — вилок и ложек — он не понимал, пытался хлебом, как лепешкой, поддевать кушанья. И как сидеть на стульях, не понимал, — зачем эти жесткие, раскоряченные деревяшки, когда так удобно, сложив под себя ноги, сидеть на подушках.

Он не понимал. Его дразнили. Дразнили долго и жестоко, как только могут дразнить в закрытой школе для мальчиков из аристократических и просто очень богатых семей эти самые аристократические и просто очень богатые мальчики. Дразнили все. Один только толстоватый, оттого сам задразненный сын лондонского банкира Джереми, добровольно или принудительно поселившийся с ним в одной комнате, не участвовал в общей вакханалии. Не защищал, силой и авторитетом для этого не вышел, но и участвовать в организованной травле арабского шакальчика не стал. Остальные дразнили. Дразнили за все.

За ложки и вилки, выглядевшие в его руках хуже, чем в их собственных руках палочки хаши, которыми потом в японских ресторанах неуклюже учились орудовать сами дразнившие.

За ноги, день за днем растираемые в кровь классическими английскими ботинками. Дома он ходил только босиком или в легких сандалиях, и жесткость натирающих ботинок долго еще казалась ему пыткой, худшей, чем прижигания каленым железом.

За ужас в глазах при виде мужчин, одетых в обычные брюки, а не в привычный для него дишдаш [\[40\]](#).

За равнодушие к «Биттлз».

За неучастие в обсуждениях студенческих бунтов.

За то, что не читал Сэлинджера.

За то, что не знает, кто забил решающий гол в матче с бразильцами на последнем чемпионате мира по футболу.

За татуировку — змею, обвившуюся вокруг среднего пальца правой руки, — отличительный признак всех мужчин их рода. Откуда эта змея взялась в их династии, точно не мог сказать уже никто, но с торжественностью, присущей любому арабскому обряду, каждому мальчику шейхского рода прорисовывали на среднем пальце правой руки эту четырежды обвившуюся змею.

За то, что не считал, как другие одноклассники из богатых семей, школьную кормежку отвратительной и несъедобной. Для доселе голодавшего мальчика и каждодневная овсянка с нудными йоркширскими пудингами и прочими скудностями британской кулинарии казались пиршеством. А пуще радовала уверенность, что и завтра, и послезавтра, и через

много дней он будет сыт. Прежде такой уверенности не было, и он еще долго не мог укротить в себе животный инстинкт, при любой возможности стремясь наесться впрок.

В школьной столовой он, жадно давясь и не замечая издевок одноклассников, уплетал все, что ставили на стол. Автомобильный наследничек Харрис подговаривал мальчишек, и те подсовывали ему новые и новые порции, споря, после какой тарелки его стошнит, но он все не мог остановиться. Пока однажды не увидел происходящее со стороны — этот устроенный одноклассниками жестокий зверинец. Весной он сам так же смотрел на голодного шакала, прирученного бродячим фокусником, выступавшим в его городе. Шакалу кидали недоеденные куски, и измученный зверь не замечал ни палок в тощие бока, ни плетей.

Он понял, что теперь таким шакалом, выставленным на потеху одноклассникам, стал он сам. И, не доев, отодвинул от себя все тарелки, мысленно поклявшись, что лучше он снова будет голодать, чем еще хоть единожды в жизни переживет такой позор.

— Damn! — чертыхнулся автомобильник, поставивший десять фунтов, что арабский дикарь проглотит не меньше шести порций, а тот вдруг отодвинул от себя уже третью.

* * *

В Оксфорде он в первый раз влюбился. Отчаянно и безнадежно, как можно влюбиться только в первый раз. В рыжую, как огонь пламени в здешних каминах, девушку.

Рыжая была старше на пропасть — то ли пять, то ли шесть — лет. Училась в колледже и видеть не видела смешного арабского мальчика, в котором в те дни никто не смог бы угадать наследника и будущего правителя богатейшей и стремительно развивающейся восточной страны. А он, ослепнув от солнца ее волос, каждое утро за полтора часа до начала уроков подметал тротуары напротив дома, где девушка снимала одну из меблированных комнат на втором этаже. Слишком редко пересекались пути студентки-первокурсницы и школьника, и, чтобы провожать взглядом ее, несколько минут гордо шествующую вдоль дома, пришлось наняться на работу, что только добавило насмешек от одноклассников.

Юбка в складочку, куда выше колен (в своих песках он и женских колен никогда не видел!), тонюсенькие чулочки, желтый свитер, обтягивающий высокую грудь («Ястакфирулла»! [\[41\]](#)).

В эту минуту он мог вымести все — и покрывающую тротуар желтую листву, и ботинки собственного преподавателя. При ее появлении в горле пересыхало, сердце начинало исполнять шотландскую джигу, виденную им на школьном концерте, и ничто не могло остановить столь явственно ощущаемого бурления, которое по всем артериям устремлялось к одной точке в его теле. И точкой этой была отнюдь не голова.

Он стал убирать свои тротуары не только утром, но и вечером, чтобы в свете незашторенных окон различить ее силуэт. Встала, подошла к шкафу, взяла книжку, снова села к столу, и видна лишь отливающая медью ее макушка, долго пишет, снова встает и — о видение! — через голову стаскивает свитер, и...

Ничего не «и». «Damn!», как говорит автомобильник. С улицы видна лишь ее шейка, кремовая, как пирожное из кондитерской на углу, и можно только догадываться, что там дальше. Теперь он уже догадывается. Сосед по комнате тихоня Джереми показывал ему один из тех журналов, которые мальчишки прячут под матрасами и которые в его стране и

вообразить себе невозможно.

Ее окно притягивало, как магнитом, действие которого он изучал вчера на уроке физики. «Разнозаряженные частицы притягиваются». Они — разнозаряженные.

Он темный, смуглый, словно на лице его оставило след веками палившее его пустыню солнце. Она — медно-рыжая, с кожей, подобной дождю, что день за днем вымывает ее северный остров. Лишь вены голубоватыми дорожками дождевых потоков просвечивают на прозрачности ее рук и лица.

Он еще маленький, она уже взрослая.

Она копается в тонкостях идиоматических выражений в «Ричарде III», читает «Медю» на языке Еврипида и разыгрывает «Много шума из ничего» в Театральном обществе Оксфордского университета. Он никак не вызубрит неправильные глаголы, и уже понимая, что говорят вокруг, все еще панически боится вступать в разговор на чужом языке.

Они разные. Совсем разные. Он не войдет в ее дверь, не сможет позвать ее в кино, не сядет за столик рядом с ней в библиотеке. Ее невозможно представить себе в абайе и хиджабе ^[42], выпекающей лепешки, как это до недавнего времени делала его мать. Им нет места в мирах друг друга. Он это знает. И потому его еще сильнее тянет на предвечерний пост под ее окном.

В один из вечеров, когда все обитатели этих студенческих мебелишек отправились на очередной бурный митинг, она вместе с подругой отчего-то рано вернулась домой. Тяжелая входная дверь не успела за ними закрыться, и, замерзнув от двухчасового сидения в кустах, он проскользнул внутрь, погреться. Тихо поднялся на второй этаж и остановился.

В экономной темноте коридора резким желтым мазком проступала полоса вечернего закатного солнца, прорвавшаяся из неплотно прикрытой двери ее комнаты. Сделав шаг-другой к этому свету, он инстинктивно зажмурился, а после, открыв глаза, так и остался стоять, ослепленный. Его Мечта с книгой в руке стояла рядом с подругой, обычной черненькой очкастой активисткой студенческих митингов и собраний, которыми в ту осень шестьдесят девятого кишел даже благопристойный Оксфорд.

Активистка как активистка. Ничего особенного. И ничего странного, он же сам видел, как обе девушки вместе прошли в дом. Репетируют свою шекспировскую комедию. Он сам видел афишу университетского Театрального общества, премьеры скоро. Она играет Беатриче, а эта черненькая Геро.

Но движение за дверью не было похоже на зубрежку текста. Скорее, на танец. Книги в руках девушек, мелькающие в доступной его обзору приоткрытости двери, сменялись сплетением самих рук. Может, текст уже заучили наизусть, вот книги из рук и выпали, и девушки уже без них продолжают свой странный танец.

Он не слышал мелодии, но вскоре уловил мерный ритм их движения. Обе, золотая и черненькая, в такт этому завораживающему ритму свершали свое кружение, касаясь друг друга выныривающими из-под плиссированных юбочек коленками и манящими выпуклостями, вырывающимися из трикотажных объятий голубых жилеток.

Круг — и, стащив жилетки, так же завораживающе медленно девушки расстегивают одна другой пуговицы белых рубашек. Еще круг, и они уже касаются друг дружку оголившимися животами.

Арабскому мальчику кажется, будто он сам оказался на месте очкастой и чувствует на собственном животе тепло кожи своей золотой возлюбленной. И он не замечает, как вытаскивает из штанов собственную рубашку и расстегивает несколько нижних пуговиц,

освобождая свой обожженный пупок, будто так ее тепло легче сможет дойти до его тела.

Прежде он никогда подобного танца не видел. Прежде он вообще никогда не видел мелькающих сейчас частей женского тела, кроме как на картинках в журнале Джереми. «Ну и титьки!» — ухал Джереми на какую-нибудь из фотографий женщины с оголенной верхней частью тела. И, прихватив журнал, бежал в туалетную комнату, чтобы через несколько минут вернуться оттуда взмокшим, чуть пристыженным, но довольным. Арабскому мальчику, воспитанному в мире, где в те годы слыхом не слыхивали о подростковой сексуальности, было невдомек, зачем сосед по комнате бегает в туалет.

Выросшему в стране, где женское тело полностью скрыто от посторонних глаз, где девочки, дорастая до возраста его нынешних одноклассниц, уже не появляются перед мальчиками и мужчинами без некаба [\[43\]](#), в этом чуждом западном мире ему было непонятно странное разделение тела на доступное всеобщему обозрению и строго запрещенное.

Он не мог разобраться, отчего одноклассники во время спортивных занятий запросто стоят рядом с почти раздетыми живыми девочками, не обращая внимания на их голые ляжки, голые руки, голые шеи, а потом сходят с ума от голых титок на картинках. Отчего голые лица, голые ноги в этом мире считаются приличными, а голые задницы заставляют Джереми багроветь, облизывать губы и вихрем нестись в туалет.

Восточного мальчика, выросшего в полной телесной закрытости, в этом вольном западном мире сводило с ума все — и плечи, и шейки. Выглядывающие на улице из-под мини-юбочек ноги казались не менее восхитительно постыдными, чем-то, от чего заливались пунцовой краской щеки и пересыхали губы его одноклассников. Вид шеи, не спрятанной в ворот толстого свитера, а штрихами прорисованной в горловине блузки, доводил почти до обморока. И постоянно напрягающаяся от свалившихся на него ощущений часть его тела все чаще не умещалась в изуверских европейских трусах и штанах, в которые он теперь был вынужден заточить свою, живущую отдельной от него жизнью, плоть.

Жизнь в женском окружении казалось ему одной невероятной непроходящей горячкой. Так он чувствовал себя в прошлом году, когда, заболев воспалением мозга, лишь чудом выжил. Такой же пожар в голове, к которому теперь прибавился еще и пожар в штанах. Чем заливать этот невесть от какой искорки разгорающийся пожар, арабский мальчик не знал. Доступный одноклассникам способ был ему неведом, а ровесникам и в голову не пришло учить его тому охаянному, общественно осуждаемому, но пока единственно доступному для них способу удовлетворения, к которому сами они пришли, ведомые одним лишь инстинктом. Его собственный инстинкт, загашенный нормами иной морали, ничего подобного ему не подсказал. И, раз за разом ощущая нарастающее пекло между ног, он боялся пошевелиться и хоть как-то унять свой огонь. Боялся, что пекло разрастется и этот пожар спалит его самого.

Но то, что он видел сейчас в узкой щели неплотно прикрытой двери, было даже не пожаром, а пропастью. Вулканом, в кратер которого он падал, как в бездну, рискуя в следующее мгновение вылететь в небо вместе с лавой вдруг ожившего каменного монстра. Нормы западной морали столь разительно отличались от привитых ему в детстве законов его мира, что и этот нарочитый лесбийский танец не шокировал его. Просто большего шока, чем испытал он, попав в этот обыденный, пристойный, вполне допустимый здешними нормами уклад жизни, испытать было уже нельзя.

Он не понимал, что делают девушки. Не понимал, почему их двое. И почему они раздеваются. Зрелище, способное одновременно шокировать и возбудить любого

британского пуританина, и без того возбужденному мальчику казалось делом не более постыдным, чем шепотки на ушко, которые запросто позволяли себе и девочки и мальчики в его классе. Просто арабскому мальчику в этом мире постыдным казалось почти все.

Танец девушек не шокировал, он словно всасывал, втягивал его в некую черную дыру неосознанного, по спирали закручивая его тело в стремительно убыстряющихся витках чувственности.

Круг — и девушки, скинув рубашки, уже касаются друг друга животами и мягкими трикотажными лифчиками — серым у очкастой, телесным у золотой. Еще пол-оборота и они тянутся друг к другу обветренными в оксфордском ноябре губами. Ближе и ближе. Пока не сливаются губами и животами, и вырвавшимися из плена бюстгальтеров упругостями, которые он прежде видел только на картинке в постыдном журнале Джереми и которые на самом деле столь восхитительно непостыдны.

У очкастой груди небольшие, остренькие, а у его золотой девушки более крупные, такие мягкие, манящие, что ему уже кажется, что это не очкастая, а он касается их своими ледяными руками и пылающими губами. И он не понимает, где он сам, за дверью, в стылом темном коридоре, или там, в освещенной последними проблесками осеннего солнца комнате, замер между двух остановившихся посреди странного танца девушек.

Он не знает, не может, да уже и не хочет понимать, почему две девушки сливаются в объятиях, почему, не разжимая губ, стаскивают тоненькие треугольнички трусиков, почему опускаются на кровать, почти исчезая из поля его зрения.

Он не может и не хочет понимать ничего, кроме того, что там, в комнате, происходит нечто, недоступное его пониманию. Отвратительное и прекрасное. Манящее и пугающее. Радующее и тревожащее. Влекущее в небеса и бросающее в бездну.

Где-то там, всего лишь в нескольких шагах от него, кто-то трогает Его Золотую Девушку. Ее руки, ее шею, и груди, и маленький пупок, и ноги, и то, что там, между ног. И волосы — эти опаляющие сознание огненно-рыжие волосы, что сводят его с ума. И этот «кто-то» не он. Этот «кто-то» вообще не мужчина.

Что было бы с ним, окажись сейчас на месте очкастой какой-то из сокурсников Его Золотой Девушки? Было бы ему легче от того, что с ней не женщина, а мужчина? Или, напротив, тяжелее, что этот мужчина не он? Или ревности все равно, кто рядом с любимой, если рядом с ней не ты?

Он стоит, прижавшись лбом к краю двери. Ему не видна кровать, на которую опустились девушки, но его застывшему взгляду доступно то буйство теней, что разыгралось на оставшейся в поле его зрения стене.

Прижатый к стылости тяжелой двери лоб остается единственно холодной частью его пылающего существа. Он стоит и не знает, чем залить тот пожар, что сжигает тело и душу. Он стоит и смотрит на тени, пока воспаленное сознание не отключается и он не падает замертво.

* * *

Он не узнает, что ошеломившие его девушки никакими приверженками однополю любви-то и не были. Просто восемнадцатилетним феминисткам образца осени шестьдесят девятого казалось нужным попробовать в этой жизни все. Вот они и решили попробовать.

Но не успели.

Вспугнутые шумом от его падения девушки, наспех натянувшие на себя какие-то юбки и рубашки, втащили его, бесчувственного, в комнату, а приехавший вскоре врач сказал, что они спасли наследника восточного правителя. Пролежи он чуть дольше в беспамятстве, и его могли бы уже и не спасти. У арабского мальчика были ледяные руки, ноги, но пылающая голова и горячий оголенный живот со странными следами вокруг пупка. В горячечном бреде повторного менингита он непрерывно бормотал что-то по-арабски, повторяя единственное английское слово «gold» ^[44].

Британские врачи оказались не в пример профессиональнее арабских знахарей, но и им было очень не просто справиться с новым воспалением мозга и с истощением восточного наследника. Истощением не столько физическим (хотя требовалось срочно напитать всем необходимым подорванный длительным детским голоданием растущий организм), сколь моральным. Вызванный для консультации психиатр написал многостраничное заключение, а заверив бумагу личной печатью, при помощи Киплинга вынес обыденный человеческий вердикт: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись».

Запомнил ли он в бреде это «Oh, East is East...», на тот момент почти недоступное его плохонькому знанию английского? Но позднее, овладев языком так, что самые строгие преподаватели не могли найти в его речи намека на арабский акцент, он упорно занимался исследованием отношений двух миров и двух систем. И каждый раз, как на стену, нарывался на это «...and West is West...». И каждый раз пытался осознать, так ли уж окончательно «... never the twain shall meet...».

Учившиеся с ним в первый его оксфордский год благовоспитанные отпрыски старинных родов и наглые наследники новых денежных мешков Востока и Запада и представить себе не могли, что этот арабский дикарь может когда-то оказаться выше их по статусу и по богатству. И по стремительности полета мысли. Именно мыслью — настойчивостью, помноженной на природные дарования, он сумел вырваться из образа дикого арабского шакала, которого мог дразнить кто ни попадя. Он стал сильным. Стал лучшим. Лучшим учеником в своем классе, не допускающим к себе ни малейшего неуважения. И, что было для него важно, он смог сделать это сам. Своими силами. Он заставил всех дразнивших и унижавших уважать себя прежде, чем уважать его заставили нефтяные миллиарды его династии.

И в оксфордской школе, и в колледже, и после, в офицерской школе Королевской военной академии в Сэндхерсте, графство Беркшир, где ему по настоянию отца пришлось учиться («В стране нет не только министра экономики и финансов, но и министра обороны!»), он был первым. И искал для себя задачи, по трудности превосходящие все, задаваемое его однокашникам, ибо только успехи в решении таких задач льстили его самолюбию. Получая по окончании офицерской школы Меч Доблести, он знал, что это не поощрительный приз сыну все богатеющего восточного правителя, а заслуженная им самим оценка результатов, достигнутых лучшим иностранным офицером выпуска.

А свою Золотую Девушку он больше не видел. Боялся. Стоило хоть на несколько кварталов приблизиться к околдовавшему его дому, как тлеющий в его голове уголек боли начинал разгораться, давая сигнал поворота. Но спрятанное на самом дне его существа ощущение от золотоволосой девушки навсегда осталось пьянящим и возбуждающим. Даже став всемогущим шейхом, научившись управлять государствами и подчинять все свои стремления и чувства нуждам отечества, он не мог справиться с неконтролируемой реакцией

подсознания на рыжеволосых девушек. Стоило в любой из европейских поездок или в своей собственной стране, которую теперь все чаще посещали западные туристки, увидеть золотой нимб курчавых волос, как жар в голове, в животе и ниже живота снова грозил спалить все вокруг.

Недавно приобретя несколько картин русского художника на небольшом вернисаже в одном из соседствующих с его страной эмиратов, он увидел снимок другой работы того же мастера — рыжеволосая женщина-птица, летящая, накрывающая собой весь этот мир и все его сознание, как накрыла когда-то его сознание Золотая Девушка.

— Покупаю! — сказал он, не подумав поинтересоваться ни ценой, ни доступностью картины. С ценой проблем не было. Для чернявенькой галеристки по имени Алина любая названная его слугой сумма казалась огромной, но картины у нее с собой не было. Картина оставалась у художника в южном русском городе, куда он срочно отправил и галеристку, и своего помощника.

Вернулись они с пустыми руками. Художник, бывший муж галеристки, картину не продал, но чернявенькая уверяла, что это только на Востоке слово мужчины закон, а в их жизни художник поартачится-поартачится, да картину продаст. «Как протрезвеет», — добавила Алина и пообещала, что ждать придется недолго. И не обманула. Вчера его помощник сообщил о звонке от Алины. В «Бульж аль Арабе», отеле-парусе, у него была назначена встреча с президентом одной из российских республик. И он велел помощнику пригласить в «Бульж аль Араб» и Алину с картиной, уже прибывшей из ее южного города, расположение которого случайно совпало с местом, куда старое родовое предание раньше так влекло его предков.

Все, что осталось в наследство от пришедших на эту землю предков, это несколько книг да старинных безделиц и странная легенда о пяти алмазах Надир-шаха, которые приближенный к шаху их предок Ахмар поклялся отыскать. И завещал роду своему не успокаиваться, пока не сделают этого.

И после поколение за поколением, проживая остатки привезенного из Персии богатства, мужчины их рода с теперь уже непонятным, но передающимся как наследство символом — вытатуированной вокруг среднего пальца правой руки многократно обвившейся змеей — тратили жизнь и силы на поиски Надировых безделиц. Но безуспешно. Один алмаз отыскали уже в скипетре российской императрицы. Другой туда же, в Россию, иранские шахи отослали в оплату крови убитого российского посла. Третий, и того хуже, обнаружился в короне британской королевы. Участь в оксфордской школе, во время экскурсии в Тауэр он услышал знакомое слово «Кох-и-нур» и впился взглядом в охраняемую всеми новейшими средствами «Гору света».

Два оставшихся алмаза затерялись неведомо где. След одного из них не появился ни разу за два с половиной века. Другой алмаз последний раз мелькал в начале двадцатого века где-то в Италии, когда опять-таки русский князь Абамелек-Лазарев закладывал его в банк. Что стало с камнем после смерти последнего из рода Абамелеков-Лазаревых, князя Семена Семеновича, неизвестно. Остался ли камень в Италии, у вдовы Абамелека Марии Демидовой, или сгинул в большевистской России, неведомо. Наверное, к тому времени в его собственный род пришла нищета, у его предков закончились оставленные еще Ахмаром средства, и после 1911 года поисками камней уже не занимался никто.

Нынче два потерянных алмаза материального интереса для шейхской династии не представляли. При всей их баснословной стоимости они не составляли и малой доли теперь

уже ежедневных нефтяных доходов их семьи. Поиск камней мог превратиться скорее в поиск родовых основ, в историческую забаву, не менее увлекательную, чем жажда денег. Надо же чем-то заниматься шейху, воплотившему уже все, что он мечтал воплотить. За тридцать лет превратить пустыню в оазис — пожалуйста! Пособие на каждого родившегося ребенка около ста тысяч долларов одновременно или по пятьсот долларов ежемесячно — пожалуйста! Обучение в Европе и в Америке за счет государства — пожалуйста! Первое электронное правительство! Первый интернет-город! Первые фешенебельные мини-города на намытых в заливе островах! Цветущие деревья посреди недавней пустыни — к каждому деревцу свой отдельный источник пресной воды! — Пожалуйста! Пожалуйста! Пожалуйста!!!

Как много всего первого и свершенного. Должно же быть хоть что-то недостигнутое в жизни. Только все труднее найти цель, которую хотелось бы достичь.

(ЛИКА. СЕЙЧАС)

Кинг-Конг, охранник, толкнул меня в общую залу этого королевского номера. Последовательницы моей в комнате уже не было. И Хана не было, юркнул куда-то. Зато Шейх с ухмылкой ненасытившегося варана крутил огромный перстень на среднем пальце. В какой-то из оборотов перстня Шейх почти снял его с пальца, и на открывшейся фаланге стал виден рисунок — четырехкратно обвившаяся вокруг пальца змея.

«Да спасет тебя пророк наш Магомет от человека со змеей, обвившейся вокруг пальца. Это родовой знак твоих врагов, передаваемый ими от отца к сыну». Это было в факсе. А потом Алина с автоответчика кричала Киму, что знает человека со змеей вокруг пальца! «Таких совпадений не бывает! Найди меня!»

Таких совпадений действительно не бывает. И кричала «вторая моего первого» весьма перепуганно. Значит, имела в виду этого шейха не шейха, этого персонажа, с которым только что здесь разговоры разговаривала и который теперь смотрит на меня со зловещим молчанием. Сказал что-то по-арабски своему Кинг-Конгу, который и не думал выпускать меня из своих излишне цепких объятий, встал и двинулся к выходу.

Что, и все? И я ему не нужна?! Обидно даже. Застукал женщину в спальне, и на тебе никакого интереса! Пожалуй, многомесячное воздержание отрицательно сказалось на моих женских способностях. Прежде мужчины так просто от меня не уходили!

Ладно, чего уж там, бодрюсь в исключительно поганой ситуации. Застукали на месте преступления. Законы в этой стране, Прингель говорил, ужас какие строгие. Засунут в тюрьму, никто и не отмажет. Кинг-Конг как в плечо вцепился!

— Ой, урод, больно же! — завопила я по-русски, когда показалось, что излишне исполнительный Кинг-Конг того и гляди меня переломит.

Русский язык восточные мужчины понимали вряд ли, но визг мой заставил Шейха остановиться.

— Попалась?!

Араб смотрел на меня, получая максимум удовольствия от ситуации. В традиции у них, что ли, получать удовольствие только от общения с униженной женщиной? Или у меня представления о Востоке исключительно по все тому же «Белому солнцу пустыни», восточнее собственного Ростова прежде никогда и не была.

По-английски Шейх говорил явно лучше меня, но языковой спецшколы советских времен и полугодовой стажировки в колледже архитектуры и дизайна в Кентербери хватало, чтобы его понимать.

— Мужья мои где?

— ?!

— Я знаю, что вы знаете. Змея вокруг пальца. Алина предупреждала Кима. И Ким пропал.

— Ким? Алина? Змея... Слишком много информации. Снова двинулся к двери, но счел

необходимым еще раз обернуться.

— Не люблю принимать гостей не на собственной территории. Придется вам принять мое приглашение. Хусам отвезет вас.

— А если орать буду? На лестнице или в холле? Шейх сделал два шага назад. Посмотрел пристально.

Взгляд у него весьма и весьма завораживающий. Магнетический. Сила чувствовалась, и власть, и величие. И все что хочешь чувствовалось. Мужик этот шейх поди не промах, раз так смотрит. Олень сам виноват. Не захотел во мне женщину видеть, вот меня теперь на любого шейха и тянет.

— Вы же умная женщина. Умная? В мусульманской стране забраться в чужой номер, да еще и номер мужчины, с которым вы не связаны узами брака. Вы ведь не связаны узами брака с наших другом? Посягнуть на чужую собственность. Понимаете, чем вам это грозит?

И вышел. Дальше меня тащил Кинг-Конг. Напялил на меня какую-то местную тогу — лица не видно, одни глаза в прорези. Глаза у меня черные, за арабскую женщину освобожденного Востока вполне сойду. Но как сообщить Женьке или Прингелю, что я попалась?

* * *

Едем через ночной светящийся, как новогодняя гирлянда, город. Шейх, или кто он там, не знаю, пусть уж будет шейх, раз я привыкла мысленно так его называть, впереди на отдельной машине. Еще бы, баб в шейхское общество пускать здесь не принято, тем более заложниц. Заложницу везут на автомобиле эскорта следом.

Скромный с виду дворец. Сейчас опять из всех щелей золото попрет. Не прет. Странно даже. Вполне приличный проект. Литл фьюжн британского с арабским.

Шейхов налево, баб направо. В камеру предварительного заключения, что ли, поведут? Нет, на камеру не похоже. Если и заключение, то более чем комфортабельное, хотя и излишне слащавое. Конфетное такое заключение с хорошим текстильным обрамлением. Подойдет какой-нибудь богатой фифочке в загородном доме повторить. Фифочке понравится, а то я вечно переоцениваю их, фифочек, умственные способности. Подушечки, складочки, виньетки, зеркала. И цветы, цветы. Одних орхидей, как в оранжерее.

Двери налево, двери направо. Общие комнаты все в том же конфетно-восточном стиле, только кроме конфетности здесь и все достижения развлекательного прогресса в наличии. Среди подушек и кушеток система караоке, домашний кинотеатр неслабого размера, в отдельной нише компьютер. За компьютером девушка в почти такой же, как на меня натянули, парандже. Нет, паранджа все лицо закрывать должна, а эта хламида как-то иначе зовется, свекровь когда-то говорила, а я, как водится, мимо ушей пропустила. Девушка в хламиде этой, название которой я позабыла, в свой компьютер влипла, ничего вокруг не замечает.

Заигралась арабская крошка. Сейчас уже часа три ночи, а она все от монитора не оторвется. Вполне ничего себе крошка! Доступная обозрению часть молоденькой мордашки демонстрирует весьма яркий и весьма смелый мэйк-ап. Дозволяют бедной крошке открыть только частичку личика, так на этой частичке она добывает все, что ее западные подружки демонстрируют всеми своими голыми пупками и задницами, выглядывающими из-под

стрейтчей и мини. Очень кокетливое изображение.

А-а! Конечно! Это же гарем! Или как там это теперь называется. Шейх подался налево, на мужскую половину, а это половина женская и, судя по количеству униженных блесточками панталетиков у входа, половина весьма населенная. А крошка кто? Любимая младшая Гюльчатай? Пока старшие строгие жены мирно спят, добирает недобранной остроты ощущений за счет компьютера?

Кинг-Конг что-то говорит компьютерной красавице по-арабски и впервые за последние полчаса отпускает мою руку — синяк обеспечен. Заметив, что Кинг-Конг вышел и в комнате осталась только я, Младшая Гюльчатай отрывает взгляд от монитора, стаскивает с головы эту, видимо, наспех накинутую, хламиду и отзывается по-английски.

— Белкам. Сейчас, только досмотрю немножко. Признание намечается! Что ж ты тянешь, парень, давай-давай! А ты как сюда попала? Я Любна, а ты кто?

Это она мне или снова кому-то компьютерному? Что за игра у нее странная, кто и что там тянет? Переспрашивает, значит, мне.

— Я пленница.

Гюльчатай с почти русским именем Любна в голос хохочет.

— Смешно! Хорошее чувство юмора! И кто же тебя пленил?

— Этот ваш... — не знаю, как обозвать шейха, вдруг он не шейх. — На другую половину дома пошел, этим громилой, что меня привел, командует.

— Его Высочество?!

Ага, значит он еще и Высочество, хотя все правильно, шейх.

— Его Высочество никого пленить не может! Он добрый. Ему по должности притворяться строгим положено. Некоторые даже верят. А я-то знаю, что он добрый. Как маленький тигренок. Знаешь, сколько женщин мечтают, чтобы он их пленил!

Уж догадываюсь! Если б не мрачность ситуации моего «ареста» и не тормозящие мое сознание мысли об Олене, после взгляда такого Высочества сама бы размечталась.

— Но Его Высочество строг. Четыре жены — и точка!

— А ты какая?

— Пока только третья. Две другие не приехали. Самира старших детей в Британский музей повезла. Они по истории изучают что-то такое, что срочно требуется посмотреть в музее. А Вафа на неделю моды в Милан улетела, так что одна я сейчас. Ой-ой! Раздевается?!

Кто там раздевается? На порносайт младшая Гюльчатай-Любна заходит, что ли? Устает от мужа-шейха и крутит себе романчики по интернету. Или в жесткое порно ударяется, если, конечно, у них во дворце, как в приличных офисах, не стоит программа, блокирующая доступ на порносайты. Дворец шейха чем не офис! Четыре, нет, пока только три сотрудницы на должностях жены, с соответствующими окладами и представительскими расходами. Одно место вакантно.

На порнушку, судя по звуку, компьютерная забава третьей жены не похожа. Слишком слащавый шепоток, в духе всей этой гаремной половины. Любопытство пересиливает, все же спрашиваю:

— Что смотришь?

— Реалити шоу. На сайте круглосуточная трансляция. Эта, с проколотой губой, — Любна разворачивает монитор в мою сторону, чтобы и я могла насладиться картинкой очередного застекольного дома, которых теперь по всем странам и всем телеканалам мира видимо-невидимо. Неужели и чопорный Восток сподобился?! Нет, лица европейские и

говорят по-английски. — Берта, всю прошлую неделю с Ником роман крутила, а его при субботнем голосовании выгнали. Так она на следующий же день Кейву стала мозги накручивать! Видишь, из лифчика почти вылезла. Сейчас-сейчас... Эх, и на сайт рекламу вставили, жди теперь!

Воистину неостановим прогресс, если у наложниц XXI века такие развлечения!

— И чего же он Высочество, твой муж?

— Одной из соседних стран. Туристов у нас поменьше, зато нефти и высоких технологий побольше, — эрудированно объясняет третья шейхиня. — А сюда мы на уик-энд приехали. Развеемся. Включились! О Аллах всемогущий, уже без штанов! Хоть бы под одеяло спрятались! У вас такие шоу тоже есть? Ты, кстати, откуда?

Объясняю, что я, кстати, из России, эрудированная Любна даже знает, где это. А про шоу ответить мне нечего. При своем графике жизни телевизор смотреть не успеваю. Хотя Женькин сын Димка участвовал в подобном проекте, но, насколько помню, там их в космос по полной программе готовили, после таких нагрузок уже не до раздевания было.

Эта фанатка реалити-шоу в чадре настроила меня на излишне благостный лад. А муж ее, шейх, сейчас весь мой настрой пообломает. Так и есть, снова Кинг-Конг по мою душу явился.

— Хусам тебя к Далли отведет.

— Далли — это кто?

— Далли — это Его Высочество. Наследный принц, шейх Абдалла Бен Султан Аль Аля. А я его ласково называю Далли.

Еще бы Абдаллашей назвала!

— Возвращайся скорее, хоть поболтаем! А днем можем по магазинам прошвырнуться, ОК? — успевает проговорить третья Гюльчатой прежде, чем Кинг-Конг уводит меня на мужскую половину.

* * *

Абдаллашина половина гаремной слащавостью не отличается. То, что у Его Высочества со вкусом все в порядке, я поняла еще на подступах ко дворцу.

«Чистенько, но бедненько» — так оценила бы шейхские хоромы моя подружка Элька. Той всегда не хватает понта. Но декорировано вполне профессионально.

И хотя руки мои уже зачесались, захотелось в дизайне этого обиталища кое-что изменить, но в целом я не могла не признать, что здесь работал равнозначный мне коллега. С подтекстами у этого помещения все было в полном порядке, разве что арабские эти подтексты и ссылки плохо считывались моим западным сознанием.

Какое сказочное сочетание в этой зале лимонного и светло-оранжевого. Мне и в голову такое не приходило, а ведь смотрится! Хотя освещение я бы полностью поменяла, сразу проем окна по-иному заиграл бы. Мощный компьютер на низком арабском столике, компьютеризированное правящее семейство попало. А цветовые пятна на стенах подобраны грамотно. Картины вполне приличные, разбавленные кондовыми портретами шейхов в духе изображений членов советского политбюро. Пустое место, наверное, декорирование еще не успели закончить. Предназначенная для этой стены картина стоит около стола...

Мама мия! Это же та Кимкина работа с летящей над миром огненной птицей, превращающейся в рыжеволосую женщину, чем-то похожую на Алину. Работа, которая так странно исчезла из развалюхи-мастерской, пока я на второй этаж к бабе Нюсе ходила. Ничего себе перелетик у картины вышел.

— Мужья мои где? — грозность моего тона адресована вошедшему шейху, чьи шаги я услышала за своей спиной.

— Этот вопрос я уже слышал.

— Тогда скажите, где Ким и Тимур. Алина говорила Киму...

— Кто такая Алина? Кто такой Ким? Кто такой Тимур? Великий завоеватель?

— Хватит придуриваться. — Шейх вздрогнул. Видно, так разговаривать с наследным принцем на этой земле никто себе прежде не позволял. Ничего, потерпит.

Кивнула на картину:

— Алина. Она час назад сидела с вами в роял-сьюте. А Тимур муж. И Ким муж.

— Чей?

— Наш. Мой и ее. Хотя нет, Тимур только мой. А Ким общий.

— У вас в стране разрешили одновременное многоженство и многомужество?

— Поочередно.

Таких тонкостей даже просвещенный компьютеризированный шейх не понял.

— Позовите в гости и Алину, пусть объяснит и про вас, и про змею на пальце.

Шейх нажал кнопку спикерфона, что-то снова пробормотал по-арабски, наверное, послал Кинг-Конга за Алиной. Так ей, рыжей, и надо, пусть, как я, в его лапах прокатится. И углубился в компьютер, экран которого мне был теперь не виден. Заигрался или, как младшая, за раздевающейся Бертой в реалити-шоу подглядывает.

— Дворец не ваш?

— Мой. Не люблю отели. Предпочитаю жить в собственных домах, где все мое.

— Ваше?

— Не верите?

— Искренне верю. Удивляюсь, что Ваше Высочество воровством промышляет.

Шейх метнул такой взгляд — молнии пронзили бы все мое существо, если бы родная свекровь не заставила меня научиться отражать все испепеляющие взгляды. Нравится мне это Высочество, хоть и злодей. Понятно, отчего неосвобожденные женщины Востока о пленении таким высочеством мечтают.

— Не будь вы гостьей, пусть даже принудительно привезенной в мой дом, подобное высказывание не сошло бы вам с рук.

— Что мое высказывание, когда у вас в комнате стоит картина, похищенная из мастерской нашего с Алиной мужа.

— Что значит — похищенная?

— То и значит, что когда я открыла дверь мастерской, картина стояла на самом видном месте, а пока поговорила со старушкою-соседкой, картина исчезла без следа. И не надо уверять меня, что это другая работа. Почерк своего бывшего мужа я как облупленный знаю, сама вон там в уголке нарисована, видите? Большие мои портреты вам не понадобились, для вас только Алину своровали.

— Думаете, это Алина?

— А кто же еще? Сходство, конечно, не фотографическое, но Ким всегда рисует так, что чувствуется суть, а не рожа. На моем портрете когда-то только я сама себя узнала. Но это

была я. А это — Алина. Хотя да, Алина же теперь не рыжая, а черная, вот Ваше Высочество ее и не узнало.

— Алина была рыжей?! Странно. Я был уверен, что это другая женщина. Удивлялся, как художник из русского городка нарисовал женщину, которую я больше тридцати лет назад видел в Великобритании.

— В Великобритании тридцать лет назад Ким точно не был. А рисовал он Алину. Видите, рыжие волосы ее огнем все опалили. Говорят же немцы, если увидеть утром первым рыжего парня, то и будет тебе удача, а рыжую девку — и тебе кто-то подложит свинью. А если каждое утро рядом с рыжей просыпаться?

Его Высочество промолчал.

— Вот Ким и допросыпался. Сначала он пропал, а за ним и Тимур...

— И все-таки, кто такой Тимур?

— Муж мой.

— Значит, у вас два мужа?

— Ни одного. Оба бывшие. Сначала был Ким, потом брат его Тимур.

— О Аллах! Кто поймет этих западных женщин!

— Представить свою жену... э-э...одну из ваших жен женой вашего брата не можете?

— Убил бы скорее!

— Вот и мои мужья чуть не поубивали друг друга. Надеюсь все-таки, что не поубивали, если вы их прежде не...

— Что «не», если я их не убил? Милая леди, я, конечно, человек образованный, понимающий тонкости западного мироустройства и разницу женского воспитания там и здесь. Но все же! Если вас не останавливает страх, то элементарные нормы приличия не должны позволять вам обвинять в смертельном грехе хозяина в его же доме.

— Я не обвиняю. Я понять пытаюсь, почему Алина на автоответчике кричала Киму, что знает человека со змеей на пальце. Испуганно так кричала.

— Потому что в записке, которую Ким в своих раскопках отрыл, было предупреждение бояться человека со змеей на пальце, — раздался голос откуда-то сзади. Это Кинг-Конг привел мою последовательницу.

* * *

Часа через два все начало понемногу становиться на свои места. Конструкция случившегося напоминала объемный пазл, который я купила Пашке на день рождения и который сама была вынуждена собирать вместе с сыном три вечера подряд. Общий объем пока не вырисовывался, но отдельные участки постепенно начинали складываться в единые стены.

Отдышавшаяся Алина — Кинг-Конг напугал ее до полусмерти, не сумев ни на одном языке объяснить, куда он ее тащит, — рассказала начало. В пылу своих археологических увлечений Ким раскопал где-то в нашем дворе какой-то древний слой восемнадцатого века. И там среди горшков-чугунков попалась прилично сохранившаяся записка, как он думал, на арабском или персидском языке. Каринэ античную литературу на древнегреческом разбирала легко, а вот с арабским и персидским заминочка вышла. В тайне от собственных студентов этих языков доцент Туманян не знала вообще.

Параллельно со всей этой историей в маленькой галерее, в которой Алина работала здесь, в Эмиратах, она выставила картины Кима, отобранные у него при разводе. И картины эти понравились случайно посетившему галерею шейху. Его Высочество приобрел все, что было, поинтересовался, что еще можно купить. По фотографиям отобрал несколько картин, особенно настаивая на той, где рыжая женщина-птица летела над миром. Сумма, предложенная шейхом за ее рыжину, была столь ощутима, что Алина тут же полетела домой, сопровождаемая приставленным к ней помощником шейха. Его-то и называла «шейхом» наша свекровь, а его белую хламиду баба Нюся приняла за привидение. Но мрачный Ким продавать что бы то ни было отказался.

— Лежал в мастерской. Не пьяный, но лучше бы уж был пьяный, а то какой-то полу... Полуживой. Бледный. Картину эту, — Алина кивнула на собственное отражение, которое незаметно появляющиеся и исчезающие слуги шейха тем временем уже повесили на стену, — продавать отказался наотрез.

Алина перешла на русский.

— А этот, — кивнула головой в сторону Высочества, — на картину запал. Обещал заплатить сто тысяч долларов, если я уговорю Кима ее продать. Но ты же знаешь Кима! Армянский характер прет из него, когда не надо. Я и решила картину тихо взять, а деньги ему потом отдать. Ну, половину денег, — честно призналась последовательница. — Гарику из соседней развалюхи рядом с мастерской пообещала ящик водки, если он картину для меня достанет, но только аккуратно, без взлома. Он маленький поджог пробовал устроить, дверь не поддавалась, вот и дождался, пока ты в мастерскую вошла. Таз со стены скинул, а пока ты к бабке на второй этаж ходила, картину забрал и чартерным рейсом мне сюда переслал. Сегодня в роял-сьюте я как раз картину Его Высочеству и отдавала.

— А ключом дверь открывать ты не пробовала?

— Откуда ж у меня ключ! Ким в мастерскую никого не пускал. Хоть там все на ладан дышит, но замок амбарный, хрен его собьешь.

— Ключ в трехлитровой банке в шкафу в общем коридоре лежит, — сказала я и перешла на английский, почувствовав, что щебетание о нашем, о девичьем, начинает Его Высочество утомлять.

— Ладно, с украденной картиной вы с Кимом разберетесь, когда он найдется. Я там только в уголке нарисована, претензий предъявлять не могу. А вот Кима найти не мешало бы! Что, ты говоришь, там с запиской?

— С запиской еще интереснее. Когда я приводила помощника Вашего Высочества, Ким отдал мне эту записку, чтобы я здесь перевести попробовала. Здесь выяснилось, что записка не на арабском, а на староперсидском, но с горем пополам перевели. У Кима ни компьютера, ни электронной почты отродясь не было. Сказал, чтобы перевод отправила ему на номер факса знакомого армянского археолога.

— Ашот такой же армянский археолог, как я здешняя шейхиня, извините, Ваше Высочество! — кивнула я. — Но не о нем речь. Жена Ашота Элька привезла Киму только половину твоего факса.

— У них там бумага закончилась. Половина текста прошла, и заело, а я не заметила, убежала, и только вечером вторую часть дослала.

— Вторую часть Ким не прочитал. Ушел раньше, и куда ушел, неясно. Вторую часть мне потом свекровь зачитывала, про топазы какого-то Лазаря и человека со змеей вокруг пальца, — я лишний раз выразительно глянула на Его Высочество. — А что было в первой

части?

— Оригинал у меня дома, помню не дословно. Это было что-то наподобие завещания какой-то Надиры своему сыну. Она писала... Как там было: «Главное твое наследство, два алмаза отца твоего шаха Надира, я сумела спасти. Один защит в твоей погребушке, другой замазываю глиной между камней нашего маленького домика». Это Ким должен был прочесть.

— И пошел долбить стену сарая, решив, что это и есть тот самый маленький домик, в котором алмазная сокровищница.

Пока Алина пересказывала текст записки, лицо шейха становилось все более и более удивленным. Вот они, хозяева нефтяных миллиардов, на алмазы тоже падкие! У самого на руке бриллиант размера офигенного.

— В записке еще про желтый топаз было, но во второй части, — добавила Алина, — а ты говоришь, что Ким ее не прочел.

— Что там было про топазы? — поинтересовался Его Высочество.

— «В нижнем углу стены замазываю и желтый топаз твоего названного деда Лазаря Лазаряна, пусть и он служит наследством тебе», — продекламировали мы с Алиной почти хором. Редкая сыгранность. Может быть, не только я выбираю себе мужиков одного типа, но и мужики всю жизнь ищут одну идеальную женщину в разных вариантах жен и любовниц. Оттого и обычно ненавидящие друг друга избранницы одного мужчины бывают похожи между собой, как мы с Алиной. Один тип.

Что, если все это не бредни, и стена нашего сарая та самая стена, в которой наследство замазано? И что если Ким, не зная про вторую часть записки о топазе, раскопал именно его и, приняв за алмаз, решил, что дело сделано? Отправился с ним куда-то продавать или дарить. А если дарить, то кому? Может ли несведущий в минералогии человек принять топаз за алмаз? И при чем все же здесь змея на пальце?

— На автоответчике ты кричала Киму, что знаешь, кто это человек со змеей на пальце. Ты его... — я кивнула на шейха, но при виде глаз Кинг-Конга поправились: — Его Высочество в виду имела?

Шейх, снова крутанув вокруг среднего пальца кольцо с нескромным бриллиантом, внимательно посмотрел на Алину.

— Послав Киму перевод, вдруг вспомнила, как Ваше Высочество, выбирая картины, крутили кольцо на пальце, и под кольцом оказалась татуировка змеи. И в записке как раз говорилось про змею на пальце. «Да спасет тебя пророк наш Магомет от человека со змеей, обвившейся вокруг пальца. Это родовой знак твоих врагов, передаваемый ими от отца к сыну». Я и сопоставила.

— И решила, что я устроил травлю твоего мужа... Вашего мужа... Чтобы посягнуть на алмаз.

Шейх усмехнулся уголками губ.

— Хусам! Бесураа! [\[45\]](#) — проговорил в спикерфон шейх. Кинг-Конг возник на пороге минуты через три, в течение которых в комнате сохранялось все сгущающееся молчание. Лишь я не выдержала и спросила, можно ли мне позвонить Женьке, чтобы летела в свою Швейцарию без меня, встретимся в Москве.

— Ей позвонят! — оборвал меня шейх и, взяв из рук вошедшего Кинг-Конга шкатулку, открыл ее.

Человек я на драгоценности не падкий. К бриллиантам равнодушна. Не Элька. Но блеск

и сияние шейховой коллекции могли впечатлить кого угодно. Алина ошалело перебирала кольца и ожерелья. Я же нарочно покривилась, как умеет кривиться лишь провинциальная девочка из старого ростовского двора, способная в любом королевском дворце скорчить мину по принципу — и не такое видали!

— Не Алмазный фонд!

— О Аллах! Разве поймешь этих западных женщин. Одна из лучших коллекций мира им не фонд. Но и не его отсутствие! Как вы думаете, милая леди, имея эту коробочку, стал бы я убивать вашего спившегося мужа за какой-то пусть даже очень старый камешек? Как у вас с логикой, а?

С логикой у нас с Алиной, как и несколькими часами ранее у нас с Женькой, было неважно. То, что Шейх даже с его змеей на пальце, вряд ли причастен к исчезновению Кима, мы обе понимали.

— Но совпадение-то оказалось знаковое!

— Знаковое, — согласился Шейх. — Даже когда мой помощник доложил мне о посещении трущоб в вашем городе...

— Усекла? Это он про наш двор говорит «трущобы», — по-русски буркнула я Алине.

— Трущобы — они и есть трущобы! — тоже по-русски ответила «вторая моего первого». — Это для Каринэ и для Иды их двор Версаль. Все радости жизни — в центре города, не коммуналка, отдельная кухня, теплый сортир, причем не на улице, как в соседних дворах! А для шейхской прислуги этот Версаль нищета и трущобы.

— Девочки, а нельзя ли по-нашему, по-английски! — вежливо прервал наше лопотание Шейх и продолжил: — ...Посещении трущоб в вашем городе, я и не сопоставил странное совпадение. В истории моей семьи есть упоминание о таможне на юге государства России, где мои предки пробовали искать камни из наследия шаха Надира. И только теперь, услышав его имя в записке, я понял, что все это — одна и та же история.

— Офигеть можно! — вырвалось у Алины. — Чтобы разваливающийся сарай нашей, прости Господи, свекрови мог быть связан с шейхской династией?!

Шейх рассказывал историю своего предка Ахмара, некогда служившего при дворе персидского шаха Надира. Алина охала, что иранский шах, шейхский предок могут быть как-то связаны с нашим старым двором. А я почти не слушала их обоих.

В момент, когда поняла, что этот окольцованный змеей шейх не имеет ни малейшего отношения к исчезновению моих мужей, я снова вспомнила об Олене. И ужаснулась. Лешка был вынужден ночевать в тюрьме! С уголовниками! Даже если и не с уголовниками, то все равно в тюрьме. Это после того «гаража», который я для него построила.

Представить себе Оленя в тюрьме было невозможно. Невыносимо. Захотелось выть.

Я и завывала.

— Ты чего? — не поняла Алина.

— Мило мы здесь трепемся, а дома дел по горло. Мужья пропали, Оленя арестовали...

— Какого оленя? — не понял Шейх.

— Хорошего. Познакомить вас надо. Вы, Ваше Высочество, говорят, классный управленец с восточной спецификой. Вот и Олень тоже любит в управленческие игры играть. Только нашу российскую специфику не учел. Доигрался!

— Подожди, ты что, ничего не слышала, о чем мы сейчас говорили?! — удивилась Алина.

Ну вот, как всегда. Любая мысль об Олене автоматически блокировала все мои прочие

чувства, я и впрямь не слышала, о чем говорят Шейх и моя последовательница.

— Мы решили срочно лететь к нам домой. Только Его Высочество традиционную утреннюю аудиенцию закончит, и сразу летим.

— А ведь и правда уже утро!

— Зачем? — с трудом переключив мысли с арестованного Оленя обратно в этот дворец, я теперь не могла сообразить, зачем шейху лететь в наши, как он назвал, «трущобы».

— Никогда не могла понять, как ты Кима околдовала, если элементарного сообразить не можешь! — в роли моей подружки Алина не удержалась, выплеснула-таки долю положенной ненависти в мой адрес. — Если Ким стенку сарая не доломал, значит, алмаз еще в ней замурован!

— Не замурован. У них там во дворе вчера учебная тревога была. Кто-то сообщил в милицию о готовящемся теракте, наших свекровей и эвакуировали. Бомбу не нашли, а сарай разнесли к чертовой матери.

— Но обломки должны были остаться!

Обсудить вопрос обломков я не успела. Появившийся Кинг-Конг молча принес завтрак. И попутно так же молча вернул отобранный у меня в роял-сьюте мобильник, который немедленно огласил утренний покой шейхской резиденции бравурностью «Тореадора». Пока нажимала на кнопку «Yes», успела заметить на дисплее число непринятых звонков — восемнадцать.

— Я тебе всю ночь звоню, где ты шляешься! — безо всякого «доброе утро» выдала свекровь, которой, по моим подсчетам, еще полагалось отсыпаться после ночных эвакуации. — Вино вернули!

— Какое вино? — не сразу въехала я.

— Здравствуйте-пожалуйста, какое вино! Совсем мозги порастеряла, о чем ты там думаешь?!

— Но уж точно не о вине.

— Бутылку, что ты Зинаиде отнесла, после чего бедная к праотцам отправилась, вернули.

— Только обвинений в отравлении соседки мне сейчас и не хватало!

— Не отравленное вино, успокойся, — порадовала добрая свекровь. И, не дав облегченно выдохнуть, добавила: — Зато соль отравленная!

— Какая соль? — второй раз наступила на грабли свекровинового недовольства я.

— Которую ты Зинаиде взамен занятой вернула!

(ИВАН. РИМ. 1911 ГОД)

Помню. Что помню?

Автомобиль с карабинерами пропал. Долго бежал. Камень во рту. Пить хотелось. До смерти хотелось пить. Грязный трактир. Девочка в прохудившейся соломенной шляпке. Отец ее подносит вина. Затмение...

Отходящий от нового шока Иван на ходу пытается вспомнить все, что произошло с ним за последние два-три часа.

...Пришел в себя. Привязан. Дом престарелых. Гадливость от вида старухи Лючии. Бежал. Грязелечебница. Плоть его, проснувшаяся под душем с пышнотелой синьорой. Снова бежал. С растянутой над улицей веревки украл рубаху и штаны. Контур любовницы СимСима в светящемся окне дома напротив. Дверь наны. Слава Богу, признала. «Noi battaglia, il mio ragazzo! Ora il principe S.S. arrivera dopo voi! Non avere paura ragazzo mio. Il conte arrivera' presto» [\[46\]](#).

Шум на лестнице. Ломают дверь. Испугавшаяся сутенера нана прячет его на антресоли. «Nasconditi o ti uccidera'» [\[47\]](#).

Это не сутенер. Крики, стоны. Он среди шляпных коробок на полке огромного шкафа. Алмаз во рту. Крик наны. Тишина. Тишина. Тишина. Спустился с антресоли. Нана с перерезанным горлом — капельки крови на блеклой груди, как зерна граната, днем украшавшие стол в обеденной зале на «Вилле Абамелек». В квартире все перерыто. Пусто. Бежать!

И бежал.

И бежит.

Как заяц прочесал пол-Рима. А куда бежать? Знать бы, куда бежать.

В свете тусклого газового фонаря мальчишки все еще играют в морру. Взгляд не детей — звереньшей. Но бояться теперь уже поздно. Он видел этих оборванных мальчишек, проезжая в банк. Значит, он на пути к вилле СимСима.

— Ватикано! Ватикан. «Вилла Абамелек».

Если оборвышам заплатить, доведут до виллы. Но чем заплатить?

— Но лире. Нет лир. Но будут! Там заплачу много! Много заплачу.

Нана успела его немного приодеть, вид не графский, но все ж лучше, чем после богадельни. Стащил с себя пиджак — протянул. Оборвыши схватили пиджак, стали драться, раздирая, вырывая пиджак друг у друга. Попятился в ужасе, что сейчас вся эта звериная злоба обернется на него. Так и есть. Обступают плотным кольцом. Сейчас обнаружат, что он штаны еще не отдал, штаны у них тоже рваные, или решат убить просто так, почему бы им не убить. Разденут и убьют. И алмаз достанется даже не охотящимся за ним грабителям, а мальчишкам, которые обменяют баснословной дороговизны камень на несколько лир.

Пятится. Снимает жилет, бросает этой стае голодных волчат. Волчата рвут на части жилет. Пятится. Кто-то дергает его за полу рубахи. Все, конец! Душа в пятки! Но это самый

маленький волчонок, грязный мальчишечка с совсем еще не звериным взглядом, палец приложил к губам:

— Sic!

Машет — идем за мной.

— Non avere paura, non ti uccido! [48]

Может, там, за углом, куда тянет мальчишечка, волчата другие. Может, там убьют. Но выбора нет. Пока здешние звереныши дерутся за жилет, пятится за мальчишечкой.

— Per 10 lire ti porto in Vaticano [49].

— Ватикан, престо, десять лир? Отдам! Все отдам! Только веди!

Сам снимает с себя выданную наной белую сорочку, отдает мальчишечке.

— Потом еще дам, только веди. Ватикан. «Вилла Абамелек». Виа Гаета.

Подрастающий волчонок указывает на брюки.

— Штаны мои тебе зачем? Велики тебе штаны-то.

Но волчонок штаны не отбирает. Показывает на подтяжки.

— А, боишься, что с оплатой обману? Думаешь, с падающими штанами не убегу? Никак не убегу. Лире, лире там. Идем. Гоу, гоу! Бог с тобой, держи подтяжки, только веди!

Мальчишечка, раскрыв беззубый рот, хохочет. Показывает на проглядывающий за свежими кронами каштанов купол собора Святого Петра. И бежит с подтяжками вперед. Рад, что обманул дурака.

От собора Святого Петра Иван уже сам, едва удерживая штаны, бежит впереди своего грязного чичероне. Бежит, мысленно благодаря отца, приведшего его на занятия в Петербургское общество английского футбола. В футболе бегать надо быстро и дыхание иметь долгое. Вот и понадобилось. В футболе надо играть еще и головой. И теперь головой ему ох как надо играть. Думать надо головой.

Ворота «Виллы Абамелек». Плотно закрытые ворота. Еще бы, привратник увидел, как два оборванца бегут, и ворота закрыл. И лишь когда, колотя в двери, Иван по-русски во все горло закричал, что это он, хозяйский крестник, привратники разглядели:

— Что с вами, ваше сиятельство?!

Ворота открылись.

— Что с вами, граф?

— У вас лиры есть, Прокофий? Дайте этому юноше, сколько есть. И побыстрее! Ciao!

[50]

Вилла не освещена. Странно.

Где СимСим? Где Мария Павловна? Не могла же она так сразу отбыть в свою Флоренцию. Она Рим не любит, и Питер не любит, и Москву, живет отдельно от СимСима. Нечего сказать, счастливая семейная жизнь...

Брусчатка солнечным узором сходится к воротам. Иван бежит босиком (ботинок его размера у наны не нашлось) по этой брусчатке от ворот вверх по дороге, потом, не разбирая дороги, перепрыгивая через низкие, аккуратно подстриженные кустарники, мимо фонтана Тевере, мимо Орфея Бозелли, мимо саркофага третьего века до нашей эры, напрямик к палаццо. Стремительно пробегает огромный парк. Замершие вдоль дорожек августы и цезари мрачно вздыхают. Венеры с обломанными руками уже не манят, как прежде, своими формами — насмотрелся он сегодня и на формы, и на венер, и на нимф, — а издевательски хохочут.

Вот и вилла. Дальше по анфиладе дворцового бельведера. От быстрого бега кажется, что

стоящие в нишах античные статуи машут руками, разглядывают его, пугают мраком веков — и мы бежали! и нас настигли!

Мозаика римской эпохи под сбитыми в кровь босыми ногами. Дивные инверно, примаверы, эстате, аугунно [\[51\]](#) отдают его уставшим ногам свою силу.

В палаццо ни души. Где СимСим? Где княгиня? Прислуга где? Не могли же все исчезнуть, раствориться. И гости где? И кто была та, кто, прячась под лестницей, по-английски произнесла: «Shoot him down! And that's it!» — «По голове стукнуть, убить, и нет его». Тогда, спеша в банк и задыхаясь от важности поручения СимСима, он заметил детективную интригу, но не понял главного — одна гостья князя говорила это про него, Ивана. Кто она была? Графиня-авантюристка, министерша, сама хозяйка? Марии Павловне-то зачем? Боится, что князь ему что-нибудь завещает? Так у нее и отцовских миллионов за триста тридцать три жизни не прожить. Да и не надобно ему ничьих завещаний. Ивановы предки Шуваловы да Татищевы, конечно, не так богаты, как Абамелеки, Лазаревы или Демидовы, но ему больше и не надо. Он будет учиться и работать, он сможет все сам. Завещаний ему не надо! Ему бы только чужой алмаз в целости вернуть.

Где же все? Где СимСим? Большая гостиная, малая гостиная, фазанья столовая, театр, где он едва не врезается головой в мраморную колонну и, отлетев в сторону, ударяется о черную полированность рояля «С.Beckstein». Воины с картин и гобеленов размахивают саблями и копьями. Где все?

Скорее в свою комнату, закрыться и ждать! Ждать Сим-Сима.

Снова, как несколько часов назад, Иван почти взлетает по винтовой мраморной лестнице на второй этаж. И, не удержавшись, по привычке глядит вниз — туда, где голова мозаичной горгоны с опутавшими ее змеями всегда манит его и пугает чьим-то привидевшимся падением. Словно, стерев века, прошлое показывает ему отснятую временем фильму — кто-то, ему неизвестный, падает с этой мраморной спирали лицом на застывшее мозаичное лицо, кажущееся ему ликом горгоны.

Нет! Что это?! Нет!

Ноги юноши описывают в воздухе дугу, и он попадает в ту неснятую фильму времени. И наяву исполняет столько раз видевшийся ему полет. Лицом вниз. На каменную мозаику горгоны.

(ЖЕНЬКА. СЕЙЧАС)

— По техническим причинам наш самолет совершит вынужденную посадку в аэропорту Рима. После устранения неполадок или замены самолета наш рейс будет продолжен, — пропела стюардесса таким же сладеньким голоском, каким только что сообщала о предлагаемых товарах дьюти-фри.

— They're terrorists! [\[52\]](#)

Сидящая впереди меня пожилая дама с обвислыми щечками и предельно белыми волосами, какими могут быть только абсолютно седые волосы, вцепилась в руку своего спутника.

— It's a bomb. I feel it's a bomb. Or they want to hijack the plane as on September, 11th, and aim it at the Collosseo [\[53\]](#).

— At the Collosseo there's no sense [\[54\]](#), — невозмутимо возразил ее спутник. — It's only ruins [\[55\]](#).

И, не обращая внимания на истерические повизгивания дамочки, зевнул.

— Calm down, my dear! Some tiny detail broke down, and that's all [\[56\]](#).

Столь же седой импозантный мужчина, какими в глубоко пожилом возрасте бывают только европейцы, наши к тому времени давно уже обтрепанные жизнью старики, что-то еще говорил своей даме сердца или супруге. Мой английский, присутствовавший исключительно в объеме, достаточном для объяснений с шефами московского бюро американского информационного агентства, на которое я стринговала уже второй десяток лет, не позволял вникать в тонкости их разговора. Но и без этого было понятно — мужчина успокаивает встревоженную женщину. Пожилой мужчина успокаивает свою встревоженную половину. Гладит ее седенькую голову, даже покрикивает, чтобы прекратила истерику. Когда мне будет столько, сколько теперь этой старушке, на меня прикрикнуть будет некому. И некому будет положить руку на мою сплошь седую голову. Впрочем, голова у меня и теперь почти седая, только в моей остаточной русоволосости не слишком заметно, что поседела я, что называется, на глазах.

Хотя с чего я решила, что доживу до возраста этой дамочки? Что действительно, как говорит этот успокаивающий свою жену мужчина, легкая неисправность не мешает самолету спокойно добраться до ближайшего аэропорта и благополучно приземлиться в Риме? Что самолет не рухнет на землю или в Средиземное море. Не превратит меня в прах или не утянет на дно, как я того просила еще вчера, вылетая из Москвы. Неужели это было только вчера? Только вчера я просила Никиту забрать меня к себе. И вот — вот он, шанс уйти. Соединиться, слиться, свиться. Остаться навек вдвоем. Неполных три месяца разницы в датах кончины — не время вечности. Джой скажет своим детям про бабушку и дедушку — они жили долго-долго и умерли в один день. Почти в один день.

Только отчего-то все изменилось. И что-то внутри, где-то там далеко внутри меня, в утробе, в самой моей сути, сопротивляется и умирать не хочет. Значит ли это, что все мое

горе, все мое отчаяние не более чем красивые слова. И я уже не хочу навсегда уйти к единственно любимому мужчине, а буду судорожно, отчаянно цепляться за жизнь, столь же истово моля всевышнего о благополучной посадке, как еще вчера молила о соединении с Никитой — если нельзя здесь, то хотя бы там.

Что изменилось в раскаленном невероятной дубайской жарой воздухе, что перестыковалось, переконнектилось, перезарядилось внутри меня, что я не так уж и хочу умирать? Я возродилась? Нет. Жить не хочу по-прежнему. Но и умирать не хочу, не могу умирать.

Что держит меня?

Джой? Сын давно не маленький. И в нашей странной семейке скорее он готов поддержать не нашедшую себя в этом мире мать, нежели я могу подставить плечи сыночку.

Банковский счет, который я лечу переоформлять на себя? Не смогу я оставить его в наследство Джою и что с того? Больше того, что я уже дала сыну, дать невозможно. Высокопарно мыслю, быть может. Но вольно или невольно, скорее даже невольно — от собственной беспомощности и растерянности перед этой жизнью — я дала Димке возможность почувствовать себя не маменькиным сынком, а мужчиной, уверенным в собственных силах. И знаю, где бы он ни оказался, что бы с ним ни случилось, он выживет, выплывет и будет жить. А это наследство покруче, чем миллиарды тихоокеанской диктаторши.

Олень? Не его же арест вернул меня к жизни? Взбодрил, разозлил, быть может. Но стал смыслом жизни — вряд ли. Не смогу найти денег и лазеек для спасения Оленя, так их найдет Лика. Пусть без меня у нее уйдет на это больше времени и сил, но она обязательно найдет. Влюбленная женщина всегда поймет, учует, как спасти мужчину, которого любит. Стены лбом прошибет, любого зверя собственными зубами загрызет, а спасет. А Лика из тех, кто и прошибет, и загрызет. А то, что она влюблена в Оленя, не увидит только слепой. Может, Олень слепой? Или ему удобнее этого не видеть? Сидел около умирающей старухи, ну не старухи, ровесницы, но все равно, около разбитого жизнью куса, некогда бывшего женским телом — хотя особо женским мое тело не было никогда. Сидел на моем диване-космодроме, когда рядом с ним была жаждущая его Лика.

Почему бы ему на Лику не смотреть? Я-то ему зачем? Нереализованность подростковых желаний? Переспали бы мы с ним в юности и что? Пришлось бы искать ему иной комплекс, иную обиду, иную несложившуюся любовь, недостигнутую цель, в юном возрасте автоматически превращающуюся в топливо для ракеты жизненных устремлений.

— Почему мы с тобой тогда не трахнулись, Савельева? — спросил Олень в вечер моего странного освобождения.

— Скажи спасибо, что не трахнулись, тогда ты не стал бы олигархом. И вся твоя доблесть сводилась бы к подсчету числа трахнутых, пока не опустеют штаны. А так комплексы пубертатного периода привели тебя на скамью олигарха.

— «Скамья олигарха» — звучит двусмысленно! Впрочем, ты права. Не спасуй я тогда перед твоим сильным и взрослым Никитой, я не бросился бы доказывать тебе и всему миру, кто я есть таков. Слушай, может, все-таки трахнемся? Хоть ради прикола.

— Не стоит лишать себя детских иллюзий. Когда долезаешь до яблока на верхней ветви, а оно оказывается червивым, плюешь и перечеркиваешь все карабканье наверх.

— И только потом понимаешь, что карабканье это и было самым ценным в жизни.

— Предлагаешь долезть, а яблоко выбросить к чертям собачьим?

— Может, и так.

Тогда я подумала, что он сошел с ума в своем вечном стремлении наверх — куда ему еще выше? И только потом догадалась, что «выше и выше» для Лешки не карабканье к цели, а смысл жизни, ее вечный стиль. Заставь Оленя остановиться, и он умрет. Вот жизнь и не дает ему останавливаться, даже такими грубыми способами, ударами по голове сбрасывая с уже достигнутых вершин.

Но что же случилось? Отчего это — не жажда жизни, это громко сказано, а пассивное несопротивление отдельным ее проявлениям — проснулось во мне именно в тот момент, когда я ближе всего к ее обрыву. И не знаю, сядет ли в Риме самолет.

— Шасси, — вдруг по-русски пробормотала пробегающая мимо стюардесса. На лацкане иноземной формы у девушки висел бэджик «Алла».

— Аллочка, — позвала я. — Совсем дело плохо?

Не ожидавшая обращения на родном языке девушка, на мгновение потеряв профессиональную улыбку, зашептала:

— Шасси не выпускается. Вырабатываем топливо и будем в пахоту садиться рядом с аэропортом. Ой, что это я говорю! — И, опомнившись, что панику среди пассажиров распускать не положено, спрятав дрожащие пальцы в кармашек, снова заулыбалась: — Но вам совершенно не о чем беспокоиться! В аэропорт уже стянуты двадцать пожарных расчетов и сорок машин «скорой помощи».

Утешила.

Сейчас наш самолет будет брюхом вспахивать землю римского пригорода. Или не брюхом. Авиационные тонкости мне недоступны, может ли самолет сесть без шасси, я точно не знаю. В фильме каком-то видела, как огромный монстр садится в пену, напущенную на взлетно-посадочную полосу, но в кино и не такое можно снять. Наш самолет будет садиться как-то не так, как-то пугающе. Будет нести нас к грани жизни и не жизни. А чего? Если не жизни, то чего?

Земля в иллюминаторе стремительно приближалась, и я, в горле ощущая биение собственного сердца, все еще мысленно решала, хочу я остаться на небе или все же на земле. Словно решала главную для всей своей будущей жизни дилемму — жить или не жить.

И за доли секунды до соприкосновения с землей вдруг ответила — хочу жить. И Никита поймет. И Никита простит. И поможет. И спасет! Спаси меня, Никитушка, спаси!

* * *

«Скорые» не понадобились. Приземлились мы почти тихо, пропахав ровненькие квадратики поля с еще не собранным урожаем. Вполне штатная нештатная ситуация. В репортерской моей жизни и не такие ситуации случались. А здесь разве что тряхануло больше обычного, да кто-то из пассажиров, увидев, что самолет почти у земли, а никакой посадочной полосы под нами нет и в помине, заорал столь истошно, что казалось, в таком именно крике душа с телом расходится. Хотелось встать и дать в морду. На том, Никитином, борту тоже истошно кричали или судьба уберегла их от минут или секунд ожидания ада, которые на поверку любого ада страшнее?

Дамочка впереди меня бурно реагировала, требовала виски, и облегченно вздохнувшая стюардесса исполнила прихоть пассажирки. Даром, что ли, Прингель засунул меня в первый

класс, чтобы здесь еще прихоти не выполняли. Только прихотей у меня не было. Я не хотела ни виски, ни обещанного в качестве расшаркивания от авиакомпании ужина в лучшем ресторане аэропорта, ни краткого тура по городу, предложенного для желающих скоротать вынужденное время ожидания, пока авиакомпания, которой принадлежит неисправный самолет, пришлет в Рим замену и мы сможем продолжить свой полет в Цюрих.

Вместо этого щедрого набора удовольствий я сидела в комнате ожидания для пассажиров первого класса и, внимательно прислушиваясь к собственным ощущениям, хотела понять, вернулась ли в меня жизнь? Или этот всплеск — всего лишь последствия нескольких стрессов: ареста Оленя, вчерашних гонок на верблюдах и на джипах, этой вынужденной посадки, — а когда стресс пройдет, жизнь тоненьким ручейком снова вытечет из меня. Можно ли хотя бы попробовать дышать или при первом же глубоком вдохе спазм отчаяния снова парализует легкие и дикая неистовая боль снова разольется по всему моему существу.

— Тезка! Какими судьбами?!

Дядя Женя! Мой давний знакомый, некогда всесильный серый кардинал отечественной политики и ныне пребывающий лишь в относительной отстраненности от трона, спасший меня в тот день, когда головокружительная победа обернулась поражением, равных которому я не знала в жизни. Дядя Женя вывел меня из охраняемой зоны правительственного Белого дома, куда загнали меня Лиса Алиса и Кот Базилио. Бывшая серая кардинальша, бывшая первая политическая пассия начала 90-х Лиля Кураева и ее давний сподвижник, бывший большой гэбэшный чин, охотящийся за таинственным счетом, который тихоокеанская диктаторша Мельда оставила своему возлюбленному, бывшему хозяину квартиры, в которой жила теперь я. Что-то все в этом перечне «бывшие», как пожалуй, и я.

Дядя Женя из их старательно устроенной западни меня вывел. И, проявив таинственные знаки, сложившиеся в астрономический банковский счет, я радовалась как ребенок, не зная, что электронная почта уже принесла мне весть о гибели Никиты. Но я была бесшабашно счастлива целых восемь часов, пока не заметила летучую мышь, машущую своими крыльями на компьютере, и не прочла письмо.

Что есть событие? Существует ли оно, если мы о событии этом не знаем? Я была счастлива, когда все уже случилось. Была счастлива, не ведая. И еще долго могла быть так же счастлива, легка, если бы не узнала. Но ведь все уже произошло. Так в какой миг жизнь моя рухнула — когда все случилось или когда я об этом узнала?

Философствования путаются в моей голове с бурными изъявлениями радости дяди Жени. Как-то подозрительно часто я стала его встречать.

— Какими судьбами?

— Самолет из Эмиратов чуть не разбился, вот и сели в Риме.

— Что вдруг в Риме? Москва, кажется, в другой стороне?

— Я не в Москву.

— А куда?

— Да так, в Европу.

Чего это дядя Женя так настойчиво интересуется пунктом моего назначения? Помнится, выводя меня из Белого дома, он тоже излишне внимательно выяснял, чего хотела серая кардинальша Лиля и отдала ли я ей требуемый счет. Тогда удалось убедить его, что все это не больше чем бредни соскучившейся в бездействии авантюристки. Но стоит старому, но

не утерявшему нюха псу услышать, что я держу путь в Цюрих, как шестереночки завертятся в его мозгу. В глазах, как в мелькающих окошках одноруких бандитов, закрутятся, заворочаются цифры и циферки, складывающиеся в суммы предполагаемого дара влюбленной диктаторши. И с надеждой использовать эти не полученные еще мною деньги на спасение Оленя я смогу проститься раз и навсегда. Дядя Женя, он, конечно, и старый знакомый, но суммы, подобные той, что написана на лежащей в моем нагрудном карманчике бумажке, и не такие знакомства переориентировали и сворачивали.

— Работа, — на всякий случай спешно добавила я и тут же мысленно покрутила себе пальцем у виска. Идиотка, если работа, то кофр мой где? Если работа, то должен быть мой вечный кофр, а я за три месяца вспомнила про него только второй раз — вчера по прямому назначению, впервые за эти месяцы пожалев, что не могу заснять дикое буйство заката в раскаленной пустыне, и вот теперь, в качестве возможного прикрытия.

— Работа — не волк, в лес не убежит! — привычно хохотнул дядя Женя. Залпом, как когда-то в начале девяностых пил со своим главным шефом «Армянский», хлопнул «Хеннесси». Выдохнул, не закусывая. Приправил неизменной прибауткой «Не так выпить, как крикнуть!» — и предложил:

— Эй, птичка-ласточка, бросай свою работу, полетишь завтра. Когда самолет вам новый подадут, неясно, так в кресле всю ночь и промаешься.

— Наверное, если долгая задержка, гостиницу какую-никакую аэропортовскую предоставят, — предположила я.

— Хрен с ней, с гостиницей. Предлагаю место дислокации получше — «Вилла Абамелек», а?!

— Нам что вилы, что грабли, — вяло отшутилась я. — А что за вилла?

— Территория российского посольства в Риме. Тридцать восемь гектаров земли и старинная вилла, доставшаяся от русского князя.

— И что, русский князь так прямо взял и завещал виллу социалистическому отечеству? — не поняла я.

— Э-э, это сложная история, без пол-литры не разберешь. Говорил тебе, кажется, что остолоп мой Вовка, с тех пор как в казино проигрался, был мною немедленно выслан не только из бизнеса, но и из страны. И третий год инспектирует нашу госсобственность за рубежом. Сейчас здесь, в Риме, инспекцию наводит. Вовка у выхода встречать должен, по дороге тебе все и объяснит. Поехали!

Перебронировав билет до Цюриха на завтра и соображая, как бы это утром поаккуратнее выскользнуть из сопровождающих объятий дяди Жени, чтобы он не смог засечь, куда я все-таки лечу, я решила, что не лишним будет составить компанию этому аксакалу подковерных битв отечественной политики. Уж он-то должен знать, к кому ведут все нити Оленева ареста и кого надо, как он сам любит выражаться, «схватить за яйца», чтобы разжались руки и ниточки эти из них выпали.

* * *

Старенькая монашка одной рукой крутит руль приличной машины, другой прижимает к уху мобильник. Разомлевший от жары крошечный бамбини в колясочке, которую сторожит такса. Дама суперэлегантного вида в чем-то весьма кутюрном и вдруг на велосипеде, на

раме которого укреплена корзинка с белыми лилиями. Вполне суперменистый мужчина в деловом костюме с кожаным портфелем пристегивает свой байк к парковочной раме цепью с замочком. Байк почти такой же, как тот, что загромождает мою прихожую, только в отечестве на них разъезжают неформалы и обитатели виртуального пространства из поколения next, а здесь очень даже яппи. Регулировщики в белых шлемах и белых перчатках на тумбочках посреди гудящих перекрестков. Отражение бесконечных фонтанов в стекле замершего рядом перед светофором мотоцикла — движение заметно, а сама абсолютная прозрачность того, что движется, не фиксируется.

Эх, где ж моя камера, столько кадров упущено! Останутся теперь только на пленке моей памяти — не проявить, но и не потерять.

Памятник Гарибальди с высеченным на постаменте: «O Roma o morte» — «Либо Рим либо смерть». И рядом с ним на парапете смотровой площадки с видом на раскинувшийся внизу Вечный город и на синеющие вдалеке контуры Альбанских гор целующиеся парочки. Юноша-девушка, юноша-девушка, юноша к...vi снова юноша. Ну да это не мое дело.

— Пушка эта, — сын дяди Жени указал направо, — каждый день палит ровно в полдень!

— Прямо Питер! — других пушек старший из этой фамилии не знал.

— А там, — жест в левую сторону, — за Яникульским холмом, вдоль древней Аврелианской дороги, во-он те зеленые просторы, это уже земли «Виллы Абамелек-Лазарева» — неприступная территория России.

Ехала и фиксировала неснятые кадры — так, в незнакомом интересном месте и вдруг без фотокамер, я оказалась впервые за пятнадцать лет. За это пятнадцатилетие профессия помотала меня по Азиям и Южным Америкам, не слишком часто заводя в Европу. Здесь у моего агентства и своих собственных корреспондентов хватало. Как на чужую войну без страховки летать, так это русские стрингеры, а в Европе да за большую зарплату, с медицинским и пенсионным обеспечением в придачу, так это они и сами большие профессионалы.

В Риме я оказалась впервые, но не могла избавиться от странного ощущения, что я здесь уже была. Уже ехала по этому городу. Так же из окна ловила неснятые кадры... Синдром телепутешествия, наверное. Насмотрелись мы все на мир глазами Сенкевича, Крылова, а теперь еще и толстячка в очечках и шляпе, который ездит по зоопаркам и отовсюду звонит мамочке. Теперь уже и не поймешь, видел ты все это собственными или их глазами. Телевизионное дежа-вю.

Но на сей раз дежа-вю куда сильнее всех прежних подобных ощущений. Впрочем, откуда нам знать, кому в 1856 году случайно отдала ногу наша прапрабабушка, с кем вольно или невольно согрешил в 1920-м наш дедушка и откуда у толкнувшего нас в метро юноши родимое пятно под лопаткой, которое полностью повторяет наше собственное. Нам и юношу этого больше вовек не встретить, и пятна его, спрятанного под рубашкой и свитером, никогда не увидеть. Нам недоступно колдовство постижения причинно-следственных связей этого большого мира. Каждому дозволено обозревать лишь ограниченный сектор собственной жизни. И только тот, кто свыше читает захватывающий роман нашего всеобщего бытия, не деля его по эпохам и странам, видит жизнь в целом. И замирает в середине предпоследней главы, догадавшись о тайных связях всех ее персонажей. Связях, о которых самим персонажам вовек не догадаться.

Жизнь, заглядывающая из повседневности чужого города в мое заторможенное

отчаяние, словно бросала конец спасательской веревки, хочешь — живи, а не хочешь — никто и не заметит, что ты жить перестала.

И после приземления в пахоту я почти физически ощущала ободранное самолетное брюхо, словно мне самой передавалась боль этого стального монстра. Словно это мне свезли все брюхо, и внутри стало болеть. Три месяца я не чувствовала боли. Три месяца я ничего не чувствовала. А теперь будто стала отходить анестезия смертельного шока. И, выбирая жизнь, надо было понимать, что рядом теперь всегда будет боль, которая с жизнью, по сути, несовместима.

* * *

— Ну! Дружить против кого будем? Что птичке-ласточке из меня достать надо? — сказал дядя Женя, когда все родственные объятия были отыграны и посольский «Мерс» — иных марок дядя Женя лет пятнадцать как не признавал — вез нас в сторону Ватикана. «Там до посольства рукой подать. Собор Святого Петра с нашего холма виден», — пояснил встретивший нас сын дяди Жени, официальное и домашнее имена которого я мысленно сократила до Вовка Евгеньевич.

Разговор об уникальном месторасположении пяди родной земли в сердце Рима меня мало занимал. Мне бы узнать, кто разыграл увертюру Лешкиного ареста и, главное, кто будет играть коду. Но в качестве предоплаты за будущую информацию, которую, может, получится достать из дяди Жени, пришлось выслушивать краткую лекцию его наследника, пекущегося о нашей госсобственности за рубежом.

— ...сам Абамелек-Лазарев в сентябре 1916-го скоропостижно скончался от сердечного приступа в Кисловодске. Детей у него не было. Сколь ни хитрили и Лазаревы, и Абамелеки, но оба рода со смертью Семена Семеновича прервались. Римскую виллу князь завещал Российской императорской академии изящных искусств «для последующего создания Русской академии в Риме». Но пока завещание в силу вступало, тут и революция случилась.

— И итальянцы все к рукам прибрали? — поинтересовался дядя Женя.

— Не совсем, — ответил ему сын. — Супруга Абамелека Мария Павловна Демидова еще целых сорок лет после смерти мужа протянула, скончалась только в 1956-м. На родину, естественно, ни ногой, но и в Риме не жила, у нее другая вилла во Флоренции была. А эта приходила в запустение, пока война нам не помогла. В 1944 году по ордеру военных властей виллу заняли под резиденцию советского представительства в Контрольной комиссии союзников.

— А советскому представительству княжеская вилла и понравилась! — уж в чем, в чем, а в прибрании к рукам бесхозной собственности дядя Женя, переживший на вершинах власти все приватизационное время, разобрался превосходно.

— Не то слово! — подтвердил Вовка Евгеньевич. — А побежденным итальянцам нужно было мириться с победителями. И в мае 1946 года королевским декретом итальянские власти конфисковали виллу «в целях общественной пользы», а в следующем году передали ее в собственность Советскому Союзу. Министром юстиции тогда был Пальмиро Тольятти, он декрет и подписывал. Мария Павловна судиться пыталась, но безрезультатно. Победителей, как говорится...

Характерный жест руками в стороны.

— С тех пор это наша самая большая государственность за рубежом! — торжественно и гордо подытожил Вовка Евгеньич, будто говорил о своей даче в Жуковке. — Ватикан, крайне заинтересованный в расширении своей территории, не раз обращался еще к советским властям с просьбой продать ему «Виллу Абамелек». Наш ответ был: дарованное не продается.

Ну, просто «у советских собственная гордость»!

* * *

Я так и кивала бы головой с унылостью китайского болванчика, выслушивающего лекцию по молекулярной физике, если бы автомобиль тем временем не въехал на территорию посольства и, слегка попетляв по дорожкам, не остановился у входа в аккуратненькую посольскую гостиницу.

— Сама вилла, палаццо, там, — махнул рукой Вовка Евгеньевич и, обойдя машину кругом, галантно распахнул передо мной дверцу. — Прошу!

Вышла из машины и глотнула собственного детства. Ни с чем не сравнимый запах чуть разопревшей на солнце хвои. Так в моем детстве пах Крым, куда родители при любой возможности вывозили меня летом, дабы хоть немного «оздоровить» и оградить от бесконечных ангин. Теперь здесь, на формально российской земле, но в центре Рима, я неожиданно почувствовала тот же запах детства. Или просто климат и флора Крыма и Рима похожи?

* * *

После обеда с посольским руководством Вовка Евгеньевич повел нас показывать собственно палаццо. И, переступая по мозаичному полу с изображением некой античной маски, чем-то напоминающей опутанную двумя змеями горгону, я снова поймала себя на иррациональном ощущении — я здесь уже была. Я помню и эту витую мраморную лестницу, и парадную обеденную залу с расхаживающими по белоснежной скатерти серебряными фазанами, и огромный балльный зал, где прежде размещался театр с мраморными колоннами, роялем, настоящими хорами, золотой мебелью и редкими гобеленами семнадцатого века и фамильной монограммой Абамелека-Лазарева.

Хоть начинай верить в переселение душ. Что как была я какой-то молоденькой итальянчочкой, приглашенной на бал к русскому князю со страной фамилией Абамелек. Шуршала здесь юбочками... Нет, не похоже. Не шуршала. Точно не шуршала. Скорее и в той жизни я была здесь с фотоаппаратом. Обязательно с фотоаппаратом, фотографию тогда уже лет шестьдесят-семьдесят как изобрели. Вот я здесь и снимала. Или снимал...

Что за мистика лезет в голову! Или хорошо хоть мистика, а то до вчерашнего дня было только отчаяние.

— ...Громько частенько бывал, — продолжал свою экскурсию Вовка Евгеньевич, похозяйски ступая по настоящей зале бывшего дворцового театра, — Альдо Моро. Да кого здесь только не было. Уж наши быстросменяющиеся министры и депутаты, считай, все отметились.

— Но во времена Абамелека это помещение выглядело еще более великолепно. Тогда вопреки поговорке все, что здесь блестит, было реальным золотом, — сообщил сопровождающий нас посольский чин, мучающийся дилеммой, перед кем положено больше вытягиваться в струнку — перед некогда всемогущим дядей Женей или перед непосредственным начальником Вовкой Евгеньичем, который сам вытягивается перед отцом.

— А теперь? — уточнил Вовка, поколупав золоченую стенку рукой.

— Теперь нет, — горестно вздохнул чин.

— И на том спасибо, — пробубнила я. — Золота только что в «Бульж аль Арабе» до отвала наелась.

— И как?

— Что «как» — золото? Как пыль во рту.

— Не золото, «Бульж аль Араб» как?

— Каскады драгоценностей и немножко стройматериалов, как сказал один отправленный нынче на нары олигарх. И «Бульж аль Араб» от его ареста стоит, не падает. Отечественных кадров для заселения его президентских и королевских номеров хватит, даже если всех олигархов пересажают. Президенты дотационных республик останутся.

— Кого имеешь в виду? — вскинул брови дядя Женя.

— Хана. В роял-сьюте квартирует.

— И этот сморчок там! Говорил шефу в девяносто третьем, нельзя этому... — последовавшее определение было в духе дяди Жени — не цитируемым, — национальную республику доверять. А шеф все твердил: «Не коммунист, и хрен с ним!» Вот тебе и хрен! И покруче хрена! Ладно, историей, и далекой, и близкой, мы насладились. И архитектурой насладились, и сплетнями посольскими. Можно и к делу переходить.

— К какому делу, дядь Женя?

— Ради которого ты в Риме осталась. Что-то ж тебе от меня нужно, раз задержалась. Прикидываю — что. И умозаключаю: информация об аресте Оленя. Спрашивать будешь, кто и за что?

— Буду.

— Вторая часть ответа проста — по совокупности. У любого, кто за эти годы хоть сук спилил и продал, можно найти, за что. А уж у олигархов у каждого наперечет свои скелеты в шкафу. Только достают их не у каждого. Чего усмехаешься?

— Прингеля почти слово в слово цитируете.

— Э-э, этот сам свой скелет сдал, на блюдечке принес и лапки вытянул. И что теперь делает?

— Сидит, засунув голову в песок.

— Хрен и с ним! Переходим к вопросу, почему теперь достали скелет именно из Оленева шкафа.

— Переходим.

— А чтобы не высывался! И не думал, что умнее других!

— Каких других?

— Каких-каких! Сама не знаешь! Даром столько лет кремлевский паркет своим задом... — дядя Женя оглядел на моем теле то, что у любой другой женщины называлось бы «задом», — ...задиком протирала. Чего категорически нельзя делать в мире большой политики? Нельзя быть умнее Главного. Главные меняются и будут меняться, быть

может! — на всякий случай добавил опытный царедворец. Разговор проходил на открытом воздухе в парке, но дядя Женя точно знал, что береженого бог бережет. — Быть или даже на минуту показаться умнее любого из Главных категорически вредно для здоровья. И красивше быть нельзя, и выше.

— А если кто ростом вышел, тогда что? Просить маму родить обратно?

— Диспозицию выбирать грамотно. Чтобы разница в росте в глаза не бросалась! И народу нельзя нравиться больше, чем Главный.

— Уж нашему-то народу олигарх никак не мог нравиться больше царя-батюшки. Народ у нас не тот.

— Тот не тот, а друг твой сердечный нравился. Последние опросы общественного мнения, которые в закрытых рассылках были, указывали на такой рост популярности Оленя, что еще пара-тройка месяцев, и многих мог затмить. А у нас, сама знаешь, на носу выборы.

— Не верю, чтобы этот рост популярности другими средствами не могли усмирить. Мало ли средств?! Гусинскому «Протокол № 6» подобрали. У Березы ОРТ отобрали. И Оленю могли что попроще изобрести. Фильмец на всю страну показать про олигархов, пожирающих невинных младенцев. Чем не «Гомосексуалисты в поддержку Явлинского»? Или тазобедренный сустав Примакова. Или «казалось бы, при чем здесь Лужков». И проигравший политический противник сам, безо всякого насилия, вливается в стройные ряды победителей, даже сопредседателем их партии становится.

— Скажешь, твой любезный одноклассничек влился бы в стройные ряды? Молчишь. Вот и я знаю, что не влился бы. И они знают, что не влился. Там, конечно, не Эйнштейны за кремлевским забором сидят, но кое-что просчитывать могут.

— Да уж, посчитали! Вычислили, что политэмигранта из него, как из Гуся и Березы, не сделать, вот и кинулись сажать. Равноудаленность олигархов и равенство всех перед законом в действии.

— Все равны, и еще парочка равнее. Так было, есть и будет. Тому, кто этого не знает, нечего политическую пулю расписывать. А с друга твоего станется, еще поперет на баррикады, в публичные политики заделаться вздумает.

— Какие публичные политики с его миллиардами! Народ у нас категорически богатых не любит! Лучше дурак и сволочь, но бедный, чем умный, относительно честный, но богатый.

— Миллиарды отберут. Не дергайся, знаю что говорю, отберут! И «АлОл» отберут. «Спор хозяйствующих субъектов» устроят или просто возьмут и разорят, долго ли умеючи! — дядя Женя не стал продолжать эту бородатую фразочку традиционным ее окончанием. Напротив, посерьезнел. — Я тебе вот что скажу, девочка, в той иррациональной ненависти, которую Главный испытывает к Оленю, должна быть личностная и только личностная подоплека.

— Мужская?

— Может быть. Так споры хозяйствующих субъектов не решают. Так ненавидят более счастливого соперника, способного увести женщину. Или более счастливого политика, способного «увести» страну.

В отличие от дяди Жени я сомневалась, что вкусы по части женщин у тех, о ком он сейчас говорил, совпадали. Хотя — как знать! А по части «увести страну» — все может быть. Мужики же, как мальчишки, в детстве не наигравшиеся в солдатики. И место в жизненной иерархии в этом мальчишестве ровным счетом ничего не меняет. Все войнушки

друг с другом устраивают, только жертвы у этих войнушек оказываются не оловянные.

— Вопрос, детка, в другом — кто разыграл партию, — продолжал аксакал подкововерных битв. — Кто развел Оленя, выставив в столь невыгодном свете, и кто Главного «грамотно сориентировал»?

— Я и спрашиваю — кто?

— А сделать это мог только тот, у кого есть доступ к обоим персонажам, и тот, кто в подобной ситуации заинтересован. Лично заинтересован. Не как политик, не как олигарх, а как человек. Как мужик, в конце концов.

— Ну и кто? Кто?!

— А вот этого я не скажу. И не потому, что такой вредный или хитрый, а потому что не знаю. Ей-богу не знаю! Теперь и дядя Женя не все может. Другие времена, другие серые кардиналы. Но знаю точно — хочешь найти источник угрозы, ищи чей-то личный интерес, личную обиду.

* * *

Утром Вовка Евгеньич заботливо усадил меня в тот же «Мерс», который должен был отвезти меня к моему цюрихскому рейсу. Дядя Женя рано утром на вертолете полетел на какой-то итальянский остров Вентотене, на конгресс федералистов. В том, что дядя Женя хотя бы примерно знает, что такое федерализм и федералисты, у меня были большие сомнения. Но отчего бы в бархатный сезон в море не поплавать и собственную демократичность не проявить — все в Ниццу и на Лазурный Берег, а он, скромный человек, на конгресс федералистов! Интересно только, откуда его сынок узнал, что меня именно на цюрихский рейс провожать надо?

Проезжая по огромной территории дивного посольского парка, где некогда протекала жизнь неведомого мне графа со странной фамилией Абамелек и смешным для графа (в понимании любого, кто хоть раз смотрел «Бриллиантовую руку») именем Семен Семенович, я все не могла понять, откуда во мне это странное ощущение, что я здесь уже была?

(ВАРЬКА. РОСТОВ. 1911 ГОД)

И все ничего, ежели б еще девчонка эта, Идка, спала по ночам. А то орет, мочи нет как орет. Мать ее кормить берет только с вечера да еще под утро, а девчонка всю ночь напролет орет.

Ее, Варькины, сеструшки-братишки так не орали. Оттого ли, что мать их, пригрудных, в свою кровать кладет, чуть чего им титьку сунет, те поплямкают и снова спят. От матери теплочко, вот дитятку и спокойно. А от нее, от Варьки, какое теплоце! Самой в простывающей за ночь комнатенке холодно, где уж тут девчонку трехмесячную пригреть.

И спать хочется, спать, спать. Дома, на родном хуторе, раньше всех вскакивала, мать еще не подымалась, печку не растапливала, а она уже ножки с полатей выпростает, в черевки засунет — и бежать. Делов столько, за год не переделать! С Ефимкой гойды гонять али с Танюшкой на речку, а как зима, так на салазках с горки. Весело, пуще летнего. Щеки разрумьянятся, в горле аж сухо от беготни. В дом залетит водички испить, и снова бежать, пока мамка не опомнится да за малыши пригляд не поручит. Тогда уж подле печки сиди, младшенькому, Макарке, кашу разжевывай. У Макарки зубики еще не отросли, оттого жевать сам не наученный. Как мать в поле, титьку ему кто даст? Так надобно кашицы жидехонькой на половинном молоке сварить, да и ту еще разжевать, коли комочки. А комочки, напасть окаянная, так и лезут! Уж она и крупицу переберет, и сыплет аккуратночно, все одно комочки. Макарка комками давится — и в крик. Отчего, когда маманя варит, комков никаких, а у нее, у Варьки, сколь ни бейся, все комками. Коли для Идки кашу варить заставят, так хозяйка, хоть и не злая, но со свету сживет, если дитяtko родное подавится.

Жевать комки беда одна. Жуешь, жуешь, а он сам в голодный живот и покатится. Макарка, как галчонок в гнезде, с открытым ртом сидит, а все сызнава зачинать надобно. Мука мученическая. Но все одно это легче, чем эдак ночью-то не спать. Идка губешками телепкается, титьку ищет. Тычится, тычится, а у Варьки какая титька. И прыщ ишо не вскочил, так тетка Таисия говорит. И сама Идка, хоть малехонька, а поди, покачай, так и руки оторвет. И спина от качания болит. За неделю нянчить Идку так намаешься, что когда хозяева из Нахичевана в Ростов отсылают сродственникам своим пособлять, одно удовольствие.

Хозяйские сродственники с армянским обществом постоялый двор аж на Большой Садовой держат. По-здешнему прозывается «гостиница», хоть гостинцы туточки вовсе и ни при чем. Гостиница «Большая Московская». Ишо говорят «хотель». В хотеле энтой выпасться можно, по ночам не гоняют, а постояльцы за какое-никакое поручение денежку дают. Уже цельных два рублика и сорок три копеечки прикопила, в платочек завернула да на пояс под юбчонку пристроила, а туточки и счастье привалило, три рубля разом дали! Домой ехать, так подарочков всем купит и приедет, как из сказки «Варвара-краса длинная коса».

Коса-косица, однак, жидковата, брательник старшой Митрий все крысиным хвостиком

прозывает. Да хоть крысиный, хоть мышиный, а как с подарками в дом родной приедет, то-то шуму будет! Матери шаличку, батяне табачку, Митрию фуражечку с околышком, младшим братушкам-сестренкам по леденчику на палочке. На все про все пока не хватит, но как до конца лета, до самого учения в услужении дотянет, так и денежек ишо скопится. Даже ежели Идкины родители к родне своей на этот дорогой постоялый двор не каждую неделю отсылать будут, все одно скопится.

Девочки Идочки родные другого рода-племени, не их, казачьего. Бают, шо они армяне. Здеся, в Нахичеване, все армяне. А бабка Идкина Марья с их хутора, с Варькиной бабкой родной, Василисой, гойды гоняла. Потом мамка ее родная померла, мачеха со свету сживала, вот и сосватали Идкину бабку в жисть иную, армянскую. Но люди попались добрые. Бабка Марья в их хутор, прозываемый Ягодинка, приезжала, бабке Василисе сказывала, что люди в той семье ей достались добрые, работающие, из ремесла сапожничьего. Обычай другие, так пообвыкнуться можно. Никто смертным боем не бьет, и то дело.

В этот год на Пасху бабка Марья снова на хутор их в гости наведалась. Как увидала, что у них по лавкам мал мала меньше, так и стоворила бабку Василису на лето отрядить Варьку в их армянский дом в услужение. За то Варьке на зиму доху справят, да отцу-матери двадцать рубликов серебром дадут. На рублики энти отец семян купит, дабы в осень сеяться было чем, так и Варюха всему семейству пособит.

Варька и доглядывает, и пособляет. Да толечки спать мочи нет как хочется! И до дому хочется. В школу на пригорочке бегать, псалмы читать, счет складать. Она, Варюха, — первая ученица. Всегда урок назубок знает. Соседский Ефимка шипит: «Ить Новикова чесать пошла, как горохом сыплет!» А чего горохом, когда зубрить и не надобно. Учитель раз скажет, она и запомнила. Оттого и Евангелие на окончание первого класса подарили, и буквами кали... голи... голиграфическими выписали: «Сие Святое Евангелие в наставление и назидание на жизненный путь выдается ученице I отделения Ягодино-Кадамовской церковно-приходской школы Варваре Новиковой. Мая 18 дня 1911 года».

Учиться куда как лучше, чем Идку на руках тенькать. Да только денежки за учение никто не платит. Напротив, надобно копеечки на тетрадцы, да на чернилки, да на перышки, да на карандашики. Вона денежка к денежке, и рублики набегают. Батянька серчает — неча девке по школам шлындрасть! Замуж пойдет, не до школ будет, только денег перевод.

Но матушка иной раз в обход батеньки в Александровск-Грушевском на базаре с выгодой чегой-то продаст, а на лишнюю копеечку тетрадочек да чернилок прикупит. За пазухой до дому донесет да в комод припрячет, дабы батяня не серчал, а кады у Варюхи чернилки кончатся, из комода тихонько пузырек достанет, отошьет, и сызнава будто нетраченное. И приголубит: «Ты только поменьше буквицы выводь, на маленькую буквицу меньше чернилов, и в тетрадочке больше уместится». Оттого и выводит Варька буквицы крохотные, чтобы только учительша разобрать могла.

Но теперича батеньке и серчать будет не за что. Варька и подарочки привезет, и сама себе на тетрадочки прикопит. А что за братушками-сеструшками малыми она энтим летом не доглядает, так Матренка уже до семи годков доросла, пусть малых потаскает, как она таскала.

Здесь, в армянском доме, сытно и добротнo. Даже элехтричеству провели. Цельных две лампочки по семи рублей за каждую при постановке взяли. Час погорит такая лампочка — двадцать восемь копеек вынь да положь. Идкин отец говаривал, что прежде по двадцати рублей за лампочку брали и по сорока копеек за час. Батянька на хуторе про эдакое

электричество за такие-то деньжищи услышал бы, выругался. А светло от этой лампочки, как днем. Кабы Идку по ночам не качать, совсем праздник.

Но до дому все одно хочется. Варька который день ревмя ревет. И просила бы бабу Марью до хутора ее свезть, да будет тебе Марья деньгу без толку тратить, подводу нанимать. Варька и сама бы пешком пошла. С мамкой семь верст от своей Ягодинки до Александровск-Грушевского в базарный день она сколь раз хаживала и корзину тяжеленную ишо волокла. От Нахичевана верст много больше будет, но уж помаленьку дошла бы, да денежка заработанная останавливает. На денежку ее в доме ох как рассчитывают, не то чем же сеяться. А как к осени приедет да как отцу-матери на стол окромя сговоренных двух червонцев ишо и все, что постояльцы дают, выложит, то-то празднику в доме будет.

И любопытно туточки. Любопытно до ужаса. В хуторе она чего не видала! Все овраги вокруг облазила, всю речку Кадамовку исплавала, всю тараньку да раков повылавливала. И на колокольню лазила, и в заколоченном доме в погреб забиралась, а в этот погреб не каждый мальчишка лезть осмелится. Туточки, в городе, все иначе. Нахичеван весь другой, такой ненашенский. Повсюду говор чудной слышится, и обычаи нашенские с ненашенскими спуганы. Глядишь, и Троицу празднуют, а пироги какие-то чудные пекут, с крутыми яйцами и лебедой. Куснула — в горле трава одна, аж сдобы жалко. Сдобу тихоненько всю пообкусала, а траву за щеку засунула, после во дворе сплюнуть. Выдумали — сдобе травую перевод делать.

Нахичеван большой, а Ростов и подавно — город из городов. Дома есть аж в шесть этажей — не то что в Нахичеване в два да в три. На последний этаж в этой хотеле взбегла, из окошка перехилилась, аж в голове закружилось. Колокольня высоченная в их Ягодинке, и то гляди ниже будет. С четвертого этажу весь город видать, и собор на Старом Базаре золоченым куполом светится!

Люди в городе все разные. В хуторе увидали бы, обхохотались.

А теперь еще этот, прости господи, обосравшийся. Постояльцы из сорок третьего номера вчера с парохода снялись, в хотелю на извозчике приехали и дядьку какого-то волоком волокли. Недужит, сказывали. Звали лекаря. Телефонировали, а дождем все в городе позаливало, и телефония ихняя фурычить перестала, не соединяет. Они на всю хотель кричат: «Барышня! Дохтура Кондратьева, тринадцать сорок восемь, соедините!» — а барышню и саму в эту трубку не слышать, не то что дохтура тринадцать сорок восемь. Варька первый день перепужалась, как приказчик в хотеле в черный ящик криком кричать стал. Потом объяснили, что прибор такой мудреный, в одну дырку говоришь, а за много домов твой голос из другой дырки вылетает. Телефония! А дождь прошел, и конец этой телефонии. И хорошо, что конец. Тогда Варьку и кликнули, за дохтуром бечь велели.

Дохтур этому болезному клизьму ставил. Дюже большую клизьму. Варьку заставили тазики с говнецом выносить. Вонища, как в деда Семена отродясь не чищенном нужнике. Малых дитяток на хуторе страшают — в деда Семена нужник провалишься, будешь знать, как баловать! От тазиков тех вонь не лучшая. Зато денежку дают. К вони она на скотном дворе привыкшая. За навоз денежку никто давать не будет, а тут цельных три рублика разом! Красивых таких рублика! И сколько всего на те рублики купить можно! Пусть болезный хоть три дни усирается, ежели каждый день за него рублики давать будут.

Кажный день — это она размечталась. Те двое пришлые, как клизьмы болезному закончили, врача спровадили и сами съехали. Дотоле все в говнеце копались, искали чегой-то. А что в говне искать? Макарка-несмышленьш на Рождество даренный пятиалтынный

глоть, так мать тоже велела глядеть, как по-большому ходить станет, палочкой разгребать, пятиалтынный шукать. У Макарки на другой день деньга и вышла, а с пятиалтынным ишо и кусок рогожи вышел, да зубок от Матренкиной гребенки, да два камня, на дворе подобранных, да сухой баранки кусок. Когда братец все угрызть успел!

Так и болезный мог проглотить не пятиалтынный, а что посурьезнее. Эти двое руки от говнеца отмыли, Варьке еще деньгу дали, чтоб прибралась да помалкивала, позор на болезного не наводила. Она и помалкивает. Тазы отмыла, в комнатке прибралась, оконца пооткрывала, запашок выветривать. И у оконце пристроилась, из оконца есть чего поглядеть.

Улица Большая Садовая внизу во всем городе главная. Супротив «хотели» дом красоты невиданной, сказывали, дума там сиживает, а Варька не понимает, как это думы в домах могут сиживать, думы же в голове думаются. В доме том балконцы резные, оконцы крашенные, меж оконце бабы, до поясу слепленные, мудреным словом «кариатиды» прозываются. Как из другого оконца поглядеть, не через Садовую, а через переулок, дом-заглядение других армян со смешной фамилией Генч-Оглуевы. На крыше конек выглядит, по ветру крутится, как петушок на их амбаре.

Вечером на Садовой фонари электрические горят, дамы с кавалерами выгуливаются — променада называется. Дамы с зонтиками, все в кружевах, кавалеры при шляпах. Идут в ресторацию али в электробиограф Штиммерши в соседнем доме. Эх, Варьке бы в электробиограф! Синему глядеть, где картинки живые по стене движутся! Да билет, сказывали, тридцать копеек стоит. Куда столько! На другой год ежели приедет, так и на синему скопит.

Эх, сейчас бы по той Садовой пошлындрасть, да где там! Сиди туточки, ожидай, чтобы дядька болезный не загнулся.

Как в нумере прибралась, глянула, а болезный и не дядька вовсе. Почитай, не старше брата Митрия будет, а Митьке семнадцатый годок, старшой он у них. Потом Любаня. Марья была да два Гаврилы, но они от хворобы не пойми какой померли, только Митька да Любка тогда в живых остались. А Варька уже опосля мору родилась. Так мамка ее шестой родила, а по счету выходит как третья. А за ней уж мал мала меньше — Матрешка, Алешка, Верка, Макарка, и уж опосля нонешней Пасхи последыш Костюшка. Мобыть ишо кто у отца с матерью народится. У Гавриловых вона последыш выродился, кады от старшого сына невестка уж три раза приплод принесть успела, так и племянники старше дядьки сделались.

И болезный точь-в-точь брат Митрий. Над губой волоски толечки продергиваться зачали, не бреет ишо ус поди! А красавчик писанный. Хоть и болезный лежить, и говна его три таза вынести успела, а как пригляделась, все одно красавчик. Поди благородных кровей.

Идкина матерь, невестка бабки Марьи, все про благородных посудачить любит. Хлебом не корми, дай поговорить, кто из благородных, а кто нет. А какие в Нахичеване благородные-то. Все в один ряд, разве что купцы да торговцы зажиточные, так это и в их хуторе кулаки есть, Подольневы. «Кулак я, — Подольнев-старшой сказывает, — оттого, что сплю на кулаке, а беднота — это кто лодырь, кто работать не может!» У Варьки семейство тоже не бедствует. И хлебушко с маслицем имеется, и конфет куль на Рождество дитям дают. Но работают все, на печи не разлеживаются, как лежать будешь, так все богатство-то и повытекет. Лежмя лежать это только для благородных и дело. Для барынек, какие по Садовой прогуливаются ножка к ножке, и кружева на шляпке, и зонтик в кружеве весь. Фу ты ну ты! Варька и сама б в таких кружевах выступила, ишо как выступила бы, да не с руки.

Ой, и болезный красавчик заворочался. Порозовел, мертвенность с лица-то сошла, а то

оставаться с ним боялась, лежал, как покойник, зимой из проруби достатый. И бормочет чегой-то, бормочет, все не разобрать.

— Барка. Дове соно? [1571](#)

Тю, не по-нашему кличет... Не русский красавчик, что ль... Не, снова задремал, и Варьке спать ох как хочется. Так в кресле калачиком чуточек, самый чуточек и вздремнуть.

* * *

Иван, очнувшись, видит странный номер приличного, но не слишком роскошного отеля — узкая кровать, стол, шкаф, рукомойник за ширмой, кресло, а в кресле дремлет девчонка деревенского вида лет девяти. Ножки под себя поджала, цветастой ситцевой юбчонкой укутала, в калачик свернулась и сопит, пофыркивая чуть сопливым носом. На носу веснушки, косица с кресла свесилась, расписной платочек съехал на пол.

Смешная русская девчушка. Знать бы, что она здесь, в Италии, делает? Хотя переселенцы, которых он фотографировал на римском вокзале, выглядели почти как русские. Мужики итальянские от наших крестьян отличались, а девочки да бабы в таких же цветастых юбках, головы платками повязаны. Лица загорелые, южные, а со спины не отличишь.

Или это не девчушка в Италии, а он уже снова в России?

Иван отбрасывает покрывало и, убедившись, что оказавшаяся на нем чужая исподняя рубаха достаточно длинна, чтобы не оконфузиться в случае внезапного девчушкиного пробуждения, подходит к окну. Отодвигает пыльную шторку, выглядывает.

Теплый запах южной ночи тот же, что до начала всех бед пьянил его в Риме. Внизу гудит праздничная улица невесть какого города. На другой стороне улицы видны не только городской сад и парадное здание, но и лачуги, что вечно прячутся за фасадом, будь то хоть Крым, хоть Рим. Рим тоже — город контрастов, в чем сам Иван имел удовольствие, вернее неудовольствие, убедиться.

С верхнего этажа и не разобрать, какого рода-племени прогуливающаяся под окнами толпа. По духу явно не римская. Парадный фасад провинциального богатства, не больше. Хотя... Здание чуть наискосок от места его пробуждения отнюдь не провинциально. Прелестная, вполне свежая постройка, с весьма остроумными архитектурными цитатами из барокко и ренессанса. СимСим недавно задумал новый дом на Миллионной строить, идею проекта придумывать стал и Ивана изысканиями увлек. Полгода архитектурных увлечений оказалось достаточно, чтобы он мог разобрать придуманные неизвестным ему архитектором скульптурные детали фасада с отголосками барочных форм. Теперь он способен оценить и малые гермы над входным порталом и на атике, и фигуры античных богинь, скрывшиеся на двускатных сандриках в основании башен, и женские головки в капителях, и малые фигуры путти под арктурным фризом.

Что-то итальянское проглядывает в этом доме. Те же тосканские полуколонны в узких округленных простенках первого этажа. И небольшой, размещенный на углу здания купол, явно цитирующий купол собора Санта Мария дель Фьоре, который он всего несколько дней назад видел во Флоренции. Но все же это цитаты, не больше. При всем архитектурном реверансе здание это вряд ли может быть итальянским. Дух не тот. В освещенных окнах заметно какое-то заседание. Приличного вида господа шумят. И надпись над парадным

входом «Городское собрание». Точно, не Италия.

А что?

Неплохо бы узнать, где он? И кто его сюда привез? И как отсюда выбраться?

Девчушка бормочет что-то во сне. Иван хочет ускользнуть до того, как его маленькая стражница изволит пробудиться, но понимает, что не знает ни где он, ни что с ним случилось. Придется спрашивать у девчонки, которая от коллик в затекшей ноге просыпается.

* * *

— Где я?

— Ой, ты и по-нашему можешь?! Уж думала, не наш ты, иноземный!

— Наш, наш. Пить хочется. Где я?

— Ить в Ростове.

— В Великом?

— Каком таком великом?

— В Ростове Великом?

— Великом-невеликом, но достатошном.

— Ой, девчонка неразумная. Я тебя спрашиваю, в Ростове Великом или в другом Ростове, что на юге.

— Мобыть, и на юге. Не ведаю.

— Рядом-то что?

— Рядом? Александровск-Грушевский рядом. Нахичеван, тамочки все больше армяне.

Все перечисленные девчонкой местные названия Ивану ровным счетом ничего не говорят. На уроках географии в гимназии они не изучаются.

— Новочеркасск ишо рядом, — продолжает загибать пальчики Варька.

— Новочеркасск? Значит, на Дону.

— И Дон рядом. Так бы сразу и говорил, что Дон тебе нужен. Вниз вот туточки по спуску, и Дон!

— Ростов, говорю, который на Дону, а не тот, что Великий.

— А этот чем тебе не великий! Очень даже и великий. Ты поглядь, из оконца-то поглядь. И дома во много этажей, и конки таперича без лошадок по рельсам бегают, и элехтричества, и телехфония с телеграхвией...

— Ростова в Российской империи два. У другого Ростова название Ростов Великий, чтоб с твоим великим городом не путать, а ты, чудак-человек, обижаться вздумала. Звать-то тебя как?

— Варькой.

— Пить сильно хочется, Варька. И как я в твой Ростов попал?!

* * *

Сидя на диване явно не лучшего номера заштатного южного городка, Иван пытается сопоставить рассказы бойкой девчонки-прислужницы с теми обрывками собственных ощущений, которые, как подтопленные весенним половодьем бумажные кораблики, то идут

на дно, а то и всплывают в измученной памяти.

Что помнит он?

Он на антресольной полке среди шляпных коробок. Убитая нана. Побег. Мальчишка доводит его до виллы крестного. Он взлетает на второй этаж и... переброшенный через перила чьими-то сильными руками, летит вниз. И несколько секунд наяву повторяют видевшиеся ему кошмары падения в объятия горгоны. В кошмарах ему представлялась лужа крови, расплывающаяся на мозаичном полу с воплощением античного ужаса. Но он теперь в Ростове. Значит, он жив. И голова на ощупь цела, значит, лужи крови, вытекшей из его пробитой головы, не было. А что было? Почему он не разбился, а только потерял сознание?

На пароходе, изредка приходя в себя, он мог запомнить только качку, расплывчатые контуры и чужие голоса. И змею вокруг пальца тянувшейся к нему руки.

«Приходит в себя. Надо снова колоть!»

Между собой два похитителя говорили на плохоньком английском. Голоса казались знакомыми, похожими, но на чьи?

«Куда столько колоть?! Что как не выдержит сердце? На роль международного авантюриста, благородного грабителя, не спорю, был согласен. Но на роль убийцы не подписывался, увольте!»

«Уволю! Рыб и акул в Черном море кормить!»

Провал. Свет, качка, тошнота, сухость во рту, снова провал.

Воды! Воды!

Еще воды, из того фаянсового кувшина, что принесла бойкая девчонка-прислужница. Залпом. Половину кувшина...

А камень!.. Алмаз князя, который при всех его леденящих кровь приключениях был во рту? Где камень?! Где «Зеба»?

Вспомнил. Теперь вспомнил. В миг, когда некто, тенью мелькнувший на втором этаже княжеской виллы в Риме, сбросил его с лестницы, переваливаясь спиной через перила, он судорожно сглотнул воздух и почувствовал, как что-то застряло в горле.

Он проглотил камень. Семейный алмаз Лазаревых и Абамелеков. Овальный камень размером с небольшое яйцо.

Но если он проглотил алмаз, то, как ни натуралистично в том признаваться, камень должен был из него выйти. На следующий день. Или через день. Тогда его, более не нужного, выбросили бы в море...

Не выбросили. Почему?

«Нужна кружка Эсмарха, камень сразу и выйдет».

«Вы б еще целый гошпиталь заказали! Билеты с перепугу на первый же попавшийся пароход взяли. На „Святом Константине“ ни врача, ни аптекаря!»

«Сами шумели про грозящую вам неустойку, чтоб быстрее в Ростов, чтоб плыть без остановок. Теперь ждите, пока мальчишка сам вам камень отдаст, а там мальчишку за борт!»

«Абамелек за мальчишку вас из гроба достанет. Дождемся камня и бросим его здесь. Без камня он нам зачем?»

«Запор у него. Ни малейшего эффекта».

«Так вы ж его морфием колете и не кормите. Кормите, камень быстрее выйдет!»

«Как кормить в беспамятстве? А без морфия никак невозможно. Чтоб мальчишка нас запомнил и Абамелеку доложил, нет уж! Дождемся берега, уже скоро».

— Варвара! Варенька!

— Вся туточки.

— Те господа, которые привезли меня, где они теперь?

— Так съехали. Как камушку блестящую из вашего говнеца вынули, чуток отмылись и сразу съехали.

— Говне...

О Боже! Грезить о Прекрасной даме, твердить наизусть любимейшего Блока:

*«Она, как прежде, захотела
Вдохнуть дыхание свое
В мое измученное тело,
В мое холодное жилье...» —*

чтобы потом вдруг очутиться в дешевом номере захолустной гостиницы перед крестьянской девочкой, рассказывающей про его гов... Какой стыд!

— Господа ж, которые ваше благородие приволокли, за дохтуром меня посылали, а дохтур в аптеку меня гонял, название на бумажке написал — кружка Эх... Эс... Мудреного чего-то там кружка. На деле обнакновенная клизьма оказалась.

— Зачем клизма?

— Так ить вашему благородию ставили. Дохтур и ставил. А те двое потом в тазике копались, пока чегой-то не нашли. Орех, что ли, какой или камень, отмыли — заблестело!

— Алмаз! Что я теперь скажу СимСиму!

— Они блестящий камешек в карман, и ходу. Денежку мне дали, чтоб прибрала да подле вас посидела. Большую денежку! Тапереча на денежку эту я гостинцев всем сеструшкам-братушкам куплю, и матери шаличку, и батяне табачку.

Иван от стыда глаза зажмурил. Ужас! Чтобы ему прилюдно ставили клизму, да еще и заставляли малолетку за ним убирать. Какой позор! Позор! Бежать скорее, чтобы больше этой несчастной девочке в глаза не смотреть. Прогнать, прогнать ее скорее. Денег дать и прогнать! Хотя откуда у него деньги!

Иван сел на кровати, оглядел себя — не по размеру большая, доходящая едва не до колен исподняя рубаха, и все. Снова он без одежды. И без денег. И неизвестно, в какой дыре. Как выбираться отсюда, неведомо. Надобно телеграфировать. Только не в Петербург, у маменьки удар случится. Телеграфировать надо князю Семену Семеновичу в Рим. Но как?

(ЛИКА. СЕЙЧАС)

И пошло-поехало...

Утренняя аудиенция Его Высочества — это надо было видеть!

Нам с Алиной принесли кофе и прочие радости раннего завтрака, который для меня был одновременно вчерашним обедом и ужином. И усадили перед плазменным экраном, на котором шла прямая трансляция из соседнего зала, по периметру уставленного диванами. Баб на аудиенцию Его Высочества на дух не допускали.

— Женщинам в мужских разговорах участвовать не полагается, — прокомментировала Алина.

— Бедные женщины, — посочувствовала я.

— Это они-то бедные?! — воскликнула Алина. — Все в золоте. Ты видела, сколько на них за один раз навешано? У тебя столько драгоценностей вовек не будет! У каждой лимузин с водителем и охранником. Хоть в хиджаб или некаб замотаны, зато под абайей [\[58\]](#) белье — годовой доход нашего с тобой мужа. И это не мы их, а они нас, несчастных западных дур, жалеют, которые все на себя взвалют и волокут, да еще и любовь к севшему на шею супругу или любовнику изображать силятся. Имей в виду!

Наглядная разница между Кимом и Его Высочеством явно сказалась на мироощущении моей последовательницы, а предстоящее путешествие в компании Шейха подлило масла в огонь каких-то ее тайных устремлений.

На экране в зале, заполненном просителями более чем небедного вида, появился наш друг Шейх. Глядя строго перед собой, прошел в центр, уселся на небольшом возвышении в арке, чуть подкачавшей по количеству виньеток. Впрочем, моему искаженному западному сознанию не понять, какой у каждой из этих виньеточек тайный смысл. И начался церемониал. Каждый отделявшийся от дивана бочком продвигался в сторону шейхского восседания и, не смея взглянуть в глаза правителю, что-то мямлил по-арабски.

— Почему все отводят глаза? Стыдно, что ли? — не поняла я.

— Протокол, — пояснила Алина. — Этикет взгляда. Просители не имеют права смотреть в глаза Его Высочеству, чтобы не смущать.

— Да-а, тяжела ты, шейхская куфия!

— Не куфия, — возразила уже подковавшаяся в арабских реалиях Алина. — Куфия — это платок, в который здешние мужики головы заматывают. Если по аналогии с шапкой Мономаха, тогда — «тяжела ты, шейская укаль» — это черная уздечка, которая у них вокруг головы.

— Укаль так укаль! А ест он, бедный, в одиночестве? Или с женами?

— Скажешь тоже, с женами! Его Высочество человек, конечно, демократичный, европеизированный, но не настолько же, чтобы собственных жен за один стол с собою посадить!

Аудиенция набирала темп. Посетители в своих белых хламидах и в цивильных явно

недешевых костюмчиках, не задерживаясь, сменяли друг друга у ног Его Высочества. С одним лишь европейского вида челобитчиком заминочка вышла. Он застрял у Шейховых ног. Вскоре рядом с ним возник бойкого вида десятилетний мальчик в шортах-бермудах и сдвинутой на ухо кепке-бейсболке — копия мой Сашка. Кинг-Конг с помощниками прибежали в нашу комнату. И принялись отдирать со стены огромный телевизор, на котором мы и смотрели трансляцию.

— Шу аку? Что происходит?

Из нескольких доступных ей арабских фраз Алина пыталась понять, в чем дело. Кинг-Конг в ответ мычал, помощники молчали, но кое-что моя последовательница разобрать смогла.

— Чадолюбив! — присвистнула Алина не то с восхищением, не то с возмущением. — Британский бизнесмен пришел вопросы поставки нефти согласовывать. И сказал, что сынок в приемной дожидается, у мальчика в оксфордской школе каникулы. Так Его Высочество, своих девятиерых детей ему мало, еще и этого решил осчастливить. Бедный, говорит, ребенок! Как же ты там мучаешься! Я сам в той школе столько лет промучился. Ад, а не школа! Я, говорит, здесь не в своей стране, на уик-энд приехал и подарить мне тебе нечего, разве что телевизор. И приказал этот, плазменный, ребенку в Оксфорд отправить.

— Добряк, — согласилась я. — Лучше б нищим детям помогал. У этого нефтяного папаши своих денег и телевизоров куры не клюют. Куда ему еще шейхский подарок.

Кинг-Конг тем временем заканчивал упаковку плоского экрана и дал отмашку прислуге — можно подарочек выносить. Так что окончания аудиенции мы не увидели.

На пятой чашке кофе мой «Тореадор» проснулся вновь. Звонила Женя.

— Лика! Мы с Прингелем уже с ума сходим!

— Вместе сходите?

— Нет, он в пустыне, я в Риме.

— А в Рим ты как попала?

— Очередное ЧП. Долго объяснять. У тебя что случилось?

Мне объяснять было тоже долго. Кратко сказала лишь, что нахожусь в вынужденных гостях у Шейха.

— Надеюсь, не в гареме? — невесело пошутила Женька.

— К счастью, нет! Или к сожалению. В таком гареме пожить бы годик-другой без проблем. Алина уверяет, что это очень даже лучше, чем с нашими мужиками! — пробормотала я и запнулась — зачем говорю про «наших мужиков» Женьке при ее горе. И быстро поменяла тему: — Шейх собирается с нами в Ростов лететь!

— Зачем? — не поняла Женька.

— Сарай в нашем дворе ломать, — сказала я, понимая, насколько неправдоподобно такое заявление звучит, для убедительности добавила: — Предложение, от которого невозможно отказаться.

— Понятно, — протянула Женька. — Новостей последних ты, конечно, не слышала.

— Что-то с Оленем?

— Счета арестовали. И «АлОла», и личные. Даже прингелевские счета заблокировали. Прингель по телефону плачется, что нечем будет бедному за «Аль Маху» расплачиваться.

— И что теперь? — в счетах и прочих банковских премудростях я была не сильна.

— Сама не знаю. Прингель уверяет, что в офшорах у Лешки, конечно, прилично припрятано. Но только Лешка знает, сколько и где, да еще его ближайшие сподвижники, а

их вчера вместе с Лешкой замели. Прингель каркает, что как только денежный поток иссякнет, Лешку все бросят — и «компьютерные дизайнеры», и адвокаты. Я не верю.

— И правильно не веришь. Разве можно Лешку бросить! — взвилась я. И сама себя осадила — обещала же сдерживать собственные порывы. Не сдерживаются.

— Не верю. Но подстраховка нужна срочная. Действуем, как договорились. Я уже сижу в самолете, надеюсь, в этот раз долечу до Цюриха. А ты со своим Шейхом быстро сгоняй домой, найди мужей — и скорее в Москву. К тому времени и я вернусь, будем Лешку выручать.

Да-а! Аника-воин в двойном исполнении! Вся империя «АлОла», все юристы, адвокаты, службисты и охранники, все заранее купленные министры и политики Оленя вытащить не могут, а сейчас прискачут две растрепанные тетки, раз-два — и достанут с нар любимого олигарха. Весело. Так весело, аж волком выть хочется! Волком выть... Волком... Что если попробовать попрессовать Игоря Волкова, того министра-капиталиста, которому кабинет и дом оформляла. По всему видно, мужичок со связями. И много знает. Слишком много знает. А я немало теперь знаю про него. Мне дом о его комплексах все рассказал. Знаю, в какие болевые точки теперь целиться.

— Все! — радостно закричал появившийся на пороге Шейх.

Мама мия, я его не узнала! Джинсы, майка-тишотка — нормальный человек, да и только. Вот этого парня можно и Далли называть.

— Что это с вами?

— Каникулы! Улетаем! Немедленно улетаем искать ваш камень, вашего общего мужа.

— Но помимо нашего общего бывшего мужа Кима у меня еще и отдельный бывший муж есть, Тимур. И вчера мне показалось, что я его видела на набережной около Золотого рынка.

— Тимура твоего Хусам, — взгляд в сторону Кинг-Конга, — искать будет. Как найдет, доставит по назначению. Оставим его здесь с важным поручением, а сами полетим налегке.

* * *

Каждый нормальный человек устает от работы и хочет отдохнуть.

Каждый нормальный человек устает от работы, даже если этот нормальный человек работает шейхом.

Каждый нормальный шейх может позволить себе хоть иногда побыть человеком.

Исходя из всего сказанного можно сделать вывод, что в машине по дороге в аэропорт и в его личном «Боинге» Шейх вел себя, как мои мальчишки в первый день каникул. Шалил! Вовсю заигрывал с Алиной. Попытался подкатить и ко мне, но я, снова не к месту вспомнив об Олене, не слишком дипломатично отшила.

— Я в ваш гарем не записывалась. Ни четвертой женой, ни даже первой любимой.

— Так в чем дело? Может, запишетесь? — расхохотался Шейх.

— «No, my lord, unless I might have another for working-days: your grace is too costly to wear every day» [\[59\]](#).

— «Much Ado About Nothing» [\[60\]](#). Акт второй. Сцена первая.

Просвещенное Высочество точно определило цитату, которую я помнила из школьного спектакля, разыгранного в девятом классе на английском языке. И, забыв про Алину, поглядело на меня еще более масляным взглядом.

Эх, не сидел бы сейчас Олень на нарах, уж точно не преминула бы пропустить Шейха через свою постель. Надо же убедиться, каковы они, восточные правители, в деле! Или правитель не пропустился бы? У него свой гарем. И потом, говорят, арабские мужчины на блондинок падкие, а у меня цвет волос почти тот, что и у имеющих у него в наличии жен и наложниц. Хотя какие теперь наложницы. Теперь сами вперед Шейха в его постель наложатся, и не вытащишь их оттуда.

Экипаж шейхского «Боинга» косился на нас с Алиной с трепетным ужасом.

— Чего это они все так паникуют?

— Удивляются. Так панибратски, как вы, со мной лет двадцать никто не разговаривал.

Интересно даже!

— Дома вы так себя не ведете?

— Дома регламентирован не то что шаг, даже взгляд. Сейчас за минуту раз тридцать нарушил этикет. Шейх не должен смотреть на собеседника долее двух секунд. При ходьбе взгляд только перед собой. А уж на женщин — ой-ой-ой!

— А подмигнуть?

— Ни-ни. И улыбаться тоже нельзя! — радостно сообщил Шейх, во все свои зубы расплываясь в роскошной улыбке. Не был бы шейхом, мог бы на рекламе зубной пасты прилично зарабатывать.

— Чего вы еще не можете, несчастный правитель?

— Кушать со всеми за одним столом, — сказал Шейх, жестом приглашая к столу, накрытому в его личном салоне. Хотя что салон! Здесь все было его личное! — Каждый четверг я обязан давать званый обед для особо избранных. Но, естественно, без женщин.

— Естественно! — понимающе протянула я и шлепнулась в кресло рядом с Шейхом.

— По протоколу я обязан положить каждому гостю угощение, а сам в рот ничего не брать. Ждать, пока насытятся гости. Гости из трепетного уважения сметают все, что им положили, за двенадцать минут, потом их выталкивают на улицу ждать, и я вынужден давиться в одиночестве — дикие нравы! Так что вы, Лика, может, и правы, не собираясь ко мне в гарем. Муж я, видите ли, невыгодный.

— А как у вас, невыгодный муж, с доходами?

— В том году не очень. Цены на нефть стали падать. Экспортируем миллион баррелей, это что-то около тридцати-сорока миллионов долларов.

— В год?!

— В день. Но раньше мы по три миллиона баррелей в день продавали. Вот и считай убытки. Правда, кроме нефти мы сделали ставку на туристический бизнес и высокие технологии. Особенно высокие технологии! Это мой конек. Высокие технологии и управление! Без идеального управления современный мир невозможен!

— Это вас, Ваше Высочество, с Оленем свести надо, я вам о нем уже говорила.

— Сведи!

— Для этого его сначала достать надо.

— Достать откуда?

— Из тюрьмы. Да не смотрите вы так, Ваше Высочество. У нас не ваши халифаты, тюрьму любой нормальный человек за милую душу схлопотать может. А уж тот, который делает ставку на высокие технологии и идеальное управление, — и подавно! У Оленя те же два конька — управление и технологии. Только он еще и третьего конька оседлать пытался. Этот и завез его в Бутырку.

— И что за конек?

— Политика называется. У нас на таком коньке нормальному человеку кататься категорически запрещается. А этот экстремал поехал. Ладно, разберемся с мужьями и алмазами, может, и Оленю придумаем, как помочь.

— Кстати, об алмазах...

И Его образованное Высочество преподал нам Алмазный урок.

* * *

— «Алмаз уничтожает действие яда, рассеивает пустые бредни, освобождает от нелепых страхов, придает человеку уверенность и силу», — продекларировал Шейх, закрывая заранее прихваченный с собой уважительно потрепанный том. Подобного рода потрепанности, закладки, загибы чуть замусоленных страниц и даже капли кофе и прочих неведомых жидкостей могли возникнуть только от постоянного использования. А без уважения к предмету Шейх, судя по всему, пользоваться им постоянно не стал бы.

— Кого цитируем?

— Старшего Плиния.

— «На разохшейся скамейке Старый Плиний...» — тут же пробурчала я по-русски. Что поделаешь, стереотипное сознание: если фрукт, то яблоко, если поэт, то Пушкин, а если Старший Плиний, то «на разохшейся скамейке».

— «...дрозд щебечет в шевелюре кипариса», — закончила строфу Алина. Это тебе не Тимкин «Прогноз погоды». Кима всегда возбуждали исключительно умные женщины. Это я себе так льщу.

— То, что алмаз на девяносто шесть-девяносто девять и восемь десятых процента состоит из углерода, вы, конечно, должны помнить из школьного курса химии.

— Должны. Но не помним. Значит, никакое это не волшебство, не «глаза Бога», а всего лишь один углерод?

— Не один. С примесями. Совершенно бесцветные алмазы довольно редки. В количестве от тысячных до трех десятых процента в углероде содержатся примеси атомов... — золотым «Мон Бланом» Его Высочество быстро написал на листке длинный ряд химических элементов — N, O, Al, B, Si, Mn, Si, Fe, Ni, Ti, Zn.

— Если б мы еще помнили, что они обозначают! — протянула Алина.

— Чему вас только в школе учили! Меня бы в Оксфорде за такие успехи без обеда на неделю оставили и летом без каникул, зубрил бы химию до посинения. Это же элементарно! — указывая ручкой на обозначения, стал улучшать наше образование Шейх. — N — азот, O — кислород, Al...

— ...алюминий! — радостно откликнулась я. Помнила, что изначально в названии Оленевой компании «АлОл» — «Ал» значило не только первые буквы его имени, но и «алюминий», это позже Олигарх моей мечты на нефть и управление перекинулся.

— Дальше бор, кремний, марганец, купрум...

— Медь! — снова вспомнила я, уже без Оленевых ассоциаций. — А феррум — железо!

— ...никель, титан и цинк. Химию вы учили на два с плюсом, — подвел итог моим знаниям Шейх. — Встречаются включения графита. От этих включений зависит окраска алмаза. Лимонно— или соломенно-желтая при включениях атомов азота. Зеленые пятна

пигментации, окрашивающие поверхность алмаза в зеленоватый или голубоватый цвета, появляются в результате природного радиоактивного облучения. Равномерная голубая или синяя окраска кристалла обусловлена вхождением бора. Серый и черный алмаз — включения графита...

— С переводом на примитивный, пжалста! — еще раз поиздевалась над собственной дремучестью я.

— Для примитивных урок не из химии, а из истории, — легко согласился Шейх. — До пятнадцатого века алмазы практически не обрабатывали, и они ценились намного дешевле.

— Почему?

— Необработанный алмаз выглядит как булыжник, а обработанный — это уже мера знатности, богатства, власти... При огранке алмаз теряет до шестидесяти процентов массы, но обретает ту самую меру роскоши, которая определяется четырьмя параметрами...

— И у роскоши, оказывается, есть параметры! — не слишком удачно съязвила я, но Его Высочество, не обращая внимания на мои реплики, продолжал:

— ...четырьмя параметрами — массой, окраской, прозрачностью и качеством огранки. Полная бриллиантовая огранка алмаза была разработана в Париже году так в 1600-м. Она обеспечивает наибольшую игру камня, при которой свет отражается от нижней части бриллианта и выходит из его верхней части, распадаясь на все цвета спектра. Поэтому, если посмотреть бриллиант на свет, то можно увидеть только блестящую точку.

Его Высочество снял кольцо с неслабым бриллиантом со среднего пальца правой руки, обнажив все еще пугающее нас изображение змеи, и, подняв задвижку иллюминатора, поднес к свету.

— Видите?

Тысячи солнечных зайчиков заскакали по салону шейхского «Боинга».

— Хо-хо! — с интонациями Элочки-людоедки, увидевшей позолоченное ситечко мадам Грицацуевой, застонала Алина. Но нашего сегодняшнего учителя это умопомрачительное сияние с ума не сводило. Огромный бриллиант для него сейчас был всего лишь учебным пособием.

— Размер и число граней влияют на игру камня. Крупные камни изготавливают с большим числом граней, а мелкие — с меньшим. Как правило, бриллианты массой меньше трех сотых карата...

— Карат — это сколько? — поинтересовалась я и по выражению лиц сливающихся с самолетными панелями охранников поняла, что такие вопросы в королевском обществе задавать просто неприлично.

— Карат это две десятых грамма, — великодушно ответил Шейх. Вот что значит человек на каникулах! И как ни в чем не бывало продолжил лекцию: — Так вот бриллианты до трех сотых карата имеют семнадцать граней. Камни массой более трех сотых карата — тридцать три или пятьдесят семь граней.

— А в этом сколько каратов? — спросила Алина.

— Этот из моих мелких. Что-то около восьми.

— Восьми десятых карата? — переспросила я, наивная.

— Нет, восьми каратов. Говорю же, этот из мелких, крупные камни тяжело носить на пальце, — пожаловался Шейх. — Но я не фанат бриллиантов. Крупные не покупаю. А скажем, бриллиант «Кох-и-нур» — «Гора света», все из той же пятерки алмазов Надир-шаха, в неограниченном состоянии весил сто восемьдесят шесть каратов, а после огранки

уменьшился до ста восьми.

— И что с этой «Горой света» стало? — поинтересовалась я.

— Как в 1911 году вставили в корону британской королевы Мэри, так в ней и сияет, — ответил все знающий Шейх. — Из-под бронированного стекла в Тауэре корону с «Кох-и-нуром» в последний раз доставали весной 2002 года, чтобы положить на гроб королевы-матери. Про тот камень говорят, что безнаказанно его могут касаться только боги или женщины. Мужчинам «Кох-и-нур» сулит все беды мира.

— И вы верите в злое влияние камней?

— Верю не верю, но биографии самых известных алмазов мира этим суевериям не противоречат.

— Тогда, может, не стоит наш алмаз искать? — несмотря на развод с Кимом и ненависть к Карине, Алина уже говорила про алмаз «наш».

Упоминание о конечной цели каникулярного путешествия вернуло мысли ко всему, случившемуся в наших, как это Его Высочество назвал, «трущобах».

— Вы сказали, что отравленной оказалась соль, которую вам дал муж вашей подруги?

— Свекровь так сказала.

— И про археологические изыскания вашего бывшего мужа он тоже знал? — Его Высочество с удовольствием входил в роль частного сыщика. Эх, бедная жизнь правителя! Не отпускали ребенка из Оксфордской школы сгонять на Бейкер-стрит, вот и не наигрался в детстве. Теперь наверстывает упущенное!

— Угу.

— И перевод пришел на его факс, — добавила Алина.

— Слишком много косвенных улики ведут к мужу вашей подруги. А он сам, собственно, кто?

— Он сам, собственно, бандит. Но в нашем городе это ровным счетом ничего не значит.

(ВАРЬКА. РОСТОВ. 1911 ГОД)

Иван сел на кровати, оглядел себя — не по размеру большая, доходящая едва не до колен исподняя рубаха, и все.

Снова он без одежды. И без денег. И неизвестно в какой дыре. Как выбираться отсюда, неведомо. Надобно телеграфировать. Только не в Петербург, у маменьки удар случится. Телеграфировать надо князю Семену Семеновичу в Рим. И как можно скорее. Но как?

— По Риму едва одетый уже бегал, теперь по этой дыре бегать? — пробормотал Иван вслух.

— По какой такой дыре?!

Не по годам смышленная прислужница Варвара уже и на «дыру» обидеться успела.

— И вовсе даже не дыра! Лучший гранд-хотель во всем городе, ей-богу, не вру! Туточки кажный номер цельный рублик за день стоит и более. Это ж какими богатеями быть надобно, чтобы кажный день рублик платить, а за большие номера на втором этаже, так и по пять, и по семь рублей. Один, сказывали, даже двенадцать стоит — апартаменты прозывается! Там и рояля, и какое-то такое чудное «водяное отопление». Это зимой без печек тепло от труб каких. Только я отоплению эту ишо не видала. А подъемную машину видала — элевайтору. Сама вверх едет. Мне на элевайторе ездить не дозволено, но ваше благородие на четвертый этаж на ей доставляли, иначе тяжко вас волочь. А ишо здесь комната отдельная имеется за тридцать третьим номером, там кадка здоровая, вся белая, и крантик. Крантик поворачиваешь, и вода текет. В кадке дырку затыкают, воды доверху наливают, и господа нежатся. А как накупались, так дырку открывают, и вода по трубам сама утекает. Не уразумею, отчего это вода на нижний этаж на головы всем не польется?

— Патриотка! Вода по трубам уходит в водосток. Канализация называется.

— Никакая я такая не патриотка! Нечего занапрасну обижать.

— «Патриотка» — это не обидно. Хорошо даже. Это когда любишь свою родину, город свой. Ты, вижу, город свой любишь!

— Любишь — не любишь! Не городская я. С хутора на лето дитя нянчить в армянский дом посланная. Хозяева своим сродственникам меня в энтот хотел при армянском обществе помогать спроваживают. Постояльцев дюжа много, нанятая прислуга не управляется, и я помощница.

Варька горделиво взглянула в висящее на стене зеркало.

— А город, он не мамка, чтоб его любить. Но красивый — все каштаны в цвету. И богатый больно. Одних гамазинов на Большой Садовой погляди — тут тебе и «Торговля Абрикосова», и «Торговля Халаджева», и «Часы Майзеля», и «Музыкальный Адлера», и «Мебельный Боммера». За одну стулку в том магазине все семейство наше, все десять душ цельный год кормить можно.

Иван невольно улыбнулся. Город, который после Питера и Рима заранее, еще не увидев, он счел глухой дырой, для деревенской девочки был невиданной роскошью.

— Эх, Варвара-краса! Если б ты только сумела мне помочь, я бы тебе после денег дал куда больше, чем тот стул стоит. Уж точно всей твоей родне хватило бы, — сказал Иван и понял, что девчонка смотрит на него с недоверием. — Да, в своем сомнении ты права. Сейчас при себе у меня нет ни гроша. Но надобно только дать телеграмму и продержаться несколько дней, пока человек из Рима доехать сюда сможет или денег мне через банк перевести. Тогда и с тобой рассчитаюсь, и платье пристойное куплю, и домой уеду. Вот только как князю про бриллиант признаться, эх... Но об этом думать будем, когда спасемся. Пока из дыры этой выбираться надобно. Ох, что это я все дыра да дыра. Не обижайся Варварушка. Я ж города твоего прекрасного в глаза не видал. Ничего не видал, с тех пор как меня в Риме с лестницы сбросили.

— В «Риме»? — недоверчиво спросила Варька. — А чегой-то ты в «Риме» делал? Не для приличного люда трактир.

— Какой трактир?

— Трактир «Рим», вниз по Почтовой. Здешний половой сказывал, что в том «Риме» люд малопочтенный собирается. Халамидники, маровихеры, вентерюшники да монщики. И фотографы с ними.

— Не знаю, что собой представляют первые господа, но фотографы тебе чем не угодили? Я сам увлекаюсь фотографией. Крестный мой, князь Семен Семенович мне и фотографический аппарат подарил. Фотографом еще не стал, но учу... — Иван не договорил, заметив, что Варькины глазки от ужаса расширились и девчонка принялась истово креститься. — Что такого я сказал, что напугало тебя так? Увлекаюсь фотографией, что в том плохого?

— С нечистого дела деньга твоя, что ль? У честного люда часы тыришь?

— Упаси Бог, ничего я, как ты говоришь, не «тырю». С чего ты взяла?

— Сам сказал, на фотографа учишься.

— И что?

— А то, что фотографы, знамо дело, по карманным часам спецы. Не думай, что я хуторская дурочка. Лето в городе живу, все знаю. Михрютка-половой прежде этой «хотели» в кабаке дурной славы прислуживал, всего нагляделся, и мне обсказал. Фотографы — по часам воры, халамидники — жулики базарные, маровихеры — карманные воришки, монщики — сонных людей обобрать научены, а серые, или вентерюшники, те и вовсе бандиты, без чести, без понятия. Впятером, вдсятером нападают. И одежда на них одинаковая — кушак красный шелковый, а из-под него цепочка от ножика складного. «Не бойся меня, бойся моего красного пояса!» — присказка у них такая. Страшно, аж жуть! И все они в «Риме» валандаются. И ты с ними?

— Эх, Варвара, что с тобой делать. Я из настоящего Рима похищен был. Столица страны Италии. Ты про такую и не слышала поди. Глобуса в твоём хуторе не имеется? Страна, похожая на сапожок.

— Тоже мне скажешь, на сапожок! Как это цельная страна на сапог походить может? Дуришь, твое благородие, мне голову, а я слушаю. Мне денежку за что дали? Дабы пока пробудишься дождалась, а коли до завтра не очухаешься, к дохтуру бегла. Твое благородие очухалось, так мне иттить можно. Мне до завтраго проспаться надобно, завтра меня снова за «трубу», в Нахичеван свезут, там от Идкиного крика не поспишь!

— Что ж делать мне, Варька. А, человек — два уха? В этом городе мне помощи ждать неоткуда.

— И за нумер энтот только до завтрего дни уплочено. Завтра твое благородь выгонют отсель. Тады хоть в Рим сапожный, хоть в здешний!

— Варюх, по всему видно, девчонка ты бойкая. И понятливая. Видишь, я не разбойник. Ты мне веришь, что не разбойник? Чего краснеешь? Веришь же, что не обману? Ты говорила, тебе за... словом, денежку тебе дали. Одолжи! Мне бы только крестному о своем месторасположении сообщить, а там и в полицию обращаться можно. Пусть тогда телеграфируют князю в Ри... в Италию. Тот подтвердит, что я — это я. Ежели я прежде полиции телеграмму не отобью, то СимСим не поймет, не поверит, как это я в Ростове очутился. Одолжишь? Верну в три раза больше.

— Ишь какой быстрый, одолжи! Я на денежку ту подарочков всему семейству свезу, а ты — одолжи!

— Ты к семейству когда возвращаться намерена?

— Чего-чего?

— Домой, на хутор свой ехать когда думаешь?

— Кады заберут. На все лето меня в услужение спровадили.

— Если на все лето, так я долг свой тебе еще многократно вернуть успею. Поверь мне, голубушка. Мне бы только в Рим князю Абамелеку телеграфировать — Виа Гаета, пять.

— Какая такая гаета?

— Название улицы римской. Там у крестного моего «Вилла Абамелек» рядом с Ватиканом.

Но волшебные слова «вилла» и «Ватикан», завораживающие любого римского жителя, на хуторскую девчонку, околдованную провинциальным Ростовом, впечатления не произвели. Только подхихикнула:

— Скажешь тож! На что это князю вилы! Сам князь сено в стоги сметывать станет?!

— Не «вилы» сено метать, а «вилла» — маленький дворец. Как тот дом за окном, хотя римская вилла князя чуть поменьше, но внутреннее убранство великолепно. А питерские его дома так и больше, чем тот дом.

— Ой, брехать ты, Ванюшка, горазд! И князь тебе крестный! И дом его больше Городского собрания! Врун.

— А что как не врун? Что как поможешь мне из беды выбраться, и денег заработаешь, сколько в услужении твоём тебе за сезон не заработать? И отцу твоему не заработать, поверь.

Варька поглядела на Ивана с сомнением. Без толку доверяться незнакомому благородию, которого вчера два странных типа волоком на себе волокли, боязно. Что как заодно он с этими бусурманами? Но и денежек поболее батюшкиного заработать заманчиво! Эх, жизнь-житуха у них пошла бы. И телогреи на меху всем бы разом справили, и брату Митрию на мундирование отложили. Не то отец с матерью загодя горюют — на другое лето казака на цареву службу спроваживать, а ни коня справного, ни муни... — амуни... — мундирования. Надеть, в обчем, Митрию нечего.

Форма воинская деньги большой стоит. А что делов теперь делать надобно. Что ее Ванечка этот, раскрасавчик, просит — телеграфию отбить да штаны с рубахой какие-никакие сыскать. На штаны в «хрустальном дворце мещанина Кузьмина» в Казанском переулке, где краденое сбывают, у нее копеечек хватит. А сколечки телеграфия стоит, она знать не знает. Да и боязно. Как обманет Ванечка-благородие, и не будет у нее денежек, привязанных в платочке под юбочкой!

— За штанами да за рубахою сбегаю и штиблеты прихвачу — не босому ж тебе шастать. Это мне босой чем в башмаках привычнее, чувяки ноги трут. А ты, ежели взаправду благородь, то ноги у тебя должны быть нежные. Штиблеты на свою копеечку за возврат твой куплю. А телеграфию отбивать не пойду. Как в твой Рим писать, ведать не ведаю.

— Варька-Варюшка. Ты, наверное, сказать боишься, что неграмотная, писать не сможешь.

— Кто это неграмотная! Да я лучше всех грамотная! В церковно-приходской школе в нашем отделении первая ученица! Меня батюшка с учительшей Евангелием жаловали. Хоть тепереча почитаю. «Донскую речь» хотя б. Господа, что тебя приволокли, забыли. «Самоя большая чудо в мире! В музее Шульце-Беньковского каждодневно с 11 часов утра до 10 часов вечера живая тати... тату...», тьфу ты, напасть, «та-ту-и-ро-ванная красавица. Вход 22 копейки». Ничего себе красавица за 22 копейки, это сколько деньжищ-то можно огресть. У нас на хуторе за эти копейки сколько дней на пахоте горбатиться надобно! «Ло-те-ре-я-ал-легри!» Ванечка-благородь, а чё такое «ал-лег-ри»?

— Лотерея, в которой розыгрыш призов сразу после покупки билета производится.

— «Всего за тридцать копеек выигрыши от коровы до швейной машинки!» Эхма, мне б швейную машинку выиграть! Швейная машинка лучше коровы! Корова Мотря у нас жива-здоровая, а машинкой можно цельное семейство кормить. Вона у Поликарповой вдовы семеро по лавкам, и в хозяйстве без мужика, а она всех баб обшивает и горя-беды не знает. Мобить, и мне билетик купить? Что как швейную машинку матери привезу!

— Не привезешь! Обман все это.

— Как обман? Здеся же прописано. «Вы-иг-ры-ши выдаются немедленно. Девица Тараторкина с первого куп-лен-на-го билетика унесла домой новый образец „Зингера“. А „Зингера“ это чего?

— Не «чего», а «что». Модель германской швейной машинки системы «Zinger». Но все это подстава. Мне князь СимСим про международные аферы рассказывал. Ваши провинциальные такие же, только уровнем пониже. В Риме авто разыгрывают и билеты по триста лир, а здесь по тридцати копеек и «Зингеры», но исход один. Выигрыши у них подставные люди для привлечения глупцов получают. Девица эта Тараторкина, что машинку еле домой унесла, явно с ними в доле, вот и изображала счастливую выигравшую. Ты что в лице переменилась, невыигранного «Зингера» так жалко?

— «Разыскивается опасный преступник». Ой, благородие Ванечка, не про тебя ли тут прописано. Больно похож. «Внешность русская. Волосы светло-русые, слегка вьющиеся, глаза каштановые». У тебя глаза какие? Покажь. Одно к одному, каштан и есть. «На вид шестнадцать-семнадцать лет, росту выше среднего, известный меж-ду-на-род-ный ахве... арфе... ахверист». И чей-то это такое ахверист?

— Людей когда обманывают так, что люди этого и не замечают.

— Ой, свят! И ты ахверист, Ванечка-благородие?

— Никакой я не аферист. Напротив, вокруг меня устроена афера, и как найти из нее выход, я не знаю. Меня ограбили, из страны в страну перевезли и бросили. Как жив еще! Вот теперь и в полицию ход мне заказан. Попробуй, обратись, в кутузку засадят и никакому Абамелеку сообщать не подумают. Мало ли воров в Ростове-папе, о каждом телеграфии за казенный счет отбивать да князей беспокоить накладно. По всему выходит, мои похитители меня не просто в глуши бросили, но еще и полиции меня вместо преступника представить решили. Теперь мне не в полицию идти, а от полиции бежать! Что ты там бормочешь?

— Так ить газету дальше читаю. «Е-дин-ствен-ная гастроль всемирно известного трагика Незванского!!»

— Незванского?! Дай сюда! — Иван выхватывает из рук девочки отпечатанную на дешевой желтой бумаге местную газету, пробегает глазами объявление. — Спасены! Варька, мы спасены!

И от радости даже подхватывает свою добровольную помощницу за плечи, приподнимает над землей и чмокает в щеку. Хочет чмокнуть и в другую, но Варька машет головой и поцелуй приходится как раз в губы, отчего девочка густо краснеет, но разгорячившийся Иван Варькиного смущения не замечает.

— Трагик! «8 июня в театре Асмолова! Единственная гастроль всемирно известного трагика Михаила Незванского!!» Положим, «всемирно известного» это они преувеличили, но бог с ними! Главное, Незванский знает, что я не нищий и не аферист! У него можно занять денег и сообщить князю СимСиму о случившемся. Какое сегодня число?

— Кто ж его знаить, не считала. Пстой-пстой. Я кады «Донскую речь» вслух читала там число прописано было. Да, 8 июня 1911 году.

— Сегодня! Театр этот где?

— Недалече. Через городской сад и выйдешь к красному дому на Таганрогском прошке.

— Бежим!

— Куды это бежим! Ты, Ванечка-благородие, голые.

* * *

Стало смеркаться, когда сопровождаемый Варькой, одетый как обнищавший ремесленник Иван вышел на улицу. За одеждой Варька в Казанский переулочек сбегала, в известный всему городу «двор хрустальный» мещанина Кузьмина, где была скупка краденого.

«Не может быть, чтобы это все происходило со мной! — все не хотел верить Иван. — Проводить лето в римском палаццо, где „прежде бушевало море, там — виноград и тишина“, бредить донной Анной, грезить возможностью сочинять, жить, любить, чтобы потом оказаться без средств, без помощи, без надежды в бандитском городишке!»

— Сам ты бандитский, твое благородие!

Наверное, он не заметил, как проговорил терзающие его мысли вслух, раз не желающая называться «патриоткой» Варька взвилась.

— Еще раз бандитским Ростов прозовешь, сам отсель выбираться будешь. Пушай хоть полиция тебя хватает и на каторгу шлет, помогать не стану!

Наверняка они представляли собой странную картину. Девятилетняя девочка-простушка в цветастой юбочке и накинутом на плечики платочке и совсем не простецкого вида юноша в стоптанных, не по сезону громоздких ботинках, вытянувшихся на коленях клетчатых штанах и не первой свежести рубахе.

Они бегут, как можно бегать только в детстве, почти задыхаясь и оттого еще быстрее. Бегут через запруженную нарядной толпой Большую Садовую. Прежде юный столичный граф лишь презрительно ухмыльнулся бы в сторону провинциального «высшего света», но сейчас, словно вместе с ношеной дешевой одеждой на миг переняв и образ мыслей

малоимущего мальчишки, готов почти восхищенно взирать на праздно гуляющих дам и господ.

Бегут между разъезжающихся в разные стороны составов электрического трамвая. В закрытых вагонах почти пусто, зато открытые полны. В такую погоду и пятикопеечное путешествие через весь город — не вынужденное перемещение в пространстве, а променад! Заскучавший на козлах извозчик грозит электрическому чуду вслед: «Эх, зима придет! Рельсу вашу позаносит! Хоть один день будет, да мой!»

Перебегая под электрическими проводами, Варька испуганно прижимается к Ивану.

— Туточки на угле вчера провод трамвайный оборвался. Страх господний, цельные молнии из проводов трещали! А ежели туды на трамвае ехать, — машет рукой налево, — до конечной, а после пешком через «трубу» — балку, по-вашему, то и Нахичеван будет, где я в услужении живу. Ох, и попадет же мне, что от хозяйских сродственников из «Большой Московской» «хотели» без спросу сбежала!

Бегут через витые ворота городского сада, теплый вечерний аромат и буйное цветение которого ублажает провинциальные потуги города вообразить себя «вторым Римом». Прозрачные соцветия акаций и пирамидальные цветки каштанов в райское время первых дней лета, когда холод и ветры уже покинули эту землю, а изнуряющее июльское пекло еще не вступило в свои права, умело скрывают все, что этот наивный в своем стремлении быть «как столицы» город хотел бы скрыть. Как ловкая портниха лишним рядом оборок скрывает изъяны на теле заказчицы, так и сочная, едва народившаяся зелень умело декорирует то убогое, нелепо провинциальное, то недодуманное, недоделанное, разрушившееся, что станет явью, как только, опаленная летним солнцем и потрепанная пронзительным осенним ветром, опадет эта свежая нынче листва.

А пока разбавленная ароматом спелой земляники и черешни, которыми полны корзины сидящих на каждом углу торговков, свежесть юной листвы дурманит, завораживает, заставляет поверить в искренность и взаправдашность этого южного мира. И не признаваться себе в том, что вся жизнь в этом городе — один всеобщий театр, с надоевшими, но навечно обозначенными в афишах спектаклями. И все с теми же исполнителями, год за годом твердящими «Кушать подано», неспособными отыскать для своего дарования иные, более достойные подмостки и иную, более требовательную публику.

Здесь награждают аплодисментами за любую не слишком явную фальшь, за витиеватость речи. А больше за парадность декораций, за блеск фальшивых корон и скипетров, за сияние поддельных алмазов. За иллюзию иной, придуманной, замечательной жизни, в которую всем так хочется играть. Всем городом притвориться — и лицедействовать, лицедействовать, путая истинность собственной речи с давно заученным текстом из первого акта!

Ах, этот вечный театр южного города! Эти бесконечные подмостки жизни, ограниченные не светом рампы и не рамками кулис, а лишь длиной главных улиц и шириною базарных площадей, давно превративших пребывание на них в единственно возможную сцену, вне которой никому из здешних примадонн и статистов не прожить. Ради единственного выхода на эти подмостки шьются наряды, вершатся браки, воспитываются дети. Лишь ради мысленных оваций публики разыгрываются страсти.

«О боже, ваш Сашенька так вырос! Настоящий мужчина, не то что Сазонтьевых — не сын, а сморчок, впроголодь его держат, что ли!..»

«Денег полные кубышки, а живут как куркули! Жинка его в засаленном платье на базар

ходит, за каждую копейку удавится, а все жаловаться норовит, что всюду ее обманывают, обобрать хотят!..»

«Сосватали их в доме Грабовского, доктора, что на углу Малого и Садовой. И, надо вам сказать, прелестная составила партия. Родители счастливы! Невеста перед алтарем в голос ревела, да кто ж из нас не плакал перед свадьбою! И я рыдала, а поглядите! Жизнь прожила. Детей родила. Доху новую справила. Все как у людей...»

Если вы не жили на юге, то вам никогда не понять манкости этого неизбывного уличного театра жизни, без которой нет ни этого города, ни этого мира, ни всех его обитателей.

Вам не понять. Разве только, как юному графу, несущемуся ныне через гаснувший в закатном солнце городской сад, вдохнуть из этого южного воздуха то, что способно примирить этот нарочито показушный убого провинциальный шик с его римскими и петербургскими образчиками. И впервые почувствовать, что спектакль собственной жизни не зависит от роскоши декораций. Разве что от умения лицедействовать всерьез да от пьесы, из века в век сочиняемой неведомым миру драматургом, не признающим в начале действия, оставит ли он для тебя реплику в последнем акте.

Бегом! Бегом!

Мимо фланирующей по аллеям нарядной толпы, привычно выходящей на променады в городской сад и привычно возмущающейся его несовершенством.

— Не сад, а кунштюк какой-то! Фонтан с Купидоном, загородка Жудика да ротонда. И ротонда — одно название. Вертеп, да и только. Там девицы гуляют в одиночестве — и знамо дело, какого сорта девицы! И это в городском саду! А еще мним себя европейским городом!

Мимо расположенной на горке в левом углу городского сада недоброй славы летней ресторации Прохора Жудика, именуемой ростовцами «загородкой».

— От «саврасов» житья нет! Приличному господину с барышнею ни лимонаду, ни шампанского выпить! Да и простолюдья страх один, даже в соседний тир Герзиева зайти боязно, «саврасы» до нитки оберут.

Мимо тира Герзиева, налево за угол, и вот они уже с тыльной стороны внушительного красного здания — театра, некогда построенного табачным фабрикантом и меценатом Асмоловым.

— Стой, с парадного хода не стоит и пытаться — денег на билеты у нас все рано нет! Придется лазейки искать.

Бегом вокруг породистого красного здания в самой низине Таганрогского проспекта. Недавнее архитектурное увлечение не дремлет и по ходу забега. «Эх, эклектика, эклектика! — снисходительно улыбается Иван. — Тут тебе и трехъярусный фасад, с двумя декоративными шатровыми башнями, и навес над парадным подъездом на чугунных устоях, и прихотливая композиция кокошников, наличников, розеток на фасаде».

Предаваться архитектурным экзерсисам даже на бегу далее не дает Варька.

— Оконце, вишь! На другом этаже открытое. Ежели по тютине влезть аккуратнечко, в самый раз поберешься.

— По чему влезть? — с трудом переводит дыхание Иван. Для забегов, что случаются у него в последние дни, одного футбола недостаточно. Прав СимСим, общее увлечение физкультурными занятиями не дань моде. Надобно укреплять организм!

— Да по тютине же! Какой же ты, Ванечка-благородие, бестолковый! — всплеснув ручками, Варька указывает на дерево, растущее под окнами с тыльной стороны театра.

— А, шелковица! — замечает дерево Иван. — Так бы и говорила.

— Я и говорю, тютюна! Скорше полезай!

— Уже лезу. А ты как же?

— Туточки ждать буду. Мне с той ветки до окна не допрыгнуть. Как трагика сваво отыскаешь, так и меня ж не забудь!

— Не забуду, не бойся. Жди здесь, Варька-человек! Главное, чтобы Незванский в таком виде меня признал.

* * *

Реакция Незванского на появившегося в проеме его гримуборной юношу превзошла все рассказы о бурной натуре трагика.

— Что такое! Кто пустил! А-ха-ха-ха!

Знаменитый трагик входит в образ. Звучание собственного голоса, обильно пропитанного накануне водочкой, гения российской Мельпомены не устраивает.

— Оборванцев мне только не хватало! Где Волкенштейн?! Пусть немедленно выведут это чучело отсюда, а-ха-ха-ха, могу я хотя бы перед спектаклем побыть один! Без почитателей! А-ха-аааа!!!! Иван!! Иван Николаевич!!!! Ты ли это? Быть не может, друг любезный! Здесь, в Ростове! В таком виде! Что, брат, приключиться могло, чтоб из Рима да в таком виде? Куда ж князь Семен Семенович глядел?! А я, вишь, брат, здесь представляю! Не буфонадку какую-нибудь. Шекспира играю. Театр новый. Самого Шервуда проект делать нанимали.

— Того, что Московскую Думу на Красной площади проектировал?

— Его самого! Ты, брат, думаешь пренебрежительно, провинция, провинция. А я эту провинцию, ей-богу, люблю. Российская наша провинция любую столицу деньгой перебьет. Где еще семьсот рублей за одно представление отвалят, а?! Ростовцы — театралы известные. Всегда аншлаги. И зал здесь на тысячу зрителей. С отоплением. Это тебе, брат, не Цирк-театр Машонкиной, где я в девяносто седьмом году имел ангажемент. «Хлев-театр», а не цирк. В ту пору еще деревянный, без печей, дождь с потолков каплет, сквозняки по всей сцене гуляют. Голос едва на том ангажементе не потерял, но радикулит заработал. В девяносто седьмом в асмоловский театр Мишку Незванского еще не звали. На порог не пускали. А теперь в ножки кланяются. Да и друг мой давешний Волкенштейн, адвокат здешний, с партнером своим Файным в прошлом году купили театр этот у его основателя, табачника Асмолова. Слышал о таком — вся Россия табаки его курит?! Хотя тебе курить не надо. Рано тебе курить! Или пора уже. Не мальчик же ты. А-ха-ха-ха-а-а! Семен Семенович признавался как по римским бабам тебя водил. Мне б нынче к такой наночке, эхма, делострасть! Так Волчара этот, Волкенштейн, истинный Волчара, в Москву приехал, в ноги пал, тыщи сулил, только чтоб Мишка Незванский в его театре выступил. А я, добрая душа, и сжалился. Прогорят без меня театральщики новоявленные. Сжалился, а сам не в форме. Что завтра газеты напишут?! Что Михаил Незванский играл хуже последнего провинциального комика?! Критики здесь — палец в рот не клади, с потрохами сожрут! А тебя мы сейчас приоденем. Волкенштейн где?! Пусть людям своим скажет, чтоб одежду юноше подобрали немедленно самую лучшую. Что значит «где подобрали»?! Где хотят, там пусть и подбирают. И знать не хочу, что модные лавки уже закрыты. Открываются пусть, когда

такой клиент! И Семену Семеновичу немедленно телеграфируем. Не беспокойся, голубчик Иван Николаевич. Сейчас же Волкенштейн человека в почтовую контору пошлет. Я записку напишу, пусть телеграфирует. Какой там адрес на вилле князя? Вия Гаета, пять... А мы и до ответа князя Абамелека скучать не станем. Вечером здесь на Пушкинской улице на месте, где молодой Парамонов особняк новый закладывает, представление намечается. И Парамонова не знаете? Первейший богач. Миллионер! Елпидифора Парамонова сын Дворец в античном стиле с портиками и колоннами строить задумал.

Храм богини Артемиды, а не купеческий дом! И в честь закладки первого камня прием званый на открытом воздухе делает. Но и в мою честь, конечно! Истинный бал. Ага, вот и костюм. Не флорентийского портного, однако. Но до утра, пока модные лавки откроются, и фрак из костюмерной театра сойдет. Едем! Волчара уже прислал за мной.

* * *

Забытая около черного хода Варька, устав ждать, начинает вышагивать вокруг театра.

— Ничего-ничего! Теперь Ванечка-благородие выйдет, меня внутрь театры позовет. А там ахтер энтот незванный денежек ему даст, и в Рим ихний телеграфию отбить, и мне за заботы обещанный червонец. Теперь выйдет, теперь выйдет. Спектакля ишо, поди, не кончилась. Народ не валит.

Когда народ из театра стал валить, искать Ванечку было поздно. Зажатая между истерически вопящих поклонниц трагика, Варька увидела лишь, как из распахнутой двери театра появляется манерно наряженный Ванечка, вместе с трагиком садится в авто.

— На Пушкинскую, угол Малого переулка. К Парамонову! — командует трагик, и ликующая толпа бежит следом за фыркающим чем-то вонючим самодвижущимся экипажем.

В криках «Незванский, браво!» тонет слабый Варькин крик: «Туточки я, Ванечка, туточки!» Укатившее вниз по Таганрогскому проспекту авто скрывается за углом Пушкинской улицы-бульвара. Отставшая от автомобиля ликующая толпа остывает, расходится. А сбитая с ног, забытая всеми Варька остается сидеть на земле. И плакать.

Самое время поплакать, посетовать на судьбинушку горькую, на бесчестность людскую. Толечко, кажись, добрый человек встрелся, и тот про обещание денежек дать запомнил. И про должок за одежду из «двора хрустального» запомнил. И Варьку, живого человека, посреди дороги бросил.

Так и плакала бы Варька, если бы вопли истеричных почитательниц не стихли и в случившейся тишине девочка не расслышала разговор, доносившийся из окна, под которым она сидела.

— Аншлаг! Совершенный аншлаг! Барышня, двенадцать-сорок восемь!

— Аншлаг, аншлаг, господин Волкенштейн.

— Вот им всем, кто не верил, что Волкенштейн театром управлять сумеет! Прежде такой аншлаг только по приезде Шаляпина в третьем году случился. Блоха-ха-ха! Вот тебе и блоха! Алё, барышня! Алё! Черт знает что такое! Деньгу за телефонный аппарат шальную берут, а дозвониться даже начальнику полиции невозможно!

— Так ведь как плату телефонную до семидесяти пяти рублей в год понизили, так, говорят, целых две тысячи телефонов на один Ростов образовалось. Куда там телефонным барышням успеть всех соединить! Я скорее пешочком в участок сбегаю, все что нужно,

передам. Вы записочку полицмейстеру отпишите, я и передам, только в почтовую контору, как велено, забегу, и сразу передам.

— Про почтовую контору ты это забудь. Это Незванский для мальчишки соловьем заливался — телеграмма в Рим, телеграмма в Рим...

— Так ведь, сказывали, мальчишка тот граф.

— Такой же граф, как ты миллионщик Парамонов! Преступник этот мальчишка, международный аферист! Незванский его в Риме видел и теперь его аферы вычислил. Видом своим юным пользуется. Достойных богатых господ на «гут-морген» обирает.

— Как это на «гут-морген»?

— Не твоего ума дело. Ты не богатый, лишних вопросов и не задавай. Бегом, как велено, в полицию. Доложишь, что аферист, чьи приметы в, сегодняшней «Донской речи» опубликованы, теперь на балу у Парамонова. Работает под юношу. На вид не более шестнадцати лет. Одет в театральный костюм Чацкого. На лацкане с внутренней стороны метка театра значится, могут проверить. И пусть побыстрее арестовывают! Незванский говорил, что хитер этот юнец, ох как хитер, честного человека на балу без штанов оставит.

(ЛИКА. СЕЙЧАС)

Во время каникул Его Высочество путешествовал инкогнито. А это значило, что свою свиту, сокращенную до каникулярного минимума в шестьдесят восемь человек, и «легкий багаж» — четырнадцать чемоданов, восемь коробок и передвижную гардеробную с тринадцатью отглаженными костюмами на вешалке, он оставил в самолете, отогнанном на почетную стоянку около депутатского зала местного аэропорта. А сам, загрузившись и загрузив нас во «всего лишь» новехонький BMW, заказанный с борта самолета по спутниковой связи — на какие неудобства только не пойдешь ради отдыха! — приказал распоряжаться нам.

По нашей в очередной раз перерытой улице достойный Шейха автомобиль проехать не смог. Пришлось Высочеству для пущего инкогнито вместе с нами вылезать из машины и как простому Далли идти пешком. Сопровождающим слугам, оставшимся при особе королевской крови в абсолютно неприличном даже для каникул минимуме из трех человек, Шейх приказал без особого его распоряжения менее чем на триста метров к нему не приближаться. Сопровождение и не приближалось. Но не успел Далли, наслаждаясь тянущим с реки ветром и видом падающих с дерева каштанов, сделать и нескольких шагов навстречу нашим «трудообам», как возникший будто из-под земли милицейский патруль потребовал у «лица кавказской национальности» документы.

— Эх, делать вам, мальчики, что ли, нечего! — заворчала Алина, пока мы обе доставали паспорта.

— С вами, девушки, все ясно! — козырнул сержант. Хоть «девушками» в нашем возрасте обозвал, и то дело. — А этого чечена регистрация где?

— Какой же он чечен?! Он арабский ше... — возмутилась Алина. Чувствуя, как я сзади бью ее по спине, «вторая моего первого» замолкла. Но сказанного хватило.

— Так. Еще и арабский террорист! Связи с «Аль-Кайдой»! — заметил сержант.

— Какая «Аль-Каида!» — с ужасом заорала я.

Еще не хватало, чтобы радужно улыбающееся всем своим каникулярным приключениям Высочество и пока все еще не приближающееся его сопровождение сообразило, в чем упрекают правителя!

Только что по ходу полета Шейх промывал наши зашоренные западные мозги, объясняя элементарную истину — мусульманин мусульманину рознь! Мусульманин и террорист не есть одно и то же! Шейх рассказывал, как направлял помощь пострадавшим от взрыва дискотеки «Пади» и ночного клуба «Сари» на острове Бали, как выделял финансовые средства для поиска преступников. Страшно гордился тем, что всего за полгода все террористы были пойманы и теперь в Индонезии уже идет суд над ними. Это только у нас никого никогда не могут поймать! Что будет, если Шейх поймет, что теперь приняли за террориста его самого?!

— Вы майора Платонова знаете?! Михаську, Михал Карпыча? Сейчас он вам покажет

«Аль-Кайду»! — пригрозила я, набирая номер на мобильном.

— Так, еще и связь с оргпреступностью! Это вам майор Платонов все, что хочешь, покажет. Про операцию «Оборотни в погонах» слышали?! Не слышали. Был ваш майор, да весь сплыл! Арестован за взятки и связи с бандитскими группировками.

Тьфу ты! Ну почему у нас благие дела творятся всегда не ко времени! Нам сейчас только этой грызловской предвыборной кампании с «оборотнями в погонах» не хватало!

Кому теперь звонить? Не Ашоту же. Здравствуй, дорогой бандит! Мы тебя во всех смертных грехах подозреваем, спаси нас! Так, что ли?

— Террориста вашего придется арестовать! — радостно продолжал сержант. — Руки за спину, если не хочешь, чтобы мордой в грязь уложили!

Сейчас те, кто без особого приказания не смеет приближаться менее чем на триста метров, увидят, как Шейха, на которого дольше двух секунд и смотреть-то нельзя, укладывают мордой в грязь! И приблизятся!!!

— Ребята, все путем! Все сейчас решим, мальчики! Сколько? — с наигранным весельем заголосила я. — Нельзя нам мордой в грязь. Жениха я привезла из Эмиратов маме показывать. Представляете, что будет, если мама его мордой в грязь увидит! У вас, мальчики, тещи есть? Вот у тебя, сержант, есть теща? По глазам вижу, что есть. Представь себе, она тебя мордой в грязь видит. Как она над тобой измываться потом будет!

Сержант вздрогнул. Тещу свою ненаглядную представил.

— Алинка, у тебя денег сколько? Давай все, быстро давай! — сквозь зубы прошептала я, пока семейные воспоминания столь явственно проступали на лице милиционера. Вытащив все содержимое собственного кошелька и скрестив с содержимым кошелька Алины, я засовывала полученное произведение в карманы той милиции, которая меня бережет. У Его Высочества, по счастью, хватало ума стоять молча, с интересом наблюдая за происходящим.

— Теща, говоришь? — переспросил сержант. — В каком дворе? В этом, что ль? К вечеру зайду регистрацию проверить. Не будет регистрации, разберемся с твоим террористом. наших мужиков вам не хватает, все на этих чучмек, б... заритесь, — выругался сержант. И продолжил свой рейд по охране порядка.

— Кто это? — искренне изумился Шейх.

— Родственник! — в один голос сказали мы с Алиной. — Родственник, непутевый кузен. Что же поделывать! В семье не без урода.

* * *

Чудом удержав от падения Шейха, споткнувшегося о вечный камень возле старой чугунной калитки, мы вошли в наш двор. Сарая не было. Место зияло пустотой. Ни следа, ни камешка.

— Хайван! [\[61\]](#) — провозгласила нарисовавшаяся на общем балконе свекровь. — Одной идиотки мне мало, так две гайсей [\[62\]](#) еще и вместе сошлись. У них мужья пропали, а они какого-то абрека на пару пасут.

— Кора, сарай где?!

От моего фамильярного обращения с семейным монстром и без того круглые зрачки Алины расширились до предела. Бытование в невестках у Каринэ в ее памяти было на добрых пять лет свежее. Или на «недобрых» пять лет.

— Сарай! Сарай! То доломать не допросишься, а то спозаранку являются, ломают, вывозят, еще и денег не берут! Подозрительно даже, говорят, за все заплачено. И аккуратные такие, в форменных комбинезонах «МусОбоз». Откуда такие только берутся?

— Ашот?! — процедила Алина.

— Боюсь, что хуже, — сообразила я. — Прингель! Каринэ вчера по телефону про этот сарай так зудела, а я в ответ так зудела на ухо одному чуток подобнищавшему олигаршику, загоравшему в «Аль махе», что он поручил своей секретарше по интернету найти в Ростове фирму, занимающуюся разбором старых построек и вывозом строительного мусора, и карточкой оплатить заказ. Если Беата не слишком проигрывает Агате, то, боюсь, что сарай наш уже на свалке.

— Какая Беата? Какая Агата? — снова ничего не понимало наше Высочество.

— Не важно. Важно, что сарая с его историческими стенами нет. Были да сплыли. Ай да Прингель, ай да сукин сын! Попробуй, найди теперь, на какую свалку обломки нашего исторического сарая эти мусобозовцы вывезли.

* * *

Искать пробовали. Алина в пятнадцать минут разыскала бывшую коллегу своей соседки, сын одноклассницы которой служил когда-то в армии вместе с дядей нынешнего владельца мусорной конторы с говорящим названием «МусОбоз». Если вы жили в этом городе, то не найти общих знакомых или знакомых общих знакомых с любым другим жителем этого города вы просто не имеете права, иначе вы здесь не жили, а занимались неизвестно чем! «Вторая моего первого» унеслась выдергивать главного мусоровоза из парилки, где типичный представитель среднего бизнеса проводил свой законный выходной, и тащить его на свалку. Но ее титанические усилия не были вознаграждены ничем, кроме как приглашением продолжить вечер все в той же парилке. Но в присутствии Его Высочества у Алины были более высокие устремления.

— Найти что-либо на той свалке не-воз-мож-но! Немыслимо! Мусорные бригады в тот день выгружались в разных местах свалки. Кроме них там выгружались сотни машин с городскими помоями. Копайтесь, если хотите! Только учтите, что нырять придется с головой! У меня желания нет. Это твой Тимур все бунтовал против строительства мусоросжигательного завода! — не преминула вставить шпильку в бок Алина.

— Построили бы завод, и что? — на всякий случай защитила необщего бывшего мужа я. — Обломки стены с алмазом оказались бы переработанными. Так хоть призрачная надежда на период полураспада, или как там это по-научному называется? Помои перегниют, глина рассохнется, а алмаз Надир-шаха через уйму лет окажется чьим-то наследством. Считай, что мы его завещали потомкам. Если ты, конечно, не сообщила об алмазе мусорщику...

Пока Алина соблазняла мусорного короля, а Его Высочество вел разговоры об античной литературе с моей свекровью, в лице которой он впервые за сегодняшний день нашел достойную ему собеседницу, позвонила Женька. Уже из Цюриха. В банке нашелся документ, согласно которому собственниками счета признавался бывший хозяин Женькиной квартиры Григорий Александрович или его наследники.

— Прямой наследник его, сын Петр Григорьевич, давно живет где-то в Америке. Но

поскольку Григорий Александрович официально завещал квартиру «со всем ее содержимым» мне, сын его с завещанием официально согласился и счет нашелся среди «содержимого» в квартире, я могу быть признана наследницей. Надо только представить заявления свидетелей, что этот счет вместе с коробкой Мельдиных конфет свалился на мою голову не в подворотне, а именно в моей квартире.

— Не на твою, а на мою голову, — припомнив тот день, уточнила я. От просыпавшейся с потолка пыли и кусков побелки меня очень бережно отряхивал сам Олень. И смотрел так нежно. Или это мне тогда показалось...

— Что?

— Говорю, что свалилось все это наследство не на твою, а на мою голову. Я же на руки Лешкиного охранника тогда падала. Так что я свидетель. И Олень свидетель.

— Свидетельства Оленя из Бутырок представить будет трудно. Но есть ты, есть Большая Ленка, и Арата. В банке сказали, что свидетельства гражданина другой страны, особенно Японии, могут помочь.

— Нашим они, значит, не доверяют, а японцы, думают, врать им не будут?

— Просто японцы более надежные клиенты. Арата уже заверяет свои показания у американского нотариуса. Хорошо, чтоб и ты заверила, если сама в Москву попадешь не скоро, — сказала Женька, добавив, что сама вылетает в Москву за подлинником завещания.

— Думаю, и я теперь уже скоро! — сказала я, поглядев в сторону зияющей пустоты на месте недавнего сарая.

— С мужьями-то твоими что? — вдогонку поинтересовалась Женька.

— С мужьями моими ничего. Пустота, — ответила я, с удивлением наблюдая, как под оживленный разговор об античном эпосе Его Высочество трескает который по счету соленый огурчик моей свекрови!

Шейх посмотрел на висящие на стене фото моих бывших мужей.

— Где-то я его видел, — указал он пальцем на Кима. — Причем совсем недавно. Не могу только припомнить, где.

* * *

После бесславного возвращения Алины с помойки — «Ой, после такого ужаса мне надо срочно в душ! А у вас, конечно, снова ни горячей, ни холодной воды нет!» — мы сели сводить концы с концами.

— Что мы знаем? Что мы ничего не знаем! Алмаз утонул в помоях... — безрадостно начала я.

— Если алмаз в обломках стены вообще был, — поправил Шейх. — Никто же не доказал, что древняя записка, раскопанная вашим общим мужем и факт сноса старого, как это вы называете, zaraí, звенья одной цепи. Гораздо больше шансов, что в стене ничего и не было. Все выдумки.

— А что не выдумки?

— Пропажа Кима и Тима — не выдумки, — отозвалась я. При всех перипетиях последних двух дней я все еще помнила, что бывшие мужья пропали. Но снова абсолютно не понимала, почему они пропали.

— Был алмаз в стене или не был, не важно. Важно, что кто-то мог думать, что

драгоценный камень там, и мог пытаться заполучить его прежде законных владельцев, — продолжало с удовольствием дедуктировать Его Высочество. Для него алмазом больше, алмазом меньше, один черт. А поиграть в сыщиков — вот это приключение! Всю свою шейхскую жизнь наши «трущобы» вспоминать будет!

— А законный владелец у нас кто?

— Законный владелец вы, — Высочество обвел руками всех присутствующих. — Вы владельцы этого zarai, а следовательно, и всего, что в его стенах зарыто.

— Эти-то тут при чем?! — делить даже не найденный алмаз с невестками свекровь не собиралась. Всегда у нее так, что с алмазами, что с сыновьями — виртуальное монопольное владение лучше, чем владение реальное, но с кем-то поделенное.

— Какие еще странные события были в последние дни связаны с вашим zarai? Возьмем шире, с вашим двором?

— Зинка, соседка, умерла, — сказала я.

— В соли, что ты ей отнесла, нашли крысомор, — не могла не утопить меня свекровь. Хорошо хоть Шейх защитил:

— Но соль эту Лике дал муж ее подруги, Ашот, который, как вы говорите, бандит.

— Здесь все через одного бандиты. Время такое, — философски изрекла свекровь.

— И все же эта ниточка ведет к Ашоту. Что еще?

— Расселить наш двор пытались, Зинка тогда съезжать и не захотела, — припомнила приковылявшая из своей комнаты баба Ида.

— Да-да! Ашот же мне говорил, что здесь место первых армянских поселений, он хотел в нашем доме сделать музей. А Зинаида заартачилась... — вспомнила я и осеклась. Неужели из-за этого Зинку... Хотели до алмаза втихую добраться, а пьяница-соседка помешала?

— Записка с переводом прошла через его факс, — добавила Алина.

— И о раскопках Кима он все знал, оба на археологии помешаны, — снова подала голос я. — И Михаську, который эвакуацией при угрозе взрыва командовал, за связь с Ашотом замели...

Но не успели мы свести все нити преступления к армянскому Лотреку, как дверь распахнулась.

— Ни при чем тут ваш Ашот!

Так и не сменивший свою арабскую хламиду на что-то более европеизированное Кинг-Конг втолкнул в комнату Тимура.

(ПОДРУГА. СЕЙЧАС)

Проснулась среди ночи. Сердце колотится часто-часто. Во рту пересохло. Села на кровати.

— За-ви-ду-ю!

Да-да-да! Набрать побольше воздуха и признаться себе.

— Я завидую! Я завидую Лике! Я завидую Лике.

У каждой есть свой скелет в шкафу. Или «скелет в шкафу» говорят про какие-то старые тайны. Олигархов теперь пачками сажают и говорят, что «достали скелет из шкафа». А это должно как-то иначе называться. И что, собственно, «это»?

Как «это» определить, она не знает. Но знает, что «это» есть у каждой, даже у самой благополучной из нас. Томящее «это», в котором ни одна ни за что не признается вслух. Тайна того, что не сложилось, но что очень хочется выдать за сложившееся. Кто не во дворце живет, кого муж не удовлетворяет, кто стареть боится. У каждой свое «это».

Она сама — приехали! — подруге завидует. Хотя не она первая, не она последняя. Все старо как мир, и перечень этих всеобщих «скелетов» уместится на одном листке. И зависть, подобная той, что ее мучает, тысячу веков ест чужие души.

В каком-то детективе — никогда не запоминала ни авторов, ни названия — читала, что такое тайное мучающее чувство надо хоть как-то выпустить из себя. Вслух сказать, на листике записать, а потом сжечь. И легче станет. В том детективе мужик в молодости по пьяни пришил кого-то, но не попался. А сам терзался, спать ночами не мог, глюки чисто конкретные начались. Так мужику этому одна умная старушенция совет дала — на листке напиши. Чтоб рука не дрожала, вискарю еще стакашек махни, но допиши до конца. И прочти. И сожги.

Она сама никого не убивала. Разве что взглядом! А на сердце погано, как мужику этому после убийства. Только вискарю глотать она не станет. Коньячок роднее, в горло лучше прокатывается. У карлика еще с советских времен вечно полон дом «Армянского», вот она никак и не перейдет ни на «Мартели», ни на «Хеннесси».

Где?! Где чуть початая бутылка? Вечером стояла в баре. Опять этот кретин решил с ее возможным алкоголизмом бороться! С собой бы лучше боролся. А то шпионами ее со всех сторон обложить, это он тут как тут, а сам, гад, трахаться прилично так и не научился. Не дано мужику, и все тут — не дано! А ей что теперь, подыхать? Или орать, как мартовской кошке. Ни тебе налево, ни тебе направо. Один счастливый семейный секс. Лика, дурочка, как-то спросила, что это ее в семейном сексе не устраивает. Пришлось ответить:

— По тебе паровоз никогда не ездил? Представь себе, что едет — тяжесть, намятые бока, а он еще и пыхтит!

Лика захохотала во все горло. Думала, она шутит. Она б и шутила, если бы хоть один из двух мужей, как у Лики, попался. Туманяны, по всему видно, по постельному делу не промах. Она такие таланты за версту чует. По нюху, по воздуху вокруг. По сочетанию

запахов, которые никакими дезодорантами и одеколонами не перебить, хоть за сто долларов, хоть за полтинник. А по ней так самый сексуальный запах у гадкого мерзкого «Шипра», которым быстро слинявший папашка когда-то душился.

Папки «Шипр» и мамкина «Красная Москва» — праздник детства! Ей на голову бант ядовито-розового цвета, в три раза ее самой больше. Такие цвета только от бедности любить можно. От бедного представления о роскоши и богатстве, через такое конкретное «гэ». И платье единственно нарядное — капроновое, все в рюшечках. Из капрона ниточки тонюсенькие лезут, и мамка, чтоб не лезли, края платья спичками обжигает. Остаются на краях такие коричневенькие запекшиеся пузырьчики, которые ножки и плечики корябают. Но все равно — праздник.

Папик со странно пустыми глазами в одной очередюке за вином, мамка в другой — за тортом. И она, трехлетняя, снующая меж чужими ногами от одной очереди к другой. Продащица с громоздким белым кулем на голове на весь забитый очередями магазин орет кассирше: «Полеты» не пробивать! «Цыплят» осталось три штуки и пять «Полен»!» Очередь беснуется, тетки истерически вопят. Мама от кассы, как с баррикады, с заветным чеком на три пятьдесят к прилавку прорывается

Вот оно, счастье: кусок плохо пропеченного непропитанного бисквита с жуткой масляной розочкой того же цвета, что и бант на ее голове. Розочку в рот — и таять вместе с маслом во рту!

Недавно, накупив для гостей в итальянской кондитерской легких сладостей, по дороге домой не выдержала, тормознула у все того же магазина на углу Таганрогского и Большой Садовой, в пору ее детства называвшихся Буденновским проспектом и улицей Энгельса. И, начхав на все диеты по доктору Волкову, от жадности схватила сразу пять эклеров с отвратительным ужасающим кремом, состоящим из сплошного сливочного масла. И не успокоилась, пока всю эту мечту детства не слопала, заев для убедительности почти деревянной корзиночкой из сухого песочного теста все с той же масляной розочкой сверху.

Папа вскоре, как та масляная розочка, и растаял. Только запах «Шипра» остался. Муж, урод, хохотать стал, когда она в прошлом году «Шипр» и «Красную Москву» купила, да еще и в магазине, что он ей подарил, выставила. И себе оставила. Коробку того, коробку другого. Рыготал, аж пот на лысине выступил. Что-то пробормотал насчет плебса, который могила исправит. Это его, убогого, могила исправит. Мозги были бы, плеснул бы на себя того «Шипра», глядишь, и у нее желание какое-никакое колыхнулось бы. А так коробка смазки из интим-магазина за неделю расходуется, а на сухую не получается — не втыкается. Как наждак туда засовывать.

По молодости этот урод шипеть попытался, что у других все мокро, а у нее... Был немедленно отправлен к другим. Надолго. Теперь молчит. Только пыхтит от усердия — пых-пых-пых. А она позвякивающие хрустальные висюльки на люстре считает — девятнадцать, двадцать... дилинь-дилинь-пых-пых, сорок восемь, сорок девять, ах да, забыла изобразить неземное удовольствие — а-а-а-а! — пятьдесят, пятьдесят один — дилинь-дилинь, на животик так на животик — а-а-а-дилинь-дилинь-пых-пых-пых-пых-пы-ы-ы-ыхxxx. Вот и вся любовь.

«I am the murderer. I have killed...» Английской спецшколы хватило, чтобы запомнить строчку из иноземного детектива. К школе она по месту проживания относилась, не то в привилегированную школу девочку из неблагополучной семьи ни за что не взяли бы. Английский ей задаром был не нужен, но доказать, что ты не хуже этих цып из зажиточных

семей, святое дело!

I am the murderer. Это тот убийца из детектива на своем листочке писал... А она завистница. Приятно познакомиться. Она завистница... Как по-английски будет завистница? Не помнит. Надо у Альки с Анушкой в словаре посмотреть. Она завидует... «Я завидую... я завидую... я завидую...» А чему завидует, и сама не знает. Что у Лики есть такое, чего нет у нее? Или чего нет в ней? Вот и словарь оксфордский. У детей теперь все оксфордское. Это они с Ликой в их возрасте от Букингемского дворца до Трафальгарской площади только в «орал топиках» ходили. И «орал» — совсем не то, что теперь можно подумать, и «топики» — устные темы, что к экзамену зубрили. На письменных экзаменах она все у Владички без проблем списывала, а к устным приходилось хоть что-то подзубрить. Вот и помнит из всего английского кроме новой жизнью навязанного «discount» и «How much?» только «The Tower was founded eight centuries ago and named the Key of the city...» [63].

Теперь ее дети в этот Тауэр на экскурсии по выходным ездят. А она в их возрасте долбила «The Leninist Komsomol entirely and totally approve and support the CPSU policy...» [64]

Это ж надо такую хрень запомнить! Ничего умного не выучила, а это до сих пор в башке сидит! Но их классу повезло куда больше, чем старшеклассникам, которые на экзаменах по английскому про «Малую Землю» и «Целину» были вынуждены отвечать. «Virgin Land» [65].

Старшие пацаны еще все потешались над словом «virgin» [66].

У ее класса прежде школьных экзаменов перестройка случиться успела, и весь этот мусор из программы убрали.

Нашла. «Jealous» — «ревнивый, завистливый». «Jealousy» — «ревность, зависть». В английском это, оказывается, одно и то же. Сестры — зависть и ревность. Что-то знакомое. Нет, не так. Сестры — дружба и ревность. Опять не так.

«Сестры — тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы.

Медуницы и осы тяжелую розу сосут.

Человек умирает, песок остывает согретый,

И вчерашнее солнце на черных носилках несут...»

Надо же, запомнила! Ни одного стихотворения на литературе выдолбить не могла, запросто запоминала только «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла!» да «Люба-Любонька, целую тебя в губоньки!», а это вдруг вспомнила. Но по литературе им это не задавали. Это Лика на вечере в школе стихи читала, хрен упомнишь, чьи стихи. Все тогда еще соплями исходили — ах, какая тонкая девочка! А чего тонкого? Как это солнце можно на черных носилках нести. Навыдумывают.

Лежать — не ложится. Сидеть — не сидится. Встать. Ноги в тапочки, кроваво-алое кимоно с золотыми журавлями — мечта голого детства — на плечи, и вниз, на кухню. Жадно, большими глотками попить из кувшина. Проливающаяся мимо рта вода по подбородку и шее стекает на кружевную ночную рубаху ценой в трехмесячную зарплату прислуги — на фиг она рядится, для кого? Но рядится же, рядится! Капли, оставляя мокрую, прилипающую к телу тропинку, стекают между ног.

Зажечь привезенную с Бали тусклую лампу. Красоты и иноземности в ней больше, чем света, разве что чуть стол осветить. На ощупь найти на барной стойке ручку и листки, оставляемые у телефона для спешной записи чьих-то номеров. И спички в шкафу над

кузнецовском фарфоре, что прежде с засохшими остатками из окошка выкидывала, чтоб карлик жить не учил. И любой обед-ужин с вилкой и ножом, что карлик на каком-то аукционе прикупил, а она не в сервант спрятала, а породу воспитывать в себе и в детях решила. Вилки, ножи тяжелючие, серебряные, с монограммой от прежних хозяев оставшейся. А монограмма, блин, туда же, в Ликину масть, — «А.Л.». Она Лике те ножи с вилками даже не показывала, чтобы и от этого подруга не загордилась. Отчего одним все, другим ничего?

Теперь бы в куче сваленных в кладовке щеток и тряпок отыскать последнюю заначку, если ее прежде не отыскал этот карлик. Глотнуть прямо из горла. Дождаться, пока внутри что-то задрожит, затеплится, загорится. Бассет, разбуженный даже этим неярким светом, приковылял с детской половины, зная, что и ему во время этих ночных гулянок может что-то перепасть. Фиг тебе, животина. Фиг, толстая стала! Что Вова-ветеринар сказал — диета Ограничить жирное. Вот и будем ограничивать животину, не себя же ограничивать! В детстве наограничивалась. Баста!

В пятом классе, с ужасом заметив, как ее стоптанные плоские тапочки отличаются от модных туфель подруг, закусил губу. В седьмом, когда весь класс до дыр залистывал каталоги буржуйского ширпотреба — «Отто» и «Nekkerman», казавшиеся юным пионерам верхом роскошной жизни, она день и ночь мечтала, что и у нее все это будет. Мечты казались несбыточными. В десятом классе Аньке Варганян мама, завпроизводством в ресторане, и папа, директор овощной базы, на совершеннолетие вдели в уши бриллиантовые сережки. Лике, и той родители подарили золотую цепочку со знаком зодиака, а ей мама только и смогла, что на толкучке купить набор польской бижутерии. Тогда она раз и навсегда себе пообещала, что и золота и бриллиантов в ее жизни будет больше, чем у всех лик и анек, вместе взятых.

На первую годовщину окончания школы она пришла в таком бриллиантовом гарнитуре и с голдой такой толщины, что даже ее карлик застеснялся: «Не слишком ли вульгарно?» Осел. Правда, для того, чтобы выполнить данное самой себе обещание и навсегда обеспечить это «больше, чем у всех лик и анек», пришлось за этого самого карлика выйти замуж. И с ним жить. До самой смерти, когда б она ни наступила. Это ведь только потом выяснилось, что из такого «замужа» обратной дороги нет. Вернее, есть только одна — вперед ногами, и безутешный муж, рыдающий над гробом из палисандрового дерева... Блестящая перспектива.

Пораскинув мозгами, с фактом замужества «навсегда» она смирилась. Но стала карлику мстить. А он стал мстить ей. Так и жили, мстя. Или мща? Или как правильно? Надо у Альки или у Анушки спросить. Европейски образованные детки уже не вписываются в их вульгарный мещанский бандитский ряд. И после своей Оксфордской школы точнее скажут, как правильно по-английски. А с родными языками, русским да армянским, у деточек большие проблемы начались. Забывают слова. Карлик, хватаясь за голову, кинулся на лето частных учителей нанимать. И три месяца к ним ходила учившая еще ее в школе старушка, смущавшаяся, что ради месячного заработка, равного ее годовой зарплате, вынуждена все это терпеть... На прошлой неделе детки-конфетки, облегченно вздохнув, умелись обратно в свою Британию, намереваясь до следующего мая выветрить из головы все склонения и спряжения, и старушка отчалила в ее же старую школу по-прежнему вдальбивать в головы несчастных что-то про лучи света и лишних людей. Кто тут лишний, это еще разобраться надо.

Дети отдельно. Муж — отдельно. Она отдельно. От кого? Или от всех? Пока Лика в этом городе жила, было хоть перед кем выпендриться и кому гонор с нее посшибать. Подруга — не муж. В лицо скажет: «Ну и дура ты, Савоська!» Это в той жизни она была Савоськой. Лика и в этом дальше нее пошла. За два замужества не переписалась в Туманянши, осталась Ахвелиди — фамилия редкая, загадочная, от родного отца, можно сказать, даром досталась. Не то что ее девичья — Савоськина. Савоська-Авоська. Авоська-Савоська. Пришлось на радость карлику регистрироваться Асланяншей.

Карлик, он ничего себе. Но, как там в кино Мордюкова говорит, — не орел! По юной глупости еще бегала налево. Думала, слежка карликовых бойцов это так, игрушки, как в красивом детективе. Когда с ее «левыми» вдруг стали неприятности со смертельными исходами случаться, призадумалась.

Сначала разбился возивший ее прислужник с грозным видом, большим шнобелем и дивнячим именем Гамлет, которого она и за рулем и на заднем сиденье пользовала не по назначению. У новехонького «Нисана» полетели тормоза — бывает же такое! По двадцатилетней глупости поверила, что бывает.

Потом пришла очередь Сергея, папашки Алькиной одногруппницы по понтовому детскому садику, куда она, начхав на всех няnek, сдала детей — чтоб привыкали к коллективу. После трех-четырёх излишне увлеченных обсуждений проблем детского переходного возраста Сергей вдруг взял и умер от отравления грибами. Какие в их степной зоне грибы — ясное дело, отравишься!

Через полгода утонул Владичка, у которого она в школе все контрольные работы списывала. Владик с его «мамочкиным» воспитанием на школьных дискотеках так и не решился ее потискать. Через десять лет после выпускного они случайно пересеклись на левом берегу Дона, так и пересекались потом всю осень, пока его труп не выловили почти у Азова, за много километров вниз по течению.

Потом...

Потом, собравшись оттянуться по полной со случайным испанцем на Майорке, она вдруг сама себе скомандовала «Стоп!». Стоп! Тормози. Жалко же! Бандераса этого доморощенного жалко. И себя жалко. Ведь не карлику, а ей все эти мертвые любовники по ночам являться станут, и к чему это ей?! А неудовлетворенность... Придется что-нибудь придумать, вибраторы и прочий ассортимент интим-шопов еще никто не отменял. Да и в собственном папике при желании что-то хорошее можно найти. Карлик трогательный. Карлик щедрый. Местами даже остроумный. И добрый. Как бывает добрым зевающий тигр. Ее же не тронул. Только ее «левых». Да и то не доказано. Не доказано же. Просто случайность. Нелепая случайность, и все.

Последний раз она чуть было не сорвалась лет пять назад. Альку с Ануш тогда только-только отправили в закрытую частную школу в Оксфорде. Она хоть заботами о детях и не сильно истомилась, но все же роль блистательной мамыши очаровательных армянских чад пришлось до следующих каникул повесить в шкафчик и заложить нафталином. И стало нечего делать. Абсолютно нечего. Не работать же!

Карлик ей для забавы то магазинчик дарил, то турфирму, а потребовала — и салон элитных автомобилей, глазом не моргнув, сварганил. Но все это функционировало само собой, без ее участия. Покрасуется раза два в неделю, «лицом» поработает, и снова делать нечего. А тут еще Лика в Москву сбежала. Подруга называется! Ее бросила. И бесхозного мужа-красавчика бросила. Даже двух мужей. Но спивающийся художник ее никогда не

возбуждал, а красавчик-телеведущий очень даже ничего. Она его еще в детстве приглядела, когда после уроков шли домой к Лике и видели Тимурчика, гоняющего в футбол во дворе. А уж когда у подруги с ним начались напряги — вся жила ее страстями. Своих не хватало — чих-чих-пых-пых-а-а-а! Но в Ликиных любовях страсти на двоих обламывалось. Пока все перетрешь, пока все ее братские связи утрясешь. Каждый день по полночи про ее мужиков трепались, душу облегчали.

Ли́ка сбежала, облегчать стало нечего. Подумала тогда, нырнуть в неостывшую Ликину койку. Самое время было пригреть и утешить брошенного мужа подруги на своей вполне подкорректированной груди. Уже и дорулила до старого их дома, и даже пред ясны очи зловредных Ликиных свекровей нарисовалась, и рот открыла спросить о Тимуре. Но вспомнила выловленное распухшее тело Владички. И, ничего не сказав, поцокала на своих каблучищах вниз. Еще лестница их идиотская от каждого шага гудела, как дешевый динамик у лабухов в плохом ресторане. Под аккомпанемент восклицаний и ругательств Ликиной старшей свекрови споткнулась о дебильный камень около ворот. Живут здесь триста лет, каменюку выкорчевать не могут! Чуть не растянулась — хороша была б в своем кожаном мини с разбитой коленкой, но только каблук сломала. Выматерилась, то ли на камень, то ли на старую перечницу Иду, то ли на свой страх, нарисовавший распухшее Владичкино тело с головой Тимура. И ушла, клятвенно пообещав никого больше под карликов тихий гнев не подставлять.

Анжелика-Ли́ка-Ли́ка! Когда злилась на подругу, всегда называла ее первым именем, которое та терпеть не могла. Чтобы довести и без того взрывную Лику до белого каления, ее просто надо было назвать Анжеликой. И дело в шляпе! В роддоме, родив первую девочку, которую хотела назвать Стелой, а карлик назвал Ануш, читала книжку про имя и судьбу. Зачем читала, непонятно, карлик все равно назвал детей по-своему. Но тогда запомнила, что от имени у человека много зависит. «Как вы яхту назовете, так она и поплывет», — пел в ее детстве капитан Врунгель в мультике.

Вот если Ли́ка, хоть умри, не желает быть Анжеликой и если из вредности ее так мысленно называть, может, чем ей и навредишь. Или вредить Лике она не хочет? Эх, и сама не знает, чего она Лике хочет, а чего нет. Эта женская дружба, которую от зависти и ревности, что в английском одно слово, не отодрать!

Ли́ка как-то так умненько-заумненько сказала: «Лучшая подруга — это самая диалектически сложная категория в жизни женщины». На то она и Ли́ка, чтобы не только сиськами, но и умом выпендриваться. А ей самой и одних сисек хватает. И еще задницы вполне достойной. Карлику нравится. А ум у нее свой, не книжный, но очень даже подходящий для жизни ум. Слова «диалектическая категория» с бухты-барухты ее ум ей подсовывать не станет, но при случае для понта повторить к месту всегда сумеет.

Завидует она Лике? Завидует!

Хочет она, чтобы у Ли́ки не все катило, не все получалось? Наверное, хочет.

Хочет она, чтобы у Ли́ки было все плохо? Наверное, нет...

Хочет она, чтобы с Ликой что-то плохое случилось? Да ни за что на свете! Своими руками поубивает любого, кто Лику тронет!

Если с Ликой что-то случится, то куда ж она без Ли́ки?! Они же с младшей группы детского садика, страшно вслух сказать, тридцать лет вместе! Ли́ка как сестра, которой у нее никогда не было и всегда хотелось. Она без Ли́ки, как без руки, без ноги, без сиськи своей, успешно насиликоненной. Она за Лику жизнь отдаст. Но сама ей жизнь и испортит. Иначе у

самой жизни нет.

А с Ликиными пропавшими мужьями... Так она ж не хотела. Кто ж знал, что все так получится... Кто ж знал... Говорит же карлик, что мозги у нее от задницы на две фазы отстают. Две не две, но что было — то было, отстали мозги. Как всегда, сначала сделала, подумала потом. Когда увидела, что Ким улетает, сама всю историю с Тимуром затеяла, а расхлебывать снова карлику. То-то Ашотик нудеть будет...

(ЛИКА. СЕЙЧАС)

Отыгравшая роль древнегреческого хора Каринэ кинулась на шею младшему сыну.

— Вай! Дгас эрал! ^[67] К матери своей вернулся!

— Это ваш муж-многоженец? — поинтересовался Шейх.

— Нет, — кокетливо открестилась Алина и указала на меня пальцем. — Это только ее муж.

— Бывший, — честно добавила я. Кокетничать с нашим Высочеством в мои планы не входило, но необъявленная соревновательность с моей последовательницей бодрила. Не уступать же пальму первенства Алине. Еще чего! Так и тонус можно потерять. Я и так за полгода вынужденного простоя изрядно его потеряла.

— Ничего не понял! — признался Шейх.

— И не поймешь, дорогое Высочество. Ты на каникулах, вот и расслабляйся.

Все, включая Шейха, суетились вокруг свекрови — редкостное умение заставить весь мир крутиться вокруг собственной персоны! А я поглядывала на второго «бывшего», которого пятилетку не видела. И понять своих ощущений не могла.

Изменился — не изменился? Рада я ему — не рада? Жив, и слава богу. А остальное?

Сердце не вырвалось из груди, не забилося в дикой лезгинке, как прежде, не поскакало вперед меня. И током меня не шибануло. Энергетическое поле Тима, попадая в которое, я раньше превращалась в другого человека — не могла жить, дышать, говорить, — теперь на меня не действовало.

Прежде много лет подряд при любом исчезновении Тимки я натуральным образом заболела. И врачи, старательно приводимые всей русской родней и армянскими соседями, не могли определить, что со мной — умирает! Полная сил молодая девчонка умирает, да и только. И при появлении Тимки я так же запросто могла ожить.

Один раз, с непонятым медицинскими светилами всей Нахичевани диагнозом отлежав месяц в больнице, не в силах оторвать голову от подушки, я столь же непостижимым для врачей способом встала, умылась, причесалась, накрутила волосы и своими ножками пошла домой, чтобы в больницу больше уже не возвращаться. Целый месяц я не могла ни есть, ни пить, ни дышать, мне физически было больно дышать, при каждом вдохе словно несколько кинжалов впивались в межреберье. И чувствовать не могла. Только по ночам, когда соседки по палате спали, брела к горячей лампочке на посту дежурной медсестры и на обертках от упаковок медикаментов накрученной на спичку ватой, обмакнутой в сильный раствор марганца, рисовала свою больную душу. Кипа выцветшей теперь уже истерики на бумаге, которую позже я никогда не могла ни посмотреть, ни перебрать. Стоило открыть картонную папку, как на меня вырывался такой поток боли, что сил переносить его и спустя много лет не находилось. И только недоумение оставалось — как же я после такой боли выжила? Но выжила, и встала, и пошла.

Необъяснимое для медицины выздоровление произошло для самой меня вполне объяснимо — Тимка прислал мне лукошко клубники с запиской: «Верблюжонок, жду тебя на нашем месте!» Разве после этого я могла не встать. Пока шла от больницы до дома, последние признаки загадочной болезни испарились, будто их не было. И на глаза суженому явилась уже во всей красе своих восемнадцати лет.

Почему и когда Тимур прозвал меня Верблюжонком, уже не помню, но то, что живого верблюда он в глаза не видел, это точно. После вчерашнего падения с верблюда свое давнее прозвище я вспомнила с содроганием. Синяки у меня на ногах и спине постепенно превращались в иссиня-зеленые пятна, но даже на эти пятна Тим смотрел теперь с давно забытой нежностью.

Он стоял передо мной, дважды любимый и единожды разлюбленный, нормальный живой Тимка. А я не чувствовала ни прежней злости, ни прежней любви. Ничего, кроме облегчения, не чувствовала — ну, слава богу, хоть этот жив!

* * *

Когда полностью отыгравшую свой акт Каринэ удалось усадить на диван, напоить валокордином и хоть как-то утихомирить, Тимур смог объяснить то, что он мог объяснить.

Кинг-Конг нашел Тима почти там, где я его заметила вчера вечером. Отправив людей Шейха во все отели Дубая, он уже спустя неполный час знал, что этот русский остановился в «Интерконтинентале». Моего второго благоверного признал швейцар, больше похожий на Гулливера в стране лилипутов.

— Ой, знаю я этого портье! Главная туристская достопримечательность. Сама с ним фотографировалась, я ему ровно по пояс! — радостно подтвердила Алина. — Да что там я, Киркоров в этом отеле останавливался и с этим головорезом фотографировался, видела, как Киркоров ему до плеча не дотягивается!

И стоило Тимуре подняться в свой номер, как он был упакован и под охраной Кинг-Конга, чьи параметры немногим уступали параметрам Гулливера, отправлен пред ясны очи Шейха. И наши тоже.

Теперь Тимур сидел за деревянным столом посреди родной кухни и рассказывал:

— Ашот ни при чем. А вот супруга его...

— Говорила же, что эта твоя Элька позы ахчих! — выразительно поглядела в мою сторону свекровь, за годы жизни с которой я прекрасно знала почти матерный перевод данного высказывания.

Шейх, на которого дома и глядеть долее двух секунд было нельзя и с которым разговаривать можно было только шепотом, с удивлением вслушивался в обычную для нашего двора истеричность. И только улыбался — чтобы так не обращать внимания на Его Высочество, как мы теперь не обращали! Вот это уж настоящие каникулы!

— В день, когда мать позвонила, что Ким пропал, я пришел посмотреть, что можно сделать с сараем, а тут и Элька приехала. Обскакал тебя, говорит, братец, как водится. Думаешь, Кимчик пропал? На самом деле это розыгрыш, чтобы ваша любимая Лика заволновалась и рванула его искать. А ты, то есть я, как всегда, в дураках, у старшего брата в запасных. Тебе остается снова плестись в хвосте Кима. Будешь сопровождать Лику в ее поисках и любоваться, как она переживает по поводу твоего исчезнувшего брата. Пусть уж

лучше она о тебе переживает, я, говорит, знаю, что делать! Надо устроить так, чтобы ты исчез. Трудная профессия, журналистские расследования, постоянные угрозы! Мало ли что в твоём деле случиться может. Представим дело так, что и ты пропал. Лика заволнуется, искать тебя прилетит.

Посмотреть в мою сторону Тимур не решался. И правильно делал. Сгорел бы от одного моего взгляда! Испепелился бы!

У меня внутри все кипело от злости. Ну, удружили! Бывший любимый муж и лучшая подруга! И я как дура по пустыне за ним ношусь, песок глотаю, тогда как вместе с Женькой давно должна Оленика с нар вытаскивать!

Дабы невываленная на Тимура злость не поглотила меня целиком, демонстративно села к нему спиной и стала шепотом на ухо Шейху переводить все рассказанное. Но, вероятно, рот мой оказался в неподобающей близости от высочайшего уха, иначе Кинг-Конг и Алина не дернулись бы столь выразительно. Кинг-Конг по долгу службы, Алина по вечному долгу соперницы.

— Элька сказала, что в тот же вечер отправит меня в Эмираты снимать для своей турфирмы проморолики о VIP-курортах. «Отдохнешь там, оттянешься и подзаработаешь заодно, а здесь само все и уляжется». Улеглось.

— Тентек ^[68], — от пережитого сама вдруг сбилась на армянские ругательства. И, не переводя сказанное в ухо Шейху, добавила: — Обо мне ты не подумал, ладно. Вернее, подумал. Заранее радовался, что волноваться буду. А о матери, о бабке старой ты не подумал? Если бы Ида концы отдала, в ее-то девяносто два года, на чьей это было бы совести?! «Прогноз погоды» свой лучше волноваться заставлял бы!

— Подождите ссориться, — утихомирил всех Шейх. Мудрый мужчина. Неслучайно целой страной, хоть и маленькой, зато очень нефтяной, правит. — Если исчезновение второго мужа организовала ваша подруга и если она имела доступ к факсу в доме ее мужа и даже сама привозила записки с переводом завещания жены Надир-шаха, значит ли это, что она причастна и к исчезновению вашего общего мужа? И она ли организовала сообщение в полицию об угрозе теракта, чтобы чуть-чуть подорвать ваш, как вы называете... — Шейх чуть напрягся и выговорил: — Zarai!

— Она могла! — заверила все еще утопающая в диване Каринэ.

— И могла факсы прочесть. Догадаться, что стена, о которой написано в переводе, это наш сарай, — ненавидящая и этот двор, и все, что с ним связано, Алина в пылу алмазного блеска снова перешла на «наш». — Сплавить куда-то Кима, потом, увидев, что доламывать сарай взялся Тимур, убрать и его, а затем организовать звонок в милицию — теракт! угроза! эвакуация! И руками своего Ашота организовать разбор стен. И присвоить себе наш алмаз.

Снова «наш». А Элька, неужели могла? Новоявленный «оборотень в погонах» Михаська Платонов еще вчера руководил эвакуацией моих свекровей из этого двора, где безо всякого присмотра оказывался драгоценный сарай. А судя по тому, что его человек без всякого уточнения адреса привез меня точно в дом Асланянов, школьной связи с Элькой он не утратил.

— Нужно Эльку сюда выманить!

— Что ее выманить! Послать к ней этого душегуба! — мечтательно произнесла свекровь, указав на Кинг-Конга. — И дело с концом.

— У Ашота своих Кинг-Конгов завалились. Но Эльку я тридцать лет знаю. Не смотрите на меня так и не врите, что это больше, чем я на свете живу. Живу больше, но ненамного. Мы с

ней в детском саду на раскладушках рядом спали. Тогда отдельных спален не было, и на тихий час в общей комнате раскладушки разбирали. Ряд девочек, ряд мальчиков, а к Эльке с мальчицкого ряда Игорь Данилов целоваться лазил.

— Нельзя ли без мемуаристики, — оборвала меня свекровь.

— А если без мемуаристики, то Эльку я лучше вас всех знаю. С ней надо рубить сплеча. И, набрав номер лучшей подруги, без предисловий сказала:

— Ну, мать, ты и влипла! Гребни скорее к моим свекровьям. Тимура сюда уже доставили! И повесила трубку.

Пока я звонила, Шейх еще раз внимательно посмотрел на висящую на стене фотографию Кима.

— Где же я его видел?! Причем совсем недавно...

* * *

Элька появилась во всем блеске. На красном «Феррари», в таком же красном умопомрачительном мини, выразительно обтягивающем формы — а-ля Ля Гулю. Судя по тому, как Шейх смотрел на Эльку, и этот оказался поклонником Тулуз-Лотрека.

— Ну, бл... я, бл...! Ну что меня теперь, убить? Или изнасиловать? На последнее согласна!

Горбатого могила исправит, а Эльку и она не переделает.

— Обидно стало. Почему одним все, другим ничего! Вокруг тебя два таких мужика всю жизнь гарцуют, света белого не видят, баб других не видят, друг друга поубивать готовые...

— Э-э, насчет других баб, это ты полегче! — попробовала защитить свое реноме Алина.

— Молчала бы уж! — оборвала «вторую моего первого» Элька. — Все знают, что на тебе Кимка с горя женился, как и Тимка на своем «циклоне с антициклонами», оттого, что их Лика бросила. Скажешь, что не так, Тим? Сами знаете, что так. Жаба меня душить стала, что Лике все, а мне один карлик, убить за любой взгляд на сторону готовый. Вот и завелась. Прости, подруга! Ничего плохого тебе не хотела, так, перчику чуток добавить.

«Да уж, добавила», — подумала я, и услышала радостный, почти детский смех нашего Высочества. Это обиженная Алина допереводила Шейху высказывание «одним все, другим ничего», и, сопоставив Элькину «Феррари» с нашими «трусобами», Его Высочество сочли возможным искренне расхохотаться.

— Мне недавно анекдот рассказали...

— Особы королевской крови еще и снисходят до анекдотов?

— Этот анекдот как раз для особ королевской крови. Плывет мультимиллиардер...

— Арабский шейх?

— Может, и арабский шейх, плывет на своей яхте. Вокруг толпа обнаженных блондинок... — говорила же, что арабские высочества на блондинок тянет, стало быть, совсем я не в форме, — ...лучшие вина, самые дорогие сигары. Он сидит на корме под навесом со специальной системой кондиционирования открытого пространства с удочкой последнего образца. Видит, где-то внизу мимо его огромной яхты проплывает старая прохудившаяся лодка, в которой под палящим солнцем сидит нищий оборванный рыбак. И вся его лодка доверху полна рыбы. Смотрит на этого нищего мультимиллиардер и восклицает: «Всегда так — одним все, другим ничего!»

А наше-то Высочество с чувством юмора оказалось!

— Ничего, Ваше Высочество, не дрейфь! Это у вас в странах миллиардные состояния — как крест, навсегда. У нас этой тяжести в два счета лишиться можно. На счет раз — ты в Бутырках. На счет два — у тебя заблокированы все счета.

— А что потом? — не понимает Шейх.

— А потом — исключительно «спор хозяйствующих субъектов». Или «равенство всех перед законом». Все равны, но один обязательно равнее. Или «равноудаленность олигархов»...

— «Равноудаленность» — это как? — с трудом выговаривает незнакомое ему слово Шейх.

— Это когда один равноудален в Бутырку, а другой в «Челси».

— «Челси»? — переспрашивает англоязычный Шейх. — О да! Во время матча с «Арсеналом» я был в ложе господина Абрамовича...

Прочие рассуждения о горькой мультимиллиардерской доле прерывает конкретный вопрос Каринэ.

— Один, слава богу, нашелся, — свекровь указывает на Тимура, — а второй-то где?

— Не знаю! — отзывается Элька. — Честно, не знаю, где Ким. Я его сама в аэропорт отвезла.

— Как в аэропорт?!

— Когда?!

— В тот же день, часа через два после того, как факс ему передала, еду, смотрю, он машину ловит. Вот и отвезла. Прямо к московскому рейсу. Еще привет тебе передала, — Элька кивнула головой в мою сторону, — а Тимура уж потом в Эмираты спровадила.

— Пора в Москву! — делает вывод Шейх. — Зачастил я в вашу столицу. Недели не прошло, как был в Москве.

Кинг-Конг, опережая приказания, звонит в аэропорт, проверить, готов ли шейхский «Боинг» к вылету. И правда, неплохо бы в Москву. Мальчишек первого сентября в школу проводить да Оленя спасать.

Мой «Тореадор» вливается в течение мыслей.

— Вы помните, что я у вас последний день работаю?! — вопрошает Сашкина и Пашкина няня.

Мамочки родные! Я и забыла, что вместе с летом и моя нянька кончается, с мужем-шабашником возвращается к себе домой в Молдавию, «своих детей заводить». Думала в конце августа ей замену подыскать. Подыскала! Не сидеть же теперь дома! И так работу запустила, ребята мои в дизайн-бюро за меня отдуваются, но за собственный бренд «Ахвелиди» самой отдуваться надо. И Оленя спасать! Сейчас главное — Оленя спасать! Но кто первого сентября будет детей из школы забирать, на футбол, на рисование тащить? Не Каринэ же! Хотя почему не Каринэ?

— Мам, я Аню с соседней дачи на велосипеде катал, а Сашка нас дразнил «тили-тили-тесто». А потом врезался в нас, и мы в лужу упали! — кричит уже вырвавший трубку из нянькиных рук Пашка. Мне только братской ревности в сыновнем исполнении не хватало, мысленно ужасаюсь я. Но младший сын, уже забыв про незнакомую мне Аню, кричит дальше: — Мам, бионикла купила?

— Бионикла не купила, зато твой папа нашелся.

— Папа? — переспрашивает ребенок. — Папа это хорошо, а как же бионикл?

— Его папа нашелся, а мой где?! — оттесняет младшего брата от телефонной трубки Сашка. — Почему одним все, другим ничего?

Впору ребенку шейхский анекдот пересказывать.

— И твой найдется! — утешаю я. — Вам что, одной меня мало? На радость вам еще и бабушку привезу!

— Бабушку Дашу? — хором интересуются мои чада, имея в виду мою маму.

— Бабушку Каринэ! Вот уж вам мало не покажется!

Может моя античная свекровь в случае экстренной необходимости временно поработать бабушкой? Не терять же Оленя из-за неняной няньки!

— Так, Каринэ! — вспоминаю, что разговаривать со свекровью без ущерба для собственной психики у меня получалось только тогда, когда я делала это в приказном тоне. — Нянька твоих внуков не выдержала, уволилась.

— Папины копии! — настораживающе ласково произносит свекровь.

— Посему час на сборы — и первой лошадью в столицу! Будешь бабушкой работать, пока я Кима искать стану и новую няньку найду. — Про спасение Оленя сейчас благоразумнее молчать.

— У меня же начало учебного года! Лекции! — пробует возражать не привыкшая к приказному тону свекровь, но по ее глазам я понимаю, что она уже сдалась и готова ехать.

Я сама не слишком уверена, что готова везти ее с собой на свою голову. Но другого выхода нет. На всякий случай кладу на чашу свекровинового выбора последний аргумент:

— Тебе кто дороже, Агамемноны или внуки?!

— Они еще, между прочим, твои дети! — важно замечает Кора, но отправляется собирать вещи.

* * *

— Но если Элька хотела только пошутить и вас всех разыграть... — тем временем продолжила Алина.

— Ничего себе, розыгрыш! — даже из-за закрытой двери своей комнаты успевала свекровь комментировать.

— ...если Эля ничего плохого больше не делала, то где алмаз? Или это тоже только розыгрыш? Придумал Ким шутку с якобы раскопанным завещанием, а я как дурочка повелась? Где алмаз?

— А где Ким, тебя не интересует? — спросила я у следующей по счету жены все еще не найденного мужа. Ответила Элька:

— Я честно не знаю, где Ким. Думала, Ким у Лики. А когда ты появилась и сказала, что оба мужа пропали, то не знала, что и подумать.

— С чего ты решила, что Ким ко мне полетел?

— К кому же ему еще лететь?! Глаз его я, что ли, не видела!

— Ты кому-нибудь говорила, что Ким, по твоему разумению, ко мне полетел?

— Ашоту в сердцах брякнула. В тот же вечер не выдержала, говорю, что Лика как медом намазана. «Сколько лет как мужика бросила, а он из стены алмаз выкопал и ей дарить повез!»

— С чего ты решила, что он алмаз выкопал?!

— Так он мне в машине показал камень, весь в старой глине. Ким его и отчистить не успел, сразу к тебе понесся. Желтоватый такой, большой камень. — Элька соединила большой и указательный пальцы в колечко, показывая размер камня. Преувеличила, наверное.

— Топаз, — квалифицированно заявил Шейх.

— Теперь и я думаю, что топаз, — бриллиантов я, можно подумать, не видела! — Элька плотоядно взглянула на бриллиант в кольце, скрывающем змею на пальце Его Высочества, и, с трудом оторвав взгляд, заверила: — Видела, знаю! Но тогда вторая часть факса с переводом про топаз еще не пришла, вот я и думала, что алмаз. И Ашоту так сказала.

— А вторую часть перевода записки Ашот видел?

— Нет. Я с ним в тот вечер поругалась. Коньяк, спрашиваю, куда спрятал, а этот карлик какому-то козлу в Москву названивает, задержать кого-то просит...

— Какому козлу? — не понял Шейх, видимо, Алина в расстроенных чувствах перевела дословно.

— Хрен поймешь разборки их бандитские. Кричал в трубку: «Прне! Прне!» — это по-армянски «задержи», — вежливо перевела Шейху Элька. — И еще кричал: «Кайл! Кайл!» — что по-армянски значит...

— ...«волк!» — досказала за Эльку собравшая свои вещи свекровь.

(ВОЛЧАРА. СЕЙЧАС)

Зевнул. От мысли о сне не отвлекал даже любимый аукционный сайт коллекционного оружия, на который он забежал со своего ноутбука, пока эти нудные соратники по борьбе пятый час сряду теоретизировали на тему, что можно и чего нельзя делать с Оленем. С Гусем они столько не разглагольствовали. Вот и обожглись на «Протоколе № 6». Гусинский, как тот пострел, который везде поспел, и из Бутырки ушел, и за границу убежал, и собственное имущество им не сдал. Оказалось, он одной рукой тайное соглашение с ними в «Протоколе № 6» подписывал, а другой в солидной международной конторе заверял свои показания, что все, что он подпишет или скажет в ближайшие дни, будет подписано или сказано под угрозой жизни и безопасности и потому не может считаться действительным.

Гусь выставил их перед всем мировым сообществом полными дураками. Теперь и дуракуют, как сделать так, чтобы Олень их не облапошил. Олень, как Ходор, такой же упертый. В политэмигранты его, как и Ходорковского, не выдавишь. За Гусем и Березой следовать не желает. Моя страна, говорит, гад, и не намерен оставлять ее всякой нечисти. А не намерен, так посиди возле параша! Вычисли, кто тебя довел до жизни такой. Без чьей давней ненависти не обошелся арест вчера еще одного из самых богатых и влиятельных людей страны, а сегодня арестанта Бутырки.

Не удержался, зевнул под недовольным взглядом хозяина кремлевского кабинета, в котором заседали. Спать хотелось после двух бессонных ночей. Возраст сказываться начал. Прежде ночи напролет пахал, или пил, или за компьютером просиживал — наутро хоть бы хны. А теперь две бессонные ночи, и организм отказывается функционировать, требует тайм-аута.

Вчерашнюю ночь с вице-премьером и тремя денежными мешками до пяти утра бабки на думские выборы подбивали. Все тип-топ вышло, всем хватить должно, еще и в откате сколько надо останется. Не девяносто шестой год, конечно, когда перепуганные перспективой коммунистического реванша еще не нажравшиеся толстосумы сами везли и несли кто сколько может, и на тех выборах сколачивались целые состояния. Но и теперь на тиффаневские шишки и на куршевельские гребешки женам да любовницам должно хватить и себе на солдатика с пистолетиками останется.

В итоге спал вчера только с пяти до восьми. Сегодня отоспаться хотел, так свои же собаки мамину кошку подрали. Кошке шестнадцать лет, по кошачьим меркам старость запредельная. В конце 80-х с первых откатов с созданного под крышей их райкома комсомола «Центра молодежного досуга» принес маме персидского котенка. Это для него тот «конец 80-х» — как вчера было, а для кошки жизнь прошла. И глаза почти не видят, и желудок уже не переваривает, то и дело приходится вызывать кошачью сиделку из ветлечебницы и вводить питание через зонд.

Но усыпить несчастную тварь и думать нечего. Матушка со своей Мегерой и ест и спит. Кошку от нее оторвать, значило бы родную мать нескольких лет жизни лишить. Мегере при

ее старости кошачьей сидеть бы на мамином втором этаже — не рыпаться, а она гулять, как в молодости, отправилась. И забрела аж на его четвертый этаж, в самую заповедную зону, где он третий месяц собирал «Куликовскую битву». И пока он отвлекся, разговаривая с премьером, слепая дура снесла хвостом сразу три полка дружинников, несколько татаро-монгольских конников и наступила на голову самому Дмитрию Донскому, которого он два последних дня так старательно прокрашивал из миниатюрного пульверизатора. Острие пики князя впилося в лапу, кошка завыла, шарахнулась, разметывая по зеленому суконному подиуму всю старательно воссозданную придонскую низину с его гордостью — придуманным им самим низким ковыльником. Он, увидев масштаб разрушений, бросил мобильник — к черту премьера, не барин, перезвонит! — и не сдержался, швырнул слепую дуру с лестничного пролета. Кошки, они всегда на лапы приземляются, а злости его нужен был выход.

Кошки, они, конечно, всегда приземляются на лапы, если прежде не приземлятся в зубы псам. Пока он со своего четвертого добежал до первого этажа, псы уже старушку подрали. Охранники не успели отбить. Маме стало плохо с сердцем, пришлось вызывать кардиолога из Кремлевки, а Мегере ночью искать челюстно-лицевого ветеринарного хирурга, везти в клинику, операцию делать, а потом старую тварь из общего наркоза выводить. Хорошо хоть очухалась старушка, не то перед матушкой до конца жизни за своих псов не оправдался бы. Теперь после двух бессонных ночей приходилось на совещании тереть глаза, мечтая не заснуть в Кремле, — ребята здесь все свои, но не повторять же лишний раз историю про мамину кошку, засмеют.

Надоело все! Добраться бы скорее до министерства, сесть в своей заветной комнате, ботинки снять. Хоть и в Лондоне на заказ шитые — семьсот пятьдесят фунтов за пару, а надоедают, сволочи. Привычка босоногого детства, когда у отца зарплата сто рублей и у мамы девяносто, ботинки новые раз в год перед первым сентября покупались. До весны сапожник еще брался их чинить, а к маю, завидев мать, уже просто махал рукой. Иди, дорогая! Иди, новые покупай! Душа из этих ботинок давно уже вышла, а я не Бог, душу обратно вдохнуть не смогу! И все лето он бегал в резиновых вьетнамках. Пальцы, как у дикарей, враспырку, к осени всунуть их в новые колодки сплошная пытка. В школе под партой все скинуть ботинки норовил, а пацаны их подхватывали, то в бочок унитаза засовывали, то соплей внутрь насмаркивали. Тогда уже придушить одноклассников хотелось. Армию вывести с пушками, с мортирами и — пли!

Одноклассников не придушил, лучшие в мире ботинки себе позволить смог, а привычка хорошо себя чувствовать только босиком осталась. И теперь, добравшись до заветной комнаты отдыха позади министерского кабинета, он первым делом машинально скидывал обувь.

А кабинет свой он любил! Долго не мог себе позволить на рабочем месте собственную среду обитания. В райкоме комсомола все по партноменклатурному уставу. Знамя района, бюст вождя, ордена комсомола на плакатах на стене, в сейфе бутылка армянского коньяка и пачка дефицитных шведских презервативов, привезенных вторым секретарем в подарок из последней поездки по «Спутнику», — полный комплект комсомольского активиста.

В начале девяностых в оформлении офисов его банка пришлось гнаться за понтом периода первоначального накопления капитала — кожаные диваны, крутящиеся кресла и прочие доселе в отечестве неведомые новшества. Новшества надоедали за несколько месяцев. Ломалось это дээспэ, к счастью, еще быстрее. После в нефтянке все в хай-тек

ударилась. Не кабинеты — космодромы! Сидишь среди всего этого стекла и камня, голова гудит хуже ракеты на взлете. Зато знаешь, что самое понтовое дизайн-бюро самый понтовый проект за самые понтовые бабки тебе зафигачило. И посетители твои это знают.

И только удалившись в министерскую тишь, куда соратники по нефти и газу направили приводить интересы государства в соответствие с собственными интересами, смог он позволить себе сделать то, чего хотелось с детства.

Дизайнерша Лика Ахвелиди — огонь, но за кованой каминной решеткой! — попалась чующая клиента за версту. Жена нашла эту Ахвелиди по совету какой-то из подруг, и уже при декорировании собственного дома он понял, что дизайнерша с головой. Редкий случай, когда все, и Ольга, и дети от разных браков, и мама, и — что поразительно — он сам, остались довольны жилищем. Личные пространства грели душу каждого и не раздражали душ других членов семьи.

Но даже в собственном доме, впервые отведя под собственное увлечение отдельное место, он, все еще стыдясь, загнал свою тайну на четвертый этаж, подальше от посторонних глаз. Но то, как эта чертова бестия Лика смогла точно и деликатно выстроить его тайный этаж, прибежище для его вечно скрываемого внутреннего мира, окончательно убедило в том, что своей детской мании можно больше не стыдиться.

Министерский кабинет он решил переустроить исключительно под себя. И окончательно довериться Лике. За нефтяные, конечно же, деньги! Средств, отпущенных госфинансированием на ремонт министерства, не хватило бы даже на приличный дуэльный гарнитур 1855 года (капсюльные пистолеты парижской мастерской «Гастин-Ренетт», всего-то за двенадцать тысяч долларов!), который он приобрел для декорирования кабинета на последнем аукционе.

Ахвелиди превратила удручающее казенное пространство в деликатную помесь кабинета Черчилля с кабинетом Наполеона, расцвеченную осколками его детской мечты. Многократно увеличенные авторские копии самых дорогих коллекционных пехотинцев выстроились на пути от двери до посетительского кресла. Столик для более частных бесед, на одном своем конце допускаявший сервировку легкой закуски под традиционную министерскую стопочку-другую «Johnnie Walker» (обязательно «Blue label», красные и черные этикетки уже для толпы!), на другом конце представлял собой мини-копию 1:72 сражения при Ватерлоо. А выполненный из ценных пород паркет посреди кабинета стал шахматной доской, вместо фигур в которой случались то дареные тевтонские рыцари, то русские гусары 1812 года, а то и сами просители, явившиеся с челобитной на поклон к всемогущему министру-капиталисту, как любили его называть менее имущие коллеги по правительству.

Традиционная зона отдыха в его личном раю состояла теперь из нескольких комнат, главная из которых отличалась зеленым суконным подиумом, где он мог и впредь выстраивать диорамы прошлых и будущих битв. Случалось, сообразив, как реалистичнее выполнить грязь на форме солдата вермахта, застрявшего где-то в приволжской степи сорок третьего года, он бросал подчиненных посреди важного совещания и скрывался в своей комнате. Земляной мел от «ModMastera» тончайшей иглолкой наносил на нужные места, не дав просохнуть, присыпал простым мелом, а после высыхания красил! Уборщица, однажды зашедшая в его приватную зону почти ночью и заставшая его за расстановкой тяжеловооруженных греческих гоплитов, пращников и их врагов-персов на исходных позициях битвы при Марафоне, ошалело поглядела на министра, играющего в солдатики,

перекрестилась и вышла. Министр и солдатики в голове женщины с тряпкой не вязались никак.

* * *

Солдатики...

Первый набор оловянных бойцов Красной Армии, замерших по стойке смирно, мама купила ему, с трудом отложив с полочки лишних три рубля. Три рубля для их семьи были большими деньгами, но маме то ли стало бесконечно стыдно за его недетское детство, то ли она устала перечитывать ему перед сном «Стойкого оловянного солдата» и объяснять, как это недоделанный боец не мог прочно стоять без одной ноги.

Впрочем, и в той сказке безногий неудачник не слишком интересовал его. Расстроившись и почти всплакнув в конце сказки, когда солдатик расплавляется в огне, при следующем прочтении он, шестилетний, сосредоточился на судьбе более удачливых сослуживцев безногого оловянного уродца. Удачливость всегда манила его больше ущербности. Победность, везение, вот что ставил он во главу угла, во что верил как в собственную религию, к чему тянулся всеми силами души, за что мог простить себе любое прегрешение.

Он знал, что не может быть неудачником, мелким, невидным человеком, как его отец. Он знал, что должен выиграть у этой жизни. И выиграть не в лотерею, как глупо надеялся папа, утаивая с полочки полтинники на лотерейный билет.

Отец все силы души отдавал этой нелепой мечте сорвать огромный куш, рассчитаться с жизнью за все ее неудачи, показать и жене и сыну, каков он, Борис Волков, герой! Никаким героем отец, конечно, не был. Да и Борисом Волковым, по сути, не был. В выданной в тридцать седьмом году метрике он значился еще как Борис Волкенштейн. Но мудрая бабка мальчика вперед его прогрессивных родителей поняла, к чему ведет подобный прогресс, и, воспользовавшись зажигательной бомбой, спалившей зимой сорок первого районный ЗАГС, восстановила метрику внука на имя Бори Волкова.

Волком от этого внук ее не стал, но многих бед в своей жизни избежал. Только истины эти про своего отца правнук ее, Игорь Волков, понял много позже. А в его детстве мама, панически боясь, что из сына вырастет такой же тюфяк, как и ее муж, всеми правдами и неправдами поддерживала в доме вымышленный культ сильного строгого отца. И как могла, прививала и сыну эту победность. Победность привилась. Выиграть у жизни он намеревался не в безмозглой лотерее, а в открытом бою. В собственном сражении при Арсуфе, диорама которого теперь занимала большую часть комнаты отдыха в его министерском кабинете. И не все ли равно, на чьей стороне воевать — крестоносцев Ричарда Львиное Сердце или сарацинов Саллах-ад-Дина.

Первый набор оловянных красноармейцев, то и дело зарывавшихся в дворовой песочнице и постоянно терявших свои нестойкие головы, в очередной день рождения был дополнен набором дружинников Александра Невского. Официальная педагогика в качестве образца для подражания советским детям могла позволить только русских богатырей, разбавленных для остроты сражения немецкими псами-рыцарями, которых полагалось нещадно топить на льду Чудского озера. Прочие несоветские проявления в трехсантиметровых видах на прилавках магазинов отсутствовали.

Некрашенные, слабо державшиеся на своих подставках фигурки стали его главным наваждением. И его самоутверждением — во дворе у него первого появились солдатики. Просьбами дать «поиграться» он был обеспечен на несколько недель вперед. Пока отец Кольки Пахомова не принес с «Динамо» настоящий кожаный мяч и все пацаны, забыв про его восхитительных солдатиков, не бросились ногами и головами пробовать упругость настоящего футбольного чуда.

Он так и забыл бы про солдатиков, как забыл про игрушечный луноход, про жажду жвачек, какими угощала его Машка Сомова, и еще про кучу воплотившихся и невоплотившихся детских мечтаний, если бы в их двор не переехал новый мальчишка. Алеша вместе с родителями только что вернулся из ЧССР, где служил его отец. Среди прочих примет ненашенной жизни в его детской было аж три набора восхитительных средневековых рыцарей, индейцев и ковбоев. Плюс к этому два парадных набора с самыми красивыми фигурками воинов времен Наполеона, которые Алешина мамаша выставила за стекло в сервант, где они скучали между хрустальными вазами всех видов и мастей.

На фоне Алешкиного великолепия домашние оловянные герои, замершие на одиноко притулившейся над письменным столом полочке с учебниками, померкли, а недотлевший уголек детской гордости — гляди-ка, что у меня есть! — залитый обидой на несправедливость жизни, стал разгораться в пожар. Пожар его самолюбия.

«Докажу. Лопну, но докажу!» — шептал он, убегая по стылому ноябрьскому двору из Алешкиного парадного подъезда с выходом на набережную в притаившийся за генеральским домом барак с видом на помойку. Генеральские денщики стаскивали в воняющие перед его окнами баки все отходы красивой жизни: пустые банки от крабов и икры из генштабовских пайков, коробки от конфет, почти целые, лишь лопнувшие по шву штаны, которые мама, стыдливо дождавшись, пока стемнеет, подбирала с помойки и перешивала для него. Надевая эти брюки в школу, он панически боялся, что кто-то из учившихся в его классе генеральских внучков или майорских сынков, признает в этих штанах выброшенные из собственного дома обноски.

С трудом осознав слово «невозможно» — невозможно здесь, в Москве, купить таких же солдатиков, как у Алешки, — он попробовал делать солдатиков сам. Три дня лепил, раскрашивал, подправлял и замораживал в морозилке пять фигурок, скопированных с картинок в старом детгизовском издании поэмы «Бородино». Он представлял, как достанет он своих роскошных героев, как выставит их рядом с Алешкиными солдатами, как станет равным, даже не равным, а лучше Алешки...

— Подумаешь, солдатики! У меня тоже есть... — начал он заранее продуманную фразу, полную нарочитой небрежности. Засунул руку в карман и вместо собственной гордости нащупал жирноватое месиво, пятно от которого уже прошло и на внешнюю сторону серых школьных брюк. Солдатык растаял.

Все трехдневные пластилиновые страдания нещадно смялись. И едва натянув свою тощую куртку, он убежал из Алешкиной квартиры, чтобы разрыдаться уже только за мусорными баками в своем конце двора.

— И пусть! А я еще сделаю! Обязательно сделаю! Вот только денег на новый пластилин накоплю!

Но и следующие пластилиновые попытки таяли, оставляя жирные пятна на серых листах бумаги, которыми была застелена полированная поверхность дорогого приобретения — купленного для первоклассника письменного стола. Отечественный пластилин

превращаться в иноземных солдатиков упорно не желал. Вынесенный на двадцатиградусный мороз или засунутый между пачками пельменей в морозилку пластилин становился ломким и крошился, а при любой другой температуре начинал проседать, в неизбежном итоге опуская его героев на колени. Он делал металлические каркасики, пытаясь залить их если не оловом, то хотя бы свинцом. Но свинец стыл быстрее, чем он тонко заточенными спичками успевал прорисовать лицо воина, и ему оставалось только зло плакать над застывшими каракатицами.

Разозлившись, он выбросил все поделки (оставив лишь одного самого стойкого, хоть и страшенького кирасира) на ту помойку, куда смотрели окна их барака, и зашгорил окна, чтобы не побежать спасать собственное воинство в миг, когда мусорная машина станет переворачивать бак в свое грязное чрево.

«Все равно у меня будет больше солдатиков, чем у Алешки! Ему и не снилось, насколько больше! Я заработаю! Много-много! Чтобы весь „Детский мир“ скупить было можно. И я стану важным начальником! Таким важным, какие ездят в заграникомандировки, и привезу себе столько солдатиков, что Алешка лопнет!»

* * *

Не представлявший, что стал его жизненным наваждением, Алеша вскоре переехал с родителями в новую квартиру, солдатiki почти забылись. Но вмененная самому себе жизненная программа — чтобы было больше, чем у Алешки, — подсознательно стала выстраивать собственное поведение, из всех возможных жизненных путей отбирая лишь те, которые могли привести к ее реализации.

Сообразив, что рядовому студенту без мохнатых лап связей сделать карьеру будет непросто, он пошел по единственно открытому пути. Сосредоточился на работе в комитете комсомола и через год после диплома, сидя под знаменем районной организации, уже спрашивал про количество орденов Всесоюзного Ленинского Коммунистического вступающих в его ряды.

Подсознание выстрелило в первой загранике. В восемьдесят третьем впервые поехав по «Спутнику» в Венгрию, прикупив Верке парочку трусов, какие в Москве не продавались, на все остальные поменянные деньги набрал в детском магазине солдатиков.

Верка тогда его чуть не убила. Орала, что заявление в бюро райкома партии напишет, чтобы недоумка в комсомольских секретарях не держали! Но он, закрывшись от жены в большой комнате только что полученной двушки, с упоением расставлял привезенных солдатиков между Веркиными сервизами на полке в румынской стенке, купленной не без помощи секретаря комитета комсомола райторга.

С Веркой из-за солдатиков и разошлись. В пору, когда солдатiki стали доступны во всех видах и он, чуть стыдясь собственного мальчишеского увлечения, стал скупать их якобы для сына, первая благоверная устраивала невероятные скандалы.

— Все люди как люди! И хобби у всех людские! Ясное дело еще на рыбалку с мужиками, или в баню, или даже по бабам! А этот, как мальчишка семилетний, в солдатiki играет. Все деньги на них изводит!

Деньги он изводил далеко не все. С появлением при их райкоме «Центра молодежного досуга» денег в доме стало предостаточно. Верка теперь могла у подруги-фарцовщицы

любую понравившуюся шмотку купить и в своем проектно-институте всех баб затмить. А объяснять разницу между игрой в солдатики и коллекционированием, а еще лучше моделированием, было бессмысленно. Не понимала первая благоверная. Но на нервы действовать умела. И унижать умела. Так исподволь внушить собственную мужскую несостоятельность, выраженную не только в койке, если ему, упаси бог, не каждый вечер ее хотелось, но и на полях оловянных битв, которые он по ночам вел в комнате заснувшего сына, напрягаясь от каждого шороха — вдруг Верка застучает.

— Конечно, у нас чертовски много денег! И свободного времени пруд пруди! Мы можем в игрушки играть!

Раз, после очередного Веркиного вопля, он сломался. Сбросил всех солдатиков в коробку от ее сапог, швырнул прямо с балкона и, врубив на полный звук телевизор, завалился на диван.

— Все! Завязал! Довольна?!

Верка растерянно блыкнула глазами — не ожидала от него такой прыти. Но через два месяца натуральной «ломки», ежевечерней бутылки «Столичной», через день сопровождавшейся хлопаньем дверью, выстроенные за несколько лет общей жизни оборонительные бастионы первой благоверной были пробиты мортирой его депрессии.

— Лучше б уж солдатиков своих переключивал да раскрашивал, алкоголик чертов! И как тебя только в райкоме держат!

Солдатиков он переключивать продолжал. Только уже без Верки. И без прежнего стыда.

Когда цены на солдатиков перешагнули рубеж в двести пятьдесят долларов за приличный набор, стыд пропал. Уже вроде и не мальчишеская забава, а серьезное коллекционирование. Так мужнино хобби объяснила себе его вторая благоверная.

То ли Ольга оказалась умнее Верки, то ли на своем первом муже прошла все ошибки пробного брака, а с ним уже начисто выстраивала свою жизненную диораму, но вторая жена сообразила, что из всех возможных дурных привычек солдатики мужа еще не самая дурная. Содержал бы семью, соблюдал бы приличия. А солдатики — не в своем же биржевом кабинете он в них играет...

В биржевом кабинете в ту пору в солдатиков он еще не играл. В девяностом с райкомовскими ребятами они создали товарную биржу, третью по счету в целой растерявшейся стране. И стали сводить вместе желавших купить, продать или, минуя стремительно обесценивающиеся рубли, устроить бартер. В заявочном листе торгов их биржи в один и тот же день значились: сорок вагонов леса, двадцать сотен подержанных компьютеров, миллион экземпляров Камасутры, три контейнера теплой одежды из оприходованной кем-то гуманитарной помощи жителям Карабаха, письма Троцкого, недостроенный санаторий в Крыму, партия китайских пуховиков, несколько тонн апатитоконцентрата, парочка истребителей и еще многое из того, что продавала и покупала вступающая в рыночные отношения страна.

То, что еще пару лет назад называлось спекуляцией и каралось по закону, за что они сами на бюро исключали из рядов ВЛКСМ несчастных, попавших под месячник борьбы, теперь стало бизнесом. Уважаемым. И доходным. Третий год как торговали все. От депутатов всенародно избранного съезда, которые звонили с просьбами сбыть по-быстрому партию якутских алмазов, несколько танкеров нефти или тысячу литров нерафинированного подсолнечного масла, обещая за быстроту и конфиденциальность откат в десяток-другой штук (уже зеленых!), до недавних уголовников, привозивших причитающиеся биржевикам

проценты в доверху набитых рублями коробках из-под стирального порошка и нахлынувшего на наш рынок ликера «Амаретто». Не успел за неделю оприходовать, такую коробочку, считай, у тебя осталось только полкоробки. За месяц не разобрался, и можешь этими денежными знаками стены на строящейся даче оклеивать.

* * *

Собственная мать испугалась его денег. Мама была искренне убеждена, что так много денег не бывает, потому что не бывает никогда! Так много денег быть не может! Впервые увидев привезенную пачку, мать, как вынутая из аквариума рыба, стала судорожно заглатывать воздух. На постаревшем лице запечатлелось выражение ошалелого ужаса — мальчик стал воровать! Мальчик стал воровать много — иначе откуда?!

Дабы не свести прежде времени мать в могилу, он изменил тактику. Перестал приносить деньги, стал посылать водителя за продуктами и вещами и привозил все готовое с заранее оторванными ценниками. Это мать еще понять могла — мальчик работает на хорошем месте, его организация хорошо снабжается.

Организация его и вправду снабжалась неплохо. Начавшиеся в первой половине девяностых игры на выживание заставили даже его ненадолго отодвинуть модели древних битв. Битвы реальные, куда менее оловянные и куда более кровавые, приходилось теперь вести каждый день. Из трех стартовавших первыми бирж должна была остаться одна. Трем вдруг стало тесно. Осталась их биржа. В каком небытии сгинули коллеги, он старался не вспоминать. В дикое время первоначального накопления капитала многое приходилось понимать буквально. В том числе и процедуру «устранения конкурентов».

Выиграв на паркетном полу недавно купленной трешки в том самом генеральском доме не один десяток сражений, он привык относиться к битвам виртуально. Дело играющего до мелочей продумать стратегию и тактику боя, а отыгранные фигурки можно ссыпать в коробку, чтоб не мешались на новом временном отрезке разыгрываемой битвы.

Стратегию и тактику битв на нарождающемся российском рынке он всегда продумывал с буквальностью опытного варгеймера. И всегда побеждал. А жесткость — на то и военные игры! А кровь — она ж где-то далеко, не на этом зеленом сукне, которое во время последней поездки в Лондон он купил в специальном магазине для таких, как он, помешанных. Для крови случайно нашелся весьма надежный человек, почти целиком держащий в своих руках большой южный город — от Москвы далеко, глухо и чисто.

В том же магазине в Лондоне он истратил невероятную для недавнего советского комсомольского секретаря сумму в шесть тысяч фунтов на фигурку из коллекции Уинстона Черчилля. Теперь солдатик, которым в детстве в родовом замке герцогов Мальборо «Бленхайм», недалеко от Оксфорда, играл будущий премьер Британии, стал доступен для вчерашнего советского мальчишки, выросшего в бараке с видом на помойные баки.

Все стало доступно. Слишком доступно. Пришел и купил. Или можно даже не ходить — вошел в интернет, на любой антикварный или аукционный сайт, и упивайся перекупленными за пять номиналов оловянными красноармейцами, точной копией тех, что он в припадке ссоры с Веркой выбросил из окна.

Доступность прежде вожаденного оловянного мира напугала. Чего хотеть, если больше хотеть нечего? Если обвалившееся в неполные пять лет богатство открыло перед ним двери

всех аукционных домов, музеев. Можно выстроить еще десять, пятьдесят, сто уникальных диорам, о которых мальчик из барака не мог и мечтать. Можно купить всех антикварных рыцарей. Можно даже музей военной миниатюры построить. И что?!

Не найдя быстрого ответа, он даже свой сайт в интернете завел — грамотный уютный сайтик, куда вдруг свалились десятки таких же шизанутых варгеймеров и собирателей солдатиков, как он. И он испугался. Ведь он был уверен, что это только там, в Лондоне, возможна мирная эволюция любого помешанного — сначала подросток — боксовый варгеймер, затем студент-вархаммеровед, после молодой родитель — моделист. Так к сорока пяти годам у средней руки лондонского интеллектуала есть шанс стать или вархаммеровцем-отцом или хардкорным моделистом, мастером конверсии тамиевского раннего «Тигра» (та еще гадость!) в «ШтурмТигр» (Суперзверь!).

Но это «у них» и «там». А «у нас» и «здесь», в одиночку пробираясь в собственных оловянных дебрях, он привык чувствовать себя уникальным. Единственным. Расставляя на зеленом сукне истории армии и героев, он даже самому себе не признавался, что жаждет ощутить себя Тем, Кто Управляет Даже Наполеонами. Тем, пред кем немеют диктаторы. После открытия сайта онемел он сам. И долго не хотел признавать, что только на его форум в день забегает по несколько десятков «вершителей судеб в масштабах 1:35 и 1:72 из Харькова, Каунаса, Петербурга и Гонолулу. Некоторые ушли так далеко — поубивать захотелось!

Психолог элитной больницы, где ему прошлой осенью очищали кровь, попутно подтягивая до кондиционного уровня все, что могло к его сорока пяти годам начать барахлить, на рассказ об увлечении якобы племянника ответил:

— Страсть к миниатюрным копиям — это побег от реальности. Вы верите в этот мир, и происходит чудо — вы тоже начнете уменьшаться, а вместе с вами уменьшаются все ваши проблемы, тревоги и огорчения. И когда ваши тревоги и огорчения становятся совсем маленькими, вы достигаете блаженного состояния, впадаете в детство. И без разницы, что вы коллекционируете — паровозики, солдатиков или кукольные домики...

Урод! Сравнить недавно купленных им солдатиков из коллекции самого Михаила Люшковского, коллекционера, лучше которого в России не было, с кукольными домиками! А его самого тогда с кем — с климактерической теткой, возомнившей себя девочкой-нимфеткой?!

* * *

Жизнь виртуализировалась, и виртуализировалась дважды. Теперь в одной жизни он был Волчарой, о хватке которого в большом российском бизнесе ходили легенды, нет, скорее даже триллеры. В жизни другой он выстраивал на четвертом этаже недавно отстроенного домашнего замка все новые и новые диорамы и сам с собой сражался в «Warhammer» и «Эпоху битв». А в жизни третьей он был Wolf. Ночи напролет сидел в чате с такими же помешанными, как он, и на онлайн-аукционах своими заочными бидами перебивал любого из конкурентов, если коллекция или отдельный солдатик ему нравились. Или просто — чтобы перебить.

Порядок этой «третьей жизни» был прост. Заглядывал на аукционный сайт, наслаждаясь чужим восторгом будущего обладания — минута, и все это будет мое! — и

чужим отчаянием потери — еще немного, и не ушло бы из рук! Как волк в засаде, испивал всю сладость чужого торга, чужой битвы. Терпеливо ждал «почти финала», чтобы за мгновение до оглашения победителя набором нескольких цифр и нажатием клавиши «Enter» перебить, растоптать и тех и других!

Это мелкое «перебить», перекрыть тройной, десятикратной ценой любой лот в миг, когда менее имущий коллекционер, натужившись, по тысчонке, а то и по сотне собрав все свои средства, крадется к вожделенному приобретению, доставляло ему удовольствие. «Удовольствие людоеда», — тихо подтрунивал он сам над собой. Уже много лет все главное в жизни он делал тихо сам с собою.

Его стали бояться в их аукционно-коллекционерском секторе рунета. Не сговариваясь с его коллегами-олигархами, коллеги в сети прозвали его так же — Волчарой, успевая, как истощное «Волки!», при его появлении кинуть по чату вопль: «Все по нормам! Wolf на тропе!»

Игры в масштабах нескольких тысяч, а то и всего нескольких сотен долларов выглядели нелепыми по сравнению с миллиардными нефтеполитическими ристалищами в Кремле и его округе. Но грели душу. Паника, какую одним появлением собственного ника, компьютерного псевдонима, он наводил на всю сеть, ласкала самолюбие не меньше, чем трепет в глазах правительственных клерков и мелкопоместных нефтяников. Хотя в сети он мог разве что увести из-под носа добычу, а в жизни мог возвеличить или раздавить одним своим министерским «Могу!», помноженным на свое же олигаршье «Хочу!».

Но и власть над сетью скоро приелась. Хотелось большего — недоигранного, способного сопротивляться его волчьему натиску, возрождаться и оживать, как призрак его детских фобий.

И призрак явился.

* * *

Призрак явился в виде детского приятеля, которому он, Волчара, по всем внутренним расчетам должен был за свои детские унижения отомстить. Но тот взял, да и сам не меньше Волчариного в жизни преуспел.

Алешка, владелец целой армии вожделенных солдатиков, переехавший из своего генеральского дома прежде, чем он, Игорь Волков, успел скупить весь Алешкин этаж, Алешка Оленев не оказался на обочине жизни, где должен был оказаться исходя из всех волковских подростковых фобий и комплексов.

Алешка не просто стал олигархом не меньше волчьего, что еще можно было бы простить. Алешка стал олигархом духа. Олигархом по призванию. Одним из немногих, если не единственным, для которого богатство было не самоцелью, не средством удовлетворения собственных комплексов или политических амбиций, а средством производства. Деньги были нужны ему не для того, чтобы делать новые деньги, и не для того, чтобы играть в большие кремлевские игры, хотя и в них Олень, не святой, еще как играл. Деньги были нужны ему для претворения в жизнь собственных иллюзий о возможности идеального управления, пока хотя бы в масштабах одного отдельно взятого «АлОла», а потом... Кто его знает, на что этот олигарх духа замахнулся бы потом?

Они встретились через двадцать пять лет после детства.

— Волчара! — с тем же мальчишеским присвистом воскликнул Олень, шарахнув его портфелем по голове. Даром что вокруг был не их сталинский двор, а внутренний дворик «Националя», а кожаный портфель стоил на много порядков дороже, чем привезенный из все той же Чехословакии пластиковый ранец с Микки-Маусом, которым Алешка лупил его по башке.

— Олень! Ни хрена себе! Вот так встреча! Ёкэлэмэнэ! Сколько про тебя слышал, хоть бы раз в голову пришло, что ты Алеша Оленев из сорок седьмой квартиры! Ты как меня узнал?!

— Тебя, Волчара, да не узнать! У тебя глаза все такие же!

— Какие — «такие же»?

— Волчьи!

Странно, что Олень его вообще узнал. Два года детской вражды-приятельства не гарантия, что можно узнать друг друга через четверть века. Чего-чего, а встретить Оленя на своем новом олигаршьем поприще он не ожидал. Слышал, конечно, о каком-то Алексее Оленеве. Но поперек дороги Волкову тот прежде не стоял, бизнес-интересы до поры до времени не пересекались (проигранный залоговый аукцион годом позже случился), и совпадение имен на размышления не навело — мало ли Оленевых на свете.

Изобразив радость и распив по случаю встречи бутылочку коллекционного «Бордо», разошлись восвояси. Но оба все поняли — уж слишком наигранной получилась радость встречи двух приятелей детства. Слишком многое осталось не прощенным — не успели вовремя додраться, не сломали носы, не разбили брови, не измолотили друг друга в кровь. Каждый раз в разгар детской, но от этого не менее жестокой битвы к ним в комнату снисходила Оленева мама: «Мальчики, кушать!» — или приходила его мама, и, не решаясь снять старенькие сапожки, чтобы не были видны много раз штопаные колготки, с порога богатой квартиры звала сына: «Пора домой!»

Теперь, каждый раз пожимая друг другу руку, животной интуицией, которая была предельно развита в обоих, чуяли фальшь этой не ко времени вспомнутой дружбы. И оба знали — рано или поздно Волк и Олень должны встретиться на тропе войны. И знали, что борьба им предстоит не на жизнь, а на смерть. Так дерутся не за пакеты акций, не за сферы влияния и не за старые воспоминания. Так, насмерть, дерутся только за женщину или за идею. Идею собственного превосходства.

Женщины, которую стоило бы столь яростно делить, в их жизни не нашлось. Но они дрались за ощущение себя в этом мире. Дрались, попутно сметая с поля собственной битвы роты и полки реальных бойцов этого невидимого фронта.

* * *

В Олене бесила вольность полета. Сам Волков всегда дотошно планировал любую свою операцию, будь то приватизация части госпакета топливного монополиста или охота за необходимой ему коллекционной фигуркой. И, пригнувшись к земле, на мягких лапах, крадучись, начинал свою охоту. Олень же не полз — летел, едва касаясь копытами земли.

И бесил, бесил, бесил!

Бесил всем — внешностью, харизматичностью, даром божьим. И тем, как завораживающе действовал на людей. Стоило любому, даже ненавидящему Оленя,

пообщаться с ним минут тридцать, как недавний ненавистник был готов записываться в самые горячие Оленевы сторонники. Рай Оленя был добровольным, к которому тянулись другие. Его, Волчарин, рай был тем же самым раем, только силовым, который ненавидели даже силком осчастливленные.

Порой казалось, Лешка такой же обычный человек, как и он, Волков. И все у него как у людей — ходит, мается, идейки какие-то глупые непросчитанные кидает. А потом — как взлетит, как выбьет из-под копыт одну из своих сногшибательных фантазий, переворачивающих и рынок, и представление о бизнесе, и представления о возможном и невозможном в этой стране. И даже врагам остается только развести руками: «Олень? Талантлив чудовищно!» Чудовищно! Талантлив! Гениален! А рядом с гениальностью любые способности кажутся минимальными.

Для того чтобы существовать на одной бизнес-поляне с Оленем, надо было просто признать: Олень — гений. Гений, и все тут! И принять этот факт как данность. Тогда мирное сосуществование могло бы сложиться. Но Волчара этого признавать не желал. Одно дело, когда самый гениальный из коллег возникает из ниоткуда и ты не знаешь его детских тайн и несовершенств, а он не знает твоих. Другое, когда в детстве пышная мамаша будущего гения, сердобольно жалея твою шуплость, то и дело подкладывала на твою тарелку куски пожирнее и ты уминал их с космической скоростью, стыдясь и собственного аппетита, и полной тарелки вечно ноющего, что он «не будет это есть», Лешки. И теперь до конца жизни ты не сможешь простить бывшему дворовому приятелю и своего давнего стыда, и его недостижимого превосходства, явленного то в заграничных солдатах, которых не было и быть не могло у простого мальчика, то в вольности мысли, которой не было и быть не могло у простого министра-олигарха. Никогда.

* * *

В одну из бессонных ночей, когда головной компьютер никак не мог выключиться и позволить телу отдохнуть, он попытался просчитать, что же так его раздражает в Олене. Что доводит до белого каления, заставляя ненавидеть человека, с которым при ином раскладе жизненных карт могли бы быть если не друзьями, то хотя бы приятелями. И он понял — зависть. Зависть к человеку, упоенному собственным делом.

Сам он нефть не любил. Как не любил и управление, и политику, и все эти многослойные закулисные игры, которыми был вынужден заниматься в бесконечной жажде денег. И власти.

Большинство тех, с кем на этом общем политическом поле сталкивала его жизнь, занимались своими прибыльными бизнесами, будь то перекачка нефти, руководство медиахолдингом или лизание большого чиновничьего зада, не потому, что это дело так уж любили, а потому, что дело было прибыльным. Слишком прибыльным, чтобы от него можно было отказаться. Любили и тайно желали они обычно совсем другого.

Один из знакомых депутатов-демократов в душе не раз примерял на себя френч Пиночета. Ему бы в диктаторы, а он про права человека вещать вынужден, потому что «этого от него ждет Запад». Другому нахлебавшемуся военной романтики генштабовскому генералу, напротив, мечталось о выведении нового сорта фуксий в собственной теплице. Знакомый бандит из южного города в душе был кабинетным философом, президент

топливной компании — чемпионом мира по конькам (но приходилось вслед за президентами то теннис осваивать, то становиться на горные лыжи!), а другой коллега по олигархической лестнице втайне завидовал всем футбольным комментаторам вместе взятым. Да-а, это не день Бэксэма!..

Олень, единственный из всех поднявшихся наверх, занимался тем, чем он занимался, потому что он это любил. А дело, для которого был создан, к тому же совпало с его временем. И оказалось не филантропией, а приносило более чем ощутимую прибыль. И возносило на недоступные для прочих вершины. И даровало невиданные богатства и влияние, которые сам Олень, казалось, готов был и не замечать. Или это только казалось тем, кого он бесил?

Но это реальное или кажущееся безразличие Оленева ко всем внешним признакам успешности и состоятельности злило в удесятеренной степени. Нормальные костюмы от Бриони он надевал пять раз в год на олигаршьи посиделки, остальное время шастая в свитере и рубашечках в клеточку, как простой доцент. Прошлым летом в Жуковке его не пустили на какую-то вечеринку, олигаршьям видом не вышел — из дома приехал на велосипеде, сандалии на босу ногу, а там охранников в костюмах дешевле тысячи долларов отродясь не видали. К тому же Оленю было по фигу, какие у него часы — с турбийоном или дешевый трехсотдолларовый Raymond Weil. Сам Волчара третий год носил Breguet за сто двадцать штук зеленых. Пора менять на Audemars Piguet за триста семьдесят пять штук, пока миллион долларов за Patek Philippe Sky Moon Tourbillon жалковато.

* * *

Как переиграть Оленя, которого в прямой игре переиграть невозможно? Эти вопросы мучили, донимали, пока простой ответ не был найден.

На его собственном поле Оленя переиграть невозможно по определению. В своей игре он будет всегда сильнее, потому что привык играть на опережение. Как его любимый Уэйн Грецки в любимом его хоккее, он интуитивно привык ехать не туда, где шайба сейчас, а туда, где она окажется в следующую секунду, оставляя им, обреченным, право вечно догонять след забитой им шайбы. Он же, избранный, предугадывающий полет, всегда будет оказываться с этой условной шайбой на пустом пяточке с одной стороны ворот, пока сбитые с толку противники и партнеры устраивают свалку с другой стороны.

Но выход очевиден. Если Оленя невозможно переиграть на его собственном поле, то надо втянуть его в игру на чужом. Втянуть в игру, правил которой он изучить не успел, на поле, карта которого давно устарела, а цвета формы условного противника успели полинять не раз и не два.

Оленя надо было втянуть в политику — безнадежную игру, в которой в этой стране не запачкаться невозможно. И Олень втянулся... Ключнул, дурак, на очевидную пустышку — раздутую Волчарой идею сотворить идеальную систему управления для идеальной страны. Вся страна — один большой «АлОл»! Управленцу Оленю такую задачу подсунуть, что математика теоремой Ферма приманить — и знает, что недоказуема, а будет до опупения пробовать.

А пока будет пробовать и опупевать, можно накапать Главному, представить все в нужном свете — гляди-ка, молодой, перспективный, а куда полез?! Деньги в какое-то

мифическое «будущее» вкладывает, идеальные модельки идеальной страны в регионах, где у «АлОла» профильный бизнес, выстраивает, новое поколение с новым мышлением растит. В сельские библиотеки, которые и с книжками давно загнулись, интернет проводит.

Какой интернет в глухой деревне, где все колхозное давно разворовано, работы нет и все пьют с утра до ночи и с ночи до утра?! Зачем?! Бабе Мане в чате сидеть и деду Василию на порносайты захаживать?! А он тянет! Какая на хрен «идеальная страна»?! А этот карась-идеалист выстраивает! Главный должен сделать вывод — или придурок, или конкурент.

Нежданная помощница объявилась в лице серой кардинальши недавнего прошлого. В начале 90-х вхожая во все кабинеты и во многие комнаты отдыха мадам активно помогала Волкову с его комсомольскими партнерами выходить на рынок, и его товарная биржа в долгу не оставалась.

Теперь, возникнув из небытия, разъяренная мадам Кураева предложила использовать связи своего партнера, бывшего большого гэбэшного чина, «для формирования правильного представления» об Олене у Главного.

— А за Оленем должок. Перебил мне прошлую игру. А я не люблю недоигранных партий!

Лиля пообещала «через своих людей из недавнего прошлого Главного» преподнести ему образ Оленя в нужном свете. А свои люди «в недавнем прошлом» у мадам Кураевой имелись.

— В этой структуре, сам понимаешь, не бывает ни «бывших», ни «бывших друзей».

«Друзья» сумели все представить в наилучшем свете. Наилучшем для них, но не для Оленя. Нашли болевую точку. Припомнили, как в первой половине девяностых никому не известный Главный на поклон к Оленю ездил, денег для своего тогдашнего шефа просить. Олень не дал.

Теперь это «не дал» сумели грамотно напомнить.

* * *

В день ареста Оленя Волчара впервые за долгое время напился. Так, что не смог из своего кабинета выползти, заснул прямо на диване с видом на вождеденных солдатиков, в полудреме все еще прихихатывая. Светлое будущее ему приблизить захотелось. Идеальные модели опробовать.

Допробовался! В камере на 35 человек свое светлое завтра теперь пробуй!

И только проснувшись среди ночи от дикой головной боли и сухости во рту, сообразил — ё-мое, что ж я наделал?! Терновый венец своими руками на Оленя надел!

Что если он сам сотворил из тихого, хоть и неприлично богатого и неприлично преуспевающего олигарха новое знамя? Народ у нас сердобольный, любит мучеников. Изгнать, посадить, раскулачить в этой стране — значит политическую биографию сотворить. Ельцину в конце 80-х партчиновники своими изгнаниями политическую биографию сотворили, что, если и нынешнее заключение Оленю судьбу публичного политика прочертит? С ореолом мученика Олень на ура пройдет. Это тебе не Чубайс третьим номером в списке СПС. Оленя, да еще лишенного собственных миллиардов, и возлюбить могут...

(ЛИКА. СЕЙЧАС)

— ...А этот карлик все названивал в Москву какому-то козлу, просил кого-то задержать. И еще кричал «Кайл! Кайл!», что по-армянски значит...

— ...волк! — досказала за Эльку собравшая свои вещи свекровь.

— Wolf, — перевела для Шейха Алина.

— Кайл. Волк. Wolf, — повторил Шейх. — Где-то я все это уже слышал. И именно в таком сочетании — Кайл — волк — wolf. И этого человека я где-то видел. Совсем недавно. — Его Высочество снова посмотрел на фотографию Кима на стене. — Никак не могу только вспомнить, где.

* * *

В Москву собирались в темпе.

Приблизившемуся (с дозволения Его Высочества, разумеется!) каникулярному варианту его эскорта было велено немедленно загрузить вещи нашей драгоценной свекрови в самолет. Вещи самой Каринэ умещались в небольшой сумке, зато рядом стройными рядами выстроилось ужаснувшее меня количество баллонов и баллончиков с соленьями-вареньями и прочими консервированными дарами юга. Не успела я замахать руками — куда столько! — как Его Высочество взмахом руки собственной скомандовал — грузите! А сам снова с удовольствием хрустнул соленым огурчиком.

— А еще говорят, что арабские шейхи неприступны, как небожители! А они соленые огурцы запросто трескают, — улыбнулась я.

— И олимпийские боги спускались на землю. Даже потомство оставляли, — квалифицированно заметила наша античная свекровь и обратилась к Шейху. — Кушайте на здоровье! Мы вам и с собой баллончиков двадцать-тридцать дадим.

Снова замахала руками, представляя себе свекровины баллончики в антураже шейхского дворца — и ведь я видела только гостиничный вариант дворца в близлежащем государстве, в стационарном жилище у него, поди, и не такие роскошества в наличии. Но Шейх, к моему удивлению, на свекровины баллоны с радостью согласился. Вот и забирал бы спеца по античной и арабской литературе к себе, во дворце кухарничать! Всем бы полегчало.

* * *

В самолете, искоса поглядывая на свекровь, я думала, что сама сунула голову в пасть тигра. Бежать от нее как черт от ладана, чтобы потом, пять лет спустя, добровольно везти ее в свой дом к своим детям — нате вам, бабушка! Не иначе как помутнение рассудка на меня

нашло. Но сидя сейчас рядом с ней в этом похожем на летучий дворец «Боинге», я поняла, что уже не чувствую того поля ненависти, которое постоянно от нее исходило. Поле ослабело? Или объекты для ненависти нашлись посвежее?

— Кор, за что ты так ненавидела меня? — чем собственные невесткины комплексы внутри держать, так лучше спросить.

— Тебе-то что?!

— Учиться на чужих ошибках собираюсь. У тебя два внука есть. Ты ж не хочешь, чтобы их мать им личную и семейную жизнь своей ненавистью испоганила.

— Это я испоганила?!

— Не придирайся к словам. Опытом поделись. Чем я хуже Тимкиного Олюсика, Алины и «Прогноза погоды»?

— Тоже курвы еще те.

— Ясно, нормальных женщин для собственных чад не бывает. Но меня ты ненавидела истоиво. За что?

Каринэ помолчала. Посмотрела на Алину, выпрыгивающую из штанов в стремлении очаровать Его Высочество, ругнулась, но не зло, а как-то обреченно-устало. Закурила, благо проникшийся почти сыновним почтением к моей образованной свекрови Шейх заранее ей позволил делать все, что заблагорассудится.

— Когда твоя мать беременная ходила, я третьего ребенка ждала. Рожать не могла — не прокормили бы мы трех. Диссертация на носу, да и по трое детей заводить тогда не принято было. Майрик ^[69], — свекровь дернула головой почти так же, как я все годы дергала при упоминании ее собственного имени, — мама Ида сказала, иди на чистку. Но до «иди» почти три месяца надо было доходить, это вам не нынешние вакуумные методы. Мне защищаться надо, а токсикоз дурманящий. И тут еще Даша с пузом перед глазами мелькает...

Свекровь выпустила дым. Помолчала, пока я представляла себе мою маму, беременную, молоденькую, и Карину, изначально ненавидящую мамин живот, в котором была я.

— После сказали, что это была девочка. Уходила из отделения и увидела, как тебя из роддома забирают. И все совпало. Видела тебя и будто рядом свою не родившуюся девочку видела... — на щеках Каринэ прочертились две дорожки. Прежде видеть плачущую свекровь мне не случалось.

Что было бы со мной, если бы я, не приведи господь, потеряла ребенка и изо дня в день вынуждена была наблюдать, как рядом растет другой, вместо моего выживший. С ума бы сошла. Где б мне это все знать раньше, прежде чем ненавидеть ее в ответ.

— Все пыталась сжить тебя со света. А ты уехала, и в сердце дыра. Будто с тобой и моя девочка от меня уехала.

Я отвернулась к иллюминатору. Просто говорить сейчас я не могла. В горле что-то застряло. Может, запоздалая нежность.

— Эти новые, — свекровь даже не называла новых жен своих сыновей «невестками», — не пойми что...

— Я же тоже «не пойми что» была. Да еще и одна на двоих. Мальчиков твоих стравливала, ты ж мне так и говорила...

— Дура была, вот и говорила. Твои до женихатости дорастут, поймешь, какими глазами ты на их первую девку смотреть будешь. Вот уж воистину, лучше первый раз с бл...ю застукать. Ту хоть с чистой совестью ненавидеть можно, иначе любую хорошую девочку со свету сживешь... Самокритичность свекровиноного настроения пугала.

— ...как и меня свекровь сорок лет сживала, пока не утихла.

— У тебя тоже была свекровь? — поразилась я самой банальной истине. Прежде мне никогда и в голову не приходило, что и моя свекровь сама была в роли невестки и маялась не меньше моего.

— Почему «была»? Она и сейчас у меня есть. Свекровь — это крест навечно! Мужа двадцать три года как нет, а свекровь есть. Ида.

Ида?!

Майрик Ида?! Бабка моих мужей и прабабка моих внуков — Каринина свекровь?

Бог мой! По армянской традиции Каринэ звала ее «майрик», что значит «мама», и мне никогда в голову не приходило, что старшая из двух вдовствующих домашних императриц императрице младшей свекровь, а не мать.

Придет время, свекровью стану и я. Лишь недавно, застыв у двухъярусной кровати сопящих мальчишек, я подумала, что семейные истории имеют обыкновение повторяться самым причудливым и пытающим образом. Придет новая девочка, да вот хотя бы та Анечка с соседней дачи, которую Пашка на велосипеде катал, а Сашка этому катанию всячески мешал. И уже вокруг нее закипят семейные страсти. А Каринэ будет поглядывать свысока — как сама-то не свалишься в отчаяние ревности материнской, которая почище любой женской.

Мужик что... Ушел один, другого найти можно. Или других. Сын же один. Или два. Или три, неважно. Сына другого не найдешь. Сын — часть тебя, связанная с тобой невидимой пуповиной, которая никакими усилиями не отрывается, не отрезается до самой смерти, а может, и после нее. И любая попытка оборвать, укоротить эту пуповину, предпринятая любой женщиной, которая приходит, чтобы занять главное место в жизни твоего мальчика, болезненна донельзя. До рвот, до тошнот. До клинической смерти и столь же клинического стремления преградить, противостоять, поломать все, и даже саму жизнь, лишь бы не потерять...

Понимаю все разумом, дважды прошла этот путь с противоположной, невестинской стороны, а время придет, и сама стану свекровью. И, ненавидя и презирая саму себя, буду творить с нашей общей жизнью все то, что творила Каринэ? Не приведи господь!

— Вспомнил! — прервал мои предварительные раскаяния Шейх. — Вспомнил, где мужа вашего общего видел. В московском особняке Хана. Во время прошлого визита я у него дважды в особняке был. В первый раз, недели две назад, человека, похожего на вашего мужа, привели охранники Хана. Кажется, очень старались, чтобы я его не заметил.

— Почему не заметил?

— Человек этот был в невменяемом состоянии. Болен или пьян.

* * *

Московская диспозиция была предельно проста. Шейх отправился в арендованный с каникулярной скромностью «всего лишь» этаж новомодного «Арарат Хайата». Надо же было бедному Высочеству прийти в себя после лицезрения наших ростовских «трущоб», прежде чем явиться в наши московские «хоромы».

Купленная в прошлом году «двушка» располагалась в весьма приличном районе, но в панельном доме и большим количеством квадратных метров похвастаться не могла. Всех

заработанных за четыре года круглосуточной работы денег не хватило на жилье, даже относительно напоминающее то, с которым я имела дело в своей дизайнерской ипостаси. Как не хватило и времени по-человечески оформить собственную квартиру. Сапожник без сапог. Переезжая, задекорировала старые дыры на скорую руку, намереваясь попозже сделать нормальный ремонт, да так времени и не нашлось. Не могла же я предположить, что в мою панельную «двушку» Его Высочество изволят пожаловать.

Алина отправилась по делам собственным, обещая прибыть к назначенному Шейхом «часу X», когда он намеревался прибыть в мое скромное жилище, а его охранники должны притащить туда же возвращающегося из Эмиратов Хана. А мы со свекровью, сопровождаемые тщательно охранявшей драгоценные свекровины баллоны прислугой Шейха, отправились домой. Ко времени приземления в столице на часах была половина второго ночи, а это значило, что уже наступило первое сентября. Утром неотмытых с вечера детей надо было тащить в школу.

Из-за голов других, более напористых родителей пытаясь разглядеть мальчишек, выстроившихся со своими классами на школьной линейке, я вдруг почувствовала щемящую тоску.

Откуда? Все вроде бы нормально. Из всех приключений последних дней удалось выбраться без потерь. Даже с приобретениями, если таковым считать странным образом приключившуюся дружбу с недоступным для всего прочего мира Шейхом. Один из двух мужей нашелся. Женька ожила, что и вменял мне в задачу Олень. Сашка с Пашкой живы, здоровы и даже веселы, кривляясь, раскрывают рты под бравурные школьные марши. Отчего же такая тоска? Олень в тюрьме. Кима нет.

«Пока нет», — мысленно поправила сама себя, разглядывая выросшего за лето Сашку. Черты отца стали проступать в нем все явственнее. Но попытки убедить себя, что слова Шейха о человеке, похожем на моего бывшего мужа, который был болен или пьян, еще ничего плохого не значат, не удавались. Махала рукой уходящему с линейки Сашке, а сердце щемило. Отчего так щемило сердце?

* * *

Ким умер. Я поняла это сразу, как только прижатый шейхской охраной Хан появился на пороге моей маленькой квартиры. Дальше можно было ничего не говорить. Я уже знала, что Ким умер. Не знала только — как. Сам или эти добрые люди ему помогли?

— Позвонил Волков, министр, — бормотал насмерть перепуганный Хан. Сейчас он менее всего напоминал свои парадные портреты на дорогом жеребце или на президентском троне — очевидной вершине демократии в его республике. — У меня в гостях как раз находилось Ваше Высочество, а Волчара кричит, захлебывается, что мимо нашего постпредства с минуты на минуту будет проходить мужчина. Описал подробно, сказал, что мужчина будет идти в соседний дом и надо его любой ценой задержать, а там сам Волчара приедет и разберется.

— Зачем министру задерживать какого-то спивающегося художника? — не поняла я. При слове «спивающегося» свекровь зыркнула в мою сторону, но смолчала. Вслух произнесла только:

— Кайл.

— Что?

— Кайл. Волк. Подруга твоя драгоценная говорила, что Ашот звонил в Москву и все повторял: «Кайл — Волк».

— И...?

— Как ты с такими мозгами чего-то в жизни добила? Простого сопоставления сделать не можешь? Кайл — Волк. Волков — министр ваш.

— Мудрая женщина! — оценил Шейх. — Я же говорил, что где-то это слышал. — Кайл — Волк — Wolf. В твоём, — кивнул в сторону Хана, — представительстве я это и слышал. Ты, совсем белый, это в телефон кричал.

— Но какое отношение ростовский бандит... Ну, не бандит, честный предприниматель с темным прошлым, какое он имеет отношение к министру-капиталисту? — все еще не могла понять я.

— Это лучше у бандита спросить. Или у капиталиста. Сын мой где? — спросила Каринэ голосом, в котором не осталось ничего, кроме безнадежности.

— Вы его мама?! — и без того перепуганные глазки Хана стали совсем узенькими. — Я не виноват! Честное слово, я не виноват! Сердце. Врач сказал, что сердце. И печень потом отказала. Мы лучшего врача к нему вызвали. Очень хорошего врача...

Бормотание Хана переходило в истерику. Еще чуть, и он сорвался на визг:

— Не виноват я! Я не виноват! Не виноват! Нельзя меня в тюрьму! Таким, как я, в тюрьму нельзя! Нельзя-я-я-я на-а-а-ам!

— Чем он лучше других? — спросил Шейх.

— Не лучше. Хан имеет в виду особенности собственной сексуальной ориентации, — догадалась я, вспомнив мелькавшего летом в ханском дворе мальчика из соседнего подъезда. — И знает, что по неписанным тюремным правилам с его сексуальными пристрастиями в наши тюрьмы лучше не попадать.

Стакан воды, выплеснутый Корой в лицо Хану, чуть умерил его истерику.

— Я ничего... Я ничего... Только сделал, как просил Волков. Охранники следили за дорогой. Когда этот человек появился, попросили зайти его к нам. Вежливо попросили. А он нетрезв был...

— Он не мог быть нетрезв. Он был зашит, — произнесла Каринэ, но по глазам свекрови я поняла, она сама не верит тому, что говорит.

Конечно. В самолете наливали, и Кимка, бедный Кимка, не сдержался. Решил, что от одной стопки ничего не случится. А где одна, там и вторая, за такую находку можно и выпить. Ведь он думал, что везет мне алмаз. Глупый. Боже мой, какой глупый! Неужели он думал, что какой-то стекляшкой можно все исправить?

— Что значит «зашит»? — не понял Шейх.

— Алкоголизм. Когда под кожу вшивают капсулу, даже полстопки спиртного могут привести к летальному исходу, — пояснила я. Бедное Высочество! Думает, куда попал! Трущобы, алкоголики, президенты республик нетрадиционной сексуальной ориентации. Не республики нетрадиционной ориентации, а президенты.

— Да-да! Полстопки могут привести... — бурно поддержал Хан. — Говорю же, что не я виноват. Был нетрезв, и к нам в постпредство идти не хотел. Тогда охранники потащили его, он стал сопротивляться... Чтобы не сопротивлялся, в него еще виски влили...

— Сколько? Влили сколько? — спросила я.

— Стакан... или полстакана. Не помню точно... А он весь обмяк и задыхаться стал.

Полстакана виски с защитой капсулой и с Кимкиными сердцем и печенью... Приговор.

— Сам задыхаться стал, мы с ним ничего плохого не делали. Пока доктор приехал, он уже без сознания был... Доктор даже бригаду реанимации привез и аппаратуру. Честное слово, всю, какую надо, аппаратуру приволокли.

Волчара обещал забрать задержанного, но доктор сказал, его с места трогать нельзя. Так и лежал. Несколько дней. А потом...

Хан шмыгал и шмыгал носом.

— Никакие приборы не спасли. Сердце не работало... Я Волчаре позвонил, чтобы он тело куда хочет забирал. Мне покойников в постпредстве не надо... — бормотал Хан, пока не перевел взгляд на Карину. Смолк.

— Где он?

Голос свекрови стал похож на звон надтреснутого кувшина. Услышав о смерти старшего сына, Каринэ не забила в истерике, не закричала, не стала рвать на себе волосы. Она стояла, молчаливая и грозная, на наших глазах постаревшая армянская Ниоба [\[70\]](#), чья нескончаемая внутренняя сила то и дело оборачивалась против нее самой.

Даже в самой страшной из всех страшных для матери ситуаций она не позволяла себе оказаться слабой. Не могла рухнуть, забиться, закричать, завывать по-бабьи, в голос.

— Где он? — только и переспросила Каринэ. И натянула на плечи платок, хоть за окном в этом теплом сентябре было еще плюс двадцать два.

— Не знаю! Волчара знает. Все знает только Волков! Труп, ой, простите, тело... в общем, выволокли, загрузили в машину Волкова. И куда увезли, не знаю... Что со мной будет, что со мной теперь будет... Вы заявите... — повизгивал Хан.

— Ничего с тобой, иродом, не будет. Говно не тонет. Ты, сволочь, еще и третий срок избираться станешь, совести хватит, — произнесла Каринэ. И вдруг обмякла так резко, что прозорливый Кинг-Конг еле успел подхватить ее осевшее тело.

— Мам-а-а-аа!

Никогда в жизни я не звала ее мамой. И уверена была, что под пытками, и перед Страшным судом, и в повседневности, и в Вечности нет силы, способной заставить меня назвать эту изуродовавшую всю мою жизнь женщину мамой. Но сейчас я кинулась к ней, зарылась лицом в ее тепло и зарыдала. Исступленно, как в детстве, когда, обидевшись на родителей, зарывалась в подол штапельной юбки своей старенькой бабушки и доходившие до конвульсий рыдания избавляли от скопившейся внутри обиды и боли.

И сейчас крики «Кимка! Ки-муш-ка-а-а!», вырывающиеся из меня в подол Карининового платья, спасали от боли, которая, казалось, не выплеснись она в крике, способна была разорвать меня изнутри. С криком боль выходила из меня, ослабевала.

Каринэ не кричала. Как три месяца назад не кричала потерявшая мужа Женька. Свекровь сидела окаменелая. Ее нынешняя боль, боль потерявшей сына матери, ни в каком крике выйти не могла.

* * *

Вечером приехала Женька. После своего Цюриха она чуть ожила, даже поехала по заданию своего агентства на какую-то съемку в посольство Армении, что располагалось в бывшем Лазаревском институте в Армянском переулке. Но как только дозвонилась ко мне

домой и услышала: «Ким умер!» — бросила все дела и приехала к нам.

Погладила меня по голове. Теперь мы были с ней в похожей ситуации. Обе вдовы мужей, с которыми разведены. Но разность нашего горя была очевидна — умершего Кимку я жалела, но не любила. Женька же, кроме Никиты своего, не любила никого. Оттого, узнав о смерти Кима, она первым делом пошла не ко мне, а к совершенно незнакомой ей Коре. Каринэ со словами «Тцавт данем» ^[71] прижала Женьку к себе, и та обняла мою свекровь как родную.

Я собралась даже обидеться — тоже мне, подруга называется. Но поняла — их горе невосполнимее, оттого они ближе друг к другу.

С оформлением свалившегося на Женькину голову диктаторшиного наследства все было тоже непросто. Бумажная волокита могла растянуться на несколько месяцев, а для каких-то известных только Женьке манипуляций во имя спасения Оленя деньги были нужны сейчас.

— Никогда не думала, что буду так хотеть денег, — сказала Женька. — Больших денег. Эти адвокаты стоят столько!.. И, главное, толку от них... Все прекрасно знают, что все решается совсем не в суде. А найти тайные ниточки и за них дернуть стоит в тысячи раз больше. Какие у вас, Каринэ Арташесовна, огурчики замечательные. Полбаллона уже слопала.

— Не ты одна, Шейх, и тот за милую душу трескал.

— Кушай, девочка, кушай! — пожалела ее свекровь. Понятное дело, чужая невестка всегда ближе к телу.

Упоминание фамилии министра Волкова заставило Женьку отложить недоеденный огурец.

— Странное совпадение. Опытный дядя Женька советовал мне искать, кому выгоден Лешкин арест не на уровне миллиардов, а на уровне мальчишеского соперничества.

— И что?

— А то, что Лешка в раннем детстве жил с этим Волковым в одном дворе. Только Лешка тогда жил в генеральском доме, а Волковы в соседнем бараке.

— Думаешь, детская месть? — спросила я.

— Ничего я не думаю. Просто ищу, кому выгодно. Волчара мог ненавидеть Оленя еще с детских лет — раз! Волчара проиграл ему залоговый аукцион — два! Волчара — тот тип, который как раз может действовать так, как действовали те, кто подставил Оленя. По-волчьему — три!

— Этот может! — согласилась я. — Там и детских комплексов навалом, и тайной жажды диктаторства, и прочих удовольствий для профессионального психоаналитика.

— Откуда ты это знаешь?

— Я же дом ему оформляла и кабинет рабочий. У него даже в министерской комнате отдыха коллекционных солдатиков целые рати. Расставляет их на суконном поле и чувствует себя Наполеоном в миниатюре. От таких Бонапартов чего угодно ждать можно.

— Дядя Женька обещал его послужной список проверить. Но если Лешку этот Волчара подставил, то надо точно знать, чем его брать за яйца.

— Женечка, не из ваших уст такие изречения слышать! — даже теперь не могла не среагировать моя филологическая свекровь. С непечатными и нелитературными выражениями у свекрови были собственные отношения. Легко посылая ко всякой матери по-русски и по-античному гулко упиваясь звучанием иных армянских ругательств, некоторые слова она не выносила на дух. К примеру, определение мужской части тела, которую

употребила Женя.

— Это не грубость, Каринэ Арташесовна, — оправдалась Женя. — Это цитата. Когда перед залоговым аукционом Волчара с Оленем бодались, то обменивались открытыми письмами в интернете. И Волчара, когда понял, что проиграл, сам открытым текстом написал, что его «взяли за яйца». Вот и нам придется искать, чем его за это самое место взять можно, где его собственный скелет в шкафу.

— Какой скелет?

— Помнишь, Прингель говорил, что свой скелет в шкафу есть у каждого, кто последние пятнадцать лет не сидел сложа руки. И дядя Женя то же самое в тех же выражениях говорил. Только достают этот скелет не у каждого. У Оленя достали, потому что кто-то Оленя в невыгодном свете Главному преподнес. А у того, кто преподнес, свой скелет в своем шкафу лежит. И наша задача скелет этот найти и угрожать Волчаре или тому, кто это сделал, — не развернешь дело Оленя вспять, хуже будет!

* * *

Прибежавшие с улицы ничего не знающие о семейных трагедиях Сашка с Пашкой немытыми руками хватили все подряд со стола.

— Руки! Руки мыть! — прикрикнула на моих мальчишек чуть ожившая свекровь.

Ладно, пусть уж лучше кричит, чем молчит. Мальчишкам я потом все объясню. Хотя как объясню, сама не знаю. Было на двоих два отца, остался один. Выросшие рядом, Сашка и Пашка наличие двух отцов при одной матери воспринимали как само собой разумеющуюся ситуацию и никогда не делились, кто чей папа. То есть почти никогда. И как сложится теперь? Горе они тоже поделят на двоих или одному Сашке достанется?

— Мама, нам на урок по «Окружающему миру» сказали принести фотографию домашнего животного, — лопотал Пашка, запихивая в рот лист свекровино лаваша.

— И что?

— А то, что я должен понести фотку нашей черепахи. У нас есть фотография Чучундры?

— Откуда?

— Как откуда?! Ты же летом ее на мобильный телефон снимала, помнишь? — закричал Сашка. — Если не стерла, в телефоне должен кадр остаться.

Старший бегом притащил из моей сумки мобильник, и, если б я не отобрала у него аппарат, сам бы нашел нужный снимок — во всех этих кнопках на видиках, диктофонах и мобильных Сашка разбирался много лучше моего. Но сейчас я отобрала аппарат, не то свекровь еще выскажется про плохое воспитание моих чад.

— Сядь и ешь! Сама найду.

Что там скопилось, не стертое в памяти мобильника? Ага, вот наша Чучундра с алым бантом, скотчем приклеенным к ее задку, дабы не терялась на даче — нянька за лето замучилась ее искать. Еще Чуча во всех видах, и с Сашкой, и с Пашкой. Надо сбросить на компьютер и распечатать ребенку кадр. Еще Чуча, еще Пашка, еще... А это что? Что-то, случайно в кадр попавшее...

— Лица! Что с тобой, Лица?!

Не стертое... Несколько дней назад после звонка свекрови я стояла на своем балконе и еще удивлялась, что это там у них во дворике постпредства происходит. Повторно

посетивший постпредство Шейх тогда на моих глазах уехал, а Хан и Волчара суетились вокруг Волчариной машины. Я еще мысленно усмехнулась, не труп ли в машину заталкивают. И, когда зазвонил телефон, они в своем дворике на звук моего «Тореадора» дернулись. Я схватила трубку, чтобы телефон весь дом не разбудил, и в спешке нажала не на ту кнопку. Последовала вспышка. И я еще подумала, что надо не забыть стереть ненужный кадр. Как не стерла!

— Я знаю, чем держать Волчару за то, за что его нужно держать! — ответила я и протянула Жене свой мобильный, на экране которого остался случайный кадр. Волчара заталкивает в машину безжизненное тело. На снимке отчетливо видно то, что я не заметила с балкона, — засовываемое на заднее сиденье тело было с лицом Кима.

— Ой, ой, мамочки! — закричала Женька, пулей проскочила в туалет и склонилась над унитазом. Не плохонькая же фотография безжизненного тела незнакомого ей Кима вызвала у нее приступ рвоты?

— Черт бы побрал этого психоаналитика четвертьшведского с его психотропными. В начале лета накачал всякой гадостью, до сих пор отойти не могу! — извиняясь, повторяла свои объяснения Женька.

— Вай мэ, девочка! — Каринэ взяла Женьку за плечи, повела умываться. И, вытирая ей полотенцем лицо, поинтересовалась: — Месячные у тебя давно были?

— Думаете, в сорок лет бывает климакс? — серьезно спросила Женька.

— Думаю, в сорок лет бывает беременность, — столь же серьезно ответила моя свекровь.

(ВАРЬКА. РОСТОВ. 1911 ГОД)

Как бежала Варька! Ох как бежала она по темной улице!

Электрическое освещение на Пушкинской только от Таганрогского проспекта до Николаевского переулка проведено. Дальше надобно бежать впотьмах, все ноги переломаешь и страху натерпишься. С тыльной стороны городского сада какие-то мазурики шныряют, на углу Большого проспекта лужа, вовек не просыхающая, через нее и при свете не перебраться, а в темноте, пока перелезла, всю юбку да чувяки в грязи извозила. А уж страху понатерпелась!

После Малого переулка уже фонари для парамоновского приема зажженные горят. И цельных пять антомобилей в ряд. А уж извозчиков видимо-невидимо, все проулки позапрудили. Ожидают, когда гости с праздненств разъезжаться вздумают. А гости, напротив, все съезжаются и съезжаются. И публика сплошь бомондная. Вовек столько не видывала. А бабы-то, бабы! Мамка увидала бы, во что бабы здешние рядятся, немою сделалась бы. Кружева тонюсенькие, все чрез них светится, а дыры в кофтах до пупа, половины титек наружу, срам один! И на задах чего-то наворочено, как они с такими задами садятся?

Как же в этой толпе Ванечку найти, рассказать про коварного трагика и Волкен... Волкер... не выговоришь, как и прозывается!

Перед будущим особняком цветущие каштаны, как великаны-охранники, замерли в ряд. Владелец только что собственноручно первый камень в основание заложил. Шампанского выпил, бокал оземь разбил и всех собравшихся в гости пригласил, обещая через два-три года в новом особняке роскошный бал.

Иван, с трудом сдержавшись, улыбнулся лишь уголками губ, представив себе южнороссийское роскошество. И это после вечеров на римской вилле князя СимСима! После нарядов Марии Павловны — вот уж где дорогая простота! — забавно наблюдать здешних прелестниц, еще не знающих, что их S-образные силуэты в стиле «гибсоновских девушек» с их обилием пышных кружавчиков, рюшечек и оборочек, непропорционально утяжеляющих грудь и противоположную ей точку сзади, в Европе из моды уже вышли. Но здешние мужчины, в отличие от Ивана, не в курсе последних европейских модных новинок, оттого и прелестницы им кажутся прелестными. Трагик весь свой трагизм давно потерял, каждую провинциальную нимфу провожает плотоядным взглядом. Но и про иную прелесть — прелесть денежных мешков не забывает.

— Владелец будущего особняка Николай Елпидифорович Парамонов, надо вам признаться, друг мой, личность уникальная. Какой раз приезжаю на гастроль в Ростов и какой раз поражаюсь этому герою местной жизни.

Незванский опорожнил шестой сряду бокал шампанского, не забывая между делом отмечаться и водочкой.

— Отец его, Елпидифор Трофимович, казак из станицы Нижне-Чирской, в Ростов е

одних сапогах пришел, да так в них до конца жизни остался. Хотя на скупке-продаже зерна, строительстве амбаров, элеваторов да мукомолен не один миллион сколотил. Одна паровая шестиэтажная мельница восемь тыщ пудов за день смолоть может. Даже собственный флот приобрел, зерно возить, а попутно и судоходным делом промышлять. Пятнадцать речных и морских пароходов, сотни барж. Вас, дружок, из Рима, почитай, тоже на его «Святом Константине» везли.

— Признаться, не помню! — покраснел юноша.

— И бог с ним, с пароходом. Наследникам своим Елпидифор жизнь устроил капитально. Дочерей замуж пристроил по принципу деньги к деньгам. Старшую, Любовь Елпидифоровну, за сына бумажного фабриканта Панченко. Младшую, Агнию, за сына купца первой гильдии Резанова. Старший Резанов, к слову, скоро «вывернул шубу», обанкротился. Несколько сот тыщ задолжал. Но по вмешательству Парамонова дело кончилось мировой сделкой, Резанов обязался уплатить кредиторам по тридцати копеек с рубля и, выйдя из тюрьмы, отбыл во Владикавказ. А сын его в дело тестя вошел. Так что все дочери пристроены оказались.

Трагик весьма театрально указывал то на одного, то на другого персонажа провинциальной светской жизни. Роль повествователя Незванскому была явно по душе. Или просто зубы заговаривал?

— Со старшим сыном все тоже ясно. Петр Елпидифорыч смолоду готовился отцово дело в руки принять. А вот младший, Николай, сегодняшней наш хозяин, по всем статьям отметился. Студентом в Московском университете был участником беспорядков девяносто шестого года, когда зачинщики панихиду по погибшим на Ходынке устроить хотели. Процессию оцепила полиция, зачинщики были арестованы, и среди нищих студентусов сын миллионщика Николай Парамонов. Первое его тюремное сидение продолжалось всего неделю. Зато второе покруче вышло. Издавал газетку «Донская речь» и дешевые книжечки, не дороже пяти копеек, к смуте пятого года книжечки эти по всей России в ходу были. Аккурат под пятый год старый Елпидифор передал младшему сыну управление своим пароходством и купил для него у Панченко рудник в Александровск-Грушевском. Когда дело дошло до баррикад, Николай на том руднике и укрылся. После, в седьмом году, ночной сторож заметил, что воры взломали окно в подвальном этаже дома Парамонова на Екатерининской улице. Прибывший пристав обнаружил девять комнат, до отказа набитых книгами весьма нежелательного для властей свойства. Так Николай Елпидифорыч снова оказался в тюрьме. Вот уж в России от суммы да от тюрьмы...

До недавнего времени поговорку эту Иван искренне не понимал. Что значит не зарекайся?! Если он будет честно учиться, работать, ничего дурного не совершать, кто может заставить его стать нищим или арестантом?! Но после римских и ростовских побегов в обносках пыл отрицания в юноше поубавился. Сума, считай, в его жизни уже была. Если б не Варька, и той бы суммы, обносков ужасающих у него бы не было, на улицу носа показать не смог бы.

Варька!

Как же он мог забыть про оставшуюся у театра Варьку!

— Михаил Владимирович! Мне бы девочку около асмоловского театра забрать!

— Эх, по молодому делу ты, Иван Николаич, горазд! А бедный князь все сокрушался, что мальчик от наны сбежал! Найдем мы тебе девочку, не печалься! Получше, чем около театра. Там все дешевый сорт!

Начитавшийся Блока юноша не сразу понял, о каких девочках трагик ведет речь. Когда понял, покраснел:

— Не то, что вы подумать изволили... Совсем маленькая деревенская девчушка. Спасительница моя!

— Деревенская? Маленькая? Дешево ты себя ценишь! Мишка Незванский крестнику князя Абамелека достойную девочку не подберет! Обижаешь! — бормотал основательно подпивший трагик. Последние пять-шесть стопок были явно лишними, но останавливаться гений российской Мельпомены и не думал. — Подберем мы твою девчонку. Теперь Волкенштейн подъехать должен. Он распорядится, из-под земли твою девчонку отыщут! Ты лучше меня послушай, что я тебе про Парамонова рассказываю. Вышел под залог в сорок тысяч рублей — как тебе сумма! Следствие тянулось три с половиной года. За это время старый Елпидифор преставился, определив свое состояние в четыре с половиной миллиона рублей — хорош кус!

Насчет «куса» собственного крестного Иван счел благоразумным промолчать, но и состояние нынешнего хозяина впечатляло.

— По завещанию Петру отошло шестьдесят процентов, Николаю сорок. Но и сорок процентов от четырех-то миллионов не почетная бедность! Тут и обнаружилось, что революционные бредни из головы наследника выветрились, а хозяином он оказался куда более рачительным, чем старший Петр. Рудник Панченко ему уж и мал стал. Новую шахту заказал строить, и именем отца назвал «Рудник Елпидифор». Двести сорок две сажени, а! Глубже в России нет. Суд по его делу наконец в начале мая состоялся. По совокупности статей приговорили его к трем годам заключения в крепости. Но кто с миллионами в крепости-то сидеть станет. И вот Николай снова на свободе. Что и празднует.

— А как ему удалось?

— Подкуп, милый юноша, подкуп. Не слышали такого слова? И исполнение приговора отложено. — Трагик хлопнул очередную стопку водки, и глаза его стали стремительно принимать цвет сегодняшнего заката. — Отложено, не отменено.

— А что потом?

— Потом или шах умрет или ишак сдо... — не успел договорить Незванский, как празднующая публика зашелестела: «Асмолов!»

— Главный табачник! Поставщик двора Его Императорского Величества! Годовой оборот пять миллионов! — исходил слюной Незванский.

Приближающийся в сопровождении хозяина Асмолов досказывал начатое:

— Сто семьдесят две новые машины! Оборудование системы «Айваз» — шесть тысяч папирос в час. Машины Влодаркевича и Секлюдского — до десяти тысяч папирос в час! Вот вам и техническое перевооружение!

— Того и гляди, Владимир Иванович, весь мир своим табаком завалите!

— Отчего нет! К будущему году по количеству вырабатываемого табака мое предприятие станет крупнейшей частной фабрикой в мире. Я же еще намерен тысяч за тридцать серебром фабрику братьев Асланиди прикупить.

— Размах! — сумел-таки подобострастно встрять в разговор двух миллионщиков Незванский, подталкивая вперед своего юного спутника. — А ты, брат Иван, все думаешь — провинция, провинция!

— А, Мишка, и ты здесь! — небрежно бросил Асмолов.

— В театре, вашими заботами созданном, представлять изволил, — великий трагик весь

сжался в размерах, словно желая данными ему природой масштабами не затмевать денежных воротил, что как воротилам это не понравится!

— Слышал, слышал! Волчара хвастал, что Мишку Незванского привезет, аншлаги, которые при мне в театре были, затмевать. Затмил? По глазам вижу, что затмил.

— Да уж, назатмевался любимец Мельпомены изрядно! — шепотом сказал Асмолову Парамонов и, повысив голос, поинтересовался: — Юный друг ваш тоже из актерской братии?

— Никак нет! Николай Елпидифорыч, Владимир Иванович! Честь имею представить графа Ивана Николаевича Шувалова, крестника самого князя Абамелека-Лазарева!

И за тысячи верст от Петербурга и Рима фамилия крестного в пояснениях не нуждалась. Оба миллионщика, сменив выражение лиц с брезгливого на едва ли не столь же подобострастное, каким только что было лицо трагика, с двух сторон окружили Ивана, приглашая в самый изысканный из всех образовавшихся на здешнем празднестве кружок. Актеру места в этом кружке не нашлось. Ущерб тщеславию пришлось привычно залакировывать водочкой.

* * *

— Сегодня сызнава до ночи дебатировали в Городском собрании об автомобильной езде, — пыхтел один из столпов здешнего общества, концессионер и фабрикант Кондратий Пантелеймонович Терентьев. — Какой уж год спор идет! Все не могут решить, разрешить или запретить ездить на автомобилях по улицам города.

Терентьеву на автомобильный вопрос было глубоко наплевать, но рядом с ним вертелась старательно прячущая свой румянец дочь, и фабрикант счел отмеченного вниманием столпов ростовского общества юношу возможным женихом. Оттого и заливался соловьем про Городское собрание да про автомобили. Слишком юный вид «зятя», на фоне которого Агния Кондратьевна казалась будто из камня высеченной, Кондратия Пантелеймоновича не смущал. «Было б дело, будет и тело!» — обычно приговаривал он. Но юношу, не подозревавшего, что беседует с потенциальным тестем, интересовали не собеседники, а сам предмет разговора.

— Что ж тут спорить! — не выдержал Иван. — В Петербурге давно установлено — автомобильное движение разрешено со скоростью двенадцать верст в час.

— Слышишь, Модест Андреевич, двенадцать верст в час! — возвал Терентьев к коротковатому господину с выпяченной нижней губой и тщательно натренированной важностью во взгляде, по одному виду которого можно было сделать вывод — депутат! — А нам что доказывают? Все медленнее и медленнее, чтобы на милых твоему сердцу извозчиках было быстрее, не говоря уж о трамвае.

— В Петербурге улицы шире, — невозмутимо возразил коротковатый.

— Э-э, дорогой! Все признать не хочешь, что мзду с извозчичьей братии имеешь, что все промышляешь этим... Как бишь то... Слово иноземное...

— Лоббизмом! — охотно проявила свою осведомленность в иноземных словах Агния Кондратьевна.

— Во-во, лоббизмой — кто в лоб, а кто и по лбу. Модест двояко умудряется, лишь бы чиновничий барыш не упустить. «Улицы шире», — передразнил депутата фабрикант. —

Улицы у нас, спору нет, не такие, как в Питере, но и автомобилей меньше. Сколько в столице авто, Иван Николаевич?

— Несколько сотен. А в Риме и того больше. Только в Италии, честно признаться, с правилами движения дело обстоит совсем плохо. Ездят — кто как хочет.

— Вот-вот! — живо подхватил депутат. — Пустим дело на самотек, и у нас станут ездить, кто как хочет!

— Было бы о чем спорить, папа! — манерно промолвила Агния Кондратьевна, на щеках которой сквозь старательно размазанную модную мертвенную бледность предательски прорывался неистребимый природный румянец. — Девять авто на весь Ростов с Нахичеваном в придачу. Было бы о чем шум затевать! Идемте, Иван Николаевич! Скоро будут танцы.

И, сопровождаемая недовольными взглядами других девиц, повела Ивана в сторону шатра, где расположился оркестр и был настелен специальный помост для танцев.

В заранее объявленное наследство Агнии со временем должны были отойти мукомольная и макаронная фабрики, дрожжевой заводик, рудники в Александровск-Грушевском и солидная доля в здешней телефонной концессии. В силу особой состоятельности родителя и собственной образованности девицы женихи ей под стать в захолустном, хоть и стремительно богатеющем городе находиться не желали. То есть желающих добратся до ее приданого было хоть отбавляй. И на сегодняшнем празднестве вокруг девицы то и дело вились молодые люди. Но Кондратий Пантелеймонович глазом опытного дельца просчитывал, сколько за душой у каждого, взглянувшего на его дочь, и, зевнув, отворачивался — не жених!

И Агния Кондратьевна отворачивалась, только совершенно по иным соображениям. Душа наследницы жаждала полета. Загадки, таинственности, которая вдруг явилась в образе этого, хоть и безнадежно молоденького, но столь загадочного петербургского графа, от которого и папенька — вот удача! — не отвернулся.

— Прежде в нашем городе восемь сотен телефонных аппаратов было. А стоило моему папеньке за дело приняться, как нынче уже тысяча триста. И плата не то что прежде, много ниже стала! — зажимала юношу сообразившая, что пришел черед всех ее технических познаний, Агния Кондратьевна. — Вы говорите, ваш крестный автомобильной фабрикой в Италии живо интересовался, так это немедленно надобно с папенькой обговорить! Папенька и в дело войдет, и концессионеров на столь доходное дело подпишет! Лучше папенькиных условий вам ни один партнер не даст.

— Удивительная вы девушка, Агния Кондратьевна. Все прочие барышни все больше про стихи, про Северянина с Гумилевым, а вы про лошадиные силы!

— Так ведь сыновей у папеньки нет. Все дело в мои руки перейдет, — девица Терентьева выразительно поглядела на юного графа. — Здесь у всех мозги мукой присыпаны, а прогресс не ждет. Не ждет он, прогресс! О будущем фамильного предприятия мне теперь думать надобно, — вальсируя, причитала Агния Кондратьевна, прижимаясь к Ивану ближе, чем позволяли провинциальные приличия, и уж куда ближе, чем этого хотелось самому юноше.

С трудом пробравшаяся меж пюпитров, ног оркестрантов и неведомых ей музыкальных инструментов Варька увидела своего Ванечку-благородие, заводящего полюбовности с какой-то расфуфыренной фрей...

— Ах, ты такточки! И пусть! Ни словечка тебе про сговор ахтера тваво не скажу! Пусть тебя по навету в участок заберут! А, может быть, и не по навету. Откуль мне знать, благородие ты или, как энтот Волкер сказывал, ахве, ахре, ахверист. Бандит ты, мобыть. Забыл Варьку, так тебя пушай и заберут! Пушай! Ой, мамочки родные, что сказала! Чтс сказала! Боженька, отдай мои словечки обратно. Не надобно трогать Ванечку. Пушай эти страшные жандармские уйдут! Пушай уйдут! Пушай не трогают Ванечку. И ахтер энтот трусоватый сразу сбёг! Зачем пинджак, что фрак прозывается, с Ванечки сымают? Метку театральную, о которой энтот толстый Волчара посыльного научивал, ищут? И щож теперь, раз метка из асмоловского театра, так Ванечка сразу и ахверист?! Навет все! Он же ни в чем не виноватый. Это все толстый Волчара противный придумал, и ахтер энтот, незванный. Они ж наветы наводят на Ванечку. Вместо телеграфии Ванечкиному крестному в Рим, что в стране-сапоге Италии, клязу в жандармерию написали. И как теперича крестный его о беде Ванечкиной узнает, как? Как?!

* * *

— Екима Голованя вся Калитва знает! Всякий скажет, что Еким Головня каждую копеечку своим горбом заработал! И на те, как вышло!

— От нас чего хочешь, когда сам, дурак, облапошить себя дал?

— Так где ж видано, чтобы среди белого дня честного человека обирали! На что ж полиция, ежели вам не жаловаться. Вы ж должны негодяя сыскать!

— Я те сыщу! Будешь мне указывать, чего я должен! Силой тебя за бабой этой идти никто не неволил. Деньги ты сам аферистам отдал. От нас же чего хочешь?!

— Как это сам?! Облапошили честного человека, без копеечки оставили. Сказываю ведь, на честную работу наниматься приехал, тут на Старом базаре баба подошла благородного вида...

— Пошла плясать губерния. По пятому кругу!

— ...спрашует, не место ли ищу. И приказчика из иностранной скупки хлеба показывает, сказывает, лакея он приглядывает. Жалования восемнадцать рублей в месяц и платье казенное контора дает. Чем не жизнь. Я к приказчику этому и побег. А тот спрашует рекмендации. Какие такие мендации, знать не знаю. Говорит, ежели рекмендации нет, залог нужон, десять рублей. А у меня рублей всего восемь — пятирублевик золотой трехрублевой ассигнацией обернутый. Но приказчик и на них согласный. Говорит, человек ты надежный, аккуратный, так и быть, и восемь рублей за тебя в залог сойдет. Спросил, грамотен ли, а я ни-ни. Тогда приказчик сам написал документ. Сказывал, бумага эта с согласием моим на работу и восемь рублей залога, а раз неграмотный, так чтоб я крестик под прописанным поставил. Запечатал в конверт, в руки мне дал, ждать наказал. Сам за письмами в контору почтовую пошел. И сгинул. И нет его, окаянного, и нет. Я в почтовую залу забег — нетути приказчика, ни у одного окошечка нетути. Видеть — не видывали, все конторские отвечают. Конверт развернул, а там заместо моего пятирублевика, трешницей обернутого, копейка в сахарной бумаге. Доброго человека, писателя, подле конторы сыскал, тот задаром прочесть

мне писанную приказчиком условию согласился. И прочел, что вслух читать срамно.

Мужичонка трясет бумажкой.

— Да уж! Такое вслух не прочтешь. Единственно приличествующее нормальному обществу слово «дурак!». Все прочее матерно. Дурак ты и есть. Сам себя облапошить дал, с полиции спрос какой! Для вас же в почтово-телеграфной конторе объявление вывешено: «Просим публику следить за карманами и остерегаться воров!» Пристав Охрищенко еще перед Пасхой вывешивал.

— Так я за карманами и следил. С кармана у меня ничего не стащили.

— С карманов не стащили, все сам отдал. Беда с вами — простаками. Что ни год — новая напасть. Все «короткие жакеты» найдут, как весь город облапошить. То на жалость давят — в третьем году от кишневских беженцев отбоя не было. По всему городу сновали, жалились, что в одной рубахе бежали от еврейского погрома, а люд и верил, и милостыню подавал. В седьмом году они уже от бакинской резни бежали, а морды беженские все те же. И снова добрый ростовец поворчит-поворчит, а милостыню подаст. А что хари у мальчишек-беженцев не молдавские, не бакинские, а главным «нищим» папой Афанасием Триандофило из Греции завезенные, никто и не глядит. Копейка к копейке, и у папы Триандофило уже и домишко в Таганроге двухэтажный выстроился, с парадным балконом и чугунной решеткой. И никто за руку честного гражданина не тянет, милостыню подавать не принуждает. Беда с вами, и только! Так если б только простаки, как ты, попадались, а то ж и образованный люд, элита-с! Вона, международного афериста аж на парамоновском бале взяли. Под графа работал. Да так гладенько! И на языках каких хочешь чешет, и на вид граф, да и только. Если б не трагик Незванский, который истинного графа Шувалова в Риме неделю назад видел, так и сошел бы этот аферист за графа. Скольких драгоценностей на том балу недосчитались бы. Говорят, «граф» этот новомодной воровской уловкой владеет. Гипноз называется. Барышня Терентьева, дочка самого Кондратия Патнелеймоновича, сама этому князю брелочку сапфировую в знак дружбы и полюбовности уже и отдала. Кабы мы вовремя не подоспели, так и вовсе девица голая с бала ушла бы. Ух, было бы на что поглядеть! Чего, дурак, лыбишься! Катись подобру-поздорову, пока в каталажку с ворами да убийцами тебя не засадили!

* * *

— Из каких будешь? На серого непохож, не халамидник и не маровихер на прикид. Фотограф, мобыть, — наседали на Ивана жуткого вида мужик с фиксами.

Наученный Варькой уголовной грамоте, на далекого от реальной фотографии фотографа Иван уже не соглашался и теперь пытался припомнить девочкины рассказы, чем все прочие уголовные категории промышляют. Припоминалось с трудом.

— Или по первой взяли? Зелен на вид. Ничо, не тушуйся, — мужик с фиксой хлопнул Ивана по спине, вроде как одобрил. — Пооботрешься! Меня в четырнадцать годков с кошельком на базаре замели. В кошеле том рубль три копейки, в тюрягу на шесть месяцев засадили. Но из тюряги Ленька Кроткий уже ученым вышел. Ленька Кроткий — это я! — гордо представился собеседник.

Судя по тому, как жались по углам тесной вонючей камеры прочие темного вида личности, расчищая Иванову собеседнику самую светлую середину с лавкой возле оконца с

решеткой, становилось понятно, что Ленька Кроткий в здешней среде имя!

— А вы... вы какой категории быть изволите? — через силу заставил себя спросить Иван.

— Был домушник, монщик был, но в мокрушники не подался! — сплюнул в дырку между зубов Кроткий. — В третьем году с самим Варфоломеем Стояном на Темерницкой малине загребли. Слыхивал про Стояна?! Вся Россия сотрясалась! Сорок восемь убийств. Нся чистый. Стоян, тот и при облаве городского положил, но все пустое. А Ленька Кроткий все университеты воровские прошел. Теперь, почитай, не профессор в нашем деле — академик. Высший свет — вор-аристократ! А тебя, слышал, величают Графом. Из наших будешь?

Понятия об аристократизме в этой среде весьма специфические, понял Иван, но от собственного графского титула отречься не стал.

— Граф Шувалов.

— Сродственники по классу, значит, — хохотнул Ленька. — А ты нахал! До Графа твой нос не дорос. Зелен больно! Хоть, ежели то, что про тебя в «Донской речи» писали, и взаправду проворачивал, то Ленька Кроткий чужой класс признать готов!

Кроткий уважительно поглядел на юношу, вытащил из кармана папиросу, протянул. Курить папиросы Иван никогда не пробовал, но догадался, что не принять такой дар значило бы Леньку Кроткого смертельно оскорбить. Чья-то угодливая ручонка в ту же секунду поднесла огонька. Иван затаился и зашелся кашлем — несколько дней океанской качки, усиленной морфием и голодом, даром не прошли. Поплыло перед глазами.

— Чего побледнел, аристократ?

— Морфий никак из меня не выйдет, — честно признался юноша.

— Еще и морфинист?! Это ты зря. И без этой заразы удовольствия на жизнь твою хватит! А не хватит, Ленька Кроткий подсуропит! Ты меня держись! Повезло тебе, Граф, что со мной сошелся! Мозга твоя, гляжу, варит, а понятий в тебе никаких. Со мной сладишься, таких дел наворочаем, тыщами швыряться станем!

Иван мысленно усмехнулся, вспомнив, как всего несколько дней назад в Риме закладывал в банковский сейф крестного четверть миллиона рублей золотом. Воровские тысячи на том фоне могли бы померкнуть, если б ему теперь не надо было жизнь свою спасти.

Трагик его предал. То ли допился до белой горячки, то ли злой умысел имел, но нагрянувшей посреди бала полиции заявил, что никакой Иван не граф Шувалов, что настоящего графа трагик видел в Риме и на Ивана тот вовсе не похож.

Ночь Иван еще надеялся, что трагик проспится, похмелится и опомнится. Но по мере того, как отраженное в окошке противоположного дома солнце клонилось к закату, пропуская в зарешеченное грязное оконце свои последние отблески, с горечью убеждался, что надеяться ему больше не на кого. Если Незванский не просто так сдал его полиции, то и отправленной в Рим телеграммы ждать от него не стоит. Значит, СимСим по-прежнему в неведении, и выбираться из этой страшной ситуации придется самому. И особое расположение воровского авторитета не помешает.

— Служить будешь честно, в обиду не дам! — пообещал Кроткий. — Сам чуть чего обижу! Усек?

Вторые сутки сын и внук графов Шуваловых, правнук княгини Татищевой, проходил воровскую школу лучшего вора юга, случайно пойманного на тысячной афере.

— Не бойсь, Граф. За Ленькой Кротким восемь высылков за Урал и аккурат восемь

возвратов. Без помощи каторжных властей! И на этот раз возвратимся. Свои люди везде есть. Ты только фраком своим не свети, даром что театральный. Ты фрак у Кузьмина на рубаху попроще сменяй. Вишь того бородатого в углу? Это и есть знаменитый Кузьмин, держатель хрустального дворца на Казанской, блатер-каин, скупщик краденого. Третьего дня сыскари да полицаи повзбесились. Облаву по всем малинам устроили. Не иначе как тебя, Граф-графейник, ловили. Хватали без разбору, без понятия. В другой раз как Ленька Кроткий в одной камере с Кузьминым оказался бы! Разного мы полета, полицейские, они о нашем ранжире понятия тоже имеют. Что же ты за птица, что заради тебя серьезных людей не испугались, загребли?

— А откуда у Кузьмина в тюрьме найдется «что попроще»? — вопросом на вопрос ответил Иван.

— Дурак или придуряешься? Не нашего ты поля ягода, что ль, когда простого не знаешь? Чтобы блатер-каин с выгодой фрак на косоворотку не обменял?! Ты про другое на ус мотай, хоть у тебя с усами не густо пока! Завтра нас из участка в новую тюрьму на Богатынском проспекте перевозить будут. Тогда и бежать станем.

— Как бежать?!

— Ножками! Что-то у вас, у международных аферистов с мозгами не так! Сотысячные аферы, говорят, крутите, а простого сообразить не можете. Сотня караульному, по тридцатке охране. И еще двести сверху на начальство. Караульные в нужном месте тебя и проворонят.

— Сто, двести, по тридцатке. А сколько всего охраны?

— Пять рыл будет.

— Это ж больше четырехсот рублей. У меня столько нет! — в отчаянии проговорился Иван. Но вовремя поправился: — С собой нет.

— Отдашь потом. Международный. С процентами отдашь! Ленька тебе грамотные проценты насчитает. Волюшка, она дороже стоит! Сейчас маляву на волю напишешь. Мой человек из охранных снесет, куда скажешь. Пусть деньги готовят, понял?

— А бежать куда?

— Малин, что ль, мало в Нахаловке! Да ты, никак, в этом городе впервой! Не бойсь, с собою прихвачу, не забуду. Но это денег будет стоить, Международный.

— Сколько?

— Пять тыщ. Но уже без процентов. Свои люди — аристократы, сочтемся! А не сочтемся, сам тебя порешу. Даром, что не мокрушник, но Стояновскую школу не забыл. Урою — не пикнешь! Чего заснул, бери карандаш, пиши маляву!

* * *

— И на что вам телеграфия аж в Италию, милая барышня?

На парاپете возле недавно выстроенного здания городской почтовой конторы на улице, естественно, носящей название Почтовой, сидел не до конца протрезвевший человек, носящий гордое название «писателя». Накануне в гостинице армянского общества вернувшуюся за полночь Варьку сперва оттащали за косы, приказали перемыть-передраить все, что с вечера пробегала, после чего идти спать. Обещали ее прежде срока отправить в Нахичеван, нечего в дорогой «хотеле» без пользы толочься. Но, перемыв все наказанное не только водой, но и слезами, девочка пробралась к знакомому приказчику Михрютке за

советом. Приказчик надоумил наутро идти к почтамту, искать «писателя».

— На что мне писатель! Чай, не стишки посылать надобно.

— «Писатель», темная твоя душа, человек такой, который все писарские закавыки знает. Как какое прошение составить, как челобитную, как письмо отписать. Кто неграмотный, в писарских тонкостях неученый, все к «писателям» идут. И ты иди. Телеграмму тебе оформит. А зачем тебе телеграмма? На хуторе твоём и телеграфистов отродясь не было.

— Нужна телеграмма, раз спрашую! — отрезала Варька.

И, едва передремав после ночного ареста Ванечки-благородия на парамоновском празднике, сетуя, что на другой день в Нахичеван к Идке возвратиться, а она так и не поспала всласть, с рассветом побежала к почтовой конторе. За копеечку выпросила у сидящего недалеко от входа нищего, кто таков будет «писатель», теперь объясняла спившемуся бывшему учителю, что от него требуется.

— Не желаете, милая барышня, сообщать, на что вам телеграфия, ваше дело. Но в Италию надобно составлять текст по-итальянски. В крайнем случае по-англицки или по-французски.

— Не умею я ни по-хранцузски, ни по-каковски, окромя нашего, не умею. Можете перевести?

— Денег стоит.

— Мы ж сговорились за денежку.

— То сговорились за саму телеграфию да за мое оформление. А за перевод? Не желаете платить, ваше право! Не занимайте мое время. Я нынче вдове Самохваловой должен составить прошение о взыскании трехсот рублей с девицы Сысоевой, на которую умерший муж Самохваловой изрядно средств извел...

Эх, прощай мечта мечтовая, как приедет она на хутор с гостинцами. Как достанет матери шаличку, батяне табачку, брательникам-сеструшкам конфет да пряников. И себе на новую кофтенку, да на чернилки с тетрадками останется, а то на глобус — что за диковинка, не ведаёт, да Ванечка-благородие вчера сказывал, что без диковинной этой глобусы не отыскать ни сапожную страну Италию, ни город Рим, что со здешним фартовым трактиром не схож.

С мечтой денежек на Митюшкино оmundирование домой привезть она еще с вечера распростилась, когда суливший денег Ванечка ее под театром забыл. Теперь и про подарки придется забыть. Хозяин «Большой Московской» вчера грозился армянской родне в Нахичеван телефонировать, что Варька лодырничает, без спросу убегает, шастает невесть где, что «беда она, да и только!», а не помощница. Что как и обещанной деньги Идкины родители за ее работу осенью не заплотют? Батяня тады до смерти излупит. Цельное лето, скажет, невесть где околачивалась, ни в поле, ни дома никакой подмоги не делала, да ишо и деньги не привезла! А даже если и заплотют, так те денюжки батяня на семена приберет, а на подарочки где взять — в «хотелю», где постояльцы денежку дают, ее больше помогать не возьмут, а все, что скопила, уйдет сейчас этому «писателю» за английкий перевод, и прощай подарочки!

Прижавшись к углу нового почтового здания и тяжело вздохнув, вытаскивает Варька из-под юбочки платочек с денежкой. Все пять рублей пятнадцать копеек, скопленные за две недели в гостиничном услужении. Двадцать восемь копеек в «хрустальном дворе» за штаны, рубаху и чуваки для Ванечки пришлось отдать.

— Три рубли за Ванечку дадены, что тазики из-под него выносила, значится, рублям тем Ванечку и спасать! И свойских два рубля на его спасение грех не прибавить. За ради Христа, пропишите, как можете, шоб там поняли, — Варька протягивает «писателю» еще теплые от ее тельца денежки.

— Другой разговор! Не сердчайте, красавица. Своя рогожа дороже чужой рожи! Не опохмел, это святое, век вам этого не знать! Пошли господь тебе, красавица, непьющего мужа, хоть где ж теперь такого отыщешь! Переводить на иностранный что прикажете? — спрашивает «писатель» и, успев глотнуть поднесенную суетливым половым из соседнего трактира стопку, переводит сумбурные Варькины словеса на телеграфный язык. С удовольствием взглянув на написанное, перечитывает:

— «Рим. Абамелеку князю. Ванечка в тюрьме в Ростове. Актер ваш незванный предатель. Христа ради спасайте Ванечку». Адрес хоть помните или «на деревню дедушке»?

— Отчего же дедушке? И вовсе не дедушке! Очень даже Ванечкиному крестному. А адрес это чего такое?

— Бог мой! Адрес — это название улицы, дома. Рим, он, кажись, не маленький, милая барышня, чтобы почтальону по всем улицам вашего крестного искать.

— Не мово крестного, Ванечкиного. Адрес, адрес... Ванечка сказывал чегой-то. И ахтеґ энтот когда в антомобиль садился, толстому Волчаре про телеграфхию в Рим кричал. Врал, шоб Ванечка поверил, что он взаправду поможет. Как же кричал? Виа Гаета, пять. Кажись так.

* * *

Сменившийся с охраны участка пристав Охрищенко, получивший от Леньки Кроткого червонец задатка, нес по адресу маляву, написанную странным пацаном, совсем не похожим на привычных воров и убийц. Шейка у мальчугана тоненькая, кожица чистенькая — ни тебе шрамов, ни следов от чириев, ни прыщей. Не воровского вида мальчуган. Сам бы на улице или где в приличном месте такого увидел, поверил бы, что граф. Вот оно до чего воровское искусство дошло. По иноземному баить наловчились, даже писать неведомо по-каковски сподобились.

Охрищенко маляву ту, как водится, развернул, и аж выматерился. Ни тебе прочесть, ни понять! Буквы нерусские, даром что он грамотный, а как прочесть, когда писано на иноземном языке. Приходится не читанное несть, непорядок! И адрес мальчуган странный дал. Отчего-то направил его в Асмоловский театр. Сказал трагика Незванского отыскать. Мол, трагик только притворяется актерским, а сам в аферах этого Графа второе лицо, вместе с Рима работают. Еще Граф сказал, ежели Незванский уже дал деру, то самого нового владельца Асмоловского театра адвоката Волкенштейна найти и маляву ему лично в руки передать. Волчара деньги прибавит.

Остановившийся на углу Охрищенко снова разворачивает исписанную мелким почерком поддельного графа бумаженцию, таращится с истовостью в бараньих глазах и, не в силах понять, складывает вновь.

В театре ему сообщают, что трагик Незванский изволили отбыть в Москву, а Волкенштейна теперь нет, адвокат на слушании в суде. Обещался быть к вечернему спектаклю.

— Сегодня «Гамлета, принца Датского» дают.

— Принца? Датского? Водевиль?

— Трагедь. Ожидать станете?

— Ежели трагедь, не стану, — отвечает Охрищенко.

Снова тащиться через полгорода в суд, где заседает адвокат? Или пойти на поводу у своей лени, нашептывающей, что записка та не рассыплется до завтраго, когда Волкенштейн должен быть в своем театре прямо с утра: «Подрядчики насчет установки труб парового отопления договариваться придут».

Летняя жара день ото дня входит в свою силу, и приставу не хочется уже ни четвертного, ни обещанной сотенной. Хочется только в прохладце собственного домика за закрытыми ставенками холодного кваску из погреба хлебнуть — да на боковую. Умаялся! И, вняв не жадности, а лени, разморенный жарой пристав, тяжело пыхтя и утирая стекающий из-под фуражки пот, от Таганрогского проспекта направляется в сторону Темерника — домой.

— До завтра подождет!

И в пропотевшем кармане форменных штанов о пачку папирос «Жемчужина Юга» трется бумажка, на которой беглым Ивановым почерком написано:

*My mistress' eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips' red;
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head...
[Ее глаза на звезды не похожи;
Уста нельзя кораллами назвать;
Не шелковиста плеч открытых кожа;
И черной проволокой вьется прядь...
(130-й сонет Шекспира в переводе Маршака.)]*

И далее по заученному Иваном на уроках тексту сто тридцатого сонета великого британца.

Что подумает Волкенштейн, развернув подобную «маляву»? В каком виде Охрищенко донесет его реакцию до Ленки Кроткого? И что тогда будет?

* * *

На следующий день отправленная назад в Нахичеван Варька сидит на трехкопеечном месте в закрытом вагоне трамвая. Прежде боялась вот так ехать одна. Но ростовские родственники Идких родичей, рассердившись на ее побег без спросу из «хотели», не дождались, когда за Варькой приедут из нахичеванского дома, отправили одну.

— Не маленькая, доедет! И через поле меж Ростовом и Нахичеваном дойдет. Засветло не страшно!

Еще вчера Варьке и засветло одной в трамвае было бы страшно. Но теперь не боится ни пугавшую прежде «трубу» — поле между двумя городами, которое, сойдя на конечной остановке, ей придется самой пройти, ни страшивших прежде трамвайных воров-

карманников, ни стоящего в вагоне смрадного запаха чужого пота.

Вагон битый час стоит на углу Большой Садовой и Богатынского, где встречным трамваем сшибло лошадь. Лошадь жива, но повредила ногу. Ни встать, ни с рельс отползти не может. И мужиков, собравшихся всем миром ее сдвинуть, не подпускает. Воет от боли, брыкается и нещадно кусает каждого, кто решится к ней приблизиться. Варька в оконце видела, как мужик с прокушенной до крови рукой уже убежал, даже про неиспользованный пятикопеечный билет позабыл. Теперича все ждут дохтура, который должен вколоть несчастной скотине сонный укол, после чего коняга заснет и можно будет ее с рельс стащить.

В другой раз Варька первая торчала бы в толпе зевак, разглядывала и покалеченную лошадь, и силящихся ее сдвинуть мужиков, и подоспевшего дохтура. Было б что зимними ночами, забравшись на печку, младшеньким рассказывать. Они и трамвая отродясь не видывали! Будут в рот заглядывать, старшенькой сеструхи рассказы слушать. Но теперь Варьке не до новых впечатлений и не до грядущих моментов своего сестринского торжества. Слезки все бегут и бегут по щекам. И дикая обида внутри никак не хочет проходить.

За что ж Ванечка-благородие так?! Ведь он хороший! Она же знает, что Ванечка хороший. Почто ж он ее обманул? Забыл и бросил.

Или никакое он не благородие, а ахверист, про какого в газете и писано? Ну и пусть даже бы и ахверист, все одно, хороший! Ахверисты что ж, не люди?! Мобыть, жизнь у него плоха была. Мамка в детстве не жалела, не голубила, вот и подался в ахверисты. А ежели его прижалеть, прилюбить, он и хорошим человеком станет.

Плачет Варенька, и не замечает, как трамвай, тронувшийся по освобожденным от покалеченной лошади путям, оставляет позади тюремную карету, поворачивающую с Большой Садовой на Богатынский проспект. Следом за каретой, крича и размахивая зажатой в руке бумажкой, бежит пристав Охрищенко.

— Стой! Стой! Угроблю! Урою! Я те покажу Волкенштейна! Я те покажу маляву! Своими руками порешу! Стой!

* * *

Варька доезжает до конечной. Медленно, пачкая подол юбчонки в белесых одуванчиковых соцветьях, бредет через разделяющее два города поле. Почти по земле волочет узелок с запасной юбчонкой, пятнадцатью копеечками, оставшимися от всей прежней роскоши, и газетной вырезкой с описанием международного преступника — «Внешность русская. Волосы светло-русые, слегка вьющиеся, глаза каштановые. На вид 16–17 лет, роста выше среднего, известный международный аферист». Все, что осталось у нее от Ванечки. Кто знает, встренутся ли теперь когда?

Хозяйка в нахичеванском доме первым делом оплеуху отвечает, что не угодила их богатой родне.

— Не для того тебя в прислуги на лето нанимали, чтобы ты самовольничала, хэв! [\[72\]](#)

И сует в руки орущую Идку. Хозяйка с вечера шей капустных натрескалась, вот у Идки животенок и пучит, и кричит она криком. А не спавшей две ночи Варьке снова ее на руках таскать.

— Баю-баю-баю-бай! Наша Ида засыпай!
Засыпай, красавица, будешь парням нравиться!
Засыпай, хорошая, вырастешь пригожая/
Кавалер посвататся, будешь ты богатая!
Кавалер красивенький, Ванечка, любименький!

Ой, срам один, что говорю!

Бай-бай-бай! Увезет тебя трамвай...

На ходу сочиняет колыбельную Варька. И не замечает, как сама задремывает, а прижавшись к ее промокшей от слез щеке, задремывает и успокоившаяся девочка.

* * *

Просыпается Варька от шумного говора на армянском, русском и еще на каком-то непонятном ей языке. Еще не разомкнув слипшиеся от кисляков глазки, чувствует, что руки ее пусты. Нет в них Идки!

Господи, боже мой, неужто уронила! Прибьют хозяева! Даже глаза раскрывать боязно.

— Это, СимСим, и есть моя спасительница. Варвара.

— Святая Барбара. Ангел. Точно ангел с картины Боттичелли. До чего красивы дети российские. Ангельские личики, чистые глаза. И что делает с ними жизнь! Ты говорил, девочка мечтала о швейной машинке!

Медленно открывая глаза, Варька видит собравшееся в комнате все армянское семейство, с перепуганными лицами почтенно взирающее на стоящих в центре благородных господ в дорогих одеждах. Повернутый лицом к ней человек, по Варькиному разумению, стар, но красив. Густые, лихо закрученные усы, бородка. Глядит на нее, но не зло, а очень даже добро глядит. Что-то не по-нашенски говорит другому благородному, стоящему спиной к ней. Лица его Варька не видит. Видит только дорогой костюм, каких ни в «хотеле», ни на пармоновском бале не видывала.

— Проснулась твоя Святая Барбара. Что же не благодаришь свою спасительницу? Если бы не посланная ею телеграмма в Рим, которую распорядитель немедленно переслал мне в Киев, куда я уже успел доехать, собирали бы мы теперь твои косточки по ростовским воровским трущобам.

Второй господин поворачивается. На фоне светлого окна Варька не сразу видит его лицо. И лишь когда господин делает несколько шагов навстречу, вскрикивает.

— Ванечка!

И, забыв все приличия, оставляя на его дорогом костюме следы от налипших на ее юбочку распушившихся одуванчиков и цветочной пыльцы, бросается на шею юному графу.

— Ванечка-благородие! Я уж и взаправду думала, ты ахверист. Но рассудила из тюрьмы тебя дожидаться. Ведь и промеж ахверистов хорошие люди случаются! — говорит Варька и обижается — отчего это другой господин заливается смехом?

Одарив девочку невиданными подарками — швейной машинкой «Зингер», глобусом, настоящей куклой в богатом платье, тремя плитками шоколада и двумястами рублями — «Таперича можно Митрия хоть завтра на службу собирать. На всю муницию хватит!» — и, передав хозяевам взнос на строительство армянского храма, граф Семен Семенович Абамелек-Лазарев с Иваном выезжают с украшенного дивной чугунной решеткой двора.

СимСим продолжает объяснять крестнику то, чего Иван еще не знает:

— «Роллс-Ройс» исчез от банка, потому что карабинерам охраны такой приказ последовал.

— Итальянский министр постарался? — догадывается юноша.

— Министрша. В той семье всем эта дама заправляла. И семерых родить успела, и всем вместо мужа в правительстве распорядилась. Персидский посланник ее и использовал. Марию Павловну они во Флоренцию выманили. Телефонировал кто-то, что на вилле Пратолино пожар. Я тем временем за тобою к на... — голос князя осекся. — За тобою уехал, а Прокофий на вилле остался. Кто же мог предположить, что и он замешан! Лакея со знанием языков нанял, и извольте получить — горе от ума!

— Так это он под лестницей с министершей говорил, что убить меня надо?

— Не исключено, что он. Но, может, и другие действующие лица этой истории. Когда ты вопреки всем козням появился на вилле оборванный, но живой и на второй этаж побежал, Прокофий тебя с лестницы был вынужден сбросить. Боялся, что ты камень в сейф закроешь, и они не смогут его достать.

— Я и не знал, что у вас там сейф.

— Зато Прокофий знал и думал, что тебе известен мой шифр. Он тебя с лестницы и скинул, но убивать они тебя испугались, знали, что из-под земли их достану. Трагик Незванский ногу выставил, чтобы смягчить удар, а нога у него, сам видел... Иначе ты головой о мозаичную плитку разбился бы, а так лишь ударился.

— Так еще трагик Незванский замешан! Я ему как родному радовался, когда в газете объявление о гастроли его увидел. Выходит, сам в лапы зверю пошел.

— И трагик замешан, и персидский посланник. В один день за столом всю нечисть собрал! Все графиню в авантюрных наклонностях подозревали, а она чистейшей души человек, э-э... — князь Абамелек запнулся. — Если и не чистейшей, то к нашему делу касательства не имеет. Она, да барон немецкий, по своему тупоумию, да художник парижский по разгильдяйству не замешаны. Остальные все при деле. На пароход тебя Прокофий с трагиком грузили. Потом Прокофий на виллу вернулся. Хорошо еще телеграмма твоей Святой Барбары не в его руки попала, не то век бы тебе в ростовских трущобах вековать! А в Ростов тебя Незванский вместе с персом везли.

— Отчего в Ростов?

— Жадность фраера сгубила! В воровском мире, с которым ты отныне ознакомлен, кажется, так говорят. Незванскому за помощь был обещан солидный куш, но только после получения алмаза. Время шло, алмаза не было. А у Незванского ангажемент в Асмоловском театре. Время торопило, неустойку платить он не желал, и обещанных семьсот рублей за гастроль терять не желал, и алмазная жадность разыгралась. Персидский посланник предлагал поверить ему на слово, обещал после того, как он достанет из тебя алмаз,

отправить трагикомическую его долю, но Незванский персу не поверил. Грозил в полицию донести. Вот и пришлось им плыть вместе, прихватив тебя с собой. А жизнь, она хитрее всех нас оказалась! Не случись всей этой истории, и я бы не попал в места, столь тесно связанные с жизнью моих предков.

Семен Семенович с увлечением разглядывал аккуратненькие двухэтажные домики теплых розовых и желтых цветов, составившие самую старую часть разросшегося армянского поселения.

— Полтора века назад мой прапрадед Лазарь Лазарян отправил сюда бывшую наложницу Надир-шаха с его наследником, которых прадед выдавал за своих дочь и внука. Наложницу вскоре убили, могила ее где-то здесь, на высоком берегу реки. Так по крайней мере говорилось в записках двоюродного прадеда Ивана Лазарева. Здесь же умалишенный шахский наследник и подарил Ивану Лазаревичу погребушку с запрятанным в ней алмазом «Зеба», который стал фамильным лазаревским алмазом. И вот теперь здесь оказался я. Круг замкнулся.

— Круг замкнулся! — обреченно повторяет Иван и густо краснеет. — Я никогда не смогу расплатиться с вами за алмаз, который... Который из меня достали. Лучше лишили бы меня жизни, чем такое бесчестие!

— Мальчишка! Глупец! Какой алмаз может стоить жизни, замечательной, юной жизни моего названного сына! И потом, мой друг, не настолько же ты наивен! Не думаешь же ты, что я держал в банковском сейфе настоящий алмаз?!

— Как не держал?! То есть как не алмаз? То есть, я хотел спросить, если не алмаз, то что я глотал в Риме. И что из меня достали здесь Незванский и перс?

— Страз. Подделку.

— Зачем же подделку было держать в банке?! — изумился юноша очередному неожиданному витку случившихся с ним приключений.

— Для отвлечения внимания. Я понимал, что камень, подобный этому, обязательно заинтересует грабителей, а методы международных аферистов век от века становятся все совершеннее. Вот и подкинул им ложную приманку, на которую они и попались.

— Но если из меня вытащили подделку, то где же настоящий камень?

— Здесь! — отвечает князь Абамелек-Лазарев. И достает с груди инкрустированную ладанку, все с той же вычурной фамильной монограммой «А.Л.», которую Иван и прежде много раз видел у своего крестного. — После извлечения алмаза из второй по счету погребушки, в которую его зашили моя бабка Екатерина Мануиловна и твоя прабабка Елизавета Ардалионовна, дед Христофор вставил его в ложную ладанку, в которую никакого ладана не налить — все место внутри занял алмаз. С тех пор алмаз в этой ладанке и хранится.

* * *

Увозящий Ванечку и его крестного фырчащий автомобиль, оставляя долгий вонючий след, ползет по идущей от Дона улочке вверх, пока не скрывается за углом.

Машущая вслед уезжающим гостям Варька обреченно опускает руку и прямо в нарядной юбчонке садится посреди улицы в пыль.

— Уж лучше бы ахверист! Ахвериста хоть опосля тюрьмы дожидаться можно...

31

ТОЧКА НЕБЕСНОГО СВОДА

(ЖЕНЬКА. СЕЙЧАС)

Знаю. Теперь все знаю. Теперь и только теперь стал ясен до поры до времени неведомый никому Божий промысел. То главное в жизни дело, которое не сделает никто, кроме меня, и ради которого я оставлена жить. Кит говорил мне о нем в полусне-полуяви, а я не поняла. Теперь понимаю.

Ли́ка считает, что дети сами выбирают, когда и от кого им рождаться. И тем самым сводят и разводят, заставляют так бесконечно мучиться своих родителей в их так называемой личной жизни.

Если бы Никитка остался со мной тогда, в девяностом, второго ребенка мы постарались бы родить намного раньше. И тогда была бы не эта девочка (я ни секунды не сомневалась, что будет девочка). А на эту, которая сейчас во мне, сил и любви могло и не хватить. А родиться хотела именно она.

Кит ушел. Вернуться в мою жизнь он почему-то не мог, но и не вернуться не мог. Он ушел, на минуту вернувшись, дав жизнь тому, кто должен родиться. От нас двоих. Именно теперь.

* * *

Ходила по отремонтированной Ликой квартире и сама себе удивлялась. С ума сошла! Рожать второй раз через двадцать, точнее, пока рожу, будет почти через двадцать один год после первых родов!

Узнавший про будущую сестру Димка сначала обалдел, потом рассмеялся: «Ну и курс молодого бойца ты мне подготовила, чтобы потом от собственных детей разводиться не побежал!» И только потом, сообразив, что предшествовало моей беременности, обнял меня: «Я всегда знал, что вы помиритесь! С девяти лет и до двадцати на каждый Новый год среди прочих машинок-машин это загадывал!» На следующий Новый год моему давно выросшему мальчику загадать это уже не придется.

Димка поселился во мне, когда мне самой не было еще двадцати. Молодая, здоровая, любящий муж рядом, казалось бы, беременей и радуйся. Но во мне жил какой-то иррациональный, доводящий до безумия страх выкидыша. Всю первую половину срока просыпалась от ужаса, проверяя, чиста ли простыня. В ночных кошмарах пятна крови превращались в реки, уносящие мою надежду, и я боялась так, словно мне было не двадцать лет, а все сорок, и эта беременность была моим последним шансом.

Теперь мне сорок, ко времени родов будет почти сорок один. Муж погиб, здоровье ни к черту. Выкидыш по всем не выдуманым, а реальным обстоятельствам сейчас в тысячу крат вероятнее, чем тогда. Выкидыш уже мог случиться десятков раз — от всего, чем накачал меня

четвертьшвед еще до зачатия, от шока после Никитушкиной смерти, от американских горок пустынного сафари, от падения с верблюда, от перевернувшегося в песках джипа, от аварийного приземления самолета на пашню... Но теперь вопреки логике я не боялась. Теперь я не боялась ничего.

Не соврал тот, долго мучивший меня сон — будет муж, тебя старше, сын и дочь, только дочку тебе господь пошлет, когда поймешь в жизни что-то главное. Что я поняла, если эта невидимая дочка растет во мне, набирается жизни, живет?

Что я поняла? Что жизнь — это жизнь! Что невозможно ее предугадать. Что нельзя отчаиваться.

«Потерянный рай возвращается, когда ад пройден до самых глубин». В юности я выписала в блокнотик цитату кого-то из великих, теперь уже, ей-богу, не вспомню кого. Потерянный рай возвращается. Значит, ад пройден? Значит, все, что переворачивалось внутри меня, было не спазмами, а шевелением моей девочки. Неужели я настолько забыла, как это бывает, что не почувствовала, как жизнь рвется из меня в мир?! Хотя со времени моей первой беременности прошло больше лет, чем мне самой было в ту пору, немудрено и забыть...

Опять и опять, как и в совершавшем аварийную посадку самолете, я задавала себе вопрос: когда происходит событие? В миг, когда оно действительно происходит, или когда об этом узнаешь ты? В самолете я мучилась осознанием того, что была беззаботна и счастлива в часы, когда Никиты уже не было, и не могла понять, когда его не стало — в миг гибели, или в миг, когда об этом узнала я.

А теперь? Теперь, когда свершилось все? Июньской ночью, когда девочка поселилась во мне или теперь, когда я поняла, что она есть? Время между реальностью новой жизни и ее осознанием вместило в себя смерть. Как новая жизнь сможет ужиться с поселившейся во мне смертью?

* * *

Вернувшийся с острова федералистов дядя Женя по своим каналам проверил высказанные им в Риме предположения. И с гордостью констатировал, что старая гвардия не ошибается: «Волчарина работа! Он, гаденыш, друга детства подставил!»

Теперь надо было партию с Волчарой грамотно разыграть. А для грамотной партии нужны весомые аргументы. И деньги. Аргументы в виде кадра на Ликином мобильном и еще каких-то «деталей», о которых Лика мне пока не рассказывала, нашлись, а денег надо ждать. Ни один из вчерашних друзей Оленя давать денег на его спасение не хотел категорически. Все, подобно Прингелю, сидели, засунув голову в песок, разве что не так натурально, и тряслись за собственные шкуры. А если не было денег чужих, приходилось дожидаться своих.

С оформлением счета дело двигалось медленно. Швейцарская бюрократия оказалась не слабее нашей, разве что честнее, но безнадежно буквальнее. Все вроде бы шло как надо, но раздражающе черепашим шагом, впрочем, черепаха Ликиных мальчишек бегала не в пример поговорке шустро, все лето Сашка и Пашка искали ее в дачных дебрях. Без денег, без нереально больших денег, доступ к которым мог открыть только диктаторшин счет, о влиянии на происходящие вокруг Оленя процессы и думать было нечего. Приходилось

ждать, и этим ожиданием мучиться. А Лешке тем временем приходилось сидеть в Бутырке, и сократить его пребывание в камере было пока не в наших силах.

В конце сентября через дядю Женю и его нержавеющей связи выбила для Лешки свидание с матерью. Больше видеться ему было не с кем.

— Лучше б, конечно, пойти мне! — вырвалось у меня, когда на подаренном Оленем «Фольксваген-Магеллане» мы с Ликой подъехали к дому Аллы Кирилловны. — Или тебе! — добавила я, пожалев Ликину влюбленность. — Но в тюрьму пускают только адвокатов или формально близких родственников, а близких родственников у Лешки, как выяснилось, не осталось. Почти.

Прежние жены с дочками и не думали лететь ему на помощь. Третья по счету супруга Ирина, которую я засекала на фотографиях пациенток четвертьшведовой клиники, где все болезни лечат неумеренным сексом с медперсоналом, была не в счет. Изучившая эту дамочку за время декорирования их загородного особняка Лика заверила, что эта курица пальцем ради спасения Оленя не шевельнет.

— Агата сказала, она уже на развод подала. Намеревается пока суд да дело отсудить в качестве алиментов все, что еще не успели арестовать или заблокировать. Дом, который я им оформляла, уже описан. Фиг с ним, с домом, там Ирка процветала. Гараж жалко, Оленю в нем хорошо было... Это еще кто?

Лика заметила направляющуюся в сторону нашего джипа пышную Лешкину мамашу.

— Алла Кирилловна, мамочка Оленя.

— Этого мне только не хватало! — пробормотала Лика. — Каринэ номер два!

— Но олигарха-сироту тебе никто не обещал.

— Да уж! — стала запинаться всегда столь уверенная в себе Лика. — А откуда ты знаешь, что... что я...

Мне ли было не знать.

— Ты когда об Олене говоришь, у тебя глаза другие. Совсем другие глаза.

— А ты?

— А что я... Я из другой жизни. Совсем из другой.

* * *

— Имя дочке уже придумала? — спросила Лика, когда, сдав Аллу Кирилловну на руки адвокатам, которые должны были проводить ее в Бутырку, мы остались ждать на ближних подступах к следственному изолятору. Оленева мама, рыдая и называя меня «родной девочкой», умоляла не оставлять ее. Еле внушили, что ее никто не оставляет и сейчас время Оленю помогать, а не слезы лить. При всей материнской сердобольности переориентироваться Алла Кирилловна так и не смогла и, вместо того чтобы сосредоточиться на помощи сыну, все пестовала свою материнскую трагедию. И искренне не могла понять, почему, когда ей так плохо, все перестали суесться вокруг нее, как суетились все последние годы. Пришлось найти Лану, мою давнюю знакомую психологиню и приставить к Оленевой мамаше.

Коротая время ожидания, обсуждали мистику имен. В ответ на Ликин вопрос об имени для дочери я только пожимала плечами. Моя случайно обретенная подруга (не все ли лучшее в нашей жизни есть восхитительная случайность, даже сама жизнь?!) хвасталась, что

угаданное имя — это судьба.

— Меня Варей хотели назвать, в честь бабушек. У меня сразу две бабушки были Варвары. Варвара Кузьминична и Варвара Степановна, — говорила совсем не похожая на Варвару Лика. — Мама потом рассказывала, что когда ей меня первый раз кормить принесли, она на меня посмотрела и поняла, что никакая я не Варька. Только вот с настоящим моим именем родители на четыре буквы промахнулись, в свидетельство о рождении лишних букв вписали. Какая из меня Анжелика?! А как в шестнадцать лет имя в паспорте поменяла, сразу почувствовала: я — это я! И подтверждение, как знак с небес, немедленно последовало...

Про подтверждение Лика рассказать не успела. Адвокаты тайными тропами уже выводили Аллу Кирилловну, которую срочно надо было эвакуировать от моих недавних коллег по фотозасадам.

Имя, имя! Попробуй угадай. Димку Димкой назвал Никита. Попал точно, по крайней мере в инициалы. Первые буквы имени и фамилии Д.Ж., составившие детское прозвище Джойстик, замененное нынешним Джой, были Димкиной сутью. Джой, он и есть Джой — радость.

А я, кто я? ЖЖ? Женя Жукова? Двадцать два года меня зовут так. Евгенией Савельевой за первые восемнадцать лет жизни ощутить себя я не успела. Хотя... Какая Савельева, если вспомнить, что отец говорил!

* * *

— Пап, а мы кто? — спросила у заглянувшего вечером отца, который, как и двадцать лет назад, считал своим долгом подкармливать витаминами беременную дочку.

Известие о моей запоздалой беременности отец воспринял на удивление ровно. Мама, та схватилась за сердце, запричитала, разве что волосы на себе рвать не стала. «В сорок лет! Больная, нищая, без мужа! Сирот плодить!» — заранее хоронила меня мама, а я думала о том, что когда Димка родился, его бабушка — моя мама ненамного старше меня нынешней была! Отец молчал, благоразумно не вступая в споры с женой, и столь же молча возил мне с дачи корзинки с поздними ягодами.

— Что значит — кто? Что ты хочешь спросить?

— Если ты говорил, что дедушка Вадим тебе не отец, а дедушка был Савельевым, значит, мы с тобой не Савельевы. А кто?

— Шуваловы мы. Настоящего моего отца реабилитировали, когда я уже в институте учился. И мама, когда после войны вышла замуж за отца... — мой папа запнулся, — ...за приемного моего отца, предусмотрительно записала меня на его отчество и фамилию. Так я и прожил жизнь не под своим именем. Как знать, может, у Андрея Ивановича Шувалова была бы другая судьба! И у Жени Шуваловой тоже. Хотя ты и не Савельева, и не Шувалова. Ты, Женька, уж точно Жукова. Твое ЖЖ у тебя не отнять.

* * *

Я ожила, но боль, поселившаяся во мне в июне, не сдалась. Она свернулась, сжалась,

зашипывалась внутри, готовая при первой же возможности вылезти наружу, распрямиться, раскрыть свою пасть-прорву и снова поглотить меня. Три месяца я училась жить с болью. Теперь мне надо учиться жить, соединяя в себе несоединимое — боль и счастье. Или счастья без боли не бывает? Разве что в те три июньских дня...

Иногда боль меня пересиливала, и тогда я снова сжималась в комочек на диване-космодроме, сохранившем свои позиции и в новом интерьере. И тогда закончившая ремонт, но приезжающая каждый день Лика пыталась вливать в меня силы, которые в ней самой вдруг иссякли. Будто отключили Лику от какой-то мощной подпитки, лишили чего-то в жизни главного. То ли этим главным в ее жизни был умерший первый муж, то ли посаженный в тюрьму Олень.

Лика рассказывала про свою бабушку, которая, получив три похоронки на мужа и двух старших сыновей, жила, потому что вынуждена была жить. Потому что не жить не могла — пятеро голодных ртов младших детей, и она одна.

— Она держалась. И когда первую похоронку на мужа принесли, а через три месяца — на старшего сына. Потом, в сорок четвертом, с одной почтой принесли последнюю похоронку на сына Павлика и письмо о гибели какого-то близкого ей человека, бабушка никогда никому о нем не рассказывала. И она даже не закричала. Повернулась и пошла. Из дома вышла, из хутора вышла, все шла, и шла, и шла, пока не упала. Когда ее совсем чужие люди подобрали, бабушка как не в себе была. Не могла сказать, ни кто она, ни где, не сразу вспомнила даже, что дети одни дома остались. Подобравшие ее люди смогли ее выводить, и что-то главное ей объяснить. Как смогли, не представляю, знала бы, сама бы тебе объяснила. Только если бы бабушка не осталась жить, не вернулась в свой дом, то без матери ее младшие дети вряд ли бы выжили. Маме моей тогда двух лет не было, но она еще грудь сосала, потому что кормить ее больше было нечем. Не выжила бы мама, меня б не было. Не было б меня, не родились бы Сашка с Пашкой, у неродившихся не могло бы быть своих будущих детей. А кто знает, может, среди моих потомков гении...

— Да, Женечка, про свою жизнь никто ничего не может сказать наверняка, — отозвалась с общей теперь галереи-балкона Лидия Ивановна.

Ей ли с ее потерями было об этом не знать! В отличие от бесконечной трагедии Ликиной бабушки трагедия моей соседки была бесконечнее. У нее после всех потерь не оставалось и тех пятерых голодных, которых было не прокормить, но ради которых стоило жить. Никого не оставалось, кроме парализованной подруги, которую соседка выхаживала сорок лет.

— Мы судим только по себе, а мы не одни в этом мире, — продолжила Лидия Ивановна. — Мы лишь часть линии от прошлого к будущему, проведенной через нашу точку. Только удерживать на себе эту линию, как дугу небесного свода, ох как тяжело...

(ЛИКА. СЕЙЧАС)

Ленинградка по направлению к Шереметьеву стояла намертво. Женька перебирала кнопки приемника, чертыхаясь на очередной выброс попсы в эфир.

— В электронной почте придумана же защита от спама, иначе сколько непрошенных помоев лилось бы на нашу голову. И в радиоприемниках придумали бы для желающих защиту от попсы как от радионного спама.

— У тебя тогда в арсенале три кнопки останутся, — ответила я. — Запрограммируй на них нужные тебе радиостанции, а в другие пальчиками не тычь. Но потом ты скажешь, что тебе срочно требуется защита от новостей как от спама, в итоге придешь к пониманию, что высшая информация есть молчание.

Женьке все же удалось отыскать незаблокированные пока новости.

«...отвечая на вопрос американских журналистов о так называемом деле „АлОла“, — послышалось из приемника, — вице-премьер заявил, что Налоговый кодекс не запрещал „АлОлу“ и другим компаниям проводить сделки через внутренние офшоры. „Если действия этой компании допускались законодательством прошлых лет, то мы и сегодня должны руководствоваться критериями закона, а не абстрактным понятием справедливости“, — подчеркнул вице-премьер».

— Ничего себе! — присвистнула Женька.

— Чего «ничего»? — не поняла я. — Да не смотри на меня как на недоразвитую! Я пятнадцать лет по кремлевским и прочим паркетам не терлась, их административной казуистики не понимаю.

— Что же здесь не понимать?! Вице-премьер защитил Оленя. Трусливо так, из-за угла, но защитил. И тем самым попер против Главного! Главный о чем у нас говорит? О равенстве всех перед законом. Якобы. А вице, как поджавший хвост заяц, весь трясется, но о торжестве закона над справедливостью в интервью западникам излагает.

— И как же он поперек Главного попер?

— Слишком много у Оленя взял. Теперь и против того... — Женька потыкала пальцем вверх, — переть страшно, и в защиту Оленя не вякнуть боязно. Что как его имя в каких-то документах уголовного дела всплывет. Ой, мрак! Они вякают, а Олень все сидит!

Олень все сидит! И я не видела его уже четыре месяца. Пока Женькин счет оформляли, пока всю нужную информацию добывали — к Волчаре же просто так не придешь, зрасте-пожалуйста, мы против вас улики имеем, так что вы объясните по-быстренькому Главному, что все, что вы об Олене ему наговорили, неправда и Оленя нужно немедленно выпускать! Просто так не придешь. Подходы нужны. Тайные тропки. И тропки эти, как выяснилось, горнолыжные.

Получив наконец право распоряжаться деньгами с загадочного счета, Женька сформулировала нашу задачу предельно конкретно:

— Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет куда? Правильно! Во французские

Альпы. Где весь наш бомонд в Новый год? В Куршевеле. Ой, ненавижу я все эти миллионерские понты. Но делать нечего, придется лететь.

Но прежде чем лететь, надо было до Шереметьева добраться. А такими, как мы, улетающими под Рождество, все Ленинградское шоссе под завязку забито, вот и двигаемся в час по чайной ложке.

— Крем от солнца надо было взять, — пытаюсь разглядеть свое отражение в зеркале на шторке. — От такой жизни морщины повылезали.

— А ты неправильно в зеркало смотришь! — отрывается от замершего шоссе сидящая за рулем Женька.

— Как это — неправильно?

— Ты смотришь своими вчерашними глазами. Сравниваешь себя с топ-моделями или с собой семнадцатилетней. А ты посмотри на нынешнее отражение глазами себя лет так в восемьдесят-девяносто.

— Это еще зачем?!

— Ты никогда не замечала, с какой ностальгией Лидия Ивановна смотрит на фотографии, где ей сорок? Потому что по сравнению с семнадцатью сорок это старость и морщины, а по сравнению с девяноста тремя — молодость. И полжизни еще впереди.

Впереди... Знать бы, что там впереди... А если знать, то и жить невозможно. Смогла бы я жить, знай я в свои семнадцать, что ждет меня два брака с двумя разводами, и пытка братской любовью-ненавистью, и смерть первого мужа, и попытка выходить, вернуть к жизни свекровь, которую я же сама еще недавно так истово ненавидела. И арест вчера еще великого Оленя, без которого жизни нет и быть не может. Только он сам этого по-прежнему не знает.

Раньше и видела его раз в месяц, а то и реже. Но видела. И знала, что могу увидеть. И на каждый звук своего «Тореадора» первым делом думала: «Вдруг Олень?!», а потом уже смотрела, чей номер на определителе. Как от универсальной батареек, подзаряжалась от каждого его взгляда, от звука голоса, даже от самой мысли, что он может позвонить. Он может позвонить! Несколько минут разговора с Оленем хватало, чтобы жить дальше. Не существовать, а жить, перерабатывая полученную энергию и возвращая ее своим детям, своим заказчикам и самому Оленю.

Последние месяцы приходилось жить, зная, что он позвонить не может. Подпитка иссякла.

— Совет хорош, — ответила я Женьке. — Но только для поставивших на себе крест. А если хочется сегодня и сейчас?! И его глазами.

— Тогда еще проще. Если это любящие глаза, то им все равно, сколько у тебя морщин. Мужики любят не тебя, а свою любовь к тебе. Любят не лицо — ощущение.

* * *

Женька еще что-то говорила о странностях любви, но я ее уже не слышала. Любое явное или скрытое упоминание имени Оленя выключало мое сознание, словно это могло уберечь душу от непосильных перегрузок.

«Эта область подсознания временно заблокирована. Попробуйте обратиться позднее...» — раз за разом бубнил невидимый небесный оператор, не позволяя свалившейся на мое

сердце тяжести раздавить его. Снова, как во время отчаянного побега от мужей, мне приходилось запрещать самой себе думать, обещая разобраться во всем когда-нибудь после, потом, когда что-то определится и будет не так больно. Иначе мне этот кусок собственной жизни не прожить и Оленю не помочь. Ну вот, снова Олень...

Часто, проснувшись среди ночи от полусонного бормотания кого-то из моих мальчишек, часами не могла снова заснуть. Расторможенное сном подсознание, игнорируя запрет на раздумья, снова и снова пыталось вопросом — что дальше? Ну почему я так и не научилась жить сегодня, сейчас, не забегая мыслями вперед и не пытаюсь предугадать, что будет, ведь предугадки эти способны испортить любое чувство, любое счастье, любую любовь.

Но меня снова мучил вопрос, что будет потом, когда Олень выйдет на свободу. Все равно когда выйдет — через день, через месяц, а может, и через много лет? От теперешнего правосудия всего ждать можно, Ходорковский тоже сидит, и выпускать его пока никто не собирается. Но в отличие от политических и экономических аналитиков меня не интересовали судьба «АлОла» и судьбы либерализма в России. Меня интересовал Олень. Олень и я. Если это сочетание возможно.

Ирка с ним развелась или разведется, не важно. Ирки в его жизни нет. И Женьки нет, по крайней мере в том виде, в каком он сам хотел бы видеть Женьку. У Женьки с растущим пузом теперь совсем другой вид. Женька живет своим будущим ребенком и спасение Оленя воспринимает исключительно как долг дружбы, как обязанность помочь тому, кто помог ей. Поймет ли это Олень? А если и поймет, то смирится ли? Тимур давно понял, что его нет в моей жизни, а что толку. За эту осень несколько раз прилетал в Москву якобы к осиротевшим мальчишкам, но я же чувствовала его взгляд, словно ничего и не требующий, но вечно вопрошающий — не передумала ли?

Так и Олень. Откуда мне знать, так уж ли он любит Женьку? Что почувствует, узнав о ее беременности, что решит? И вообще до чувств ли ему? Я ведь и представить себе не могу, что такое тюрьма. Для нормального, здорового, сильного мужика несколько месяцев заключения. Как они изменят Оленя? Переломят? Закалят?

Но, все понимая и ругая себя, что становлюсь похожей и на его мамочку Аллу Кирилловну, больше заботящуюся не о сыне, а о своей заботе о нем, я не могла себя заставить в эти предрассветные часы не думать, может или не может все сложиться?

Не могла, пока однажды через открытую балконную дверь в мою комнату не залетел белый голубь. Только что он летел вдали, гордый и красивый даже в серости этого зимнего грязного небосвода, только что ворковал, склевывая крошки, насыпанные моими мальчишками в кормушку, и вот он уже мечется и бьется внутри комнаты. Испугавшись замкнутого пространства, выхода из которого не может найти, шарахается от стенки к стенке, гадит, бьет люстру и расставленные в шкафу фигурки и ранит осколками свои крылья до крови.

С трудом набрасываю на него покрывало и выношу этот бьющийся в моих руках комок прерванного полета снова на балкон. Снимаю покрывало, и выбравшийся из спутавших его складок голубь, сделав два шажка по перилам, взмывает обратно в небо. Так обреченно и так красиво. И мне остается только ждать, когда голод приведет его к нашей кормушке.

Смотрю на улетающего невольного пленника и понимаю, Олень — это голубь. Глупая игра слов, но это так. Олень — тот белый голубь, которого невозможно удержать в домашней клетке. Заточи такого в обыденность, будет рваться, резать крылья в кровь, гадить

тебе на голову и всеми силами стараться вырваться, улететь. И только отпущенный на волю, он подарит тебе не измеряемую ничем, кроме чувства, высоту полета. И снова вернется к твоей кормушке, если захочет сам.

А я? Разве я не такая? Разве не от того же сходили с ума два моих мужа, считавших, что приручили меня? Разве не бесило их, что, родив подряд двоих сыновей, кормя их грудью, учась и работая, живя на вулкане тех давних нахичеванских страстей, которые могли перемолоть любого, я не переставала рваться в иные облака. Разве я сама, едва успев перебинтовать пораненные крылья и не зная, донесут ли они меня до другой, лучшей жизни, не сбросила груз старой обыденности и не взмыла, не взлетела, не сбежала в Москву?..

Паре голубей лучше быть вместе в небе. Но кто же тогда будет ходить по земле? Вить гнездо, высиживать, кормить и растить детей, которые еще не умеют летать? Кто должен делать это? Только женщина? Чтобы потом, выкормив, вырастив, увидеть, как улетают в небо уже не один, а два или три ее любимых существа. Улетают без нее, разучившейся за время их высиживания летать... Но только подсыпать в кормушку крошки и долго глядеть вслед я не могу и не хочу.

* * *

— Да-а!

В отеле «Les Airelles» некогда тихого курортного поселка Куршевель-1850 во французских Альпах нам в последний момент удалось снять только самый дешевый номерок за тысяча четыреста евро в сутки, и то потому, что чья-то любовница не вовремя растянула ногу и от номера отказалась. И теперь Женька оглядывала местную публику, сплошь состоящую из родных российских хозяев жизни и их хозяек.

— Образа жизни випов мне даже с Мельдиным счетом в кармане не понять.

— Да уж! — соглашаюсь я.

После обеда в крестьянского вида ресторанчике, обошедшегося нам на двоих в трехмесячную доцентскую зарплату моей свекрови, трудно с этим утверждением не согласиться. Мы в том ресторане — пример скромности и скаредности. Соотечественники за соседними столиками подают иные примеры: пятьсот евро официанту на чай, тысяча триста евро за бутылку вина урожая 1982 года, на треть недопитую! Всего моего чувства юмора на это не хватает!

— Олень наш тоже не ангел. В прошлые зимы он здесь отдыхал, а зная его мальчишество, думаю, и в этих тараканьих VIP-бегах участвовал.

— И где наш Олень теперь?! Мой питерский приятель Вася в таких случаях говорит, что «хорошо в предВИПье — уже не в троллейбусе, но еще не в Бутырке», — успокаиваю я.

В холле отеля миллионеров идет бойкая торговля часами и бриллиантами. «PatekPhilippe» с «Tiffany» и «Cartier» оптом и в розницу!

— О! Госпожа мясомолчица! — в одной из покупательниц Женька узнает жену вечного министра, умудряющегося менять портфели, но сохранять министерский статус при неизвестно каком уже по счету кабинете министров. — На официальное жалование мужа как раз в Куршевеле отдыхать! И подружка с ней, наверное, такая же!

Женька указывает на броскую дамочку рядом с министершей.

— Ты разве ее не знаешь? — удивляюсь я. Женька мотает головой:

— Кажется, где-то видела, но не вспомню где. Эту «вторую половину», бог миловал, никогда не снимала.

— Это Ирка Оленева. Хотя, может, уже и не Оленева, не знаю, закончила ли она развод, — весьма добрым взглядом я окидываю женщину, предавшую Олигарха моей мечты.

Последняя по счету жена Оленя с подругой мясомолочницей нас с Женькой и взглядом не достаивают. Кто мы для этих двух хозяек жизни? Дизайнерша с фотографшей — обслуга. Хоть и дорогая, и престижная, но обслуга, случайно попавшая на хозяйский бал.

Соответственно экипированная крошка, по одному лыжному костюмчику от Аляра понятно, что раздел имущества с опальным олигархом прошел в ее пользу, уже приобрела парочку колечек и с тяжелыми охами-вздохами разглядывает сногсшибательное кольцо.

— Фу ты, черт! Дороговато!

— Но мадам! — елеиным голосом умасливает покупательницу менеджер фирменного магазина, путешествующий вслед за своими русскими клиентками летом в Ниццу и Канны, зимой в Куршевель. — Желтые бриллианты! Черные бриллианты! Размеры! Чистота! Дизайн! Идеальный подбор камней!

В чистоте и подборе камней, несмотря на Шейховы алмазные уроки, разбираться я так и не научилась, а дизайн да, вполне неплох. Ирка изображает постную мину, во-он то «простенькое» кольешечко еще может себе позволить, а это дела наши скорбные с арестованным мужем не позволяют!

Мясомолочница, на минуту оторвавшая взор от страданий подруги, замечает Женьку, которая, выходя из номера, по привычке прихватила фотоаппарат и теперь со своими принадлежностями выглядит, как вечно работающий стрингер. Живота под зимней курткой не видно, а вовремя оформленный банковский счет азиатской диктаторши у подруги на лбу не написан. Мясомолочная леди снисходительно машет рукой остолбеневшей от наглости Оленевой «половины» Женьке.

— Вы, милочка, что окаменели? Работайте, работайте! Вас сюда снимать прислали, вот и снимайте!

Не по Сеньке, мол, шапка! Не дело обслуги к бриллиантам присматриваться и к разговорам Тех, Кто Может Себе Это Позволить, прислушиваться!

Женька машинально поднимает фотоаппарат, наводит резкость, собираясь запечатлеть, как две подружки меряют кольцо, потом вдруг резко фотоаппарат опускает и поворачивается к суетящемуся перед Иркой менеджеру.

— Я это покупаю!

«Ревизор». Немая сцена. И только волна веселого злорадства при виде застывших холеных рож накатывает на меня. Так их, Женька! Так!

— Да, но... — ерзает наловчившийся неплохо говорить по-русски, а еще лучше распознавать потенциальных клиенток менеджер. — Вы, скорее всего, не представляете...

— Я покупаю. И быстро. У меня очень мало времени. Мне еще надо подруге горнолыжную амуницию подобрать!

Из карманов пуховика Женька начинает доставать и совать мне в руки светофильтры на объективы, дополнительные насадки к обычной камере, запасные мини-диски к камере цифровой, витамины для беременных, крем от растяжек, журнал для будущих мам и, наконец, кредитную карточку швейцарского банка. Под хохот двух подружек она протягивает кредитку клерку.

Тот, прыская и разве что не крутя пальцем у виска, идет к небольшому офису,

отделенному от холла гостиницы прозрачной стеной. Передает карточку сидящей за компьютером девушке с нереальной длины прямоугольными перламутровыми ногтями. Наклоняется к ее уху, явно пересказывая сценку с нелепой дурой, которая, даже не спросив цену, полезла со своим фотокорским рылом в их бриллиантовый ряд.

Девушка через стекло смотрит на Женьку. Веселится. Женька этого не видит, потому что старательно рассовывает обратно по карманам все, что я еще держу в руках, попутно проглатывая капсулу витаминки. Но это вижу я. Вижу, как потешается девица, своими наманикюренными лопатами набирая на клавиатуре данные Женькиной кредитки — как она с такими ногтями нужные клавиши нажимает?

Выражение лица девицы начинает меняться, словно проявляется пленка. Она еще и еще раз перепроверяет что-то в компьютере, звонит по телефону, резко вскакивает и перепуганно бормочет что-то клерку. Теперь уже в лице меняется тот. Прежнее выражение снисходительной иронии смывается нахлынувшей волной лизоблюдского почитания. Двумя пальчиками клерк берет карточку и распечатавшийся слип, почти бегом возвращается к витрине с выбранным Женькой колье.

— Желаете, чтобы покупку в Москву доставили? Охрана с бронированным сейфом в заказанный вами день привезет колье вам домой или в названный вами банк.

— Зачем в банк? — не сразу понимает наконец спрятавшая все свои принадлежности Женька. — Говорила же сама себе, не надо было кофр дома оставлять. Зачем банк?

— Не собираетесь же вы хранить в доме колье из черных и желтых бриллиантов?!

В эту минуту на лица Оленевой экс-женушки и мясомолочницы стоит посмотреть! Хотя бы для того, чтобы получить позитивный заряд собственного превосходства.

— Не надо бронированных сейфов! Сверху пуховика надену и пойду! — нарочито утрирует Женька. — Или лучше подруге подарю! Ей под цвет глаз больше подходит, а Лик? Пошли! Мне врач сказал больше свежим воздухом дышать!

И зажав в руке колье, стоимость которого оказалась неподъемной даже для вчерашней олигаршей жёнки, под продолжающуюся немую сцену Женька покидает холл отеля миллионеров.

— Неужели деньги — это так заразно?! — расстроено протягивает она, когда мы скрываемся из поля зрения оставшихся в холле. — Всегда терпеть не могла все эти новорусские понты, и на тебе! Сама до них скатилась!

— Ничего ты не скатилась! — утешаю я. — Утереть нос Ирке — это святое. А то как с олигархами жить, мы тут как тут, а как в декабристки записываться, так нас нет. Пока муж на нарах, мы лучше по Куршевелям покатаемся!

— Ладно, потом придумаем, что с колье делать, чтобы «не жег позор за подленькое прошлое», — сразу видно, что школу Женька при советской власти оканчивала. — А пока пойдем тебя на лыжи ставить, иначе к Волчаре не подкатиться.

— Меня?! На лыжи?! Ничего умнее придумать не могла?!

— Не меня же! — Женька картинно указывает на свой раздавшийся животик. — Выхода нет. Придется тебе министра на крутом спуске очаровывать.

— Забыла, откуда я родом?! В моем городе снега зимой не допросишься. Выпадет раза два за зиму, и сразу тает. Дон в моем детстве еще замерзал, мы кататься на коньках бегали, даже в хоккее с мальчишками играли, а на лыжах я ни разу в жизни не стояла!

— Тем лучше! Пусть министр-капиталист над беспомощной дизайнершей шефство возьмет! А потом мы его возьмем, за что и собирались взять... Хотя одного твоего кадра с

мобильника, боюсь, маловато.

— У меня в рукаве козырные дама с королем припрятаны. Если только успеют вовремя долететь.

— В таком случае у меня туз! — не дает мне одержать верх Женька, но козыри в игре с Волчарой меня уже не пугают. Теперь меня пугают ни разу не надеванные лыжи.

* * *

Кто не видел корову на льду, тому достаточно было увидеть меня на лыжах. Той части куршевельских лыжников, которая уже успела продрать глаза после вчерашнего празднования дня рождения другого влиятельного олигарха, при моем появлении максимум удовольствия был обеспечен. Бесплатный цирк skiing out, как пишут в здешних рекламных проспектах — вышел из отеля и поехал и тут же над моим, с позволения сказать катанием, повеселился.

Смейтесь, смейтесь, господа! На вас мне глубоко плевать! Хотя, если разобраться, даже такая нелепая ситуация есть не что иное, как реклама. Вы, господа, сквозь смех спросите: «Кто такая?!», а помимо смеха и фамилию Ахвелиди запомните. «Видели ее в Куршевеле, значит, ей можно доверить наш особняк!» — скажете вы. А после того, как мы разберемся с Волчарой, вы все мне будете нужны, ох как нужны!

Но не для потенциальных заказчиков я выставляю себя здесь на потеху публики. Мне нужно, чтобы меня вспомнил один-единственный заказчик. И устремился мне помогать.

Ага! Устремился.

— Лика! Вот уж не ожидал!

Даже моей горнолыжной дремучести хватило, чтобы понять, что Волчара на здешних склонах не блистает, но на лыжах стоит вполне сносно. Примерно так же, как в середине девяностых в теннис играл. Хочешь не хочешь, президентскими видами спорта владеть обязан! Хорошо еще, что из видов спорта нынешнего президента свита выбрала для себя лыжи, а не карате, не то скольких бойцов видимого и невидимого паркетного фронта недосчитались бы!

Стою. Лыжи, не обращая внимания на лыжницу, скользят куда-то вперед и вниз, а я упрямо надеюсь не упасть прежде, чем подцеплю на крючок Волчару. Моя задача отделить его от свиты и заманить туда, где можно будет схватить его за то, за что мы собираемся его схватить. В прямом и переносном смысле.

Опережая собственную охрану и стайку прихлебателей, Волчара не слишком лихо, но все же не в пример лучше моего подруливает к потешной, но вполне кокетливой и вполне румяной неумехе — даром, что ли, все утро на лице беспечность рисовала! Единственного лыжного урока мне хватило для того, чтобы сегодня болели все мышцы и спина стала каменной. Ездить на этих скользких палках за два часа я так и не научилась, только Женькины деньги потратила и внутри все болит, что вряд ли добавит мне привлекательности в глазах заклятого друга Оленя.

— Игорь Борисович! — пою наисладчайшим из всех собственных голосов. — Как я рада вас здесь встретить!

— А я как рад!

При почти максимальном залпе моего кокетства клиент радуется как-то вяловато. То ли

чары мои за последние полгода от неупотребления окончательно заржавели, то ли клиент не тот попался. Даром, что ли, дела с Ханом водит. Соседские мальчики во дворе ханского постпредства... Или зря на честного министра-капиталиста наговариваю? Переутомился в делах праведных, потенцию подрастерял. Власть как главную свою женщину возжелал. Власть и деньги. Хотя «деньги» — слово, не имеющее единственного числа. Деньги всегда в числе множественном. А множественное число — это уже групповуха.

Придется экстренными эротическими мерами министра-капиталиста в глушь завлекать.

— Я знала, что на этом склоне, — обвожу рукой относительной крутизны пригорок, не Солир и не Визелль ^[73], конечно, но свалиться мне хватит, — обязательно встречу того, кто поможет несчастной женщине юга. Разве я виновата, что родилась там, где ни гор, ни снега...

Говорю, говорю... Кокетничаю напропалую, разве что из комбинезона не выпрыгиваю, но молнию расстегивать уже начала. Сама себе противна, но делать нечего. Свекровь моя в случаях, подобных нынешнему, произносит длинную армянскую фразу, которая на русский переводится примерно так: «Напоили козла вином, пошел с волком драться!» Волк, он и есть Волк, Волчара, а козел в данном случае, боюсь, я. Козел или коза, без разницы. Моя задача сейчас Волчару в сторону от общих спусков заманить.

Ключнул. Сообразил, что неспроста это я из комбинезона выпрыгнуть готова. Сколько дом и кабинет ему оформляла, ни разу лишнего взгляда себе не позволила, а тут...

Обещает уроки по индивидуальной программе — что и требовалось. Отправляет своих охранников и почти пешком — иначе я на этих скользких палках не умею — двигается вслед за мной к небольшому запорошенному снегом лесочку. Зачем двигается, непонятно. У мужиков иногда мозги не пойми как устроены. Не в этом же лесочке он меня поймет намеревается. Тащил бы сразу в свое шале. Нет, едет со мной в сторону лесочка, старательно делая вид, что пытается мне «технику поставить». Технику чего, интересно было бы мне знать? Ах, да! В шале же супруга законная, милая в общем-то женщина, да нам в шале и не требуется. Нам, совсем напротив, требуется в лесочек. У нас своя постановка техники и своя программа тренировок.

Не успели за первыми деревьями скрыться, как Волчара кидается меня целовать. Уж не на снег ли потом валить будет? И как дальше? Не снимая лыж?

Губы у него пресные, почти сухие — не поцелуй, парное разжевывание бумаги! Чего только не приходится терпеть ради Оленя. Стоп! Никаких недозволенных воспоминаний, не то при мысли об Олене у меня все внутри напрягается, в груди прилив, и там, где должно быть мокро, — мокро. Этот пресный министр, который и туда уже руками пытается залезть, примет сейчас все на свой счет. Хрен с ним, пусть принимает! Еще, еще чуток! Так! Для наглядности осталось схватить его там, где мы все три месяца намеревались его схватить и зажать покрепче...

— Больно же!

Волчарин вой!

— Больно!

— Это еще не больно! А вот сейчас будет больно, хоть и не столь осязаемо!

Подтянув вверх расстегнутую Волчарой молнию моего комбинезона — не май месяц по его милости на снегу простывать — достаю из кармана своего «Тореадора». Показываю заранее найденный кадр, стараясь не думать, что тот, чье безжизненное тело видно на снимке, когда-то так же держал меня за грудь. Рука министра-капиталиста рефлекторно

разжимается. Дошло!

— Не понимаю...

— Это мой муж, — отчеканивая каждое слово, говорю я. — Человек, которого люди Хана задерживали по вашей просьбе и тело которого вы на своей машине вывозили в неизвестном направлении, мой муж! Бывший, но муж.

Министерская игривость улетучивается, да она больше и не нужна. Теперь уже поединок идет в открытую.

— Люди Хана, представительство Хана... Все вопросы к Хану, я то здесь при чем?

— При том, что грузили и вывозили тело вы.

— Это еще не преступление. Человеку стало плохо. Повез его в больницу, а чем его Хан накачал, не знал и не знаю. А вот вам, милая крошка, лучше бы в одиночку в детектива не играть. Не то знаете, что бывает с такими неопытными лыжницами на крутых склонах?

Добрый человек! Ой, мамочки, а я и не заметила, что там за деревьями почти отвесный обрыв, к которому меня столь усиленно подталкивает этот зверь. При всей сидячей министерской работе сил у него куда больше, чем у меня. С такого станется, сбросит!

— Зря стараетесь! — от перевозбуждения и страха голос мой срывается на писк. — Кадр продублирован и в запакованном пока виде хранится сразу в нескольких интересных местах, включая западные информационные агентства и аналитические службы ваших конкурентов. Им будет чем полюбоваться. И эту фактуру они сумеют использовать получше моего.

— По этому кадру невозможно ничего доказать! — и снова толкает, толкает меня к той пропасти.

Не насмерть убьюсь, так калекой останусь, кто мальчишек моих растить будет?! Собиралась же Женька меня страховать, а я, проникшись ее интересным положением, отговорила, глупая. Недооценила Волчару.

— Доказать невозможно, жив человек или умер...

— Он умер. И вы это знаете, — пытаюсь мешающими мне лыжами упираться в снег. Но министр и с моими лыжами справляется лучше моего, направляет их к обрыву, а я, все еще сопротивляясь, бормочу: — Он шел ко мне. И если бы дошел, если бы люди Хана не влили в него лошадиную дозу виски, когда он был зашит, Ким был бы жив! Но вы по просьбе Ашота старались ему помешать. И Хану звонили, и остановить Кима любым способом требовали. Думали, у него алмаз...

— Какой алмаз?! — на этот раз недоумение Волчары вполне искреннее. Даже на мгновение перестает меня толкать. — При чем здесь алмаз?!

— При том, что Ашотик думал, что Ким достал из стены сарая главный алмаз Надир-шаха. И не знал, что это не алмаз, а всего лишь топаз Лазарева. — Пользуясь замешательством Волчары, занимаю более устойчивую позицию. — Поэтому и требовал задержать Кима.

— Кимы, Ашотики, алмазы, Надир-шахи... Деточка. Ты сошла с ума. Тебя не в пропасть толкать, тебя лечить надо! Лечить! Зачем мне твой муж сдался?! — пытается расхохотаться Волчара, но я, не успевая застегнуть остаток молнии — руку с моей груди он с опозданием, но все же убрал, — уныло продолжаю:

— Мой муж вам не сдался. Но позвонил Ашот, и вы знали, что долг платежом красен. А перед Ашотом у вас скопился тот еще долгище! Куда более кровавый, чем этот, — киваю головой на кадр на мобильнике. — Про алмаз вы, верю, могли и не знать. Но знали, что

невыполнение просьбы Ашота чревато разглашением таких дел, перед которыми похищение какого-то провинциального художника сущей мелочью покажется. Я знаю, что вы не собирались Кима убивать, что у него просто не выдержало сердце. Я-то знаю, судьи не узнают...

— Какие судьи, детка?!

Волчара уже не собирается сбрасывать меня с обрыва, но и слушать меня он больше не собирается. Разворачивается. Сейчас уедет, и зачем я его держала за то, за что держала, если не смогла зажать, если он выскользнет и не поможет Оленю!

И пока я почти впадаю в отчаяние, а Волчара устремляется прочь от меня, бормоча: «Лечись, детка, лечись! Какой кровавый долг?! Какой Ашот?!» — откуда-то сверху, с более крутого правого склона над леском, раздаётся долгожданный голос:

— А такой Ашот! Ашота он, бозы тха, не знает! Легкая армянская матерщинка для меня сейчас звучит как лучшая музыка. Вот они, мои козырные король с дамой, которая в этой колоде старше короля!

На правом склоне собственной персоной моя старая подруга со своим бандитским Лотреком. На лыжах Элька стоит не лучше моего, но экипирована по полной программе, естественно, во все красное, включая какие-то умопомрачительные лыжи.

При всем своем многократно испытанном на моей шкуре сволочизме, в решительные минуты жизни Элька всегда первой оказывается со мной рядом. И отчаянно помогает. Вот и теперь Элька поставила своему бандиту ультиматум — или он помогает Лике прижать какого-то там Волка, для которого Ашот в свое время слишком много далеко не стерильных дел проворачивал, чем теперь этого Волка и можно припереть к стенке, или она от Ашота уходит! И пусть делает что хочет! Пусть даже ее убивает! Но жить с человеком, который не хочет помочь ее единственной, ее лучшей подруге спасти какого-то там Оленя, она, Элька, не собирается! Да, она не знает, кто такие Волк и Олень, но если этот зверинец нужен Лике то для Лики она целое сафари на горный склон готова привезти, не то что собственного мужа! А заодно и Куршевель посмотреть и себя олигаршьей публике показать!

Ах, Элька, Элька! Какой была в младшей группе детского сада, когда у Игорька Данилова груши из компота вылавливала, а он еще ей и свои конфеты «Мишка» отдавал, такой и осталась! Безбашенной, бесшабашной, бездумной, но при этом беззлобной и очень надежной Элькой.

В этот раз она не в бирюльки играла, а шантажировала мужа вполне реальными преступлениями, за что и поплатиться могла более чем реально. Но платит пока, как водится, Ашот. Пока только по нашим счетам платит. А мы не прокуратура. Нам бы Оленя с нар достать, а там пусть со своими скелетами в шкафах разбираются сами.

И сделавший свой выбор (без Эльки для него жизни нет!) бандит с душой философа и с удостоверением свежееиспеченного депутата Государственной Думы стоит теперь на Волчарином пути немым укором, наглядным подтверждением реальности моих угроз.

— Такой Ашот! Который знает, за какие места тебя держать, чтобы ты сделал то, что девочкам нужно!

А что нужно девочкам? Волчара соображает, что надо хотя бы из любопытства поинтересоваться, а что же мне все-таки нужно. Разворачивается и подъезжает обратно.

— Что взамен?

— Олень.

Вскинутые вверх брови. Ощущение поражения во взгляде. Как?! Я его сделал, я его в

тюрюгу засадил, а он и здесь меня достал?! И этим «девочкам» его вечный «заклятый друг» больше, чем он, Волчара, нужен.

— Это невозможно! Решение шло оттуда! — выразительный жест вертикально вверх.

— Но это решение туда, — не менее выразительный ответный жест вверх, — кто-то красиво распасовал. И я знаю — кто. И даже знаю, почему. А вы должны знать, как повернуть колесо вспять. В противном случае там, — повторный жест вверх, — и там, — жест в сторону поселка миллионеров, — и там, — жест в сторону, где размещен тихий полицейский участок Куршевеля, — узнают то, что знает он! — последний жест в сторону Ашота.

— Чего вы хотите?

— Прекращения уголовного дела. Немедленно.

— Немедленно только с гор падают! — пытается не выпасть из своего волчьего образа министр. — А если я откажусь, что тогда? Зароете меня, но и Оленя не откапаете. Если я откажусь, если не смогу? — вопрошает Волчара, и удивительно знакомый голос отвечает ему на чистейшем английском:

— Then I can! [\[74\]](#)

На левом пригорке Его Высочество во всей красе. На горных лыжах арабский шейх держится куда лучше нас всех вместе взятых. Рядом с ним, поддерживаемая со всех сторон бесчисленной шейхской свитой (сегодняшний день каникулярным в календаре Его Высочества, по-видимому, не считается, поэтому свита присутствует в явно не сокращенном составе!), стоит Женька и показывает мне большой палец. Вот, оказывается, каков ее козырной туз. Откуда она Шейха достала?

— Тогда я смогу подтвердить, что этот человек, — Шейх лыжной палкой указывает в сторону кадра с мертвым Кимом, который все еще отражается на моем мобильнике, — был насильственно задержан при вашем участии и скончался почти на моих глазах. И Хан, будьте уверены, это подтвердит.

И этот здесь! Затерявшийся среди шейхской свиты Хан быстро-быстро кивает маленькой головкой в большой меховой шапке.

— Если и это не послужит аргументом для правосудия в вашей стране, то отвезти вас на моем самолете в мою страну не составит труда. А в моей стране иные законы. Убийство, даже непреднамеренное, там карается убийством. Кровь за кровь!

Не думаю, что в реальной жизни Его Высочество столь кровожаден, но образы шекспировских злодеев, которые ему не доверили воплотить на сцене оксфордской театральной студии, на этих куршевельских подмостках воплощаются как нельзя кстати. Да и актерским талантом Его Высочество не обижен!

Но Волчара, к счастью, не знает, что в иной, неофициальной жизни, Его Высочество розовый и пушистый. Он угрозы Шейха воспринимает всерьез.

— Попробую... — начинает Волков.

— Не попробую, а сделаю! — подает голос Женька. — Сумел кашу заварить, сумей и расхлебывать! — и величественным жестом дает знак шейхской свите, что ее, беременную, с этой горы можно уже уносить. Главное действие сыграно.

Несколько раз скатившись с Солира («Слабовата горочка!»), Его Высочество отбыло с французских Альп. Каникулы на это время года намечены не были, и в своем шейхском графике он смог выделить только половину дня, чтобы прийти мне на помощь. Женька объяснила, что Его Высочество звонил вчера, когда я брала абсолютно бесполезный урок горнолыжного спорта. «Твой „Тореадор“ все пиликал и пиликал, я и ответила!» — объяснила Женька свой странный сговор с особой королевской крови. Узнав о продолжении истории, свидетелем которой он был в конце лета, Шейх пообещал прилететь, чтобы помочь мне.

Прощаясь, Шейх одним взглядом останавливает поток моих благодарностей.

— Это удовольствие для меня! Люблю играть эндшпили! И не люблю, когда предательство остается безнаказанным!

И смотрит на все еще не до конца застегнутую молнию моего лыжного комбинезона более заинтересованным взглядом, чем смотрел на меня летом. Женщины на фоне снега, наверное, кажутся Его арабскому Высочеству более возбуждающими, чем женщины на фоне песка.

Волчара покатился навстречу своей, считавшей, что шеф вовсю развлекается, охране.

— Я не Господь Бог и даже не... — снова жест пальцем вверх. — Что смогу, то смогу! — сказал он, объясняя нам, что в деле Оленя возможно, а что нет.

— А ты уж постарайся смочь! — Женька в пылу азарта перешла на ты с незнакомым ей прежде министром-капиталистом. И указала в сторону, где пылающая, как стоп-сигнал, Элька с эскортирующим ее Ашотом делала все, чтобы запасть улетающему Шейху в душу. — Не то смогут они!

Волчара пояснил, что задерживавший меня при вылете в Ростов аэропортовский охранник действовал по поручению его бойцов. «Узнав, что твой муж скончался, Ашот просил тебя задержать». Ашот и не возражал, разводил руками.

Сам Ашот, все еще боящийся потерять свою Эльку, подтвердил, что никакого Надиршахова алмаза в стене сарая не обнаружилось. Экстренную эвакуацию моих свекровей и всего нашего двора отставленный ныне оборотень в погонах Михаська организовывал зря.

Предположение, что алмаз, если он не историческая фантазия, гниет теперь на одной из ростовских свалок, куда свезли его аккуратные рабочие «МусОбоза», заставило цивилизованного предпринимателя Асланяна обратить свой бизнес-потенциал в сторону мусора. Нет худа без добра, алмаз не отыщет, так хоть городские свалки в подобающее состояние приведет.

* * *

Когда все, кто истоптал склон возле чахлого куршевельского лесочка, схлынули, силы покинули меня. Лыжи поехали в разные стороны, и я шлепнулась. И вставать не собиралась. Подошедшая ко мне Женька, не мудрствуя лукаво, приземлилась рядом.

— Жаль, мы не сестры! Мне всегда не хватало такой сестры, — сказала Женька, не слушая моих замечаний, что в ее состоянии даже в идеальном комбинезоне на снегу лучше не сидеть. Женькину беременность я переживала едва ли не как свою собственную, упорно не желая признаваться, что завидую ее скорому материнству. Зависть я благоразумно оставила при себе, а вслух сказала:

— Сестры-братья категория сложная. Я на своих благоверных с их братской ненавистью-любовью насмотрелась. Не хочу! Мы с тобой сейчас больше, чем сестры, разве этого мало?

— Немало! — согласилась Женька и почему-то спросила: — Лик, ты говорила, что когда имя в паспорте поменяла, знак увидела, что ты — это ты. А какой знак, рассказать не успела.

— Бабушка перед смертью ладанку мне отдала, а на ладанке монограмма с моими новыми инициалами — А.Л.

Я снова расстегнула молнию на комбинезоне, достала с груди тяжелую инкрустированную ладанку, которую сегодня вдруг решила надеть вместо талисмана.

— А кто эта А.Л.? — спросила Женька, разглядывая вычурную монограмму.

— «Эта» или «этот» — неизвестно. После второго инсульта бабушка говорить уже не могла, вместо слов несвязные звуки. И никого из детей и внуков не узнавала. Меня тогда из пионерского лагеря привезли, втолкнули к ней в комнату, а бабушка вдруг так четко сказала: «Ликушка!» И пальцы разжала, такие покоренные крестьянские пальцы, и ладанку у меня на ладони оставила. А больше ни слова. Так что кто этот «А.Л.» и откуда у моей деревенской бабушки столь изысканная вещица, так и осталось тайной. Но я со свойственным мне легкомыслием решила, что «А.Л.» — это знак, что имя мое — Ахвелиди Лика. Под ним и живу.

(ЛИКА. СЕЙЧАС)

По пути из аэропорта включили радио, снова поймав новости не с самого начала выпуска.

— ...огласил решение Басманного суда выпустить бывшего главу корпорации «АлОл» Алексея Оленева из-под стражи, взяв с него подписку о невыезде, — проверещала дикторша и тонизирующим мужиков голосом добавила елейное: — И о погоде. Синоптики обещают нам на завтра десять-тринадцать градусов мороза, на дорогах гололедица...

— Какая гололедица! Волчара что, совсем оборзел? Ему же русским языком было сказано — прекращение уголовного дела! — взвилась Женька, с трудом помещающая на ближних подступах к рулю свой заметно подросший животик. И указала пальцем на громкую связь мобильного: — Звони!

Волчара ответил не сразу.

— Какая «подписка о невыезде»?!

— Какой суд?

— Прекращение уголовного дела где?

— И разблокировка счетов?

— Вы что, не поняли, за какую именно часть тела мы вас держим?!

— Или эта часть тебе совсем уже за ненадобностью?!

— Или ты в гости к Его Высочеству захотел?!

— Организуем! — на два голоса орали мы по громкой связи, сбиваясь то на ты, то на вы.

Волчара, надо отдать ему должное, не был бы Волчарой, если бы не умел в любых ситуациях сохранять хладнокровие.

— Вы, девушки, новости сегодняшние слышали?

— Только про Оленя. Радио включили, когда выпуск новостей уже заканчивался.

— То-то! Вы бы первую новость послушали, прежде чем кричать.

— И что сегодня идет первой новостью?! — язвительно поинтересовалась Женька. — Волочкова снова не может войти в Большой театр? Курникова вышла замуж за Иглесиаса? Или Пугачева за Галкина?

— Первой новостью сегодня указ президента об отставке кабинета министров.

— Мама мия! И что это значит?

— Это значит то, что ваш покорный слуга на все происходящее выше ни малейшего влияния больше не имеет. Все, что мог, он уже совершил, создал песню, подобную стону, и духовно навеки почил.

— Литературу в шестом классе вы, экс-министр, учили хорошо. Делать-то теперь что?

— Понятия не имею, что теперь делать. Скажите спасибо, что хоть подписку о невыезде пробить успел.

— А дальше?

— А что дальше? Хоть держите вы меня за то, что держите, хоть бросьте, хоть оторвите, хоть во всех газетах фотографию вашу опубликуйте. Меня угробите, а Оленя вряд ли спасете.

— Урод! — выругалась Женька. — Раньше думать было надо. Пока в фаворе был, Оленя за решетку засаживал и Главного против него натравливал. И как эту травлю нейтрализовывать теперь прикажешь?!

— Будет день, будут и новые допущенные «к телу». Тогда и видно будет, как уголовное дело закрывать и как тебе с твоей старой знакомой договариваться.

— С какой знакомой? — не поняла Женя.

— С Кураевой Лилией Геннадьевной. Знаешь такую? Лично я такую не знала. Но, судя по лицу Жени, это имя ей многое говорило.

— Ладно, девочки, дайте дух перевести! Мне еще личные вещи из министерства вывозить.

— Да у вас там весь кабинет — личные вещи! И комната отдыха. — Мне ли было этого не знать! — Кстати, у вашего помощника должна быть папочка со всеми оплаченными не из госбюджета счетами и протоколами вноса вещей в министерское здание. А то охранники возьмут и не выпустят бывшего министра с тюками и пистолетами...

— Какими пистолетами? — удивилась Женька.

— Дуэльными. Пушкинской поры.

— А зачем пистолеты?

— Капиталовложение. За год дорожают на сорок процентов, — не успела пояснить я, как по громкой связи меня перебил голос экс-министра.

— Стреляться! Самое время. Но, как говорится, не дождетесь! Эх, если чего жаль, так это оформленного «самой Ахвелиди» кабинета! Нигде мне не было так хорошо, как в том пространстве. Это у тебя, Лика, получается куда лучше, чем опальных олигархов из тюрьги вызволять.

— И что же нам теперь делать?

— К Бутырке ехать, забирать вашего драгоценного Оленя домой. Недооцениваете вы, сколько я успел-таки назад отыграть! Ходор до сих пор сидит, а Оленю после нар и подписка о невыезде раем покажется.

— Интересно, а что с собой к тюрьме надо брать? — нажав на мобильнике кнопку отбоя, спросила я, чтобы хоть что-то спросить. Сердце уже впереди меня бежало навстречу Оленю.

— Понятия не имею. Может, теплые вещи? — предположила разворачивающая машину в сторону Бутырки Женя. — Его летом арестовывали, теплых вещей у него может и не быть.

— Ему прогулки были положены. Гулял же он в чем-то.

— Гулял, наверное. Но вещи лучше захватить. Димка, как назло, в институте.

— Но Тимур должен быть дома. У меня дома, — поправилась я, поспешив объяснить присутствие бывшего мужа в моей квартире: — На каникулы проведать мальчишек приехал. — Не признаваться же теперь, что за минувшую осень оказалась пару раз в одной постели с бывшим мужем — воздержание проклятое довело, но ничего, похожего на наши прежние полеты к счастью, не вышло. Сыгранно и технично, но не более.

Женька в мои объяснения не вслушивалась, только улыбнулась.

— Позвони Тимке, пусть бывшему олигарху куртку какую-нибудь привезет. И надо еще Лане позвонить, переориентировать ее с мамочки на самого Оленя. Психологиням положено знать, что с отсидевшими в тюрьме олигархами делать, как их к жизни возвращать...

Сердце колотилось так, как не колотилось с ранней юности. И кто это сказал, что с годами способность испытывать любые чувства становится слабее? То, что бурлило сейчас во мне, было настолько сильнее всего, когда-либо мною пережитого, что казалось, переполнявшее напряжение вот-вот хлынет через край. И затопит все вокруг.

Еще несколько минут, и я увижу того, кого хочу видеть больше всего на свете. Хочу и боюсь, что человек, который выйдет сейчас из-за тех тяжелых дверей, будет не Оленем, не тем Оленем, которого я жду. Что он появится, а я ничего не почувствую, как не почувствовала в августе, увидев на пороге свекровино дома живого и невредимого Тимку. Что меня не шибанет током. Что сердце мое не выпрыгнет из груди, не понесется вскачь, отдаваясь бешеным ритмом в каждой частичке моего тела — и на висках, и за ушами, и под коленками. Что Олень выйдет, и мир не перевернется.

Олень вышел.

Мир перевернулся. И снова стал тем миром, в котором не жить, не чувствовать было нельзя. Только Олень об этом мог и не знать.

Когда дверь «Магеллана» за протиснувшимся сквозь строй телекамер и репортеров Оленем захлопнулась, наступила пауза. Странное, неведомое прежде напряжение повисло в воздухе, и каждый из нас неловко молчал. Словно мы все, такие разные, абсолютно разные, противоположные, противоречащие друг другу люди были вместе, поставив себе задачу пройти именно до этой точки. До точки, до которой поодиночке нам было не пройти, — до освобождения Оленя.

Теперь точка эта была поставлена. Точка, оказавшаяся неприятным многоточием, сотворенным нежданной отставкой правительства, пошатнувшей позиции Волчары во властных структурах, не позволившей ему до конца отыграть то, что сам и наиграл. Но все же теперь Олень, похудевший, осунувшийся, посеревший Олень был на свободе. И наш общий путь на этом можно было счесть законченным.

И теперь мы сидели в этом, со всех сторон окруженном телекамерами и фотовспышками джипе, чьи тонированные стекла спасали нас от излишне любопытствующего ока недавних Женькиных соратников по борьбе за сенсацию. Сидели и не знали, что друг другу сказать.

А что, собственно, мы могли сказать? Есть в жизни минуты, перед которыми все слова бессильны.

Так и сидели. Смотрящий на меня Тимур. Я, не сумевшая заставить себя отвести взгляд от Оленя. Недавний узник Бутырки, не сводящий глаз с Женьки и ее ставшего для него полной неожиданностью живота. И сама Женька, вглядывающаяся куда-то вглубь себя.

Сидели и ждали, кто повернется первым.

Ручейками тающего на первом весеннем солнце снега воскресным днем потянулись от конечной автобусной остановки на свои участки первые садоводы, жаждущие вдохнуть свежего воздуха и убедиться, что за зиму на их шести сотках ничего не пропало.

Несмотря на свои девяносто три года путешествующая в гордом одиночестве баба Ида доковыляла до своего садового участка последней. Сняла половину пластиковой бутылки, привязанной к замку — чтобы не промерзал и не ржавел, открыла калитку, вошла в сад.

Нанесенный ветром на западную сторону участка снег еще не до конца стаял, но уже обнажил груды аккуратно сложенных камней и воткнутую в их основание фирменную табличку «МусОбоз».

— Так-то! — удовлетворенно проворчала баба Ида. — А то взяли моду хорошие каменюки не пойми кому раздаривать. «Подарун сам без штанов ходит!» — бабка Марья моя так говорила! «Котрац парчэ эрку кянг капри» [\[75\]](#), — говорил дед Арсен.

Ида обошла груды камней, отбитых у мусобозовских рабочих, и вслух продолжила летний спор:

— На свалку! На свалку! Деньги уплочены — и везите, куда прикажут! И штабелюйте ровнее! Энти каменюки две сотни лет простояли и ишо стольки простоят. Самим в хозяйстве сгодятся! — сказала довольная Ида и зажмурилась от слепящего солнечного блика, отразившегося от поразительно сияющей поверхности одного из каменных осколков.

Письмо, найденное черными следопытами летом 2003 года во фляжке неизвестного солдата, захороненного рядом с селом Божановка Нововоронцовского района Запорожской области.

Сыночка мой родненький, Павел Макарыч!

С низким поклоном обращается к тебе мамка твоя Варвара Степановна!

Изболелася душенька в ожидании с фронту тебя да братика твоего родного Петра Макарыча. Да исстрадалася-исплакалась я по мужу погибшему Макару Андреичу, похоронку на которого два месяца назад принесли. Про похоронку на родителя писала я тебе, но неведомо, дошло ли письмо фронтовое, не затерялось ли. И таперича вся надежда моя на вас с Петенькой, сыночков моих старшеньких, только бы скорее добились вы проклятых фрицев и вернулись до дому, а там уж пусть Бог рассудит, как нам таперича всем жить и как грехи свои тяжкие мне отмаливать.

Не могу боле молчать, сыночка! Истерзалася-измаялась, что не знаешь, не ведаешь ты всей правды, за какую, может стать, станешь корить-ненавидеть родную мать. И поделом, стало быть. Но вперед, нежели корить, выслухай, а там уж и суди.

Не довелось нам застать часть твою под Сталинградом нынче. Три недели пешком мы шли с нашего хутора с малой сестренушкой твоей Дашенькой, кою дома оставить не было никакой возможности, оттого как еды у нас нонче совсем нетути, нечем и старшие рты кормить. Жорке, Машке, Зинке и маленькой Наденьке оставила мучицы немножечко да гороха, а Дашенька может только молочком из титьки кормиться — инога корма для дитя малого нет. Надюшка двугодовалая голодная при немцах за картошкой к столу ручонку протянула, так фриц на нее так зашумел, что дитятка бедная речи лишилася и долго после болела и заикалася. Немцев проклятых с хутора нашего выбили, но в лето прошлое мы не сеялись, да и в нонешнее сеять будет нечего, как жить-голодать станем, сама не ведаю, да не про то нонче сказ.

Как письмо твое из-под Сталинграду принесли, так я сразу в путь-дорогу собираться стала, дабы ишо хучь разок глянуть на сынушку маво ненаглядного, кровинушку родную.

Три недели шли мы до Сталинграду. Дорогой Дашенька совсем хворающая сделалась, огнем горела, пить не пила, титьку не брала. Я дитинушку под дошкою да под шапочками к себе крепко-накрепко привязала, теплом своим грела, да как согреешь в мороз нонешний. Вот детиночка и захворала, занедужила, Богу душеньку свою безгрешную отдать намерилась. Не дышала деточка, остыла вся, холодная сделалась. И все вокруг сказали, что померла доченька. И уж ямку для тельца ее в мерзлой земличке вырыли, а на меня как сон какой нашел, как дурман окутал. Так посеред мерзлого поля сидела недвижимая и все прижимала к себе сестринишку твою единокровную, тобою ни разу не виденную. А кады из рук моих Дашеньку забирать стали, шоб в ямку покласть да землицей стылой засыпать, закричала, заголосила я. И такое во мне было беспмятство, что и про вас с Петрушенькой, на фронте с проклятыми захватчиками храбро сражающихся, и про четырех голодных дитяток, в нетопленном доме по лавкам жмущихся, не помнила. И запросила Господа, коли это он меня за грехи мои великие наказывает, так пуцай и мне не сойтить с этого места, пуцай закопают меня рядышком с доченькой моей, кровинушкой. А коли нет на мне греха

страшного, так пуцай не отберут у меня мою доченьку.

Как прописать тебе про то, что после было, и не ведаю. Сочтешь, мать твоя старуха безграмотная, толечко тремя церковно-приходскими классами обученная, придумляет. Но, святой истинный крест, так и было все.

Закричала я на поле стылом, да упала без памяти рядом с мертвенькой доченькой, а что было далее, мне не помнится. Очнулась в доме теплом, добрый человек, дохтур из военного гошпиталя надо мною наклонился. Все, говорит, теперь жить долго будете, Варвара Степановна, раз со света того обратно возвернулись. И дочка ваша жить долго будет. И дает мне девочку всю румяную, титьку мою шукающую.

Уж опосля рассказали мне, как лишилась я чувств, попутчики мои по дороге многотрудной думали Дашеньку в могилку положить, а меня откачивать. Но толечко засыпать девочку земличкой принялись, как зашевелилась Дашенька, заворохалась, а после и заорала в голос. На счастье наше мимо шла полуторка из эвакогошпиталя, и нас с девочкой забрали и там лечить стали. Так мы с сестрицей твоей в живых остались. И скоро обратно домой идти думаем, не то не на месте душа, как там Жора, Маша, Зина и Наденька одни справляются. Сестра моя Матрена обещалась им без меня быть матерью родной, но и у самой мал мала меньше.

Оттого, что в живых мы остались с Дашенькой, уверилась я, что нет греха на мне, чем, каюсь, двадцать три года мучилась. Добрый человек из гошпиталя едет в вашу сторону, говорит, проезжать диспозиции вашей части будет и письмо тебе в самые руки отдаст. Оттого и пишу все, как есть на духу, молчать боле нету мочи, и правду знать тебе надобно, какая бы правда эта горькая ни была.

Ты, сынушка, ведаешь, что под венец меня отдали принуждением семнадцати годков, аккурат в революцию за вернувшегося с фронту Макара Андреича. Мужа маво не любила я ни маленько, бил он меня боем смертным, как казаки с покон века жен своих бьют. Родила я в восемнадцатый год брата твоего Петеньку, тут муж из дома снова на войну ушел, в конную армию товарища Буденного. А в те годы через хутор наш разные люди шли, и худые и добрые. И в одном из них признала я знакомца сваво давнего Ванечку, Ивана Николаевича Шувалова, коего знала в одиннадцатом годе, когда в Нахичеване да в Ростове жила у добрых людей в услужении. Очень по душе тогда пришелся мне Ванечка, но был он сам из Петербурга, в краях наших оставаться долее не мог. Крестный Ванечкин Семен Семенович с чудной фамилией, кою запомнила, одарил меня тогда дарами бесценными за помощь Ванечке, которому грозила смерть верная, а я подсобить сподобилась. И машинку швейную подарил, которая семейству нашему, почитай, все голодные годы кормиться способствовала, и денег дал немерено, аж двести рублей, на которые тогда брату Митрию всю воинскую справу сделали и коня купили доброго, Агатом прозванного. Богато одарил меня крестный Ванечкин и увез в Петербург друга маво милого.

И как мне было не радоваться, когда в двадцатом годе зимою признала я в зашедшем на хутор наш военном Ванечку — худого, измученного. Ножки, прежде белые, истертые, ручки загрубелые. Над бровью ирам. И жар, и кашель. Помирал тогда от тифа Ванечка.

Как его от соседей, чтобы дурного не сказывали, в сараюшке прятала да как выхаживала, про то один Бог ведает. Но выходила. На ноги поставила и отпустила свавс соколика. Нельзя ему было со мною в краях наших остаться. А к осени родила я сынушку ненаглядного, тебя, Павлушенька, по метрике Павла Макарыча. И только Бог мне судия!

После жизнь моя безрадостная на твоих глазах вершилася. Макар бил меня. Следом за

тобою два дитятки от голода померли, и после Жоры еще одна девочка от скарлатины полегла. Десять диточек на свет родила, и толечко семеро вас живых. А последнюю сестру, Дашеньку, после тваво ухода добровольцем в Красную Армию рожденную, ты и в глазаньки не видывал, хоть и ближе она тебе всех других твоих сестер-братиков. Как вы с Петенькой летом сорок первого ушли в Армию, к осени призвали и мужа маво Макара Андреича. А через хутор наш шли и шли отступленцы. Не буду сказывать, какими шли они — сам на фронте таких, поди, видывал. И в одном из отступленцев я снова признала Ванечку. Да, сказать правду, и вовсе бы не признала, ежели б не затейливая ладанка с буквочками А да Л, какую в девятнадцатом годе у него видывала. Так жизнь его, родного, измаяла. Гляделся мой Ванечка совсем стариком, хучь и моложе Макара он на добрых восемь годков. Сказывал, стареют быстро там, где он принужден был быть три года до фронта. Чудо, как в живых остался. Но веровал, плохое уж пройдено и сражение честное на войне с фашистами все рассудит по справедливости.

У Ванечки в Москве сыночек остался Андрюшенька, уже опосля его (жирно зачеркнуто) рожденный. И не видел Ванюшка сыночка сваво родного ни разочка. От его имени весточку в Москву отписала, что жив-здоров, но снова не ведаю, дошла ли до супружницы его законной та весточка. Но знаю, когда война скоро кончится и разобьем мы фашистов проклятых, то Бог даст вернуться Ванечке в Москву-столицу и увидет сваво сыночку. А там уж Бог даст и вам с ним когда-нибудь свидеться. Ладанку свою Ванечка для тебя оставил, про Дашеньку он тогда и ведать не ведал, вот тебе на память и отрядил. Уж вернешься, так с сеструшкою поделите вещицу отцовскую, пока ж на груди с крестом рядом ее ношу и снимать не думаю.

Добрый человек, нас в госпитале вылечивший, обещался передать тебе письмецо мое точно в рученьки, а коли не отыщет тебя, так сжечь и по ветру развеять. Оттого и пишу без утайки. Не суди свою мамку, сынушка. Грех свой изменнический признаю. Но, Бог, меня и девочку мою спасишь, знает, что есть на свете такой грех, что и не грех вовсе, и всю жизнь мою беспросветную любила я толечки Ванечку.

Летом сорок второго родила я Дашеньку. Так и виновна я в грехе смертном, и не виновна вовсе. И ежели Господь уберег нас с Дашенькой, то и никто не судья мне более. Только ты, сыночка, мне судья. Ежели вернешься и скажешь, что ничего и не было, или и вовсе ничего не скажешь, вид сделаешь, что письмецо это до тебя не дошло, или ежели письмецо и взаправду тебя не отыщет, то, значит, так и быть тому. Значит, ты решил или Господь так рассудил, что тайна моя во мне и умереть должна. И в таком разе тайну свою никому я не открою боле, даже Дашеньке. Пусть думает, что она Дарья Макаровна.

Разбивай фашистов-иродов. Возвращайся в дом родной. И заживем лучше прежнего. А до твоего и Петенькиного возвращения всех деточек сберегу, выкормлю. Сама есть-пить не стану, а деточек подыму. И вас с братиком дождусь. И, глядишь, Господь даст дождаться и Ванечку.

Только будь живым, сынушка. Только живым будь!

Низко кланяюсь тебе, мамка твоя, Никифорова, урожденная Новикова, Варвара Степановна.

Больше книг на сайте — Knigoed.net

От автора

Благодарю питерского актера Василия Сазонова за цитату о «предВИПье», а также коллег из журнала «Интербизнес» за интервью с настоящим шейхом Абу-Даби Нахаян Бин Мубарак Аль Нахаяном, некоторые факты биографии и отдельные высказывания которого использованы в этом романе.

notes

Об этих событиях рассказывается в романе Елены Афанасьевой «Ne-bud-duroi.ru». М. Захаров, 2004.

Собачья дочь (арм.). Здесь и далее в «современных» главах использован диалект донских армян.

Невестка (арм.).

Некаб — женский головной убор, закрывающий лицо и оставляющий лишь прорезь для глаз.

Восемьдесят восемь, восемьдесят девять, девяносто (арм.).

Сто девять, сто десять (арм.).

Обгадившийся щенок (арм.).

Болван (арм.).

Ненормальная (арм.).

Друг (арм.).

Обезьяна (арм.).

Моя болезнь (арм.).

Круглый хлеб с орехами и изюмом.

Собачий сын (арм.).

Пристрелить! И все дела! (англ.)

Он еще так молод! (англ.)

«Сердце красавицы склонно к измене...» (итал.)

Пять (итал.).

Деньги вперед (итал.).

«Трактир потерянного времени» (итал.).

Нет денег (итал.).

Дядя упал (итал.).

Человек упал, мужчина упал (итал.).

Упал и не встает (итал.).

И побольше денег в кошельке... (В.Шекспир. «Много шума из ничего»)

Я позвонил князю Абамелеку (англ.).

Он знает, что может обменять алмаз на мальчишку? (англ.).

Паоло, я нашла тебя, мой Паоло! (итал.).

Твоя Лючия дождалась тебя! (итал.)

Поцелуй свою Лючию! (итал.)

Поцелуй свою Лючию, развяжу (итал.).

Да, да, нам снова хотят помешать, как и тогда (итал.).

Я спасу своего Паоло, и мы будем счастливы вечно! (итал.)

Стой! Стой! Держите его! (итал.)

Полиция! Охрана! Помогите! Нападение! (итал.)

О, дьявол! Здесь лечебница! Тысяча извинений, синьора! Преследуем опасного беглеца!
Куда он побежал? (итал.)

Душ! (итал.)

О боже, какой красавчик! (итал.)

Сейчас я тебя отмою! (итал.)

Арабская мужская одежда в виде длинного платья.

Нет слов! (арабск.)

Абайя — арабское женское платье, хиджаб — арабский женский платок, закрывающий ВОЛОСЫ.

Арабская женская накидка, закрывающая все лицо, оставляя лишь прорезь для глаз.

Золото (англ.).

Быстро! (арабск.)

«Не бойся, мой мальчик. Сейчас за тобой придет князь S.S.» (итал.).

«Прячься, он убьет тебя!» (итал.)

Не бойся, не убью! (итал.)

10

лир и доведу тебѣ до Ватикана (итал.).

Чао, пока! (итал.)

Inverno, Primavera, Estate, Autunno — зима, весна, лето, осень (итал.).

Это террористы! (англ.)

Это бомба. Я чувствую, это бомба. Или они хотят угнать самолет, как 11 сентября, и направить его на Колизей (англ.).

На Колизей нет смысла (англ.).

Там и так одни развалины (англ.).

Успокойся, дорогая. Какая-нибудь деталька сломалась, и только (англ.).

Barca. Dove sono? — «Где я?» (итал.)

Абайя — арабское женское платье.

«Разве что у меня будет еще один муж, для будней. Ваше Высочество слишком драгоценны, чтобы носить его каждый день...»

«Много шума из ничего».

Идиотка! (арм.)

Невестки (арм.).

Тауэр был основан восемь веков назад и назван «ключами от города»... (англ.)

«Ленинский комсомол целиком и полностью одобряет и поддерживает политику КПСС...» (англ.)

Целина (англ.).

Девственный (англ.).

Сын вернулся! (арм.)

Ненормальный (арм.).

Мать (арм.).

В древнегреческой мифологии жена царя Фив Ниоба потеряла семь сыновей и семь дочерей и стояла, оцепеневшая от горя, пока налетевший вихрь не перенес ее на родину, в Лидию, где высоко на горе Сипиле теперь стоит обращенная в камень Ниоба. (Прим. авт.)

Доброе обращение, дословно «Унесу твои боли» (арм.).

Дура (арм.).

Вершины в Куршевеле.

Тогда смогу я! (англ.)

«Битый горшок два века живет» (арм.).